

НОВЫЙ
МИР

8

1934

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

В О С Ь М А Я

А В Г У С Т

М О С К В А

1 . 9 . 3 . 4

СОДЕРЖАНИЕ

1. И. ГРОНСКИЙ. — Съезд мастеров советской литературы . . .	5
2. А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ. — Последние главы, 2-я книга «Цусимы»	12
3. ЭРИХ МЮЗАМ. — Два стихотворения	54
4. Л. СЕЙФУЛЛИНА. — Таня, рассказ	55
5. ЮРИЙ ОЛЕША. — Строгий юноша, пьеса для кинематографа .	66
6. ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ. — Синицын и К°, поэма	90
7. ВС. ИВАНОВ. — Похождения факира, роман, продолжение . .	105
8. АЛЕКСЕЙ КАРЦЕВ. — Магистраль, роман, продолжение . .	120
9. Л. ЧЕРНОМОРЦЕВ. — Посиденки, стихотворение	149
10. МАКС ЗИНГЕР. — Ледяная тропа, повесть, окончание . . .	150
11. Л. НИКУЛИН. — Стамбул, Анкара, Измир. II	174

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

12. Н. ИЗГОЕВ. — Июнь	197
---------------------------------	-----

ЗА РУБЕЖОМ:

13. Е. АДАМОВ. — Кризис 1914 года	210
14. АЛ. ХАМАДАН. — Пропаганда войны в Японии	224

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

15. И. МИКИТЕНКО. — О создании союза советских писателей СССР и об украинской литературе	234
16. ИВ. АНИСИМОВ. — Андре Мальро	253
17. ПИСЬМА БЕРАНЖЕ, с предисловием и примечаниями Н. Славятинского	261

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

Н. ЗАМОШКИН. — А. Гарри. «Паника на Олимпе»	283
С. ИВАНОВ. — Ефим Вихрев. «Палешане»	284
Н. ЗАМКОВ. — Орсини. Феличе. «Воспоминания»	285
Н. ЛЬВОВ. — Гвезацци, Ф. «Осада Флоренции»	287
КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ	288

Статформат В/5. 176 × 250.

Уп. Главл. В—82936. Объем 18 п. л. по 64.000 знак. Техн. ред. В. Белокопъ. Зак 1375. Тир. 51.000.
Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» Москва.



И. В. СТАЛИН и А. М. ГОРЬКИЙ

С'езд мастеров советской литературы

И. ГРОНСКИЙ

Первый с'езд союза советских писателей собирается в такой исторический момент, когда на одном полюсе современного мира создается новый, социалистический общественный строй и, как сказочный богатырь, кует в своей волшебной кузнице завтрашний день человечества, а на другом полюсе — миллиард семьсот миллионов тружеников разных континентов и разных цветов кожи стонут в капиталистическом рабстве, пухнут от голода, гниют в трущобах разрушающихся городов и разрушаемых империалистическими бандами мирных деревень.

На социалистическом полюсе современного мира кипит упорная и радостная созидательная работа. Помыслы народа, стремления ее вождей, воля партии и государства направлены в одну сторону — в сторону созидания, в сторону увеличения власти человека над природой, в сторону перевоспитания самого человека в духе коммунизма, то есть в духе великой борьбы коллектива за социалистические, достойные человека, материальные, бытовые и культурные условия существования.

На капиталистическом полюсе современного мира царит кризис, царит дикая вакханалия разрушения, являющаяся как бы прелюдией к кошмарному прыжку империалистического зверя в бездну военного уничтожения миллионов людей и накопленных веками ценностей материальной и духовной культуры.

Кризис обнажил все противоречия капитализма. В то время, когда миллионы рабочих и крестьян требуют одежды и обуви, капиталисты, как скупые рыцари, держат под замком переполненные товарами склады, уничтожают фабрики и заводы, сжигают хлопок и гноят кожи. В то время, когда стоны голодных и умирающих от голода людей плывут по многострадальной капиталистической земле, современные рабовладельцы сжигают пшеницу и выливают в море молоко на глазах у матерей, на руках которых умирают их дети.

Лозунгами социалистического полюса являются созидание и мир; лозунгами капиталистического полюса — разрушение и война.

Капитализм из прогрессивной силы, обеспечивавшей человечеству движение вперед, превратился в силу разрушения, отбрасывающую человечество назад, во мрак средневековья.

Социализм является теперь единственной прогрессивной силой, способной обеспечить человечеству движение вперед. Поэтому из-под знамен капитализма уходят самые лучшие, самые просвещенные, самые талантливые и одновременно самые честные люди, как например Ромэн Роллан, Анри Барбюс, Бернард Шоу, Андре Жид, Теодор Драйзер и другие, и переходят под знамена социализма, чтоб под этими знаменами, орошенными кровью лучших сынов рабочего класса, бороться за укрепление нашей планеты, за завтрашний день человечества, за коммунизм.

Советский Союз и капиталистические страны, социализм и капитализм — это не только два мира (мир свободы и мир рабства), но и две эры в развитии человечества.

Капитализм завершает собою развитие строя рабства, причем капитализм демонстрирует, что строй этот истерпал заложенные в нем возможности и должен уйти с исторической сцены, уступив место своему законному наследнику — социализму. Эра рабства, охватывающая три общественных формации, заканчивается капитализмом.

Социализм начинает новую эру в развитии человечества — эру борьбы единого социалистического человечества за покориение и подчинение себе сил природы, за свою неограниченную власть над природой. Борьба человека с человеком, класса с классом, заполнявшая собою века и тысячелетия, сменяется борьбой организованного в социалистическое сообщество, единого, не разделенного на классовые перегородки человечества с природой, за умножение своего могущества, за свою власть над природой.

Рождение этого нового, социалистического общественного строя, победа и утверждение его на одной шестой части нашей планеты вызывало и до сих пор вызывает приливы бешенства у эксплуататоров всех рангов и мастей и у их служащих всякого рода лакеев, как прикрывающихся фиговым листком социализма, так и действующих без оного прикрития.

Приход к власти рабочего класса был встречен саботажем буржуазной интеллигенции и гражданской войной помещиков и капиталистов, блокадой СССР и нападением на него бандитских шаек империализма, именуемых армиями четырнадцати «цивилизованных» государств. Рабочий класс СССР и его верный союзник — крестьянство, истекая кровью, жертвуя лучшими сынами своего класса, шаг за шагом, километр за километром отвоевывали свою родину и очищали ее от буржуазно-помещичьего хлама и мерзости. Этой победе немало способствовали и наши зарубежные братья — рабочие и труженики капитали-

стических стран, решительно выступившие за Советский Союз, против своих капиталистов и помещиков.

Но мало отвоевать заводы и земли, города и селения, железные дороги и рудники. Надо было на отвоеванной, кровью политой, родной и отныне любимой земле построить новое, социалистическое общество. Отступив в области экономики, перестроив революционные силы, большевики ринулись в новое наступление, в новый и, надо сказать, труднейший бой за социализм. Этот крутой поворот в политике партия проводила уже без своего испытанного учителя и вождя, без В. И. Ленина. Партия сама должна была выковать теорию и тактику построения социалистического общества, сама должна была найти пути движения вперед, выстроить в походные колонны миллионы рабочих и крестьян и двинуть их в наступление, в решительный бой за социализм. На этом труднейшем этапе революции так же, как и в Октябре, некоторые коммунисты шарахнулись в сторону и встали на путь предательской борьбы с большевиками. Тогда, в Октябре, испугавшись штурма и ринувшись в кусты, паникеры выступили против Ленина, бунтовали против большевистской линии; теперь, при переходе в развернутое социалистическое наступление, испугавшись штурма и ринувшись в кусты, паникеры выступили против Сталина, бунтовали против большевистской линии. Тогда, после Октябрьской победы, эти люди признали правоту Ленина; теперь, после победы пятилетки, то-есть социализма, эти люди признали правоту Сталина. Такова, видимо, судьба оппортунизма: во время боя — в кусты, после победы — признание прароты полководца.

Шатания отдельных коммунистов и переход некоторых из них (как например Троцкого) в лагерь контрреволюции отражали недовольство политикой советской власти буржуазных элементов города и деревни — кулачества, напманов и буржуазной интеллигенции. Это недовольство выливалось в форму контрреволюционной «хлебной забастовки» (кулак не хотел давать хлеба советам) и

в форму контрреволюционного вредительства, проводимого буржуазными специалистами, в том числе и представителями II Интернационала, членами партии меньшевиков. Кулак и буржуазный интеллигент, выступившие под знаменем реставрации буржуазно-помещичьего строя, заключили между собою союз, целью которого была торговля интересами своей собственной страны, продажа ее (страны) западноевропейским и азиатским империалистам за весьма умеренную плату. Вредитель и кулак — это лазутчики империализма, его шпионы и подрывники, пытавшиеся по приказу своего хозяина задержать развитие социализма, дезорганизовать народное хозяйство страны и облегчить работу интервентов, готовивших военное нападение на Советский Союз.

В этих труднейших условиях, когда шатались отдельные группы нашей партии и бешено развертывали свои атаки на советский строй кулачество и вредители, ученые попугаи буржуазии и «объективные» буржуазные художники и кинореволюционеры вроде Троцкого скулостили о том, что, выполняя социалистическую программу Октября, большевики неизбежно вступят в противоречия с крестьянством, напорются на гражданскую войну и погибнут. Эти попугаи рассуждали примерно так: восстановление хозяйства идет по указаниям Ленина, и с этим делом большевики справятся. Но, закончив восстановление и двигаясь дальше, большевики не сумеют найти дороги к социализму, запутаются и погибнут. Враг видел опасность и правильно указывал на нее, но враг прощитался. В борьбе с контрреволюционным троцкизмом и с кулацкой агентурой в партии — правыми оппортунистами, — лучший соратник Ленина товарищ Сталин создал теорию и тактику построения социалистического общества, то-есть указал партии и миллионам рабочих и крестьян правильную ленинскую дорогу к социализму. Эта дорога признана теперь всеми. Она отмечена такими вехами, как индустриализация народного хозяйства и сплошная коллективизация сельского хозяйства нашей страны, ликвидация кулачества и превращение кол-

хозника в центральную фигуру земледелия, в прочную опору советской власти в деревне, ликвидация безработицы в городе и аграрного перенаселения в деревне; успешная ликвидация неграмотности (у нас 92 процента грамотных) и введение всеобщего начального обучения. Дорога, указанная учителем и вождем, — это дорога великих побед, это дорога гигантов, это дорога невиданных темпов развития. Дорога эта уже привела нас к окончательной и бесповоротной победе социализма в СССР, к превращению нашей страны в независимую, технически передовую и самую мощную страну мира, способную основательно проучить всякую империалистическую свинью, которая попытается пролезть в наш советский огород. Это — огромная победа, имеющая всемирно-историческое значение, и эту победу признают сейчас все — и друзья, и враги, и внутри страны, и за ее пределами. Эту победу должна была признать и наша старая интеллигенция, а признав победу, она должна была одновременно признать свое поражение, правоту большевиков и свою собственную неправоту.

Правильность учения Ленина и Сталина, правильность политики большевиков, обеспечивавшей победы социалистического строительства, заставили массу старой интеллигенции, воспитанную в условиях капитализма и в прошлом тесно связанную с буржуазией, духовенством и дворянством, отказаться от борьбы с пролетариатом и повернуть в сторону советской власти. Этот поворот старой интеллигенции, обладающей большими знаниями и большим опытом, является прекрасной и радостной победой нашей революции, ибо он говорит об установлении прочного и нерушимого союза между пролетариатом и старыми мастерами культуры.

Как известно, впереди поворачивающейся в сторону советской власти интеллигенции шли художники слова, ранее других отрядов интеллигенции разглядевшие направление общественного развития и понявшие правду современной общественной жизни. Этот поворот интеллигенции в сторону советской власти и огромный подъем культуры рабочих

и крестьян и вызвали к жизни историческое постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года о ликвидации особых, отдельно существующих, организаций пролетарской литературы и о создании оргкомитета единого союза писателей, стоящих на платформе советской власти и желающих участвовать в социалистическом строительстве.

За годы революции в стране выросла мощная пролетарская социалистическая литература, подкрепляемая массовым литературным движением на фабриках и заводах, причем ряды этой пролетарской литературы пополняются и с другой стороны — переходящими на позиции рабочего класса отдельными художниками так-называемого «попутнического» лагеря. Организации, созданные в свое время для руководства небольшими группами писателей, не были приспособлены к руководству массовым литературным движением и превратились в тормоз литературного развития, задерживающий общий подъем литературы и грозящий благодаря групповой обособленности РАПП отрывом литературы от политических задач современности. Ошибки, имевшиеся в РАПП, еще больше усугубляли положение. Поэтому решение ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года и последовавшая за ним перестройка литературно-художественных организаций сразу вывели нашу литературу на широкую дорожку развития. На постановление ЦК ВКП(б) писатели ответили целым рядом художественных произведений, обогативших нашу литературу и показавших ее неуклонный рост. Такие произведения, как «Энергия» Гладкова, «Поднятая целина» Шолохова, «Цусима» Новикова-Прибоя, «Петр Первый» Толстого, «О'Кей» Пильняка и другие, являются достаточно красноречивым показателем бурного подъема нашей литературы, широкого и глубокого охвата важнейших явлений общественной жизни, как прошлого, так и настоящего времени. Таковую же картину мы видим и в области драматургии. «Егор Булычев и другие» Горького, «Суд» Киршона и ряд пьес наших драматургов показывают, что и этот са-

мый важный участок литературы идет в гору. Конкурс на лучшую пьесу дал целый ряд прекрасных драматургических произведений, выявив одновременно новых художников-драматургов, обещающих развернуться в больших мастерах советской драматургии. Но, говоря о драматургии, надо заметить, что она пока не дала еще произведений, которые целиком удовлетворяли бы возросшие требования рабочих и крестьян. Это замечание можно адресовать не только одной драматургии, но и всей нашей художественной литературе и литературной критике. Поэтому тысячу раз прав А. М. Горький, поставивший с присущей ему прямой проблемой качества художественного произведения и начавший борьбу с засорением богатейшего и прекрасного русского языка всякого рода словечками, лишенными какого-либо смысла и значения.

В статьях А. М. Горького есть и другое указание, указание на необходимость учиться, и притом не только литературному мастерству, но и разного рода наукам. Это указание особенно ценно, ибо оно ставит один из основных вопросов развития не только литературы, но и других видов нашего искусства,—вопрос о мировоззрении художника и его культуре. Давно известно, что большинство старых художников, да, пожалуй, и весьма солидная часть так-называемых молодых писателей, воспитывалась и до сих пор воспитывается на произведениях вульгарных буржуазных философов, социологов и экономистов, которые так же далеки от науки, как писания блаженной памяти имажинистов от художественной литературы. Представьте себе, что получилось бы, если бы мы стали учить наших художников слова у имажинистов. Они, вероятно, не только не поднялись бы в своем мастерстве, а, пожалуй, потеряли бы и имеющийся у них опыт и умение создавать подлинно художественные произведения. То же самое и здесь, в области мировоззрения. Художник стремится познать и отразить в своем творчестве самую революционную эпоху, какую когда-либо знало человечество, и для этого он сплошь и рядом вооружается не передовой, а

самой псевдонаучной, реакционной и гнилой идеологией. И когда у этого художника ничего не получается, он разводит руками и ищет причину где угодно, но только не там, где ее надо искать. Надо прямо сказать, что тот писатель, который думает, что он может обойтись без мировоззрения, без изучения самой передовой и самой революционной теории своего времени, может спокойно бросить писательство, — у него из этого дела все равно ничего не выйдет. Для того, чтоб писать об обществе, надо знать это общество, надо видеть, куда оно развивается. Для того, чтоб писать о людях, надо знать, к каким классам они принадлежат, за что борются, чем живут и о чем думают. Как видим, без мировоззрения и без большого знания общественных наук тут не обойдешься. Это особенно важно подчеркнуть теперь, когда целый ряд наших крупнейших писателей переходит на позиции пролетариата, воспринимает мировоззрение коммунизма и активно участвует в социалистическом строительстве. Переход писателей на позиции пролетариата является одновременно полным их разрывом со старым миром. Причем следует отметить, что процесс этот происходит не только в среде писателей, но и в среде живописцев и ученых, инженеров и артистов. Это явление имеет огромное значение, ибо оно показывает, как, переделывая экономику страны, изменяя отношения людей, создавая новый строй, пролетариат переделывает, перевоспитывает людей, в том числе и старых мастеров культуры, сложившихся в условиях старого строя и являвшихся идеологами, организаторами и певцами этого строя. Этот процесс перехода представителей старой интеллигенции на позиции пролетариата ставит перед нами целый ряд новых вопросов, имеющих огромное, можно сказать, первостепенное значение. Остановимся только на двух из них. Во-первых, переход этот ставит проблему политического воспитания переходящих на позиции рабочего класса представителей старой интеллигенции, или, другими словами, овладения мировоззрением про-

летариата, учением основоположников научного коммунизма. Во-вторых, переход этот с новой силой ставит проблему сохранения в чистоте марксистско-ленинского мировоззрения, ибо изменяющаяся обстановка располагает к ослаблению бдительности и таким образом облегчает соскальзывание с правильных большевистских идеологических позиций на чуждые большевизму позиции.

На самом деле, когда пролетарские писатели и критики сталкивались с буржуазными писателями и критиками, они отчетливо видели, что их отделяет от противной стороны. Теперь, когда буржуазные писатели и критики становятся в ряды борющегося пролетариата и от его имени выступают в литературе, пролетарские писатели и критики не только могут проглядеть проявление в их творчестве буржуазной идеологии, остатки которой у многих из них безусловно сохраняются, особенно на первых порах, но могут и сами повторить их ошибки, то-есть соскользнуть с правильных пролетарских позиций на позиции буржуазные. Поэтому переход писателей на позиции пролетариата требует от пролетарских писателей и критиков сугубой бдительности и упорной работы над повышением своих знаний и своей идеологической вооруженности. Это даст им возможность подняться в своем художественном творчестве на новую высоту и одновременно помочь переходящим на позиции пролетариата писателям овладеть пролетарским мировоззрением и превратиться в действительных мастеров социалистической культуры, то-есть в подлинных, больших художников.

В наше время буржуазия уже не в состоянии выдвинуть ни одной большой положительной идеи, и поэтому буржуазный художник уже не может подняться до создания великого художественного произведения, способного пережить века. Буржуазное искусство разлагается, гибнет. Лучшие буржуазные художники идут в лагерь пролетариата, видя в рабочем классе исторического наследника великого реалистического искусства прошлых эпох, восприимчика и продол-

жателя традиций великих мастеров литературы и других видов искусства. Буржуазные художники не ошибаются. Пролетариат выступает в искусстве наследником не того гнилого, что дало искусство империалистической буржуазии, вроде, скажем, беспредметничества, имажинизма, футуризма и т. д., а того великого, что создано художниками предшествующих эпох, что создано такими мастерами, как Шекспир, Сервантес, Бальзак, Шелли, Гете, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой и т. д. Пролетариату глубоко чуждо всякого рода литературное шутовство, уводящее от искусства. Пролетариат создает великое искусство, и поэтому он устами своего вождя и учителя выдвигает социалистический реализм как столбовую дорожку развития социалистического искусства. Метод социалистического реализма позволит нашим художникам найти правильные пути к созданию великой социалистической литературы, правдиво отображающей нашу изумительную эпоху.

В советской художественной литературе до сих пор еще сказывается очень сильная струя натурализма. Многие наши художники как по недостатку культуры, так и по другим причинам не могут подняться до художественного обобщения наблюдаемых явлений и предпочитают в своих произведениях брать не типичных людей в типичной обстановке, а данных конкретных людей в данной конкретной обстановке. Эти данные конкретные люди правдоподобны, но не правдивы, а поэтому они, как правило, не типичны для эпохи и очень слабо запоминаются.

Многие думают, что писатель может художественно обобщить явления и дать типичных людей в типичной обстановке только после того, как новый общественный строй сложится окончательно и отношения людей примут некоторую устойчивую форму. Это — явно буржуазная теория, и пущена она в оборот явными врагами пролетарской социалистической литературы. С точки зрения этой теории, выходит, что общественные явления познаются только в состоянии статичности, а не динамики, покоя, а не развития. Это

конечно чепуха. Если бы люди следовали этой теории, то они никогда не сумели бы познать ни одного общественного явления, ибо никогда и ни одно общественное явление они не могли бы наблюдать в статическом состоянии. Общественная жизнь находится в перманентном развитии. Явления общественной жизни находятся в постоянном изменении. Познать их наука может только в движении, отобразить их в искусстве художник может только в движении, Великие произведения искусства прошлых эпох потому и являются великими, что в них, как в зеркале, отражено развитие современного им общества. Художники прошлого не полагаются только на наблюдения, только на «зоркость» глаза, а изучают явления, изучают развитие общества.

Поэтому выработка мировоззрения, накопление знаний, овладение культурой, — это вещи, без которых писатель и шагу не может сделать в своем творческом развитии. Поэтому тысячу раз правы те товарищи, которые ставят эти вопросы со всей настойчивостью и прямоотой. Надо наконец понять, что борьба за качество художественных произведений неразрывно связана с борьбой за большевистскую культуру художников. Это прежде всего должна понять наша критика, призванная руководить писателями в их трудной работе. До сих пор критика наша скользила по поверхности явлений и, собственно, не столько занималась критикой, сколько «канонизацией» одних и «ниспровержением» других писателей. Между тем в такие эпохи, как наша, когда с исторической сцены уходит капиталистический общественный строй и в нашей стране развивается и крепнет строй социализма, критика должна быть выдвинута на передовые позиции литературы. Она должна помочь писателю понять сущность нового строя, характер отношения людей, направление развития общества. Она должна сформулировать те требования, какие пролетариат на данном этапе развития предъявляет своим писателям, а также писателям, переходящим под знамя

социализма. Наша критика должна не столько ниспровергать, сколько учить писателей, учить на конкретных примерах, то-есть на конкретных литературных произведениях, показывая их художественные достоинства и недостатки и объясняя конкретные причины того или иного успеха, той или иной неудачи.

Для того, чтоб вытянуть нашу литературу, поднять ее на должную высоту, сделать достойной нашей великой эпохи, нужно двинуть вперед критику. Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что сейчас развитие нашей литературы упирается в слабость критики, в неспособность ее направить творчество того или иного писателя по правильному пути, то-есть неспособность ее помочь писателю в его работе. На самом деле, в литературе мы имеем целый ряд прекрасных произведений, а в критике, при всем желании, нельзя набрать и полдюжины статей (не говоря уже о книгах), на которых можно бы остановиться и которые можно было бы пред'явить съезду в качестве достижений или побед нашей критики.

Съезд писателей должен будет обра-

тить на этот участок самое пристальное внимание, ибо этот участок является решающим. Без постановки большевистской критики мы едва ли сможем быстро преодолеть отставание некоторых видов художественной литературы, как например поэзия, детская литература и отчасти драматургия. Но съезд даст исчерпывающий ответ не только на этот вопрос. Он укажет путь, по которому должна развиваться литература нашей социалистической страны. Этот путь в основном и решающем уже намечен в указаниях нашего учителя и вождя, лучшего друга писателей и лучшего знатока и ценителя художественной литературы И. В. Сталина. Изумительные по своей сжатости и ясности алгебраические формулы И. В. Сталина наши критики и писатели должны перевести на язык арифметики, или, другими словами, осуществить на практике. Сделать это необходимо, а сделав это, мы двинем всю нашу литературу вперед и приблизим день ликвидации отставания нашей художественной литературы от нашей изумительной эпохи, с ее темпами, размахом, дерзаниями и победами.

Последние главы

2-я книга „Дусимы“

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

I

Командующий броненосцем «Орел», капитан 2-го ранга Сидоров, перед тем, как пробить боевую тревогу, сказал офицерам, находившимся около него:

— Ну, где же нам сражаться против всего японского флота? Наш броненосец весь разбит, артиллерия вышла из строя, снарядов нет. Придется, видно, умирать...

На это обиженно ответил мичман Сакелари:

— Я вам час тому назад говорил: пересадить офицеров и команду на «Изумруд», а броненосец свой утопить. В этом был единственный выход из создавшегося положения. Но вы не обратили внимания на мое предложение.

По распоряжению Сидорова пробили боевую тревогу.

В это время старший сигнальщик Зефиров доложил:

— Ваше высокоблагородие, на «Николае» поднят сигнал по международному своду.

— Какой? — спросил Сидоров.

Справились по книге сигналов свода, прежде чем ему ответили:

— Сдаюсь.

Сидоров раскрыл рот и на несколько минут как будто онемел. Повидимому, то, что он услышал, с трудом усваивалось его помутнившимся сознанием. Он с таким напряженным вниманием рассматривал то Зефирова, то офицеров, слов-

но впервые решил изучить лица этих людей. Потом потряхнул забинтованной головой и промолвил:

— Не может этого быть!

Еще раз проверили сигналы, сомнений не было.

Сидоров согнулся, схватился за голову и спросил самого себя:

— Ну, Константин Леопольдович, что ты теперь будешь делать?

И, никого не стесняясь, громко зарыдал, беспомощный, как покинутый ребенок.

Снова ему доложили, что на «Николае», по которому неприятель открыл огонь, поднят белый флаг.

Сидоров выпрямился и пощупал сначала на одном плече, потом на другом двухпросветные золотые погоны, потемневшие от дыма и копоти.

— Раз адмирал сдается, то и мы должны так же поступить. Отрепетовать сигнал! Белый флаг поднять!

Послышались слабые протесты со стороны некоторых офицеров. Здесь так же, как и на «Николае», одни предлагали взорвать броненосец, другие — открыть кингстоны и потопить его. Но сейчас же кто-то поставил вопрос относительно раненых: как быть с ними? Ведь их насчитывалось около ста человек, среди них были офицеры и сам командир! Оправдание для того, чтобы ничего не делать с броненосцем, было найдено, и перед растерянным начальством сразу уменьшилась тяжесть ответственности.

А тем временем сигнальщики, не обращая внимания на разговоры офицеров, принялись за дело с исключительной энергией. На грот-мачте не осталось ни одного фала, с помощью которых можно было бы отрепетовать сигнал о сдаче. Но над этим не стали долго задумываться. Из подшкиперского отделения немедленно были принесены запасные фалы и блочки. Зефиров, захватив их с собою, быстро полез на салинг налаживать приспособления для под'ема флагов. Кто-то побежал в кают-компанию за салфеткой. Сигнал о сдаче не был еще поднят, а на корабле уже перекачивалась из одного отсека в другой ошеломляющая весть:

— Сдаемся в плен!

— Неужели?

— Да, да, сдаемся. Сейчас сигнальщик говорил. Он понес салфетку на мостик. Поднимут ее вместо белого флага.

На корабле начался переполох. Люди бросали свои посты и лезли наверх. Вдруг 6-дюймовая башня левого борта, ничего не подозревая, что делается на мостике, начала пристрелку по неприятелю. Но после двух выстрелов из боевой рубки поступило распоряжение не открывать огня. Кроме того, посланный с мостика ординарец, рыжий конопатый матрос, обегал каждую башню, способную к действию, и неистово орал:

— Не стрелять! Кончилось сражение!

Застопорили машины, и броненосец остановился, грузно покачиваясь на мертвой зыби. «Орел» во всем следовал примерам других судов. Но, когда на них заменили андреевский флаг японским, Сидоров решительно заявил:

— Нет у меня японского флага!

Один из офицеров, остробородый, с густыми усами, брюнет, волнуясь, заявил:

— Я полагаю, что если уже решили сдать, то нужно быть последовательным до конца и самим поднять неприятельский флаг. Ведь все равно это сделают японцы, когда явятся к нам на корабль. Но они поднимут свой флаг с церемонией, с криками «банзай», может быть, даже с музыкой. Зачем же давать

врагу возможность лишний раз поглумиться над нами?

С доводами его согласились все офицеры и сам Сидоров.

Во время боя, согласно морского устава, андреевский флаг, поднятый на гафеле, строго охраняется часовым, как знамя в полку, — он ни на одну минуту не должен спускаться без личного распоряжения командира. Но у нас часовой, поставленный на этот пост, строевой квартирмейстер Заозеров, накануне был ранен, а другого забыли назначить. И сигнальщики сдернули никем не охраняемый андреевский флаг, словно ничего не стоящую тряпку, и заменили его японским.

С этого момента броненосец «Орел» перестал принадлежать Российской империи.

Я помчался в машинную мастерскую, чтобы сообщить инженеру Васильеву о новом событии. Расположившись на токарном станке, он крепко спал. Я схватил его за плечи и, обращаясь к нему без «благородия», крикнул:

— Владимир Полиевктович!

Он вскочил с такой поспешностью, как будто его подбросило электрическим током. Я задыхался от волнения и ничего не мог сразу сказать ему. А он, очевидно догадываясь, что произошло что-то необычное, торопливо спрашивал:

— Я сквозь сон слышал стрельбу, почему же замолчали наши орудия? Почему нет прохота от неприятельских снарядов? И что за крики доносятся? Может быть, мы уже тонем?..

В нескольких словах я сообщил ему о сдаче в плен.

Пораженный, он широко открыл карие глаза, словно услышал о сверхъестественном чуде. Замасленная рабочая куртка, надетая на ночную рубашку, на нем расплывалась. Он быстро начал застегиваться и, сурово сдвинув черные, густые брови, заговорил:

— Все кончилось. Российский императорский флот разгромлен. Японцы стали полными хозяевами моря. Сдача четырех броненосцев явилась логическим завершением всей нашей несуразной кампании. На мачтах висит салфетка, на гафеле — неприятельский флаг восходя-

щего солнца. Великолетно! Более жестокий удар для самодержавия трудно придумать.

Васильев попросил меня помочь ему выбраться наверх. Возбужденный, я схватил его в охапку и почти бегом начал подниматься по уцелевшему кормовому трапу. На верхней палубе, понизив голос, он наказал мне:

— Передайте своим товарищам, чтобы они были на всякий случай наготове. Мало ли что может произойти напоследок? Как бы не нашлись такие безумцы, которые захотят взорвать судно со всем экипажем, чтобы сохранить честь самодержавия. А нам нет никакого расчета из-за этого проваливаться в пучину. Свои силы мы побережем для другой цели...

Наш разговор перебил лейтенант Вредный. Легко раненный, он со вчерашнего дня не выходил из операционного пункта и только теперь появился на верхней палубе. Увидев инженера Васильева, он завопил:

— Владимир Полиевктович! Да что же это у нас натворили? Без боя решили сдаться...

О наказе Васильева я успел предупредить кочегара Бакланова, гальванера Голубева, боцмана Воеводина и кое-кого из машинистов.

Японский флот, окружив четыре наших броненосца, приближался к нам очень осторожно. Кольцо его кораблей постепенно суживалось. На мачтах то и дело поднимались какие-то сигналы.

На броненосце «Орел» росло смятение. Те из экипажа, кто не находился на мостике, не знали, что будет дальше. Одни говорили, что корабль будут топить, другие опровергали это.

Из центрального поста поднялся на мостик ревизор, лейтенант Бурнашев, и обратился к капитану 2-го ранга Сидорову:

— Как прикажете поступить с судовой кассой? Кроме того, у меня хранятся секретные бумаги и шифры.

Сидоров распорядился:

— Секретные бумаги и шифры сжечь в топке, а деньги раздать офицерам и команде.

Но ревизор заявил:

— Принять раздачу казенных денег я на себя не беру. По-моему, лучше утопить их.

Сидоров согласился с ним, и решено было выдать только офицерам по 10 фунтов стерлингов на первые надобности в плену.

Обычно флегматичный и неповоротливый, ревизор вдруг оживился. Через несколько минут он уже был в первой кочегарке. Принесенные им пакеты в одно мгновение превратились в пепел. С таким же проворством Бурнашев спустился в центральный пост, куда на время боя был поставлен денежный сундук. Там, внизу, кроме часовых, находилось еще несколько человек из команды. Ревизор, не призывая разводящего, сам отстранил часового и раскрыл сундук. В судовой кассе было более семидесяти тысяч рублей русскими и английскими деньгами, не считая экономических и окрасочных сумм, лежавших в особой шкатулке. Здесь же находились и личные деньги командира и матросов, сданные на хранение. Ревизор торопливо сортировал деньги по мешочкам, отделяя золото от серебра и меди. Руки его дрожали, с мясистого и прыщавого лица капались капли пота. Пачки с крупными кредитками он совал себе за пазуху. Матросы начинали понимать, в чем дело, и обратились к нему с просьбой, чтобы он и с ними поделился добычей. Ревизор поднял голову и сказал:

— Хорошо, ребята, я вам дам понемногу денег, но только об этом никому ни слова. За это мне может влететь от начальства. А если в команде узнают, что я наградил вас, то от такой оравы тогда не отобьешься.

Матросы получали деньги не равномерно, — начиная от ста рублей и выше. На долю рулевого Жирнова, который помогал ревизору выбрасывать деньги за борт, досталось 1.225 рублей. Но больше всего пришлось ревизору поделиться с подоспевшим старшим баталером Пятковским.

В результате за борт полетела только мелочь, а остальное все из кассы, за вычетом розданных денег, осталось у ревизора. Он успел ухватить не менее 50.000 рублей. И все же этому богатому

орловскому помещику такая сумма казалась мала. Он забрал себе и пакет с деньгами, принадлежащий лично командиру. А в то время командир Юнг мучился от смертельных ран и ничего не подозревал, что его ограбил свой же офицер¹⁾.

Среди команды началась деморализация. Многие из матросов перестали слушаться своих офицеров. Командующий броненосцем Сидоров, заметив это, приказал мне уничтожить ром. Я со своим юнгой спустился в глубину судна, в ахтер-люк. У нас имелось в запасе 250 ведер неразведенного восьмидесятиградусного рома и более 100 ведер сорокаградусного. Мы его выпустили из цистерн на палубу, застланную линолеумом, а с палубы по особым сточным трубам он стекал в трюм. Когда данное мне задание было уже закончено, в ахтер-люк прибежали матросы, любители выпивки. Они набросились на меня с матерной бранью:

— Зачем ты такое добро уничтожил? За это пришить тебя на месте, и больше никаких.

— Начальство приказало.

¹⁾ Когда я писал 2-ю книгу «Цусима», бывший младший штурман «Орла», Л. В. Ларионов, передал в мое распоряжение толстую, переписанную на машинке, книгу: «Процесс адмирала Небогатова». Этот материал фигурировал на суде как не подлежащий оглашению. В нем напечатаны первоначальные показания адмирала Небогатова, офицеров и матросов. Здесь же имеется и мое показание (т. IV, л. 33, свидетель 124, крестьянин Новиков), о котором я совершенно забыл. Упомянув мимоходом о сдаче корабля, я главным образом обрушился на Бурнашева, забравшего себе судовую кассу. Я заявил: «Относительно ревизора должен сказать, что это прямо жулик, он обвешивал команду на сахаре, на мясе...» Дальше идет длинный перечень его уголовных преступлений с ссылкой на свидетелей и на официальные документы. В заключение добавил: «Говорят, Бурнашев спрятал себе в карман пакет командира с 1.500 фунтов стерлингов, предназначенных для сестры г-на Юнга. Видел это Кожевников и Семенов».

Что у командира были деньги, это видно из его писем, посылаемых с пути родной сестре — вдове Софии Викторовне Востросаблиной. Он мечтал после войны выйти в отставку, — поэтому берег каждую копейку. Да и сам Бурнашев в своем показании признался, что он взял командирских денег 400 рублей. В 1933 году я запросил Софию Викторовну, получала ли

— Нет у нас больше начальства.

Кое-кто из матросов, став на колени, начали схлебывать оставшиеся на линолеуме лужицы душистой влаги. Один полез в горловину цистерны и сразу задохнулся там. Его вытащили оттуда мертвым. Больше мне не было надобности оставаться в ахтер-люке. Я перешел в отделение для сухих продуктов, где у меня была спрятана под гречневой крупой связка рукописей: дневники, путевые заметки, наброски для будущих произведений из морской жизни. Я вытащил эту связку и, немного поколебавшись, решил ее сжечь, чтобы она не досталась японцам. Для этого пришлось мне подняться в камбуз. Когда мои товарищи запылали в топке, то я почувствовал такую боль, словно часть моей души корчилась на огне. Меня успокаивало лишь одно, — то, что мною написано, я никогда не забываю.

После этого я стал свободен от всяких обязанностей и лишь ходил по кораблю, наблюдая, что делают другие.

Экипаж корабля никак не мог притти в нормальное состояние и продолжал волноваться. Оставшиеся здоровыми

она что-нибудь от брата через ревизора. Она письмом мне ответила, что Бурнашев доставил ей шкатулку, а в ней были ордена, несколько мельхиоровых ложек и старые карманные часы, но денег — ни копейки.

Лейтенант Бурнашев в своем показании (т. II, л. 336, подсудимый 19), желая подорвать к своим словам доверие, написал:

«Младший баталер Новиков за несколько дней до ухода «Орла» был назначен с «Минина» с самой плохой аттестацией и с уведомлением, что он, Новиков, находится под жандармским наблюдением. Новикова хорошо знает капитан 2-го ранга Шведе и все офицеры броненосца. Он агитировал против офицеров и окончательно открыл себя, когда у него было конфисковано письмо в редакцию «Русь», в отдел фонда народного образования. Баталер Новиков с первых же дней был мною отстранен от обязанности, так как с вахты было замечено, что при выдаче вина он давал больше положенного».

В показании Бурнашева сказано все верно, исключая последней фразы. Я был отстранен от обязанности, но не с первых дней моего пребывания на «Орле», а во время стоянки у Мадагаскара, и не на все время, а лишь на одну неделю, — отстранен за то, что при обыске у меня нашли дневники и записки, рисующие наш поход в неприглядном виде. Об этом подробнее рассказано мною в 1-й книге «Цусима».

около восьмисот человек перестали представлять собою организованную силу, подчиненную единой воле командира. Военные люди быстро превращались в дикую толпу. Меньшинство горевало, большинство радовалось дарованной жизни. Слышались бестолковые выкрики, матерная ругань, злые шутки. Метались взад и вперед те, которые не верили в свое спасение. Словом, как и во всякой толпе, каждый человек действовал по-своему.

Со стороны начальников отдавались самые противоречивые распоряжения:

— Ломай приборы! Выбрасывай за борт все, что можно!

— Нельзя этого делать! Броненосец больше не принадлежит нам. Японцы расстреляют нас за это.

Мичман Карпов, горячий и порывистый человек, с монгольскими чертами лица, возмущался перед офицерами:

— Какой позор! Мы сдались, как испанцы!

Его успокаивали:

— Мы спасем команду и раненых.

Он резко обрывал своих коллег:

— Мы пришли сюда не спастись, а воевать! Спасаются только в монастырях!

Для него это событие было действительно тяжелым горем. Никто не рисковал так жизнью, как этот молодой офицер. Борясь с пожарами, он носился по судну с каким-то диким упоением, выбегал на открытые места, осыпаясь раскаленными осколками. Он принадлежал к тем немногим героям, которые думали, что можно еще поправить дело, обреченное на гибель всей государственной системой.

Один из офицеров, сокрушаясь о дальнейшей своей судьбе, в отчаянии выкрикивал:

— Пропало наше дворянство!

Ему ответил торжествующий и ухмыляющийся кочегар Бакланов:

— Да, ваше благородие, полезли в волки, а зубы-то оказались телячьи.

Боцман Саем попробовал найти себе сочувствие среди команды:

— Ведь это что же такое! Сколько лет служил верой и правдой, а теперь сдают меня в плен.

Но вместо сочувствия услышал злые насмешки:

— Зря, господин боцман, усердствовали. Придется вам другую должность приискывать.

— Ничего, боцман, не тужите. За двадцать лет службы вы так наловчились избивать матросов, что теперь это вам пригодится. Вас сразу примут вышибалой в любой публичный дом.

В команде упорно стоял слух, что корабль взорвут или утопят. Поэтому многие запасались спасательными средствами. Другие, боясь, что японцы будут отбирать вещи, переодевались в «первый срок», чтобы на себе сохранить новенькие брюки и фланелевую рубашку. Десятки матросов стояли на срезах, приготовившись при первой тревоге прыгнуть за борт. Более трусливые среди них разделись догола и держали перед собой в охапке свое платье и сапоги.

Случайно проходивший лейтенант Павлинов, увидев такое зрелище, начал уговаривать матросов:

— Бросьте, ребята, готовиться к спасению. Судно топить не будем. Сейчас явятся к нам японцы. А вы в таком виде предстанете перед ними? Ведь они смеяться будут над вами.

Да теперь и немисливо было потопить корабль. Если бы кто решился на это, его моментально выкинули бы за борт. В психике матросов произошел перелом и проснулась такая жажда жизни, что никакой силой нельзя было бы заставить их рисковать собою.

То же самое случилось и с офицерами. Все их жалобы, стоны, слезы, истерические выкрики против сдачи были только для видимости, а некоторых пугало то, что карьера их погублена. Но бессмысленность смерти очевидно сознавалась всеми. Это ясно выявилося на переднем мостике, где сосредоточилось большинство из начальствующих лиц. Одни из них угрюмо молчали, другие продолжали ворчать, недовольные поступком капитана 2-го ранга Сидорова. Больше всех возмущался сдачей находившийся здесь же лейтенант Вредный, поглядывая на рулевых и сигнальщиков, будущих свидетелей судебного процесса. Когда он начал говорить, какие меры

можно было бы принять, чтобы броненосец не достался японцам, в этот момент пришло известие, что кормовая 12-дюймовая башня хочет открыть огонь по неприятелю. На мостике все офицеры страшно забеспокоились, а лейтенант Вредный, дрожа, завопил:

— Как же это можно стрелять? Да они там с ума сошли! Японцы потопят нас в одну минуту. А я раненый, я не могу спастись...

По распоряжению командующего броненосцем лейтенант Павлинов сбежал на корму и, вернувшись на мостик, доложил:

— В башне никто и не помышляет о стрельбе. Сидят там комендоры, жуют консервы и, кажется, выпивают что-то. Из орудий, заряженных еще с ночи, я приказал выбросить полузарядники за борт.

На корабле, то в одном месте, то в другом, начали раздаваться пьяные голоса. Откуда команда добывала себе выпивку? Оказалось, что о роме, спущенном мною в трюм, прежде всего пронохали трюмные машинисты, а потом узнали об этом судовые машинисты, кочегары и другие матросы. И все начали бегать в трюм с ведрами, с большими медными чайниками. Правда, ром оказался там загрязненным, с мусором, с блестками смазочного масла, но это не останавливало матросов. Сейчас же его очищали через вату, добываемую от санитаров.

Команда пьянела с каждой минутой и становилась все развязнее. Офицеры притихли, чувствуя, что кончилась их власть. Они не возмущались даже и в том случае, если какой-нибудь нижний чин, разговаривая с ними, держал папиросу в зубах.

Машинист Цунаев, прозванный за его страшную физическую силу «Чугунным Человеком», встретился в батарейной палубе с лейтенантом Вредным и заявил:

— Должок хочу вам заплатить, ваше благородие.

— Я что-то не помню за тобой долга.

— Зато я хорошо помню, ваше благородие. Это было месяца три тому назад.

Вы тогда ни за что ни про что засадили меня в карцер.

Лейтенант Вредный сразу изменился в лице, дрогнув острой рыжей бородкой, и не успел слова сказать, как покатился по палубе. Это произошло с такой быстротой, что никто из окружающих и не заметил, куда он получил удар. Цунаев, сжав кулаки, тяжелые, как свинец, хищно изогнул свой громадный и угловатый корпус и хотел было еще раз броситься на офицера, но его схватил кочегар Бакланов:

— Во-первых, лежачих не бьют, вторых, стыдно нападать на раненого человека. И вообще не стоит безобразничать. В Петербурге, — вот где, если хочешь, покажи свою удаль.

— Да какой он раненый? Это же известный притворщик!

— Об этом может судить только врач.

Пока кочегар и машинист спорили между собою, лейтенант Вредный, вскочив, убежал в каюту. Цунаев разразился бранью против своего друга, а тот, как ни в чем не бывало, ухмыляясь, мирно заговорил:

— Будет тебе сердиться. Ты лучше ответь мне на вопрос: что такое хвост и прохвост? Хвост есть хвост, а вот прохвост — не понятно. Это то, что под хвостом, что ли, находится?

Матросы расхохотались, смяк и Цунаев.

В офицерском винном погребе сломали замок. Там много было разных сортов вин. Все это пошло по чемаданам команды.

Капитан 2-го ранга Сидоров, глядя с мостика на горлающих матросов гздыхал:

— Хоть бы скорее японцы явились. А то бог знает, до чего может дойти наш пьяный корабль.

Контр-адмирал Небогатов вернулся на свой броненосец и потребовал к себе командиров судов своего отряда. Вскоре к борту «Орла» пристал японский катер. На нем уже находились командир «Сенявина», капитан 1-го ранга Григорьев, и командир «Апраксина», капитан 1-го ранга Лишин. Захватив с собою Сидорова, катер направился к «Николаю».

С мостика увидели, что к нам направляется японский миноносец. На «Орле» заканчивалось уничтожение секретных документов. В батарейной палубе тяжело раненого младшего штурмана, лейтенанта Ларионова, который не мог самостоятельно передвигаться, два матроса вели под руки, а перед ним, словно на похоронах, торжественно шагала сигнальщик, неся в руках завернутые в подвесную парусиновую койку исторический и вахтенный журналы, морские карты и сигнальные книги. В койку положили несколько 75-миллиметровых снарядов, и узел бултыхнулся через орудийный порт в море. Это произошло в тот момент, когда неприятельский миноносец пристал к корме «Орла».

Японцы, вооруженные винтовками, быстро высаживались на палубу броненосца. Через минуту-другую, по указанию своего начальника, они рассыпались по всему кораблю, взяв под охрану уцелевшие башни, минные отделения, бомбовые погреба и скрыт-камеры, динамомашинны и другие места. Часть их невооруженной команды спустилась в машины и кочегарки.

Наши матросы, не стесняясь присутствием японцев, продолжали кутить. На корме полуразрушенного минного катера находились: машинные квартирмейстеры Громов и Никулин, машинист Цунаев и какой-то кочегар. Перед ними стояли банки с мясными консервами и ведро с ромом. С катера доносились пьяные голоса:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...

Часа в два вернулся на броненосец Сидоров. Мы в это время стояли во фронте на верхней палубе. Приблизительно две трети нашей команды японцы решили отправить на свой броненосец «Асахи». К нам были присоединены офицеры: старший инженер-механик Парфенов, тюремный механик Румс, лейтенанты Модзалевский и Саткевич, мичмана Сакелари и Карпов и обер-аудитор Добровольский.

Сидоров объявил условия сдачи:

— Господа офицеры, ваше оружие, собственное имущество и деньги вы со-

храняете при себе. Затем вам предоставлено право вернуться к себе на родину, если дадите подписку, что не будете участвовать больше в этой войне. Команда также может взять свои собственные вещи и деньги.

Японцы больше не дали говорить Сидорову и немедленно усадили его на свой паровой катер. Вслед за ним спустились и остальные намеченные офицеры. Потом началась посадка на барказы нашей команды. Желая посмотреть японский броненосец, я умышленно попал в число отъезжающих. На шканцах, опираясь на костыли, стоял инженер Васильев. Я бросился к нему проститься. Пожимая мою руку, он называл мне:

— Берегите себя для более важной работы. Предстоят грандиозные события. Помните, что с сегодняшнего числа в истории Российской империи начинается новая глава.

С парусиновыми чемоданами, набитыми больше книгами, чем вещами, я спустился на барказ. Когда мы тронулись, буксируемые паровым катером, я в последний раз оглянулся на свой корабль. На мгновение в памяти почему-то всплыл эпизод из далекого детства. Мне было пять лет. Под жаркими лучами послеобеденного солнца мать жала в поле рожь. А я один, играя в войну, носился с криками по сжатой полосе. В руках у меня была палка, заменявшая ружье, пику, пушку. Воображаемые турки падали под моими ударами, как стебли ржи под серпом матери. Крестец снопов представлялся мне неприятельской крепостью. Я напал на крепость и, споткнувшись о борозду, со всего размаха ткнулся лицом в колючее основание снопа. Из губ полилась кровь, острой, режущей болью занял левый глаз. Я с плачем кинулся к матери, а она, испуганная, прижала меня к своей груди и заговорила укоризненно-ласковым голосом:

— Ах, Алеша, Алеша! Непутевый мой сынок. Молиться надо, а ты воевать вздумал. От этого люди счастливые не бывают.

На своих губах я почувствовал солевые от слез поцелуи матери.

С тех пор прошло двадцать два года. За это время я много пережил, много видел и вычитал из книг, и теперь, мысленно пробегая прошлое, я вспомнил изречение одного философа: «Человек до сорока лет представляет собою текст, а после сорока — комментарии к этому тексту». До этого возраста мне еще далеко. И если философ прав, то за время плавания на «Орле», а в особенности за последние полторы суток, когда я вместе с другими дышал воздухом разрушения и смерти, текст моей души увеличился до колоссальных размеров.

Броненосец слегка покачивался на мертвой зыби. Краска на нем обгорела, зашелушилась. Вчера он был черным, сегодня стал пепельным, словно поседел в бою.

Когда броненосец «Орел» сдался в плен, тяжело раненного командира Николая Викторовича Юнга перенесли из операционного пункта в заразный изолятор. Это небольшое удлиненное помещение с одним иллюминатором уцелело в бою. Несмотря на множество возникших пожаров на судне, здесь переборки и потолок попрежнему блестели белой эмалевой краской. В головах единственной железной койки, укрепленной вдоль борта, стоял небольшой столик, в ногах — стул.

Командир, с пробитым желудком и печенью, с раздробленным плечом, с глубокими ранами на голове, находился в безнадежном состоянии и, лежа на койке, бредил. По просьбе наших офицеров к дверям изолятора был поставлен японский часовой, охранявший вход туда главным образом от неприятельской команды. Это было сделано для того, чтобы Юнг не догадался о сдаче его судна в плен. Мучительно долго он боролся со смертью, наполняя изолятор то стонами, то выкриками. Около него неотлучно находился вновь назначенный вестовой Максим Яковлев вместо убитого Назарова, и по временам приходил к нему старший судовой врач Макаров.

Только на следующий день, 16 мая, к вечеру Юнг начал приходить в сознание.

Вестовой Яковлев, человек малограмотный и недалекий, после рассказывал о нем:

— Только-что опомнился командир, а тут, как на грех, в дверь заглянули японцы. «Это, — спрашивает, — что за люди у нас?» Пришлось сказать: «Сдались мы, ваше высокоблагородие». А он поднялся повыше на подушку и как заплачет! Потом начал мне объяснять насчет какого-то земского собора: «Кончается, — говорит, — позорная война. и я, — говорит, — кончаюсь. А ты, Максим, может быть, будешь заседать в земском соборе». Вижу — все лицо командира в слезах. Жалко мне его. Все-таки он был хороший человек. А про себя думаю — опять начал умом путаться. Как же это я буду заседать вместе с земскими начальниками да еще в соборе? У нас в селе один только земский начальник, да и то от него спасения нет. Суций живодер. Если в поле едет, за версту от него сворачивай. Иначе — расшибет. Поговорил со мною командир и опять заплакал. Потом наказывает мне позвать доктора...

Разговаривая с вестовым, Юнг имел конечно в виду не земских начальников. Дело в том, что в молодости своей, будучи мищманом, он принадлежал к партии народовольцев. Он состоял в группе морских офицеров, возглавляемых казенным лейтенантом Сухановым, встречался с Софией Перовской и Верой Николаевной Фигнер. В восьмидесятих годах начались аресты во флоте. Юнга спасло от тюрьмы только то, что он в это время находился в кругосветном плаваньи.

Но почему же он теперь, умирая, вдруг вздумал просвещать своего вестового? Очевидно командиру хотелось хоть чем-нибудь вознаградить себя перед смертью. Эскадра была разгромлена, а судно, которое он так храбро защищал, сдалось в плен. Для Юнга осталось одно: вернуться к прежним, быть может, давно забытым, идеалам.

Старший врач Макаров, посетив его, сейчас же направился в судовой лазарет. Там вместе с другими ранеными офицерами находился и младший штурман,

лейтенант Ларионов. Старший врач обратился к нему с просьбой:

— Вот что, Леонид Васильевич, командир узнал от вестового, что мы сдались. Я старался опровергнуть это, но он не верит мне. Просит вас зайти к нему. Успокойте его. Он сейчас находится в полном сознании.

Два матроса повели Ларионова к заразному изолятору, а внутрь он вошел один.

Юнг, забинтованный весь, находился в полусидячем положении. Черты его потемневшего лица заострились. Правая рука была в лубке и прикрыта простыней, левая откинулась и дрожала. Он пристально взглянул голубыми глазами на Ларионова и твердым голосом спросил:

— Леонид, где мы?

Нельзя было лгать другу покойного отца, лгать человеку, всегда его поощрявшему. Ведь Ларионов вырос на его глазах! Командир вне службы обращался с ним на «ты», как со своим близким. Юнг только потому и позвал его, чтобы узнать всю правду. Но правда иногда жжет хуже, чем раскаленное железо. Зачем же увеличивать страдания умирающего человека? С другой стороны, он мог узнать об истинном положении корабля не только от вестового. И что скажет командир на явную ложь, если он собственными глазами уже видел японцев?

Ларионов, поколебавшись, ответил:

— Мы идем во Владивосток. Осталось 150 миль.

— А почему имеем такой тихий ход?

— Что-то «Ушаков» отстает.

— Леонид, ты не врешь?

Ларионов, ощущая спазмы в горле, с трудом проговорил:

— Когда же я врал вам, Николай Викторович?

И, чтобы скрыть свое смущение, штурман нагнулся и взял командира за руку. Она была холодная, как у мертвеца, но все еще продолжала дрожать. Смерть заканчивала свое дело.

Командир знал, что и старший врач Макаров, и штурман Ларионов обманывают его, но делают это исключительно из любви к нему. Он не стал изобли-

чать близкого ему человека во лжи. Наоборот, он как будто поверил в то, что ему говорили, и примеренным голосом попросил:

— Дай мне покурить.

Юнг торопливо затянулся раза три папиросой, и она выпала из его дрожащей руки. Агония продолжалась недолго. Он застонал и, словно что-то отрицая, потряс головою. Из его груди вырвался такой глубокий вздох, какой бывает у человека, сбросившего с плеч непомерную тяжесть. В последний раз устало потянулся. Лицо с русой бородкой, угасая, становилось все строже и суровее. Голубые глаза, до этого момента блуждавшие, неподвижно устались на белый потолок, с напряжением всматриваясь в одну точку, словно хотели разгадать какую-то тайну.

Штурман Ларионов согнулся и, держа плечами, вышел из заразного изолятора.

По просьбе наших офицеров японцы согласились похоронить Юнга в море. На следующий день утром мертвое тело, зашитое в парусину, покрытое андреевским флагом, с привязанным к ногам прузом, было приготовлено к погребению. Оно лежало на доске, у самого борта юта. На сломанном гафеле развевался приспущенный флаг «восходящего солнца». После отплевания два матроса приподняли один конец доски. Японцы взяли на-караул. Под звуки барабана, игравшего поход, под выстрелы ружей мертвое тело командира скользнуло за борт.

Спустя полчаса, японский офицер вручил Ларионову, как единственному штурману, оставшемуся на броненосце, небольшой квадратный кусочек картона. На нем была выписка из вахтенного журнала. Выписка указывала место похорон командира:

Широта 35° 56' 13" северная.

Долгота 135° 10" восточная¹⁾.

¹⁾ Все письма нашего командира, которые он посылал с пути своей родной сестре Софии Викторовне Востросаблиной, были серьезны и наполнены безнадежными взглядами на поход 2-й эскадры. Но в одном из них, датированном 5 января 1905 года, он пишет в шутиловом тоне: «Наш бывший морской агент Иван Ива-

II

Два госпитальных парохода «Орел» и «Кострома» во время боя 14 мая держались в нескольких милях от хвоста эскадры. В три часа дня к ним приближались неприятельские вспомогательные крейсеры «Манджу-Мару» и «Саду-Мару» и отвели их в японский порт. Госпиталь «Кострома» через полмесяца был отпущен. Иначе японцы поступили с «Орлом». Дело в том, что за несколько дней до сражения эскадра задержала английский пароход «Ольдгамия». На нем оказались военные грузы, предназначенные для Японии. С него сняли команду и по распоряжению Рождественского свезли ее на «Орел». А пароход «Ольдгамия» под управлением русского экипажа был направлен во Владивосток. Японцы, захватив госпитальный «Орел», нашли на нем англичан, и это послужило предлогом объявить его военным призом.

Транспорты «Анадырь» и «Корея», отстав от эскадры, шли до девяти часов утра 15 мая вместе, а потом разошлись в разные стороны. Первый направился в Россию с заходом на Мадагаскар, второй 17 мая пришел в Шанхай, где и был интернирован.

Транспорт «Иртыш» вышел из боя 14 мая с большими повреждениями и с креном в десять градусов. Он хотел было направиться во Владивосток, держась японского берега, но через пробойны принял столько воды, что не мог продолжать свой путь. На второй день вечером он близ японского города Хамада затонул. Весь экипаж с него был свезен на берег.

Миноносец «Блестящий» получил в бою несколько пробоин. Вечером он встретился с миноносцем «Бодрый» и не отставал от него. На второй день утром «Блестящий» начал тонуть. «Бодрый»

нович Номото, которого ты видела у меня на «Славянке», теперь командует крейсером и сражается против нас. Вот было бы недурно этого шельмеца забрать в плен...» Юнг ошибся: капитан 1-го ранга Номото командовал не крейсером, а первоклассным броненосцем «Асахи». И нужно же было так случиться, что Николай Викторович сам попал в плен, попал вместе со своим судном именно к Номото.

снял с него людей и, дождавшись, когда тот пошел ко дну, направился в Шанхай. В полночь на 17 мая вышел весь уголь. Начали жечь дерево. А когда лишились последнего топлива, приспособили из тентов паруса; кроме того, продвигались ближе к цели при помощи приливного течения и становились на якорь во время отлива. Но от этого успех был ничтожный. В полдень 20 мая определили свое местонахождение в море. Оказалось, миноносец находится в 65 милях от маяка Шавейтан и в такой полосе, где мало проходят пароходы. На корабле было тесно от присутствия лишнего экипажа и спасенных с «Осляби» людей. Не стало хватать ни пищи, ни пресной воды. Сияющий простор моря угрожал морякам не меньшей опасностью, чем сражение при Цусиме. К счастью, на следующий день наткнулся на них небольшой английский пароход «Квейлин», который взял «Бравого» на буксир и привел его в Шанхай.

Миноносец «Безупречный» пропал без вести. Есть только указания в японских источниках, что неприятельский крейсер «Читозе» и миноносец «Ариакэ» 15 мая на рассвете встретили какой-то русский миноносец, вступили с ним в бой и потопили его. Предполагают, что это был «Безупречный». С него не спаслось ни одного человека.

Крейсер «Светлана» имел подводную пробоину, полученную в дневном бою, и не мог поспеть за другими крейсерами, повернувшими с вечера на юг. Решено было самостоятельно пробиваться во Владивосток. Вместе со «Светланой» шел и миноносец «Быстрый». Благополучно отбившись ночью от минных атак, она утром была настигнута двумя неприятельскими крейсерами — «Отова» и «Нийтака». Вскоре к ним присоединился еще истребитель «Муракумо». Недалеко от острова Дажелет завязался горячий бой. Через полчаса «Светлана» затонула на глубине трехсот сажен. Те суда, что потопили ее, ушли, а на их место явился вспомогательный крейсер «Америка-Мару» и начал спасать людей. В этом бою погиб командир крейсера, капитан 1-го ранга Шейн, и 167 человек команды.

«Быстрый» стал уходить в сторону Кореи, но за ним погнались «Нийтака» и «Муракумо». Подбитый, он не мог от них уйти и, выбросившись на берег, взорвался. Весь экипаж его успел высадиться на сушу, где и был взят японцами в плен.

Броненосец «Ушаков» так же, как и другие наши суда, еще с вечера 14 мая, имея малый ход, отстал от эскадры. Он в одиночестве пробирался на север. Но на второй день, после обеда, в то время, когда проходил мимо своих броненосцев, стоявших уже под японским флагом, он был замечен неприятелем. За «Ушаковым» погнались два броненосных крейсера «Ивате» и «Якумо». Приблизившись к нему на расстояние выстрела, «Ивате» поднял сигнал: «Советую сдать. Ваш флагман сдался». На это командир броненосца, капитан 1-го ранга Миклуха-Маклай, тот самый, которого Рождественский называл «Двойным Дураком», приказал открыть огонь. Через полчаса «Ушаков» вместе со своим храбрым командиром уже лежал на морском дне. Из экипажа в 428 человек погибли 91, а остальные были подобраны шлюпками с неприятельских крейсеров.

Крейсер «Владимир Мономах» был ночью подорван миной. В его корме оказалась такая большая пробоина, заделать которую люди не могли. Утром он настолько наполнился водой, что можно было думать лишь об одном — как спасти людей. Сопровождаемый миноносцем «Громкий», он направился к видневшемуся берегу Цусимы. Туда же шел и броненосец «Сисой Великий». На нем разобрали сигнал: «Прошу принять команду». На это крейсер ответил: «Через час сам пойду ко дну». Вскоре оказался на горизонте неприятельский миноносец «Ширануи», а затем — вспомогательный крейсер «Садо-Мару». Командир «Мономаха», капитан 1-го ранга Попов, приказал «Громкому» идти во Владивосток, а сам открыл кингстоны. За «Громким», когда он повернул на север и начал увеличивать ход, погнался «Ширануи». Оставшийся «Садо-Мару» открыл огонь по «Мономаху», но видя, что тот не отвечает, прекратил стрель-

бу. Русский крейсер начал спускать шлюпки. Явились японцы, чтобы овладеть им, но сейчас же вынуждены были оставить его: он немедленно скрылся под водой. Экипаж с него попал в плен на «Садо-Мару».

«Громкий», сражаясь с «Ширануи», развил ход до 25 узлов. Ему удалось бы уйти от своего преследователя, если бы к месту боя не подоспели еще два неприятельских миноносца. Он боролся с ними с исключительной отвагой и двум из них нанес значительные повреждения. К концу сражения на нем были убиты — командир, капитан 2-го ранга Керн, 1 офицер, 1 кондуктор и 20 нижних чинов; ранены — 3 офицера и 23 нижних чина. А между тем весь его экипаж состоял из 74 человек. Он выпустил по неприятелю две мины и расстрелял все до одного патроны. И только после этого, избитый и окровавленный, он открыл кингстоны. Оставшиеся в живых люди, надев спасательные пояса, начали прыгать за борт. Японцы, спустив шлюпки, бросились подбирать их. «Громкий», накренившись, уходил в пучину, окутанный дымом, как черным саваном.

Броненосец «Сисой Великий» имел пробоину от мины в носовой части. Корма его поднялась, а форштевень совершенно зарылся в море. Когда он приближался к острову Цусима, на горизонте появились три неприятельских вспомогательных крейсера — «Синано-Мару», «Явата-Мару» и «Тайнан-Мару» и миноносец «Фубуки». Не дожидаясь стрельбы, броненосец предупредил их сигналом: «Тону и прошу о помощи». Японцы запросили: сдается ли он? Командир «Сисоя», капитан 1-го ранга Озеров, приказал ответить им утвердительно. Спустя час к броненосцу подошла неприятельская шлюпка. Японцы, взойдя на палубу, первым делом подняли на гафеле свой флаг, но никак не могли спустить русского флага, развевшегося на стеньге. Корабль, погибая, грустно покачивался под флагами двух враждебных держав. Напрасно японцы старались взять его на буксир. В 10 часов утра «Сисой Великий», покинутый всеми, перевернулся и затонул в трех

милях от берега. Русские офицеры и матросы перебрались на неприятельские корабли.

Броненосный крейсер «Адмирал Нахимов», как и другие наши корабли, прибыл в Цусимский пролив перегруженным. Помимо излишнего запаса угля, которого хватало бы на три тысячи миль экономического хода, он имел около 1.000 тонн пресной воды, налитой в междудонное пространство. Так же обстояло дело с провизией, со смазочными материалами. Зачем все это понадобилось в таком огромном количестве? Как будто крейсер шел не на войну, а к северному полюсу, где ничего нельзя было бы достать.

По случаю дня царского коронавания команде было приказано переодеться в «первый срок». В 11 часов прозвистала дудка к вину и обеду. На верхнюю палубу вынесли енды с ромом. Матросы выстроились в очередь за своей чаркой. В это время с разных сторон посылались возгласы:

— Дай пройти!

Это означало, что на палубе появился старший офицер, капитан 2-го ранга Гроссман. Он был близорук, никого из команды не узнавал. Случалось, что он судовые предметы не отличал от людей и властно приказывал:

— Дай пройти!

Матросы подметили это, и каждый раз, как только он появлялся около них, повторяли его фразу.

Теперь, держа в руке револьвер, он подошел к енды и стал следить, чтобы батаер не выдал кому-нибудь лишней чарки. На крейсере дисциплина была расшатана. Гроссман не учел этого, как не учел и того, что он был нелюбим командой. Услышав возгласы матросов, он налился кровью и, подняв револьвер, заорал:

— Замолчите! Расстреляю!

Матросы ответили еще более усиленными выкриками, разнотонно повторяя одно и то же:

— Дай пройти!

Шум голосов донесся до походной рубки. Командир крейсера, капитан

1-го ранга Родионов, вышел из рубки и, пройдя по продольному мостику, остановился против шкафута, где происходила раздача вина. Небольшой, сутулый, с порыжевшими от курения усами, он внимательно посмотрел на старшего офицера и прошамкал беззубым ртом:

— Владимир Александрович, потрудитесь подняться ко мне в рубку.

Вслед сконфуженно уходящему Гроссману матросы еще раз прокричали с хохотом:

— Дай пройти!

Команда начала обедать. Из кают-компании доносились звуки оркестра, перебиваемые криками «ура». Это офицеры выпивали шампанское во славу русского оружия.

Когда появились на горизонте главные неприятельские силы, управление крейсером перешло в боевую рубку. При первых раскатах орудийных выстрелов командир Родионов снял фуражку и, перекрестившись, произнес вслух:

— Господи, спаси нас.

До вечера, за время артиллерийского боя, крейсер получил до 30 пробоин, но все они были надводные. Подверглись разрушению главным образом надстройки, шлюпки и разные приборы. Часть орудий вышла из строя. Пострадал и личный состав: человек 20 были убиты и около 50 ранены.

С заходом солнца командир Родионов распорядился:

— Приготовиться к минным атакам! Проекторы поставить на место!

На день проекторы были спрятаны в продольном коридоре. Теперь их извлекли наверх. Боевое освещение наладили как-раз в тот момент, когда начали минные атаки. «Нахимов» замыкал собою боевую колонну. Может быть, поэтому на него так яростно нападали миноносцы. А он лучами проекторов только указывал им свое место пребывания и притягивал их к себе, как маяк ночных птиц.

Вдруг рулевой Аврамченко, здоровенный гвардеец, находившийся около боевой рубки, рывкнул, словно в трубу:

— Миноносец рядом! Справа! Режет наш курс!

Неприятельский миноносец тут же был уничтожен снарядом 8-дюймовой пушки, но свое назначение он выполнил. Крейсер подпрыгнул от взрыва. Сотрясение настолько было сильное, что сдвинулась с места боевая рубка, зазвенели стеклянные осколки полопавшихся иллюминаторов.

Никто не знал, где произошел взрыв. Некоторые матросы, находясь в кормовых отделениях, думали, что несчастье произошло у них, и, уходя, задривали за собою двери. Бросились к выходным трапам машинная команда и кочегары. В боевой рубке, обращаясь ко всем, крипло проговорил командир:

— Свистать всех наверх. Немедленно подвести под пробойну пластырь. Мы погибаем.

Но неизвестно было, куда попала мина. Люди металась взад и вперед, находясь под впечатлением, что они немедленно пойдут вместе с кораблем ко дну. С момента взрыва прошло минут десять в невероятной суматохе. Наконец послышалась дудка старшего боцмана Немона и его громогласный голос:

— Пробойна справа в носовой части! Все наверх! Пластырь подводить!

Только теперь выяснилось, что миной был разрушен правый борт против шкиперского помещения. Оно и смежное с ним отделение динамомашин сразу наполнилось водой. Электрическое освещение погасло. Люди оставляли свои посты и, выбегая наверх, задривали за собою двери. Но и этой мерой не могли задержать бурлящие потоки. Двери были проржавлены, резиновая прокладка оказалась никуда негодной, непроницаемые переборки под напором воды вздувались, как парус под ветром, сдавали и лопались. С ревом вода распространялась дальше, попадая в трюсовые отделения, в малярную, в канатный ящик, в угольные ямы, в отделения мокрой провизии, в поперечный и продольный коридоры. Она заполняла минный и бомбовые погреба, крышки которых не могли быть задрены: этому мешал беспорядочно наваленный лес.

Нос крейсера стал погружаться в море, а корма подниматься на его поверхность. Ход уменьшился. Эскадра уходила

от «Нахимова», оставляя его в одиночестве. Наладили электрическое освещение, взяв ток от кормовых динамомашин. Но сейчас же с мостика, желая скорее скрыться от противника, поступило распоряжение:

— Прекратить действие прожекторов и погасить все наружные огни.

Крейсер уклонился от общего курса влево и, уйдя от миноносцев, застопорил машины. Около сотни людей занялись подводкой пластыря под пробойну. Но так как в течение похода эскадры практических учений в этом деле не было, то и теперь никто не знал, как успешнее выполнить данное задание. Начальство отдавало распоряжения, одно противоречащее другому. Все бестолково суетились и галдели. Затруднение было и в том, что работали в темноте, при свежей погоде, и что судно погрузилось носом и дало на правый борт крен, дошедший до восьми градусов. Кроме того, заводке пластыря мешал правый якорь. Он еще днем был сброшен снарядом со своего места, но повис на заклинившемся в клюзе канате. Пришлось долго повозиться, чтобы отклепать канат, после чего якорь бухнулся в море. Здесь работой руководил старший офицер Гроссман. Он больше не ругался на команду, он только просил продрогшим голосом:

— Братцы, дружнее, иначе мы утонем.

И матросы уже не кричали ему:

— Дай пройти!

Все внимание людей было направлено к спасению корабля.

Пластырь наконец кое-как подвели, но, повидимому, он не закрыл пробойны. Вода прибывала, несмотря на то, что ее усиленно откачивали из носового отсека пожарная, центробежная и циркуляционная помпы. Она начала затоплять жилую палубу.

Дали малый ход вперед.

На мостике перед собравшимися офицерами был поставлен вопрос, куда держать курс. Из ответов выяснилось, что крейсер, находясь в таком бедственном положении, не может ни догнать эскадры, ни достигнуть Владивостока. По-

этому только остается одно — приблизиться к какому-нибудь берегу и спасти людей, а судно затопить. Но командир твердо прошамкал:

— Курс норд-ост 23°.

И перестал разговаривать.

Чтобы уменьшить крен судна, кочегары перетаскивали уголь с правого борта на левый.

Не успели люди опомниться, как раздалась команда:

— Прислуга по орудиям!

Никто не сомневался, что опять начинаются минные атаки. Находившиеся наверху офицеры и матросы видели, как впереди, обрезая нос, двигались какие-то черные небольшие суда. Их было более двух десятков, и на каждом из них горел огонек. «Нахимов» приготовился к отражению минной атаки и к своей гибели. Комендоры навели пушки на приближающиеся огоньки. Но кто-то радостно, словно объявляя людям награду, возвестил:

— Не стреляйте! Это рыбацьи суда!

Только теперь все поняли, что если бы это были миноносцы, то они, готовясь к атакам, не стали бы ходить с открытыми огнями.

Вскоре мысль людей переключилась на действительную опасность. Когда взшла луна, то под пробойну вместо второго пластыря с трудом подвели огромный парус. Но и этим не помогли крейсеру. Дифферент на нос все увеличивался. Вся передняя часть судна до 36-й переборки была затоплена. Проржавленная за 20 лет плавания, эта переборка под напором воды стала гнуться, словно была картонная. Матросы, рискуя собою, ставили под нее упоры из деревянных брусев, а она просачивалась по швам, как ненадежная плотина, и звенела от водяных струй. До носового кочегарного отделения это была последняя преграда. Если она не выдержит, то произойдет взрыв котлов, и крейсер немедленно пойдет ко дну.

По инициативе судового механика догадались дать задний ход и, повернувшись, пошли вперед не носом, а кормою. Этот маневр оказался удачным. Напор воды значительно уменьшился, и ката-

строфа на некоторое время была отсрочена.

Корма крейсера настолько приподнялась, что его винты наполовину обнажились из воды и хлопали по ней лопастями, словно гигантскими ладонями. Он стал плохо слушаться руля и мог дать ходу не больше трех узлов. На мостике офицеры доказывали командиру, что при таких условиях «Нахимов» не годен к дальнейшему плаванию и что нужно заботиться только о спасении людей. Родионов долго не соглашался изменить курс.

— Ну, хорошо, — с горечью прошамкал он. — Мы пойдем к корейскому берегу. Там при помощи водолазов справимся с пробойной, а потом опять двинемся на север. Мы должны быть во Владивостоке.

Люди с нетерпением ждали, когда пройдет эта страшная ночь. Немногие из них могли уснуть. Все чувствовали себя на грани жизни и смерти. Поэтому с такой радостью встретили первые признаки рассвета. А когда показалось солнце, то увидели вершины каких-то гор. Но никто не мог определить, чей был этот берег.

За ночь под напором воды разрушились ветхие продольные переборки, и вода постепенно заполнила собою погреба левого борта. На этот же борт команда перетаскила много угля. Крен к утру исправился. Но зато вся носовая часть судна еще больше погрузилась в море. Командир, волнуясь, приказал:

— Держать к берегу!

— Есть, — ответил старший штурман, лейтенант Ключковский.

Не доходя четырех миль до суши, смерили глубину — 42 сажени. Застопорили машины. «Нахимов», весь израненный и одряхлевший от многолетних своих плаваний, послушно остановился, чтобы здесь навсегда исчезнуть с поверхности моря.

Командир Родионов, узнав, что перед ним возвышается северная оконечность острова Цусима, рассердился на штурмана:

— Я вам приказал вести корабль к корейскому берегу, а вы что сделали?

Лейтенант Клочковский, глядя сквозь очки на командира, смущенно ответил:

— Я точно старался выполнить ваше распоряжение, но после вчерашнего сотрясения корабля кто может поручиться за правильные указания компаса.

Приступили к спуску уцелевших от боя шлюпок. Но приспособления для этого были испорчены, работа шла медленно. Когда на спущенный гребной катер начали переносить раненых, вдали с севера показался неприятельский миноносец «Ширануи».

Командир сейчас же распорядился:

— Открыть кингстоны! Приготовить крейсер к взрыву! Команде вооружиться спасательными средствами!

Вскоре заметили, что с юга приближается неприятельский вспомогательный крейсер «Садо-Мару», очевидно вызванный по телеграфу миноносцем.

На «Нахимове» в минном погребе, где хранились капсюли гремучей ртути, сухой и влажный пироксилин, заложили подрывной патрон. Провода от него с двумя батареями Гринэ протянули на шестерку, на которой уже сидел с гребцами младший минный офицер, мичман Михайлов. Шестерка, вытравливая провода, стала удаляться от крейсера. Мичман Михайлов хорошо запомнил слова командира:

— Я буду находиться на мостике судна. Следите за мною. Когда потребуются произвести взрыв, я помашу вам новым платочком.

— А как же сами вы? — испуганно спросил Михайлов, догадываясь, что командир хочет погибнуть вместе с кораблем.

— Это вас не касается, — шамкая, проворчал Родионов и строго нахмурил брови.

— Есть.

Михайлов со своей шестеркой остановился в трех кабельтовых от крейсера и, глядя на мостик «Нахимова», стал ждать условленного сигнала.

Гребной катер, наполненный ранеными и возглавляемый старшим врачом, направился к берегу. Здоровые усаживались на барказы. Те, для которых не хватало места на шлюпках, торопливо разбегались койки, спасательные круги и

пояса. В нижних помещениях не осталось ни одного человека: там уже бурлила и клокотала вода, врываясь через открытые кингстоны, клапаны затопления и краны.

Миноносец «Ширануи», приблизившись к «Нахимову» на восемь-десять кабельтовых, поднял сигнал по международному своду: «Предлагаю крейсер сдать и спустить кормовой флаг, в противном случае никого спасать не буду». Командир Родионов приказал ответить: «Ясно вижу до половины». И сейчас же крикнул, насколько хватало голоса:

— Спасайся, кто как может! Взрываю крейсер!

На палубе все были охвачены паникой. Люди бросались в море, словно перепуганные дети в объятия матери. Корабль, который до этого момента сохранял их жизни, теперь казался страшным чудовищем, и все старались скорее отплыть подальше от борта. Многие устремились к спущенному на воду минному катеру. Находясь под полными парами, он пытался уйти от них, но оказалось, что на нем во время боя заклинился руль, положенный на правый борт. Катер мог только кружиться на одном месте и давить плавающих людей. Пришлось застопорить машину. На него, не обращая внимания на крики и угрозы старшего офицера, полезли десятки мокрых тел. От перегруженности в разбитые иллюминаторы полилась вода, и катер пошел ко дну, увлекая за собою тех, кто находился в кубрике и машинном отделении.

«Садо-Мару», приближаясь к русскому крейсеру, на ходу спускал шлюпки.

На мостике «Нахимова» остались только два человека: Родионов и Клочковский. Этот штурман решил погибнуть вместе со своим командиром. С палубы последними прыгали за борт минеры и гальванеры. Им нечего было торопиться: зная, что судно тонет, они разделили провода, приготовленные для его взрыва. Родионов, горячась, бегал по мостику и неистово кричал, пока на палубе не осталось ни одной живой души. Он снял фуражку и, глядя на солнце, торжественно перекрестился. Штурман Клочковский, согнувшись,

крепко ухватился за поручни. Но взрыва на взмахи платка не последовало. Командир сгорбился и, качая головою, громко зарыдал.

С шестерки, к которой приближался миноносец «Ширануи», выбросили в море батареи и провода. На мачте ее взвилась белая матросская форменка. Такие же форменки были подняты и на других наших шлюпках.

«Садо-Мару» остановился в трех кабельтовых от «Нахимова» и стал подбирать плавающих людей на свои шлюпки. Одна из них пристала к борту погибающего корабля. На его палубу поднялся с несколькими своими матросами японский офицер. В это время Родионов и Клочковский скрывались под полукотом, следя за действиями непрощенных пришельцев. Японцы успели только поднять свой флаг и, убедившись, что воспользоваться крейсером нельзя, сошли в свою шлюпку. Командир и штурман подождали немного и, выскочив из своей засады, сорвали неприятельский флаг. Это была отвага, граничащая с безумием. Вскоре крейсер качнулся на правый борт, с ревом хлынули в него тысячи тонн воды и, как бы раздавленный непомерной тяжестью, он быстро пошел носом в пучину.

Родионов и Клочковский были глубоко затянуты водоворотом, но надетые на грудь спасательные пояса выбросили их обратно. Они увидели, что «Садо-Мару» и «Ширануи», подобрав всех русских, направились к показавшемуся на горизонте «Владимиру Мономаху». Два пловца, оставшихся с «Нахимова», только вечером были случайно спасены проходившими мимо японскими рыбаками.

III

Эскадренный броненосец «Наварин» своим внешним обликом резко выделялся из всей 2-й эскадры. Широкий корпусом, он имел четыре громадных трубы, расположенных квадратом, словно ножки опрокинутого стола. По этим трубам можно было с одного брошенного взгляда отличить его от других кораблей. Вид у него был грозный, но

японцы вероятно хорошо знали, что его даже 12-дюймовые орудия, стрелявшие дымным порохом, своей дальностью не превышали сорока пяти кабельтовых. Среди офицеров и матросов он назывался по-другому: «Блюдо с музыкой».

Командовал броненосцем старый и бывалый моряк, 54 лет, капитан 1-го ранга Фитингоф. Среднего роста, угловатый, молчаливый, с глазами неопределенного цвета, с разорванной ноздрей приплюснутого носа, он производил впечатление мрачного человека. Совершенно облысевшая голова его всегда была чем-то озабочена. Может быть, поэтому он мало уделял внимания своей внешности: форма сидела на нем мешковато, седая борода редко расчесывалась, шея обросла мелкими кудрявыми волосами, словно покрылась серым мохом. Познавший хорошие и плохие стороны жизни, он больше никогда ею не восторгался и никогда не приходил от нее в отчаяние. Психика его настолько устоялась, что никакими событиями нельзя было привести ее в волнение. По знанию морского дела, по числу совершенных им кампаний его давно должны бы произвести в адмиралы, но для этого он был слишком скромен. Он не лез на глаза к высшему начальству, никогда и никуда не просился, а служил там, куда его назначали.

Адмирал Рождественский не любил Фитингофа и дал ему прозвище: «Рваная Ноздря».

В свою очередь Фитингоф без всякой злобы, как бы отмечая только посторонний факт, отзывался о командующем:

— Бездарный комедиант.

Во время боя ни одни специалисты из числа команды не бывают настолько осведомлены о всех событиях, как сигнальщики. Они, вооруженные биноклями и подзорными трубами, следят за движениями своих и неприятельских кораблей и сейчас же о всех важных случаях докладывают по начальству. Они принимают сигналы командующего и репетуют их. Если свой командир захочет сообщить о чем-либо адмиралу, то все

равно без них не обойдешься. Находясь вблизи боевой рубки или внутри ее, куда стекаются все сведения, и, слушая распоряжения начальства, они знают все, что происходит и на собственном корабле.

Когда «Наварин», участвуя в денном бою, окутывался пороховым дымом от собственных выстрелов, старший сигнальщик Иван Седов стоял у входа боевой рубки, так как за бронированными ее стенами и без него было тесно. Крупный и неповоротливый, он неторопливо приставлял бинокль к глазам в белесых ресницах и следил то за неприятелем, то за своими кораблями. Его толстомясое лицо, усеянное веснушками, как будто распухло от напряжения. Иногда он выходил на мостик, чтобы лучше следить за картиной боя. Он первым сообщил командиру:

— Ваше высокоблагородие, «Суворов» вышел из строя.

Фитингоф на это только буркнул:

— Так.

Вскоре толстомясое лицо Седова побледнело. Он крикнул в рубку:

— «Ослябя» гибнет!

Все офицеры заволновались, а командир опять произнес одно только слово:

— Так.

Невозмутимость и равнодушие командира действовали на Седова раздражающе.

От сильного взрыва с левого борта «Наварин» вильнул вправо. Сейчас же в рубку сообщили, что вода заливает отделение носового минного аппарата. Командир распорядился:

— Заделать пробойну!

Позднее, на одном из поворотов эскадры, Фитингоф увидел броненосец «Суворов», изнемогающий от неприятельских снарядов. Командир приказал направить свой броненосец для защиты флагманского корабля. В это время «Наварин» получил в корму два крупных снаряда — с одного борта и с другого. Вся офицерская кают-компания была разрушена и охвачена огнем. Напрасно встревожился Седов. Командир попрежнему равнодушным голосом отдавал распоряжения, нисколько не изменяясь в лице, как будто оно окостенело. В бое-

вую рубку пришло известие, что с пожаром справились, а пробоины, оказавшиеся у самой ватерлинии, забиты мешками и паклей, матрацами и одеялами, хотя этими мерами только отчасти удалось остановить течь.

Были еще незначительные повреждения в верхних частях корабля. Кое-кто пострадал из личного состава. Операционный пункт принял семнадцать человек матросов и трех офицеров — лейтенанта Измайлова, мичманов Шолкунова и Лемишевского.

Командир вышел на мостик. Как-раз в этот момент неприятельский снаряд ударил в площадку формарса. Сверху посыпались осколки и куски железа. Фитингоф сразу опустился на колени, а потом уселся на деревянный настил мостика, не издав ни одного стога. Только лысая голова, фуражка с которой слетела, стала бледной, как снег. Сквозь разорванные брюки виднелись раны на обеих ногах. Согнувшись, он поддерживал руками живот. Когда Седов подлетел к нему, он произнес:

— Так.

Сейчас же его окружили офицеры.

— Бруно Александрович, сильно вас задело? — спросил старший офицер, капитан 2-го ранга, Дуркин.

— Основательно. Кажется, порвало кишки, — ответил командир, не изменяя своего обычного тона, словно речь шла об отлетевшей с тулурки пуговице.

— Может быть, еще поправитесь, — попробовал его успокоить Дуркин.

Командир поднял голову, но тускнеющие глаза свои направил мимо старшего офицера, словно всматривался за пределы жизни.

— Нет уж, отжил на этом свете.

Когда его уложили на носилки, они к кому не обращаясь, промолвил:

— Я знал, что погибну глупо.

Фитингофа снесли в операционный пункт, помещавшийся в жилой палубе.

Броненосцем стал командовать старший офицер Дуркин.

Приближалась ночь.

Эскадра по сигналу адмирала Небогатова развила ход до 12—13 узлов. «Наварин» не отставал от других судов и успешно отбивал минные атаки. На мо-

стиках и верхней палубе стояли матросы, следя за ночным горизонтом. То и дело слышались тревожные голоса, предупреждающие о приближении противника. Изредка броненосец огненными вспышками взрывал сгустившуюся тьму.

Старший сигнальщик Седов был очень утомлен, хотел спать, но боязнь смерти заставляла его бодрствовать. Он продолжал находиться около боевой рубки, почти не отрывая глаз от бинокля. Досадно было, что артиллерия могла пользоваться только дымным порохом и что после каждого выстрела неприятельский миноносец становился невидимым. В девятом часу на мостик прибежал какой-то человек и, столкнувшись впопыхах с Седовым, оторопело спросил:

— Где старший офицер?

Сигнальщик по голосу узнал старшего боцмана.

— В боевой рубке. А для чего он тебе?

Боцман, не ответив Седову, бросился в боевую рубку и торопливо выкрикнул:

— Позвольте, ваше высокоблагородие, доложить.

— В чем дело? — спросил капитан 2-го ранга Дуркин.

— Всю кают-компанию залило водой. Вероятно от большого хода это случилось. Надо полагать — приспособления в пробойнах не выдержали давления воды.

Дуркин, не задумываясь, приказал:

— Задраить непроницаемые двери.

Боцман не уходил.

— Ну, что еще?

— Надо бы, ваше высокоблагородие, подвести пластыри под пробойны.

— Для этого пришлось бы остановиться и отстать от эскадры. Делай лучше то, что тебе приказано.

— Есть, ваше высокоблагородие! — ответил боцман и побежал вниз.

Вслед за ним, по распоряжению старшего офицера, отправился вахтенный начальник, лейтенант Пухов. Через некоторое время он вернулся на мостик и доложил, что приказание исполнено. Вскоре заметили, что броненосец начинает отставать от эскадры. Старший офицер Дуркин, нагнувшись к переговорной трубе, закричал в машину:

— Полный ход! Дайте самый полный ход!

Он ругал кочегаров, проклинал механиков. Однако, несмотря на его решительный приказ, броненосец не мог поспевать за эскадрой. Передние суда удалялись. На мостик поступило сведение, что погружается корма. Через минуту сообщили из машинного отделения: в носовой кочегарке лопнула паровая труба, что заставило выключить из действия три котла. Скорость хода значительно уменьшилась.

Пока «Наварин» шел вместе с эскадрой, неприятельские атаки мало были успешны. Общими силами легче было от них обороняться. Если он почему-либо не замечал приближения миноносцев, то они не могли укрыться от других судов. Для него, стрелявшего дымным порохом, хуже всего было остаться в одиночестве.

Седов слышал, как старший офицер, разгорячившись, кричал в переговорную трубу срывающимся голосом:

— Немедленно исправить паровую трубу! Употребите для этого все средства! Слышите? Я приказываю... я арестую...

Японцы продолжали преследовать броненосец.

Старший артиллерист, лейтенант Измайлов, командовал:

— Стрелять сегментными снарядами!

Неприятельские миноносцы разделились на два отряда, зашли с обеих сторон «Наварина» и, держась немного впереди него, направили на него лучи прожекторов. Этот маневр был предпринят очевидно для того, чтобы сбить с толку русских. Цель была достигнута. Офицеры и орудийная прислуга, сосредоточив все свое внимание по сторонам левого и правого бортов, не заметили, как один из миноносцев зашел с кормы. Его увидели лишь тогда, когда он уже оказался рядом с броненосцем.

— Миноносец под кормой! — вдруг закричали разом несколько человек.

Седов почувствовал, как площадка мостика дернулась из-под его ног, — он полетел кубарем. Ему показалось, что раздвинулось море и заревела сама бездна, потрясая ночь. Одновременно

приподнялся броненосец и задрожал, как на рессорах. Какой-то промежуток времени старший сигнальщик лежал неподвижно, словно оледенелый. И только после того, как вскочил, он снова стал мыслить, различать предметы, слышать крики людей и грохот орудий. На его глазах мичман Верховский, схватив спасательный круг, бросился за борт, увлекая за собою и некоторых матросов.

— Стойте! Что вы делаете! Корабль еще плавает! — громко заорал рулевой Михайлов, стараясь успокоить людей.

— Не авралить! По орудиям! Комендоры, по орудиям! — размахивая руками, громко командовал старший офицер Дуркин.

Постепенно шум стал стихать. Пробили водяную тревогу. Начальству с трудом удалось установить кое-какой порядок и заставить людей занять свои места по судовому расписанию. Начали выяснять повреждения, причиненные миной: разрушена подводная часть правого борта кормы, но руль и винты действовали исправно. С мостика было отдано распоряжение застопорить машины и подвести пластырь под пробойну.

Командира Фитингофа из операционного пункта перенесли в боевую рубку.

— Напрасно стараетесь, — слабо заговорил он, увидев вокруг себя офицеров. — Часа через два я все равно умру. Себя спасайте, а меня оставьте на корабле.

Седов, оправившись от первого потрясения, пошел на корму посмотреть, что там делается. Больше всего поразило его то, что он не увидел кормы: она по самую 12-дюймовую башню погрузилась в море. Волны, издавая тяжелые всплески, перекатывались через ют. И все же люди старались выручить свой броненосец из бедственного положения. Человек сорок матросов, управляемых несколькими офицерами, возились с двумя тяжелыми брезентовыми пластырями. При свете переносных электрических лампочек один брезент развернули и, осторожно шагая по заливаемой палубе, потащили его к проломленному борту.

— Постарайтесь, братцы, иначе погибнем, — уговаривали офицеры своих подчиненных.

Но матросы и сами понимали это и работали, сколько хватало сил. Один из них сорвался за борт и заорал истощенным голосом. В ту же минуту набежала сильная волна, подхватила брезент, а вместе с ним семь или восемь человек. За кормой раздались вопли утопающих. Уцелевшие ничем не могли помочь своим товарищам и безнадежно смотрели во тьму, откуда неслись иступленные крики.

Боцман разразился бранью.

— Ротозен, чорт бы вас подрал... Упустили брезент... Монахи, а не матросы...

Седов надоумил:

— Надо бросить им спасательные средства.

Моментально полетели в море койки с пробочными матрадами.

Снова взялись за работу. Но все старания оказались напрасными: смыло волнами еще несколько человек, а пробойна попрежнему оставалась без подвешенного пластыря. Опять начались минные атаки. Пришлось отказаться от предпринятого дела и дать ход вперед.

«Наварин», вздрогнув, словно выходя из задумчивости, двинулся с места и пошел лишь четырехузловым ходом, держа направление к корейскому берегу.

Седов вернулся на мостик и стал наблюдать за действиями японских миноносцев. Каждый раз, как намечались в темноте их силуэты, замирало сердце. Он вздрагивал от жуткой мысли, что корабль не сумеет отбиться от минных атак. К несчастью, взрыв подорвал в команде всякую уверенность, людьми овладело отчаяние, стрелять стали плохо, почти не целясь, а многие покинули свои пушки. В снастях подывал ветер, за бортами слышались всплески волн, действуя на душу, как похоронная музыка. Вокруг, угрожая смертью, носились миноносцы, и бесполезно было ждать откуда-либо помощь. Они становились все настойчивей, нападали на броненосец справа и слева, выпускали мины, стреляли из мелких орудий, пуле-

метов и даже друзей. Повидимому, они решили во что бы то ни стало покончить с ним.

Осколком задело голову Седову. Кровь полилась ему за ворот рубахи, он побежал в операционный пункт на перевязку. Но только он успел спуститься в жилую палубу, как раздался второй минный взрыв с правого борта, на середине корабля.

Через пробойину с могучим напором хлынула внутрь судна вода, мешая свой рев с криками людей, и забулдила по палубам, попадая в кочегарку, пороховые погреба и другие отделения. Электрическое освещение погасло. В непроглядном мраке металась матросы и офицеры, сталкивались друг с другом и разбивали головы. Многие, блуждая между переборками, не знали, где найти выход. Некоторые проваливались в люки и ломали себе кости. Нельзя было сделать и несколько шагов, чтобы не попасть в какую-нибудь западню. Вопли отчаяния, подавляя разум, неслись из нижних и верхних помещений и со всех сторон. Казалось, кричал от боли сам корабль.

Седов, чувствуя сухость и горечь в горле, словно оно было обожжено огнем, несколько раз падал, прежде чем добрался до выхода. Первый трап он пробежал быстро, а на втором столпилось столько людей, что невозможно было протискаться вперед. Между тем каждый, напрягая последние силы, старался выбежать на верхнюю палубу скорее других. Толкаемые инстинктом самосохранения, все лезли друг на друга, давя и сбивая под ноги слабых, и бились, словно рыба в мотне невода, притоненного к берегу.

— О, дьяволы, выходите! — кричали задние на передних, нажимая на них до боли в ребрах, били их по головам кулаками.

— Дайте дорогу! Меня пропустите! Я — офицер! — бешено приказывал кто-то, задыхаясь от навалившихся на него тел, но его никто не слушал.

Седов не мог пробиться к выходу. Казалось, что ему уже не спастись. Неожиданно дерзкая мысль мелькнула в его сознании. Он отступил шага два назад,

сделал большой прыжок и, вскочив на плечи товарищей, начал быстро подниматься наверх, хватаясь за их головы. На верхних ступенях трапа его задержали чьи-то руки. Посыпались удары по лицу и бокам, кто-то больно впился зубами в ногу. Собрав последние силы, он рванулся вперед с таким порывом, что заставил передние ряды раздвинуться, и сразу оказался на свободе. Он немедленно направился к боевой рубке.

На мостике Седов встретился с рулевым Михайловым, который снабдил его пробочным матрацем. Здесь суетились офицеры и матросы. Обвязывая себя матрацами или пробковыми нагрудниками, запасаясь спасательными кругами, все гадали и не слушали друг друга. Одни из начальствующих лиц предлагали подвести пластырь под новую пробойину, другие — пустить в действие турбины, гонимая, что можно еще выкачать воду. Судовой священник, держа в правой руке крест, а в левой — матросскую койку, стоял на коленях и молился вслух темному небу. О спасении капитана 1-го ранга Фитингофа, который лежал в боевой рубке, никто уже не думал. Временно исполняющий обязанности командира Дуркин, приложив рупор к губам, старался перекричать сотни голосов, командуя:

— Приготовиться к спасению! Катера и шлюпки спустить!

«Наварин» кренился на правый борт постепенно, времени было вполне достаточно, чтобы спустить на воду все паровые катера, бараказы и шлюпки. Из 700 человек экипажа большинство могло бы на них разместиться. Но на корабле не было порядка. Над людьми, вместо командира, теперь властвовал ужас смерти. Он стер грани между офицерами и матросами, свел на-нет чины, ордена, звание, благородное происхождение. Перед ним утратили силу все предписания дисциплинарного устава. Поэтому лишь часть команды бросилась готовить к спуску шлюпки, но и та, торопясь, делала это неумело. Кто-то перерезал лопари, на которых висел паровой катер, — он упал в воду и утонул. Второй такой же катер спустили более осторожно, но на него бросилось

столько людей, что и его постигла та же участь.

Седов, обвязав вокруг себя пробочный матрац, стоял на мостике с рулевым Михайловым, готовый в любой момент броситься в море. Знобящая дрожь пробегала по спине от выкриков, доносившихся с верхней палубы, куда из всех люков поднимались люди и устремлялись в поиски спасательных средств. Разбирали койки, весла, доски, деревянные крышки от ящиков, анкерки. Опоздавшие вырывали эти предметы у других. На баке за спасательный круг ухватилось сразу несколько человек, и каждый тянул его к себе.

— Я первый захватил его! — кричал один.

— Врешь, подлец, я первый! — кричал другой.

Началась драка. Несколько тел, сцепившись друг в друга, рухнули на палубу и покатались к правому борту. То же происходило и в других местах судна.

«Наварин» еле держался на воде. Крен его достиг таких размеров, что с одного борта орудия спустились в воду, а с противоположного торчали вверх. Об отражении минных атак нечего было и думать. Японцы, повидимому, знали о беспомощности броненосца. Один из миноносцев направился к его левому борту, уже не боясь выпрелов.

Матросы, увидав приближение противника, кричали:

— На нас идет!

— Бей его!

— Прыгай за борт!

Офицеры и матросы посыпались в море, словно сталкиваемые невидимой силой.

Миноносец подошел совсем близко. Было видно, как в его носу сверкнул огонек. Это была выпущена мина.

Седов, находясь у левого борта, ухватился за поручни мостика и напряг все тело. Прошли секунды, и вдруг Седов ослеп от пламени, на мгновение раздравшего ночь. Море поднялось выше мачт и сотнями тонн обрушилось на палубу, на мостик и на плечи сигнальщика. Он торопливо пополз на четвереньках по левому борту опродикывающего

ся судна, стараясь скорее попасть на его днище. Он мельком увидел, как этим же бортом были накрыты две шлюпки, уже спущенные на воду и наполненные людьми. Броненосец, погружаясь и булькая, закружил волны и потянул за собою Седова. Но пробковый матрац выбросил его обратно.

Очутившись среди живой барахтающейся массы, он спешил отплыть от нее. К нему протянулись длинные руки баталера Кознякова, от которого он едва отбил кулаками. Рядом слышались чьи-то угрозы:

— Не подплывай! Не хватайся за меня! Убью!

С потонувшего броненосца всплывали бревна, доски, деревянные ящики. За них хваталась команда. Но они, разбрасываемые волнами, многих калечили.

Неприятельские миноносцы, уходя, не спасли ни одного человека. Предстояло пережить ночь, страшную, бессмысленно-жестокую, бесконечно долгую. Пережить ее надо было в воде, качаясь на волнах, плавая без цели и без надежды. Над пловцами висела угрюмая тьма. Ни ум, ни отвага, ни другие личные качества человека не могли уже выручить его из беды. И люди, терзаемые страданиями, дрожали от холода, изнемогали, задыхались.

Когда рассвело, Седов оказался в соседстве не только с живыми товарищами, но и с мертвецами. Какой-то матрац, голова которого была расплюснута бревнами, плавал на пробковом нагруднике. Некоторые затягивали вокруг себя матрацы слишком низко и, попав в воду, перевортывались вниз головой. То в одном месте, то в другом торчали над качающейся зыбью человеческие ноги. До войны начальство никогда не заботилось о том, чтобы научить свою команду, как нужно пользоваться спасательными средствами.

Немного радости принес народившийся день: кругом, кроме неба, очистившегося от облаков, и необозримого моря, блестящего под косыми солнечными лучами, ничего не было видно. Около Седова живых осталось человек тридцать. Они, по возможности, старались не отплывать далеко друг от друга.

Среди них был лейтенант Пухов, который высовывался из спасательного круга, словно из толстого обруча. Поодаль пять матросов держались за опрокинутый ящик из-под таке-лажа.

Часов в восемь увидели на горизонте какое-то приближающееся судно. Это оказался японский миноносец. Все обрадовались, ожидая от него спасения, и начали кричать ему. Но он прошел мимо в двух-трех кабельтовых от них. Японцы, удаляясь, смотрели на погибающих людей в бинокли. Русские моряки долго провожали обезумевшими глазами удаляющийся миноносец.

Один из матросов, державшийся на опоясанном матраце, сошел с ума. Он подплыл к лейтенанту Пухову и, вцепившись сзади в шею, начал топить его. Перепуганный офицер, захлебываясь, взмолился:

— Пусти! Что я тебе сделал?..

Матрос дико завизжал. Пухов беспомощно защищался. Седов пожалел лейтенанта, отличавшегося от других офицеров своей добротой, приблизился к нему и отбил его от матроса. Этот матрос тут же погиб: волною опрокинуло его вниз головою. Одна нога у него была в сапоге, другая — босая, с кривыми пальцами. Он подергал в воздухе ногами и затих.

Недолго прожил и лейтенант Пухов: он странно замахал руками, как будто кого отгоняя, проговорил несколько бессвязных слов и беспомощно свесил голову.

Седов подплыл к тому такелажному ящичку, за который держались пять матросов, и тоже ухватился за него. Товарищи по несчастью, усталые, с посиневшими лицами, с глазами, выкатившимися из орбит, хрипло взывали о спасении, хотя и видели, что вокруг не было никого, кто бы мог оказать им помощь. Одни из них ругались, другие молились.

Солнце медленно поднималось к полдню. Один за другим срывались с ящика матросы и тонули. Те, у которых были подвязаны матрацы или нагрудники, умирали от холода, но продолжали плавать, безмолвные, с искаженными лица-

ми. Руки одного трупа так крепко застыли на шее другого, что волны не могли раз'единить их.

Часам к четверем Седов остался один среди мертвецов, чувствуя, что и ему приходит конец. Две ночи, проведенные без сна, в напряженной работе и постоянном страхе за жизнь, окончательно надломил его сильный организм. Застывая от холода, он даже перестал ощущать страдания. Голова, мутная и тяжелая, словно налитая свинцом, склонялась на грудь, веки смыкались. Он делал усилия, чтобы не заснуть, и, не переставая надеяться на помощь, смотрел в сияющую пустоту морской шири. Над головой, издавая звуки, похожие то на пронзительные жалобы, то на хрипящий хохот, летали чайки. Одна из них, ослепительно белая, села на торчащее из воды колено мертвеца и удивленно уставилась черными, в красных ободках, глазами на Седова, словно ожидая его гибели. Порою ему казалось, что качается солнце и опрокидывается небо, а сам он куда-то стремительно летит; то будто какое-то чудовище хватает за ноги и тянет ко дну. Он метался, вернее, делал слабые конвульсивные движения, сознавая, что жизнь от него уходит. И в то время, когда все силы были потрачены, когда в мозгу едва мерцала мысль, взор Седова случайно остановился на серой дымящейся точке. Приближаясь, она быстро увеличивалась, словно распухала. Сразу по-иному забилося сердце. Воздух, обжигая легкие, полыхнул нестерпимым жаром. В голове загудело, как будто заработали сотни турбин. Перед глазами рассыпался сноп разноцветных звезд, и в этом звездопаде бешено запрыгало опромное изумрудное солнце. И вдруг словно сменилась театральная декорация: до самого горизонта распахнулись луга. В зеленом просторе полей, по колеблющимся травам, густо дымя, шел «Наварин». Разве броненосец не утонул? И почему у него только при трубы? Седов старался вспомнить — и не мог. Стало страшно: броненосец, приближаясь, шел прямо на него. Он поднял руки, как будто защищаясь от наводнения, и захрипел:

— Спасите... Спасите...

Какие-то люди подхватили Седова, раздевали и ворочали его, а он искал глазами среди них своих товарищей с «Наварина» и не понимал, что находится на палубе японского миноносца¹⁾.

IV

Отрядом крейсеров 2-й эскадры командовал контр-адмирал Оскар Адольфович Энквист. Какими соображениями руководствовалось морское министерство, назначая его на такой ответственный пост, никому не было известно. Очевидно, выбор пал на него только потому, что он имел солидную внешность: коренастый, широкоплечий, с раскидистой седой бородой. Во время похода эскадры старик часто показывался на мостике в круглом белом шлеме, в белых брюках и в белом, похожем на просторную кофту, кителе. Если бы не золотые пуговицы и не золотые погоны с черными орлами, никто из посторонних не мог бы признать в нем адмирала русского флота. Походкой, манерой держаться и говорить Энквист напоминал доброго помещика, любимого своими служащими и рабами за то, что он тихого нрава, ни во что не вмешивается и неумен. При таком барине его крепостным жилось лучше, чем у соседних господ.

На 2-й эскадре его звали: «Плантагор».

С 1895 по 1899 год он был командиром крейсера 1-го ранга «Герцог Эдинбургский». На этом учебном судне, ходившем под парусами, подготавливались строевые квартирмейстеры. Таким образом, из Энквиста выработался типичный марсфлот. Раньше он не только никогда не командовал отрядом боевых судов, но и не плавал на новейших броненосцах или крейсерах, снабженных усовершенствованной техникой. До Русско-Японской войны он служил градоначальником в городе Николаеве, где благодаря своему мягкому характеру стяжал любовь среди местных жителей. Высшее

¹⁾ Из 700 человек команды «Наварина», как впоследствии выяснилось, кроме Седова, спаслись еще двое: комендор Кузьмин и кочегар Дергачев. Их подобрал английский пароход и, доставив в Тянь-Тзинь, сдал русскому консулу.

начальство сняло его с этой должности и поручило ему вести корабли в бой, чтобы овладеть Японским морем и решить участь всей войны. Неуверенный, во всем сомневающийся, безвольный, он, когда отдавал какое-нибудь распоряжение своим помощникам, сейчас же вставляла свою любимую поговорку:

— А хорошо ли будет?

В таких случаях его всегда выручал старший флаг-офицер, лейтенант фон-Ден, отвечая:

— Должно получиться отлично, ваше превосходительство.

Старший флаг-офицер, умный и выдержанный аристократ, пользовался во флоте большим влиянием. Энквист всегда соглашался со всеми его предложениями. Пока адмирал во время похода 2-й эскадры плавал на крейсерах «Алмаз» и «Нахимов», фактически командовал отрядом фон-Ден.

Начиная с бухты Ван-Фонг, когда Энквист перенес свой флаг на «Олега», на все дела отряда стал сильно влиять командир этого крейсера, капитан 1-го ранга Добротворский. Это был офицер громадного роста, сильный, с раздувшимся, как резиновый шар, лицом, буйно заросшим черной с проседью бородой. Властолюбивый и самоуверенный, он считал себя знатоком современного военноморского дела и не терпел возражений. Фон-Ден растерялся перед ним, а Энквист всецело подчинился ему. Молодые офицеры по этому поводу острили:

— Добротворский вращает адмиральским мнением, как рулевой кораблем.

В молодости своей Добротворский был близок к партии народолюбцев, но прошлые красные убеждения его постепенно бледнели, как бледнеет с течением времени кумачевая материя. Он стал заботиться только о своей карьере. Но в то же время офицеры считали его либералом. Он никогда не был доволен установившимися морскими традициями и подвергал их жестокой критике. Не избежал насмешек и вверенный ему крейсер «Олег», о котором он говорил:

— Только глупая голова могла допустить такой тип судна. Он годен не для сражения, а для разведочной службы и

уничтожения неприятельской торговли. Шестидюймовые орудия находятся или в броневых башнях, или в броневых казематах. Прекрасно! А борта корпуса совершенно не защищены броней. О подобных крейсерах можно сказать: руки в перчатках, а тело голое.

За свою наружность Добротворский получил во флоте прозвище: «Слон».

Офицеры крейсерского отряда, говоря об Энквисте, смеялись:

— Наш Плантатор начал свое хозяйство с того, что завел себе Слона.

Совещаний с командирами крейсеров адмирал не устраивал. Да и о чем с ними можно было бы говорить? Голова его не была приспособлена для того, чтобы придумать или изобрести для них что-нибудь новое в смысле военном, а директив от командующего эскадрой он сам не имел. Поэтому корабли отряда посещались им лишь в исключительных случаях. При таких условиях никакой внутренней связи, необходимой для успеха дела, у Энквиста с отрядом не было. Он был популярен, как веселый анекдот.

Так тихо и скромно, никому не мешая, как не мешает икона с изображением гекривительствующего морякам Николая угодника, Энквист добрался со своим отрядом до Цусимского пролива.

По инструкции, данной Рождественским задолго до сражения, наши крейсера при встрече с японским флотом должны были выполнять обязанности: «Изумруд» и «Жемчуг» охраняют свои броненосцы от минных атак; разведочный отряд — «Светлана» (под брейдивмпелом капитана 1-го ранга Шеина), «Урал» и «Алмаз» — защищают транспорты; «Олег» (под флагом контр-адмирала Энквиста), «Аврора», «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах» также защищают транспорты и, в случае надобности, действуют самостоятельно, помогая главным нашим силам. Но 13 мая Рождественский распорядился, чтобы «Донской» и «Мономах» состояли только при транспортах. В распоряжении Энквиста для самостоятельных действий остались всего два крейсера. Эти крей-

серы и все остальные суда имели предписание держаться в бою на стороне броненосцев, противоположной противнику, вне перелетов его снарядов.

В день сражения, 14 мая, когда начали появляться на горизонте неприятельские разведочные корабли, Энквист находился на мостике. Смотря на них, адмирал обратился к своим помощникам:

— Конечно, нам следовало бы эти разведочные суда прогнать, а еще лучше — утопить их. Но хорошо ли будет, если мы это сделаем без приказа начальника эскадры?

Добротворский согласился с ним и добавил:

— Да, он наверное не одобрит такого действия. Может быть, у него имеются особые планы. Нам ничего не известно. Поэтому своим самостоятельным движением мы можем принести только вред его замыслам.

Когда слева появились главные силы противника, наши крейсера и транспорты по сигналу Рождественского увеличили ход и перешли на правую сторону колонны броненосцев. «Олег» и «Аврора» стали впереди транспортов, в хвосте — разведочный отряд, слева — «Донской», справа — «Мономах». Началось сражение главных сил.

С востока приблизился кабельтовых на сорок японский легкий крейсер «Идзуми» и открыл стрельбу по транспортам. Но под действием русского огня он скоро удалился. Через полчаса с «Олега» увидели, что с юга направляются к транспортам, догоняя их, 3-й и 4-й боевые отряды противника. В состав этих отрядов входили бронепалубные крейсера: «Касаги» (под флагом вице-адмирала Дева), «Читозе», «Отова» и «Нийтака»; затем — «Нанива» (под флагом вице-адмирала Уриу), «Такачиха», «Акаши» и «Цусима». Они открыли огонь по нашим концевым транспортам и крейсерам.

— Надо выручать своих, — промолвил контр-адмирал Энквист.

Но Добротворский и без него уже сделал соответствующее распоряжение. «Олег» повернул в сторону японцев. За ним пошли «Аврора», «Донской» и «Мономах».

— А хорошо ли будет? — задал свой обычный вопрос Энквист.

— Это потом увидим, — недовольно ответил Добротворский.

С противником сражались на контр-курсах, на расстоянии, не превышавшем 30 кабельтовых. Здесь японские суда стреляли не так метко, как главные их силы. Однако русские крейсера и транспорты сразу же начали нервничать и терять строй. Вскоре противник повернул и продолжал бой на параллельных курсах. К месту сражения подошел 5-й боевой отряд: «Ицукусима» (под флагом вице-адмирала Катаоко), «Чин-Иен», «Мацусима» и «Хасидате», а немного позже — 6-й отряд: «Сума» (под флагом контр-адмирала Того-младшего), «Чиода», «Акицусима» и «Идзуми». Неприятельские силы удвоились. С этого момента русские стали нести жестокое поражение. Транспорты кучей шарахались во все стороны. Крейсера, избегая столкновения с ними, все время меняли курс. Движения русских судов настолько были запутаны, что если бы их пути изобразить чертежами на бумаге, то получились бы удивительные узлы и петли.

Пока среди транспортов и крейсеров происходило смятение, колонна броненосцев значительно ушла вперед. В стороне от них пылал флагманский корабль «Суворов». Отзывчивый Энквист, увидев его, распорядился направить «Олега» и «Аврору» к нему на помощь. Это было первое решительное действие адмирала. Но когда сближались с «Суворовым», то заметили, что к нему подходят свои броненосцы. «Олег» и «Аврора» повернули обратно к транспортам. За этими двумя крейсерами увязались «Изумруд» и «Жемчуг», до сих пор находившиеся около броненосцев.

Четыре неприятельских боевых отряда, имея явное преимущество на своей стороне, энергично обстреливали русские транспорты и крейсера. «Олег» и «Аврора» получили по несколько пробоин у ватер-линии, и некоторые их отделения были затоплены водой. В «Жемчуг» попало несколько случайных снарядов еще раньше, когда он находился около главных сил. «Светлана» села но-

сом, но продолжала поддерживать огонь. Русские крейсера, действуя разрозненно, без определенного плана, толпились на одном месте, как будто никогда и не были военными кораблями. Создавалось впечатление полной неразберихи. «Урал» навалился носом на корму «Жемчуга», помял ему лопасти правого винта и разломал заряженный минный аппарат. Мина упала в воду, но не взорвалась. Вскоре «Урал» был настолько поврежден снарядами, что поднял сигнал о бедствии. Спасением людей с этого судна занялись буксирные пароходы «Русь» и «Свирь» и транспорт «Анадырь». Японцы продолжали их обстреливать. В суматохе, под градом падающих снарядов, «Анадырь» протаранил борт «Руси», и она быстро погрузилась на дно. Ее экипаж успел перебраться на «Свирь». Пловучая мастерская «Камчатка», получив повреждение в рулевом приводе, лишилась способности управляться.

При таких условиях русские крейсера и транспорты были обречены на гибель, если бы случайно не подошли к ним свои броненосцы. Главные силы противника потеряли их, и они, направляясь на юг, прошли между своими крейсерами и японскими. В это время существенно пострадал противник. «Касаги» под командой «Читозе» удалился с места сражения. Вышел из строя «Мацусима» и не мог присоединиться к своему отряду до темноты. Получили повреждения «Такачиха» и «Нанива».

Около шести часов японские крейсера вышли из боя и скрылись в юго-западном направлении.

Русские броненосцы снова повернули на север и снова встретились с главными неприятельскими силами. Это был последний час артиллерийской дуэли. Позади своих броненосцев, слева, кабельтовых в тридцати, держались наши крейсера. Не имея около себя противника, они успели оправиться и по сигналу Энквиста выстроились в кильватерную линию, по сторонам которой нелепо расположились транспорты. Слева, поодаль, собрались миноносцы. Один из них, «Безупречный», полным ходом пронесся к концевым броненосцам, держа на мачте сигнал: «Адмирал Рождественский пе-

редает командование адмиралу Небогатову. Итти во Владивосток». Этот сигнал отретировал «Олег» и другие крейсера.

При заходе солнца, когда главные неприятельские силы удалялись к своим берегам, на горизонте показались отряды японских миноносцев. Наши броненосцы, теряя строй, бросились от них влево и пошли на юг. Крейсера, миноносцы и транспорты тоже повернули на шестнадцать румбов и оказались впереди броненосцев. Быстро темнело. Начались минные атаки. Наступил момент, когда главные наши силы больше всего нуждались в помощи крейсеров. Если они днем не принесли никакой пользы ни транспортам, ни броненосцам, то хотя бы теперь должны были проявить себя. Но во время еще пути на Дальний Восток мы все, начиная с командующего эскадрой и кончая последним матросом, были уверены в том, что для нас опасны не столько артиллерийские бои, сколько минные атаки. Сказалось это и теперь. По распоряжению командира Добротворского, «Олег», находясь головным, дал полный ход. За флагманским кораблем могли поспеть только «Аврора» и «Жемчуг». Крейсера «Дмитрий Донской», «Владимир Мономах» и подбитая, с сильным дифферентом на нос, «Светлана» быстро стали отставать. «Изумруд» вернулся к своим броненосцам. «Алмаз» помчался к японским берегам, рассчитывая, что вблизи них безопаснее будет следовать во Владивосток. В разные стороны направились миноносцы и транспорты. С наступлением темноты эскадра перестала существовать, разбившись на отдельные самостоятельные отряды и единицы.

«Олег» развил ход до восемнадцати узлов, оставляя позади себя грохот канонады. В темноте трудно было разобрать, кто в кого стреляет. По временам появлялись вблизи неприятельские миноносцы и пускали мины. Крейсер спасался от них перекаладыванием руля с борта на борт.

Энквист беспокоился:

— Мы развили такой сильный ход, что можем разлучиться с броненосцами. Хорошо ли это будет?

Добротворский уверенно ответил:

— Иначе, ваше превосходительство, японцы нас взорвут. Мы должны принимать атаку не бортами, а кормой, чтобы струей и водоворотами отбрасывать мины. Этого требует морская тактика.

Адмирал согласился с ним и на время замолчал. А когда ночь перестала грохотать орудиями, он снова заговорил:

— Надо бы нам повернуть обратно. Как вы думаете?

Добротворский возразил:

— Мы можем встретиться со своими броненосцами. Ведь они идут позади одним с нами курсом. В темноте они примут нас за неприятеля. Достаточно несколько снарядов, чтобы уничтожить наш картонный крейсер.

Однако адмирал не мог примириться с доводами командира и становился все настойчивее. Боевой приказ, гласивший, что все суда должны пробиваться во Владивосток, не выходил у него из головы. Командиру пришлось подчиниться ему. За вечер отряд крейсеров дважды пытался повернуть на север, но каждый раз наткнулся на неприятельские миноносцы. Около девяти часов перед ним засверкали десятки разбросанных огней, принадлежащих вероятно рыбачьим судам.

— Вся японская эскадра преследует нас,—тревожно заговорили на мостике.

После этого твердо решили итти на юг. Но адмирал был недоволен таким решением и продолжал сокрушаться. Добротворский успокаивал его:

— Собственно говоря, зачем нам итти во Владивосток? Будучи еще в Камране, я слышал, что он отрезан с суши японцами. Кроме того, в приказе Рождественского прямо сказано, что пробиваться на север мы должны только соединенными силами. Мы не имеем права нарушить этот приказ. Наконец, ваше превосходительство, вы сами видели, что эскадра повернула на юг. С гибелью нескольких броненосцев прорыв во Владивосток потерял всякий смысл. Очевидно, эскадра отступает в Шанхай, где остались шесть наших транспортов. А те корабли, которые вздумают самостоятельно пробиваться на север, будут

уничтожены. Это для меня не подлежит никакому сомнению. А раз так, то лучше интернироваться в нейтральном порту, чем губить остатки нашего флота.

Энквист вздохнул и ничего не сказал.

Под утро «Олег» уменьшил ход до 15 узлов. Минные атаки прекратились. Внутри крейсера происходили работы по заделыванию пробоин в корпусе и выкачиванию воды из помещений.

На рассвете 15 мая увидели, что с «Олегом» оказались лишь «Аврора» и «Жемчуг». На горизонте не замечалось ни одного дымка. Чтобы сэкономить уголь, убавили ход до 10 узлов...

Начали выяснять, сколько вышло из строя людей: на трех крейсерах убиты 32 и ранены 132 человека.

В полдень адмирал перенес свой флаг на «Аврору» и перевел туда свой штаб, состоявший из флагманского штурмана Де-Ливрона, старшего флаг-офицера фон-Дена и младшего Зорина, нескольких сигнальщиков и вестовых. Энквист решил взять крейсер под свое командование, так как командир «Авроры», капитан 1-го ранга Егорьев, был убит, а заменивший его старший офицер Небольсин тяжело ранен.

В три часа легли на курс SW 48° и пошли 8-узловым ходом, направляясь в Шанхай.

Больше адмирал ни разу не задал своего обычного вопроса:

— А хорошо ли будет?

Наоборот, он успокаивал и себя, и своих подчиненных:

— Возможно, что завтра эскадра догонит нас. Мы не идем, а ползем. А она наверное развила ход не меньше 12 узлов.

Утром 16 мая адмиралу доложили, что сзади, на горизонте, показался какой-то небольшой пароход. Вскоре выяснилось, что это идет в Шанхай «Свирь». Крейсерский отряд застопорил машины. Часов в девять утра пароход приблизился к «Авроре». Энквист, находясь на мостике, схватил рупор и, приложив его к губам, крикнул на «Свирь»:

— Капитан! Где наша эскадра и что с нею?

Ему громко и отчетливо ответил лейтенант Ширинский-Шахматов, снятый с погибшего «Урала»:

— Вам, ваше превосходительство, лучше знать, где наша эскадра!

Энквист беспомощно опустил рупор и покраснел. Он понял, что офицеры смотрят на него, как на дезертира, убежавшего с поля сражения. Смущенный, ни на кого не глядя, он тихо распорядился:

— Пусть «Свирь» идет в Шанхай и оттуда вышлет нам транспорт с углем. Мы направимся с отрядом в Маниллу. Американские власти отнесутся к нам лучше, чем китайские: мы исправим повреждения, не разоружаясь.

Адмирал сошел с мостика и заперся в своей каюте.

Отряд крейсеров дал экономический ход и взял курс к Филиппинским островам.

Через трое суток, вечером, когда находились около Люцона, самого большого острова из Филиппинского архипелага, встретился немецкий пароход. Он сообщил сигналом, что видел русский вспомогательный крейсер «Днепр» в широте 19° северной и долготе 120° восточной. С «Авроры» поблагодарили пароход за данные сведения и продолжали путь.

20 мая завернули в порт Сеул, но в нем не оказалось ни угля, ни провизии, ни мастерских. Порт был заброшен американцами. Пошли дальше. На следующий день в ста милях от Маниллы открыли по курсу пять дымков. Потом показались суда, шедшие навстречу кильватерной колонной. Это были военные корабли. Очевидно японцы догадались, куда направился отряд русских крейсеров, и решили истребить эти жалкие остатки 2-й эскадры.

Весть о приближении неприятеля моментально облетела весь экипаж «Авроры». Что могут поделать три избитых корабля против пяти? Бегством также нельзя спастись, потому что уголь на крейсерах был на исходе. У матросов и офицеров был такой вид, как будто их долго трепала тропическая малярия.

С того часа, как «Аврора» встретила со «Свирью», адмирал Энквист все вре-

мя проводил у себя в каюте. Он не знал, что неприятельскими минами были утоплены четыре русских корабля: «Владимир Мономах», «Адмирал Нахимов», «Сисой Великий», и «Наварин». Но ему вероятно приходила мысль, что от ночных атак часть эскадры несомненно погибла. А он бросил свои суда в самый критический момент и удрал, чтобы самому не подвергнуться опасности. Он изменил родине, наградившей его чинами и орденами. До Цусимы ему везло: попадались хорошие помощники, благодаря которым он выдвигался вперед и считался в глазах высшей власти лучшим адмиралом. А тут судьба свела его с Добротворским. Это он во всем виноват. Энквист терзался в одиночестве, не выходя из своей каюты и ни с кем не разговаривая.

Когда ему доложили, что навстречу идет японская эскадра, он как будто обрадовался. Быстро и легко шагая, он поднялся на мостик. На седобородом похулевшем лице адмирала появилось незаметное подчиненным выражение решимости. Он взял бинокль и посмотрел вперед. Надвигающаяся катастрофа не смутила его. Он молодежато повернулся к своим помощникам и властно, чего никогда с ним не бывало, отдал распоряжение:

— Свистать всех наверх!

Полубак «Альфы» быстро заполнился людьми. Адмирал, не сходя с мостика, выступил перед ними с речью. Он говорил с таким вдохновением, какого никто от него не ожидал. С каждым словом, произнесенным им, вздрагивала его длинная седая борода. Матросы и офицеры, вслушиваясь в речь своего начальника, тоскливо оглядывались: не для них сияло утреннее небо и широко распласталось тропическое море, и для них волнисто протянулся в синюю даль остров Люшон, напоминающий о мле и безопасности. От сознания близости гибели обескровились их лица и потнели глаза. Энквист же, несмотря на езнадежность положения, призывал их к мужеству:

— Дерзкий враг преследует нас даже в нейтральных водах американских владений. Ну что же? Если нельзя избе-

жать боя, то мы примем его, как подобает доблестным воинам. Умрем с честью за родину, но достанется от нас и японцам. Мы будем, не жалея себя, сражаться, пока не израсходуем все снаряды. Больше того! Мы сцепимся с кораблями неприятеля на бордаж! Да, на бордаж!

Последние слова он выкрикнул, вложив в них всю страсть наболевшей души, и для чего-то правой рукой описал в воздухе широкий круг.

Младший штурман, мичман Эймонт, негромко сострил:

— Слава тебе, представителю парусного флота.

Адмирал браво откинул голову и приказал:

— Бить боевую тревогу!

Под звуки горниста и барабана люди разошлись по местам, согласно судового расписания. Наступила напряженная тишина. Только на мостике офицеры, глядя на приближающиеся корабли, тихо разговаривали с адмиралом:

— Похожи на броненосные крейсеры, ваше превосходительство.

— Вероятно, сам Камимура идет на нас.

— Но почему же он не открывает огня?

Сигнальщик, находившийся для наблюдений на фор-марсе, неожиданно выкрикнул фальцетом, как молодой петух: — Это не японцы идут!

Через минуту старший флаг-офицер фон-Ден точно определил: навстречу шла американская эскадра под флагом вице-адмирала. На мостике заговорили громче. По всему кораблю, до самых нижних помещений, разлилась необыкновенная радость. На «Авроре» пробили отбой. Вместо ожидаемого сражения, та и другая сторона обменялись орудийными салютами. Дружественная эскадра сделала поворот на шестнадцать румбов и пошла вместе с отрядом русских крейсеров, держась на их траверзе, но значительно мористее. Как впоследствии выяснилось, американцы, узнав из телеграфных сообщений, что к Филиппинам приблизились остатки русского флота, чарочно выслали два броненосца и три крейсера, чтобы взять их под свою за-

щину в случае появления японцев в нейтральных водах.

Один только Энквист не разделял общей радости. Он как-то сразу обмяк и нахмурился, опять превратившись из адмирала в «Плантатора». Не трудно было догадаться, что у него нехватало силы воли покончить с собою, но он честно приготовился подставить грудь под японские снаряды, надеясь этим вернуть утраченную честь. Ожидание не оправдалось. Вскоре он сошел вниз, чтобы в одиночестве переживать терзания нарушенной совести.

К вечеру отряд русских крейсеров, сопровождаемый американской эскадрой, вошел в Манильскую бухту и стал на якорь¹⁾.

V

Эскадренный броненосец «Бородино» так же, как и «Орел», вступил в состав 2-й эскадры прямо с постройки. Он начал свою жизнь раньше времени, не успев избавиться от многих недостатков в механизмах. Поэтому в походе на нем то и дело случались разные аварии с рулем, машинами и котлами. На поворотах он часто вылетал из строя, угрожая соседним кораблям столкновением. Несколько раз взрывались фланцы паровых труб, а также неоднократно наблюдалась потеря большого количества пресной воды, предназначенной для питания котлов. Кроме того, броненосец оказался чрезвычайно валким, особенно, когда шел перегруженный углем. Во время шторма он так ложился на тот или

¹⁾ Русским крейсерам все же пришлось разоружиться. Впоследствии правительство не знало, как отнестись к адмиралу Энквисту и его офицерам: не то их отдать под суд за то, что они не выполнили боевого приказа, не то наградить их за то, что они спасли три судна. На них просто махнули рукой.

Энквист вскоре вышел в отставку, поселился в тихой Гатчине и совершенно не появлялся на людях. Он даже не присутствовал на похоронах своей жены. Тоска черным облаком заслонила от него жизнь. Он постепенно хирел, и медицина, не зная его болезни, не могла помочь ему. У него появилась слезоточивость, словно он таял, как снеговая фигура в оттепель. В 1911 году останки его брениго тела свезли на кронштадтское кладбище.

другой борт, что старые и бывалые моряки, качая головами, говорили:

— Не миновать беды.

«Бородино» почти ежедневно получал выговоры сигналами. В глазах адмирала Рожественского это был самый несправедливый корабль во всей эскадре. Раздражало командующего и то, что командир броненосца, капитан 1-го ранга Серебренников, был самостоятельным офицером, и то, что в молодости своей он, как и командир «Орла», принадлежал к партии народолюбцев и даже сидел в тюрьме.

— Безмозглый нипилист. Ему командовать только чухонской лайбой, а не броненосцем, — говорил о нем адмирал.

Совершенно иначе относилась к своему командиру команда. Он понимал ее, умел подойти к ней по-человечески, вникал в ее нужды. Не в пример другим кораблям матросы его были и одеты лучше, и накормлены более сытно. На библиотечку для них, уходя из России, он перенес не только экономические суммы, но и доложил из своих собственных денег. Он сам раздавал им газеты, какие получались во время плавания. А в той мрачной жизни, какая царит на всей эскадре, и этого было достаточно, чтобы овладеть любовью команды. Поэтому и служба на «Бородине» была налажена лучше, чем на других кораблях.

В день сражения при Цусиме, после обеда, когда на горизонте появились главные неприятельские силы, команда «Бородина» была собрана на шканцах. Командир Серебренников произнес краткую речь, призывая всех поддержать честь корабля. В числе других матросов находился здесь и марсовый Семен Юшин. Уроженец Тамбовской губернии, выросший в глухих лесах Темниковского уезда, он выделялся среди остальных товарищей своей плотной, словно литой, фигурой с могучей грудью и широкими плечами. Большие и густые усы, склеенные для красоты мылом, устрашающе свисали в стороны, как две острых пики. Это был малограмотный, но сообразительный и лихой матрос. Слушая ко-

мандира, он смотрел на него так, как смотрит верующий человек на чудотворную икону.

После речи ударили боевую тревогу.

Марсовой Ющин бегом направился в носовой каземат, где по боевому расписанию он должен был выполнять обязанности второго номера при 75-миллиметровой пушке. Здесь собралось двенадцать матросов, кондуктор Чепакин и поручик граф Беннингсен. Этот поручик, командуя носовым казематом, приказал согласно распоряжения боевой рубки наводить орудия на головной неприятельский броненосец, когда тот появился на левом траверзе.

Броненосец содрогнулся от выстрелов.

Неприятельский огонь был сосредоточен главным образом на флагманских кораблях. На «Бородино» как будто не обращали внимания. В первый час боя он имел мало повреждений. Несколько снарядов попало в верхнюю часть корабля. Вспыхнули пожары, но их скоро удалось потушить.

Ющин работал с увлечением, совсем не думая о смерти. И само сражение уже не казалось ему таким страшным, каким представлялось раньше. Настроенный патристически, он заботился лишь о том, чтобы нанести больше вреда японцам. Разгоряченное лицо его покрылось потом.

Неожиданно стрельба прекратилась.

Ющин выпрямился и тут только заметил, что «Бородино» выкатился из строя вправо и шел в одиночестве. «Что-то случилось с рулевым приводом, — подумал марсовой, — вероятно заклинился штурвал в боевой рубке». Минут через пятнадцать повреждения были исправлены. Когда броненосец поворачивался, чтобы вступить на свое место, Ющин выглянул в орудийный порт. Сбоку боевой колонны, кабельтовых в десяти, горел «Осябя», зарывшийся носом в море по самые клюзы. Увидел это и командир каземата Беннингсен, отметивший, как бы про себя:

— Недолго продержится на воде.

— Бить их нужно, ваше благородие, японцев-то, — словно пьяный, заорал вдруг Ющин.

Но поручик Беннингсен ничего не ответил, — раздались крики матросов, стоявших на голосовой передаче:

— Носильщики, бегом в боевую рубку!

Сверху в носовой каземат спустился матрос. Лицо у него раздулось и почернело, с одной щеки до самого уха была содрана кожа. Мотая головой, он выкрикивал:

— О, дьяволы, дьяволы!

Ющин, полагая, что этот матрос разыскивает перевязочный пункт и не может найти, хотел отвести раненого туда, но тот оттолкнул его.

— Отстань!

И торопливо полез наверх.

В носовом каземате вскоре узнали от носильщиков подробности о боевой рубке. Оказалось, что у ее входа разорвался снаряд крупного калибра, разрушивший весь мостик. Старший штурман Чайковский и младший штурман Де-Ливрон были разорваны. Старший минер, лейтенант Геркен, был отнесен в операционный пункт в бессознательном состоянии. Старший артиллерист, лейтенант Завалишин, сам спустился с мостика, но из его распоротого живота повалились внутренности, — он упал и через несколько минут умер. Были убиты телефонисты и рулевые. У командира Серебренникова оторвало кисть правой руки. Командовать судном он больше не мог, и его отправили в операционный пункт.

Боевая рубка с артиллерийскими приборами, со штурвалом, с машинным телеграфом, с переговорными трубами окончательно вышла из строя. Управление кораблем перешло в центральный пост. За командира вступил в командование старший офицер, капитан 2-го ранга Макаров.

Выходили из строя орудия и люди, разрушались приборы, увеличивалось число пробоев в бортах. Управлять броненосцем из центрального поста оказалось делом очень трудным. Чтобы следить за боем и принимать соответствующие меры, командир должен был находиться или в батарейной палубе, или в одной из орудийных башен. Свои распоряжения он отдавал голосом по пере-

говорной трубе в центральный пост, расположенный на самом днище корабля, а оттуда эти распоряжения, повторенные другим офицером, уже поступали в остальные части корабля. Стрельба орудий, взрывы неприятельских снарядов, выкрики трюмно-пожарного дивизиона, вопли раненых — все это мешало правильному командованию. Путали слова, переспрашивали. Каждый вновь вступающий в обязанности командира быстро выходил из строя. Пока на его место прискивали кого-либо другого из начальствующих лиц, командование броненосцем обрывалось.

Один за другим вышли из строя «Суворов» и «Александр III». За головного остался «Бородино». Отстреливаясь, он шел вперед, едва управляемый оставшимися в живых мичманами. По палубам пронеслись крики:

— Минная атака!

Семен Ющин из носового каземата увидел на горизонте несколько миноносцев. По ним открыли учащенную стрельбу. Они скоро удалились, не причинив эскадре вреда.

Японцы два раза теряли из виду русские суда. В шестом часу во время второго перерыва боя «Бородино» мог немного оправиться. Здоровые начали подниматься из нижних помещений наверх. В носовом каземате собралось несколько человек. Пришел с перевязки и поручик Беннингсен, который незадолго до этого был тяжело ранен, и, обращаясь к матросам, спросил:

— Ну, как, братцы, дела?

— Никуда, ваше благородие, не годятся, — ответил ему Ющин. — Если еще раз нападут японцы, то доконают нас.

Поручик покачал головой и сказал:

— Да, я не ожидал, что они будут так сражаться.

Потом выглянул в орудийный порт.

— А где же «Суворов» и «Александр»?

Ему объяснили, что оба эти корабля вышли из строя с большими разрушениями в верхних частях и с пожарами и что дальнейшая их судьба неизвестна.

Поручик вздохнул:

— Эх, сунулись мы, неучи, воевать.

«Бородино» имел небольшой крен на правый борт. Кто-то кричал, чтобы тащили на срез пластырь. Где была пробоина и каких размеров, Ющин не знал. Он принялся за починку своей пушки, заклиненной осколком. Пока он возился с нею, с правого борта показались шесть неприятельских кораблей. В носовом каземате сразу все замолчали, предчувствуя, что приближается конец.

Снова завязался бой.

Эскадру вел «Бородино».

Японцы и на этот раз применили к русским первоначальную свою тактику — бить по головному кораблю. До сих пор «Бородино», несмотря на повреждения и большие потери в людях, держался стойко. На нем еще действовала кормовая 12-дюймовая башня и три 6-дюймовые башни правого борта. Подводных пробоин корабль, повидимому, не имел. Но теперь, под залпами шести неприятельских кораблей, энергия его быстро истощалась. Казалось, на него обрушивались удары тысячепудовых молотов. Он запылал, как деревенская изба. Дым, смешанный с газами, проникал во все верхние отделения.

Семен Ющин, работая у 75-миллиметровой пушки, задыхался вонючими газами. Из глаз катились слезы, что-то царапало в горле. Почти каждую минуту внутри судна раздавались взрывы.

Поручик Беннингсен крикнул своим подчиненным:

— Бесполезно стрелять из мелкой артиллерии. Надо уйти под прикрытие.

Беннингсен вдруг ухватился одной рукой за грудь и завопил:

— Ай-ай... Горячо, горячо...

Потом закружился, словно в нелепом танце, и грохнулся на палубу.

В ту же минуту прибежал сверху сигнальщик, оторопелый, в разорванной фланелевой рубахе, с лицом, покрытым пятнами крови.

— Где офицеры? — оглядываясь, зорал он.

— Вон один лежит мертвый, — ответили ему. — А что?

— Наверху из строевого начальства не осталось ни одного человека. Ищем по всем отделениям, и никого не нахо-

дим. Либо убиты, либо ранены. Некому стало командовать кораблем.

Сигнальщик убежал в корму.

Броненосец «Бородино», содрогаясь от взрывов неприятельских снарядов, продолжал идти вперед. Повидимому, он управлялся только матросами. Огонь его постепенно слабел. Куда он держал курс? Неизвестно. Пока на нем исправно работали машины, он просто шел по румбу компаса, на какой случайно был повернут. А вся эскадра при наличии оставшихся в живых многих капитанов 1-го ранга и трех адмиралов плелась за ним, как за вожаком. Вероятно так же было и в то время, когда вел ее «Александр III». И все это произошло потому, что перед боем был приказ Рожественского: если выходит из строя головное судно, то эскадру ведет следующий мателот.

Все матросы, находившиеся в носовом каземате, спустились вместе с кондуктором Чапакиным на один этаж ниже, под броневую палубу. Там было несколько человек раненых, уже получивших медицинскую помощь в операционном пункте. Марсовой Юшин спросил у них:

— Ну, как командир?

Ему ответили:

— Лежит. Все спрашивает, как идет бой. А сам командовать не может. Много крови потерял.

— А где старший офицер Макаров?

— Он тоже, говорят, ранен был, но только в операционный пункт не приходил совсем. И никто не знает, где он находится.

Кондуктор Чапакин ошалело крутился и, ругаясь, возбужденно говорил:

— Ну, на что это похоже? У нас не осталось ни одного строевого офицера. Некому командовать кораблем. Что теперь делать? Придется, видно, смываться на тот свет. Японцы больше всего жарят по нашему судну, потому что оно идет головным: «Бородино» настолько уже избит, что пора бы ему пристроиться в хвосте эскадры и хоть немножко отдохнуть. А начни мы сейчас повертываться, вся эскадра повернет за нами...

Над головою раздался крик:

— Все наверх! Спасайся...

Люди бросились к трапу. Через полминуты кондуктор Чапакин, марсовой Юшин и другие матросы снова очутились в носовом каземате. Все заметались, загалдели, не понимая, что произошло на судне и откуда угрожает бедствие. Корабль шел вперед и слабо отстреливался. Вдруг с грохотом ослепила вздвоенная молния. Юшин перевернулся в воздухе и ударился о палубу. Ему показалось, что опрокинулось судно. Он даже не понял, что его, находившегося в момент взрыва снаряда за броневой разделительной переборкой, не задело ни одним осколком. Он вскочил и с ужасом увидел на палубе, недалеко от своих ног, чью-то оторванную голову. «Не моя ли это?» — подумал Юшин и вскинул вверх руки, чтобы пощупать свою голову. В носовом каземате остались в живых только он и кондуктор Чапакин. Сквозь дым увидели, что пушки были разбиты или вылетели из цапф и что огонь, разгораясь, подбирается к патронам, поднятым из погреба. Кондуктор начал выбрасывать их за борт, а Юшину приказал:

— Пробежи до кормы, зови людей. Нам вдвоем не справиться с пожаром. Вон из элеватора пошел дым...

Юшин направился к корме, но туда не так легко было пробраться. На каждом шагу встречались разрушения, валялись куски железа, опрокинутые и разорванные на части переборки. Проломы были не только в бортах, но и в палубе. Все внутренние оборудования превратились в кучи обломков. Среди этого хаоса валялись изувеченные трупы. Юшин бросился дальше, но ему преградили путь развалины офицерских кают и бушующее пламя. Полыхало жаром, и раз'едало дымом глаза. Кругом настолько все изменилось, что Юшин не мог даже понять, куда он попал. Он остановился перед люком с поломанным трапом и увидел под собою батарейную палубу. Хотел было спуститься вниз, но не решился. Вокруг него не было ни одного живого человека, и никто не тушил пожаров. Очевидно панический

страх загнал людей в нижние помещения. Но ему представилось, что он уцелел один на всем корабле, который шел вперед, неизвестно куда, никем не управляемый. От такой мысли Юшин содрогнулся. Он выскочил на срез и хотел подняться на верхнюю палубу. Зачем? Он и сам того не знал. Смеркалось. Крен на правый борт увеличился. Верхние части броненосца были разгромлены еще больше, чем нижние. Мачты оказались изломанными, рангоут порван, дымовые трубы еле держались, шлюпки развалились, задний мостик опрокинулся. Вся кормовая половина была охвачена огнем. А вокруг не переставали падать снаряды, поднимая взрывами водяные смерчи. За кормою, сквозь брызги, виднелся «Орел», весь окутанный дымом, а за ним держали в кильватер еще какие-то корабли. И непонятно было, почему это вся эскадра тянется за умирающим броненосцем «Бородино».

Гонимый ужасом, Юшин бросился обратно в носовой каземат, чтобы сообщить обо всем кондуктору Чепакину. Но, когда он добежал туда, кондуктора на месте уже не было. Вдруг броненосец весь затрясся от попавшего в него неприятельского залпа и стал быстро валиться на правый борт. Юшин в этот момент находился около орудийного порта и успел ухватиться за какую-то трубу.

Что произошло с ним дальше, об этом у него осталось смутное представление. Броненосец опрокинулся, а он, смятый и оглушенный ревушими потоками, все еще находился внутри его, в носовом каземате. Юшин одной рукой разорвал на себе все платье и, нащупав ногой орудийный порт, нырнул в него. А может быть, последние действия его были совсем не такие. Но верно было то, что какое-то неопределенное время, показавшееся ему невероятно длительным, он находился под водой на большой глубине, захлебываясь и кружился. Не было сомнения и в том, что на поверхность моря он всплыл голым. Только на ногах оставались сапоги, потому что они были тесны и не удалось их стащить.

Все, что испытал Юшин в какую-нибудь минуту или две, подействовало на него настолько ошеломляюще, что ему даже не было страшно. Открыв глаза, он увидел свой корабль, плавающий вверх килем. Работали, бурля воду, оба винта. Над поверхностью моря, среди вздымающихся волн, то в одном месте, то в другом, показывались матросские головы. А человек десять забрались на громадное днище судна и, размахивая руками, что-то кричали. Один из них снял с себя нательную рубашку и, придерживаясь за боковой киль, протянул ее Юшину:

— Семен, хватайся за нателку и выйрайся к нам.

Юшин ухватился было за рукав, но ударила волна, и в сжатом кулаке его осталась лишь часть материи. Он снова окунулся в воду. Броненосец быстро уходил от него. Чтобы не попасть под работающие в корме лопасти, он начал отплывать в сторону. Под руки ему попался шлюпочный рангоут, с которым он решил не расставаться до самой смерти.

Юшин не видел, как утонул его броненосец, и все свое внимание сосредоточил на других кораблях, взывая к ним о помощи. В сгуставшихся сумерках, весь в огне, как чудовищный факел, прошел мимо «Орел», осыпаясь взрывающимся металлом. Грохотало небо, потрясая простор, ревело море, расцвечиваясь огненными фонтанами, качались волны с прилипшими к ним «кочьями дыма. Казалось, наступил час тибели всего мира. «Николай I», увеличив ход, намеревался, видимо, обогнать переднее судно, чтобы стать во главе эскадры. Главные неприятельские силы прекратили огонь. Но русские корабли продолжали стрелять — вероятно по японским миноносцам. Поочередно один за другим проходили мимо Юшина остатки разбитой эскадры: «Апраксин», «Сенявин», «Ушаков», «Сисой Великий», «Наварин». Он кричал им, он называл каждое судно поименно, а они все уходили от него. Порядочно отстав от эскадры, шел крейсер «Нахимов». Сзади него уже не было видно ни одного судна. Юшин, барахтаясь в волнах.

заметался, напряг все свои силы, готовый выпрыгнуть из воды и бегом помчаться в сторону последней надежды. «Нахимов» как будто услышал его голос и повернул к нему, но через минуту корма крейсера начала уходить, сверкая гакобортным огнем.

— Проклятые! Чтобы вам всем очутиться на морском дне... — кричал и безумствовал Юшин.

Он в отчаянии замурился. Закружилась голова. Почудилось, что он проваливается в пропасть. Он упустил было рангоут из рук, но тут же спохватился и, открыв глаза, снова ухватился за него. Наступил мрак. Где кончалось море и где начиналась тьма, ничего нельзя было разобрать. Изредка даль сверкала орудийными вспышками, но и это скоро прекратилось. Прислушался — ни одного человеческого голоса. Значит, Юшин остался один среди грозного моря под черным небом ночи. Минуты ли проходили, или часы, он не имел представления о времени. Он продолжал мучиться в неравной борьбе со стихией. Волны поднимали его вверх, швыряли вниз, ударяли в лицо, злобно хохотали в уши, вырывали из рук рангоут, опрокидывали тело, давили грудь, перекатывались через голову. Иногда казалось, что это напала на него разъяренная толпа и перебрасывала пинками из стороны в сторону. Он захлебывался горько-соленой водой, откашливался, кричал и ловил моменты, чтобы наполнить грудь свежим воздухом. Он давно перестал ощущать разбухшие в сапогах ноги, словно они совсем отвалились. Коченело тело, изматывались последние силы, путалось сознание.

Неожиданно Юшин увидел, как черная даль за сверкала молниями орудий, прорезалась лучами прожекторов, и слышались удары, от которых содрогалась ночь. Неужели эскадра повернула обратно? Багровые вспышки приближались. Вскоре мимо Юшина, в двух-трех кабельтовых от него, по взрытой поверхности моря, в беспорядке проползли какие-то бесформенные тени. Он задержался, завопил, а черные тени, грохоча раскатами артиллерийского огня, ухо-

дили от него все дальше и дальше в темную и страшную неизвестность¹⁾.

ЭПИЛОГ

Восемь с половиной месяцев мы пробыли в плену и наконец дождались того счастливого дня, когда оставили Кумаотские лагеря. Мы были перевезены по железной дороге в портовый город Нагасаки, где уже поджидал нас пароход Добровольного флота «Владимир», пришвартованный к стенке. Мы сразу же поселились в его просторных, специально приспособленных для перевозки войск трюмах. Но пароход простоял в порту еще несколько дней, допринимая живой груз до установленной нормы. Пассажирами были главным образом матросы и десятка два морских и сухопутных офицеров.

Россию мы оставили 2 октября 1904 г., а возвращались на родину в конце января 1906 года.

Русское правительство, чтобы задобрить нас, выдало нам во время нашей стоянки в Нагасаках береговое жалованье и морское довольствие за девять месяцев. Время, проведенное в плену, нам сочли за плавание. У каждого из матросов оказалась в наличии порядочная сумма денег. На пароходе получили дубленые полушубки, валенки и папахи. Если не считать кормежки, это был последний и окончательный расчет с казной. Мы впервые почувствовали себя более или менее свободными людьми.

Город Нагасаки расположился на берегу длинной и широкой бухты, живописно изрезанной причудливыми фьордами и окруженной горными хребтами. У входа в нее, защищая ее от морских ветров, ошметинился линиями крутобокий остров Катабоко. К городу примыкали громадные постройки доков и судостроительных верфей. Бухта шумела человеческими голосами, лязгала работающими лебедками, дымила многочисленными трубами коммерческих кораблей. Меж-

¹⁾ В час ночи японский миноносец подобрал в море голого человека. Это оказался марсовой Семен Юшин. Впоследствии выяснилось, что из 900 человек экипажа броненосца «Бородино» только он один спасся.

ду крупными океанскими пароходами, стоявшими под флагами разных наций, проворно шныряли маленькие японские лодки — фунэ. Каждая из них блестела крытой лакированной каюткой, каждая щеголяла приставным носом и была похожа на водоплавающую птицу с вытянутой шейей.

Против города, на северо-западной части нагасакской бухты, среди скалистых взгорьев, заросла зеленью деревня Иноса, хорошо известная русскому флоту. За много лет до войны русское правительство сняло здесь в аренду участок земли, на котором были устроены шлюпочный сарай, поделочные мастерские, госпиталь. Над этими постройками господствовало морское собрание, обслуживаемое любезной экономкой Амацу-сан. В нем были бильярдная и богатая библиотека, внутренние стены его украшались портретами адмиралов и офицеров. На одном из холмов возвышалось двухэтажное здание под названием: «Гостиница Нева». В западном конце селения расположен кладбище для русских моряков. Офицеры называли Иноса русской деревней. Кто из них не мечтал попасть в нее? Там происходили азартные игры в карты и бесшабашные кутежи, там можно было жениться на молодой японке. Эти браки заключались по договору на тот период времени, пока корабль стоял в Нагасаках. Многие из наших офицеров оставили здесь свое потомство. Все это конечно давало японцам исключительный материал для изучения нашей организации военно-морского дела и нравов тех, с кем им предстояло в будущем воевать.

От каменной пристани, ступени которой спускались прямо в воду, город начинался европейскими гостиницами и ресторанами. Здесь, на широких улицах, нарядя с японцами, наряженными в национальные костюмы — кимоно, — встречались англичане, немцы, французы, русские, китайцы, негры. Слышался разноязычный говор. А дальше, за европейским кварталом, плотно прижались друг к другу японские домики, деревянные, легкие, не больше как в два этажа, причем верхний этаж приспособлен для жилья, нижний — для торговли.

Передние стены магазинов на день раздвинуты, и можно было, не читая вывесок, видеть, чем в них торгуют: черепаховыми изделиями, узорчатыми веерами, изящным японским фарфором, разноцветными шелками. Создавалось такое впечатление, как будто гуляешь не по узким улицам, а в павильоне и рассматриваешь выставку японской кустарной и фабричной продукции. Некоторые дома и храмы разбежались по горным склонам и зеленеющим холмам, придавая городу декоративный вид.

Рестораны, чайные домики и вертепы звенели японской или европейской музыкой. На ее волнующие звуки, возбудаясь обманчивой радостью, шли иностранные моряки, прибывшие сюда из-за далеких морей и океанов, загорелые, обвеванные ветрами всех географических широт. Особенно разгулялись на радости некоторые русские, как офицеры, так равно и нижние чины, только-что переставшие быть пленниками. Их можно было узнать издали: они орали песни, ругались и без всякой надобности, словно наступила для них масляная неделя, раз'езжали на рикшах.

Меня удивляли японцы. Я не встречал опечаленных и угрюмых лиц ни у мужчин, ни у женщин. Казалось, что они всегда жизнерадостны, словно всем им живется отлично и все они довольны и государственным строем, и самими собою, и своим социальным положением. На самом же деле японское население живет в большой бедности, но искусно скрывает это. Точно так же ошибочно было бы предположить, судя по их чрезмерной вежливости и любезности, выработанной веками, что они представляют собою самый мирный народ на свете.

Я с жадностью всматривался в разнородную жизнь города, а мои мысли всецело были заняты одной японкой, той, что осталась в Кумамота.

Находясь в лагерях для пленных, я сдружился с японским переводчиком. Он великолепно говорил по-русски и очень любил нашу литературу. Мы иногда с ним часами разговаривали о произведениях русских классиков и современных писателей. Это и сблизило нас обоих.

Он стал меня приглашать в город Ку-мамота к себе на квартиру. У него была сестра Иосие, девушка двадцати лет, маленькая, статная, с матово-нежным лицом и загадочным взглядом черных, лучистых глаз. Любовь не считается ни с расовым различием, ни с войной, она развивается по своим собственным законам. Иосие, встречаясь со мною, сначала настораживалась, как птица при виде приближающегося охотника, но после нескольких свиданий у нас началось взаимное тяготение друг к другу. Я разговаривал с нею при помощи ее брата. А когда выяснилось, что она немного говорит по-английски, взялся и я за изучение этого языка. Первые слова и фразы, усвоенные мною, были конечно приветственные и конечно о любви. Но иногда, разгораясь и желая выразить свои чувства полнее, я говорил ей по-русски:

— О, милая Иосие! На севере, за полярным кругом, длится ночь три месяца. И когда человек после такого продолжительного времени увидит на несколько минут только золотой кусочек солнца, он приходит в невероятный восторг. Но с каждым днем небесное светило поднимается все выше, излучается все ярче. Такое же впечатление пережил и я, встретив тебя на своем жизненном пути.

Я подбираю для нее самые поэтические слова, какие только знал. Она конечно не понимала их смысла. Она только улыбалась маленьким ртом с пухлыми губами, блестя белизной мелких и немного кривых зубов. И призывно мерцали ее черные глаза, наискось подтянутые к вискам. Не понимал и я ее, когда она, откинув назад черноволосую голову с пышной прической, что-то быстро начинала говорить. Японцы не имеют в своем языке буквы «л» и заменяют ее буквой «р». Поэтому и Иосие, произнося мое имя, вместо «Алеша» говорила «Ареша». Но это почему-то особенно мило звучало в ее устах.

Брат Иосие не препятствовал нашей любви. А когда я ему сообщил, что хочу жениться на его сестре, он согласился и на это. Может быть, тут сыграло

роль то обстоятельство, что она была сиротой. В Россию мне, как политическому преступнику, нельзя было возвращаться. При помощи эмигранта-народовольца, доктора Русселя, приехавшего в Японию специально для того, чтобы снабжать пленных революционной литературой, я хотел вместе с Иосие уехать в Америку. Я знал, что в Японии мне придется бедствовать. А там, по ту сторону Великого океана, в стране Нового Света, я с такой милой подругой лучше устрою свою жизнь. Я основательно изучу английский язык, поступлю матросом на коммерческий корабль и буду наезжать в Россию как американский гражданин. И мне снова будет доступна родина для политической работы. Так рисовалось будущее, а молодость, опьяненная иллюзией счастья, не рассуждает о преградах, пока не ударится лбом о каменную стену.

Поздней осенью из России пришло в Японию известие об амнистии политическим преступникам. Это повернуло мою судьбу в другую сторону: я мог вернуться на родину. После долгих колебаний я решил расстаться с Иосие.

В последний день перед отъездом я пришел к ней проститься. Она встретила меня сияющей улыбкой и показалась мне особенно привлекательной в синем шелковом кимоно с широким узорчатым бантом на спине. Я заранее запасся фразами из японского и английского самозащиты и с трудом объяснил ей, что уезжаю в Россию, а так как там революция, то не могу ее взять с собою. Вздрогнули ее узкие плечи, она взмахнула широкими рукавами кимоно, словно хотела вспорхнуть, но осталась на месте. На черные, блестящие глаза, словно занавески, спустились веки с бахромой густых ресниц, скрывая в узких щелях наворачивающиеся слезы. Вдруг она повернулась ко мне и, заговорив что-то по-японски, быть может, проклиная нашу первую встречу, смотрела на меня умоляюще, то с ненавистью. Потом бросилась ко мне на шею.

— Ареша, — прозвучал ее гортанный голос, обжигая сердце.

Маленькая и легкая, она была сильна своей фигурой, улыбкой, лучистыми гла-

зами и всем своим обликом. Она опутала мою волю, как лианы дерево. Наше прощанье превратилось в невыносимую муку. Уходя от нее, я словно оборвал живую ткань в своей груди.

Теперь я находился от Иосие далеко, в шумных Нагасаках, а в моем сознании все еще звучала недопетая до конца песня любви.

Неожиданно к нам на пароход «Владимир» заявился инженер Васильев. Он поселился в каюте. Мы часто встречались с ним: то мы приходили к нему, то он спускался к нам в трюм. С жадностью мы слушали, когда он рассказывал о том, что за последнее время происходит в России.

Однажды вечером мы засиделись у него в каюте. Речь зашла об адмиралах. Он виделся с Рождественским.

— Ну, как поживает герой Цусимского боя? — спросил боцман Воеводин, раскрасневшись от выпитого чая.

Васильев оживленно заговорил:

— Вылечился от ранений, но остался все-таки же суровым, каким был раньше. Между прочим, у меня с ним вышло столкновение. До адмирала дошел слух, что я читаю перед офицерами разоблачающие доклады о Цусиме. Через своих штабных чинов он хотел было переманить меня на свою сторону и пригрозить, но это ему не удалось. Я не явился к нему. Адмирал затаил против меня злобу. А когда один из офицеров донес ему, что я знаком с доктором Русселем и получаю от него революционную литературу, Рождественский вызвал меня к себе уже официально. Я пришел к нему в штатском платье. Мой независимый вид сразу вызвал в нем приступ раздражения. Он даже не мог говорить. Только пригрозил мне крепостью, если я вернусь в Петербург...

— Очевидно Рождественский думает выйти сухим даже из такой глубокой воды, как Японское море, — встал я.

— Вот именно, — засмеялся Васильев. — Меня-то он не испугал, но мно-

гие из морских офицеров все еще побаиваются его. В запугивании их очень остроумный маневр придумал приверженец адмирала, капитан 2-го ранга Семенов. Он усиленно распространял слух среди пленных офицеров, что Рождественский опять будет начальником главного морского штаба. Все это делалось для того, чтобы никто не посмел разоблачать действия командующего эскадрой...

Из дальнейшей беседы с Васильевым выяснилось, что если бы 2-я эскадра достигла Владивостока, то Рождественский не хотел бы больше командовать ею, считая себя больным. Об этом он задолго до Цусимского сражения сообщил телеграммой в морское министерство. На его место был назначен вице-адмирал Бирилев. В то время, когда мы пережили страшную катастрофу при острове Цусима, новый командующий вместе со своим штабом приехал во Владивосток и стал ждать появления на горизонте наших морских сил в 38 вымпелов. В это число не входили еще четыре вспомогательных крейсера, отправившихся перед боем в отдельное плавание вокруг Японских островов для истребления пароходов с неприятельским грузом. Вероятно Бирилеву мерещилось, как он, вступив в командование 2-й эскадрой, будет прогнать японцев на море, а это даст возможность и нашим сухопутным войскам перейти в наступление. И сколько новых орденов прибавятся к той обширной коллекции, какую он уже имел на своей груди. Может быть, в его мечтах уже сверкала и золотая сабля, какую подарит ему царь за блестящую победу. Слава о нем, как о гениальном флотоводе, прогремит на весь мир. Но каково же было его разочарование, когда вместо эскадры прибыли во Владивосток только три судна: миноносцы «Грозный» и «Бравый» и ничего не стоящий в боевом отношении, переделанный из бывшей яхты заместника Алексева, крейсер 2-го ранга «Алмаз». Бирилеву пришлось срочно возвратиться на экспрессе в Петербург.

Васильев в заключение добавил:

— Вы все знаете, как убого была представлена на эскадре материальная часть.

Ответственность за это должен был нести Бирилев. Но его не отдали под суд. Мало того, этот морской жук ухитрился пролезть в морские министры. Так могло случиться только в условиях русской действительности.

Перед самым отходом «Владимира» инженер Васильев через вестового вызвал меня к себе в каюту. Он спешно укладывал свои вещи в чемодан, когда я пришел к нему. Я спросил:

— В чем дело, Владимир Полиевктович? Куда вы так торопитесь?

— Положение изменилось. Придется мне расстаться с вами. Дело в том, что офицеры получают прогонные деньги здесь, в Нагасаках. Каждому из нас предоставлено право возвращаться на родину самостоятельно. Многие выбрали себе водный маршрут — Индийским океаном. Воспользовался и я этим случаем. Я прямо из Японии пароходом махну через Тихий океан в Северную Америку. Потом пересеку Атлантику. Таким образом завершится мой путь вокруг земного шара.

— Подвезло вам! — воскликнул я.

Васильев, передавая мне клочок бумаги, исписанный его твердым почерком, сказал:

— Вот вам адрес моего отца. Передайте его надежным товарищам и от них возьмите для меня адреса. Пишите. Мы не должны терять друг друга из вида. А теперь идите и соберите в трюме товарищей. Я только получу расчет и сейчас же спущусь к вам.

— Есть.

Все было сделано, как наказал Васильев. Мы собрались на одной из палуб носового трюма. Из орловской команды были: кочегар Бакланов, машинный квартирмейстер Громоз, машинист Цунаев, трюмный старшина Осип Федоров, фельдфебель Мурзин, боцман Воеводин, гальванеры Штарев, Голубев, Алференко и много других. Явился к нам инженер Васильев.

Он сообщил нам последние новости о России, почерпнутые им из английских газет. Потом на основании фактов начал рисовать перед нами картину событий, происходивших на родине. Все это очель

волновало нас. Я смотрел на него и удивлялся, как все на нем было великолепно прилажено: и темносиний костюм, и белый накрахмаленный воротничок с черным галстуком, подвязанным бантиком, и начищенные до блеска желтые ботинки. Такой же аккуратностью он отличался во всех своих мыслях и поступках. Каждая его фраза была четкая и ясная, словно он читал ее по книге. Заговорив о Цусимском сражении, он главным образом старался вскрыть причины нашего поражения. Эти причины давно были мне известны. Подытоженные и закрепленные в памяти, они стояли перед глазами, словно напечатанные жирным шрифтом на бумаге.

Русская эскадра была почти в два раза слабее японского флота, и только безумное правительство могло послать ее в чужие воды.

Организация службы у нас никуда не годилась.

Мы не умели маневрировать и лишь кружились во время боя на одном месте, как очумелые, давая возможность противнику безнаказанно нас расстреливать.

Не говоря уже о том, что наша эскадра состояла из разнотипных судов, представляющих собою смесь музейных редкостей, мы новейшие и быстроходные корабли поставили в одну колонну со старыми и тихоходными и тем самым уменьшили их скорость до девяти узлов.

Перегруженные, наши броненосцы настолько ушли бронированными частями в воду, что перестали быть броненосцами, а неубранные с них шлюпки и дерево, деревянная отделка кают и мебель служили пищей для пожаров, причинивших нам много бедствий.

Взятые с собою ненужные транспорты только стесняли движение боевых судов.

У японцев в каждой башне, в каждом каземате имелся дальномер, а у нас их было только по два на весь корабль. И вся наша артиллерия с глупыми трубками, с неразрывающимися снарядами, с неверными таблицами, с негодными башнями, с плохо оборудованными и неосвоенными оптическими прицелами, с

необученными комендорами была совершенно безвредна для противника¹⁾.

Спайка между верхами и низами наладилась кое-как лишь перед самым боем, вызванная общей опасностью, а до этого весь организм эскадры раз'едался острой классовой ненавистью.

Для прорыва во Владивосток ни в коем случае нельзя было итти Корейским проливом, где у японцев были расположены главные базы для морских сил.

Эскадра, приближаясь к острову Цусима, не предпринимала никаких разведок и совершенно игнорировала противника, словно мы шли на парад.

Не только командиры судов, но и младшие флагманы, контр-адмиралы не были заранее осведомлены о стратегической и тактической обстановке предстоящего боя. Никто из начальников не знал, какие оперативные планы были

¹⁾ Почему наши снаряды не разрывались? После Цусимского боя этот вопрос многих интересовал, и все были убеждены, что главное зло заключалось в снаряжных трубках. Эту версию усиленно проводило морское министерство. На самом же деле причина была другая. Вот какое объяснение дал по этому поводу знаток военно-морского дела, наш знаменитый академик А. Н. Крылов:

«Кому-то из артиллерийского начальства пришло в голову, что для снарядов 2-й эскадры необходимо повысить процент влажности пироксилина. Этот инициатор исходил из тех соображений, что эскадра много времени проведет в тропиках, проверять снаряды будет некогда, и могут повлиять на кораблях самовозгорания пироксилина. Нормальная влажность пироксилина в снарядах считалась 10—12 процентов. Для снарядов же 2-й эскадры установили 30 процентов. Установили и снабдили такими снарядами эскадру. Что же получилось? Если какой-нибудь из них изредка попадал в цель, то при ударе взрывались пироксилиновые шашки запального стакана снарядной трубки, но пироксилин, помещавшийся в самом снаряде, не взрывался из-за своей тридцатипроцентной влажности. Все это выяснилось в 1906 году при обстреле с эскадренного броненосца «Слава» взбунтовавшейся крепости Свеаборг. Броненосец «Слава», достраиваясь, не успел попасть в состав 2-й эскадры, но был снабжен снарядами, изготовленными для этой эскадры. При обстреле со «Славы» крепости не видели взрывов своих снарядов. Когда крепость все же была взята и артиллеристы с'ехали на берег, то они нашли свои снаряды в крепости почти совершенно целыми. Только некоторые из них были без дна, а другие слегка развороченными. Об этом тогда было приказано молчать».

разработаны командующим эскадрой Рожественским, а многие даже сомневались, имелись ли вообще у него какие-либо планы. Это был исключительный случай в истории морских войн¹⁾.

Выяснилось еще и то, что в продолжение пяти с половиной часов дневного боя, когда решалась участь второй, никто из адмиралов эскадрой не командовал. Ею руководили случайные офицеры, оставшиеся неизвестными, а иногда и матросы. Такую нелепую эскадру могла бы разбить любая страна, выставив против нее равную силу.

Все эти причины и многие другие, погубившие 2-ю эскадру, стали известны многим матросам сейчас же после сражения. Но теперь от инженера Васильева мы узнали о новых фактах. Больше всего он удивил нас сравнительной таблицей артиллерийского огня:

— Вот какое число выстрелов делала та и другая сторона в одну минуту: русская эскадра — 134, японская эскадра — 360. Выбрасывала металла в одну минуту: русская эскадра—20.000 фунтов, японская эскадра — 53.000 фунтов. Что же касается взрывчатого вещества, каким начинялись снаряды, то разница получается почти невероятная. Русский 12-дюймовый снаряд заключал в себе

¹⁾ В следственной комиссии контр-адмирал Небогатов показал: «Никакого плана боя или указаний относительно ведения его не было; вообще какие намерения имел Рожественский,— это было для меня неизвестно» («Действия флота». Документы. Книга третья, выпуск 4-й, стр. 56).

Из показаний контр-адмирала Энквиста: «О предстоящих военных операциях во время нашего перехода вопрос не возбуждался; как я, так и мои командиры не были посвящены в планы командующего. Мнения нашего также не спрашивалось... Я совершенно не знал, куда мы направляемся и с каким расчетом». (Там же, стр. 62).

Из показаний флаг-капитана штаба командующего эскадрой, капитана 1-го ранга Кляпье де-Колонга: «Я был занят механической работой проводить в жизнь все приказания и распоряжения адмирала, а их было так много, что я не имел возможности задумываться над планами, если бы таковые и были». (Там же, стр. 79).

А вот, что сам Рожественский показал: «Собрания же флагманов для обсуждения детально разработанного плана сражения не было, потому что не было и самой разработки». (Там же, стр. 16).

15 фунтов пироксилина, японский такой же снаряд — 105 фунтов шимозы. Русская эскадра выбрасывала взрывчатого вещества в одну минуту 500 фунтов, японская — 7.500 фунтов. Но и это, товарищи, не все. Сама шимоза как взрывчатое вещество значительно сильнее пироксилина.

Васильев окинул своих слушателей взглядом, как бы проверяя, какое впечатление произвели на них сообщенные данные, и продолжал:

— Какие же, товарищи, мы должны сделать из этого выводы? Россия с ее феодальными порядками, с ее глубочайшими язвами деспотического строя не выдержала экзамена на поле брани. Она слишком для этого одряхла. Капиталистическая Япония, обновленная реформами, сбила военную заносчивость с наших адмиралов и генералов. Кто виноват в нашем поражении? Виновата вся государственная система. Ведь Цусима для нас оказалась не только в Корейском проливе. Нет, ее в достаточной степени испытали и на сухопутных фронтах. Может быть, не так ярко, но Цусима проявлялась и на железных дорогах, и на заводах, и в кораблестроении, и в области просвещения, и во всей нашей придавленной и бестолковой жизни. Но пусть Япония не очень бряцает оружием. Она победила не трудовой народ, а его разложившееся и всем опустылевшее правительстве. Второй такой победы она не дожидается, если у власти станут представители другого класса. А пока что Япония сыграла нам только на-руку. Она открыла глаза на действительность даже самым малограмотным людям. Наше счастье в том, что солдаты повернули свои штывы и ружья в обратную сторону — против тех, кто послал их на бессмысленную смерть. Война закончилась революцией. Нас, моряков, переживших Цусиму, ничем больше не утешить...

Загудел пароход, давая знать, что готов к отходу.

Васильев не мог больше говорить и, взяв от меня адреса товарищей, полез по трапу, сопровождаемый аплодисментами сотен людей. Спустя несколько минут он с чемоданом в руке вышел из своей

каюты на верхнюю палубу. Не успел он сойти на стенку, как начали отдавать швартовы.

Пароход «Владимир» вышел в открытое море и взял курс на Владивосток. Крепчал северный ветер, вспенивая, как молодую брагу, волны. Серыми бесформенными стаями неслись на юг облака.

Я в одиночестве долго стоял на юте. Несмотря на стужу, мне не хотелось уходить вниз. В последний раз я смотрел на удаляющиеся возвышенности Нагасак. Быть может, никогда уже больше мне не придется побывать в этой стране вечной зелени, цветущих хризантем, танцующих гейш, обвораживающей экзотики, в стране настолько же улыбчивой, насколько и загадочной.

Угасал день. Берега Японии теряли свои очертания, сливаясь с дымчатым небосклоном. Далеко позади нас заботливо вспыхивал проблесковый маяк.

Прозябший, я спустился в твиндек в шум человеческих голосов. Разговаривали о семьях и любовницах, о войне и революции. Весело наигрывала гармошка, звуки которой сопровождалась чым-то зальхватским посвистом. Несколько человек пело частушки.

На второй день под натиском тайфуна разъярилось море. Пароход «Владимир» то врезывался в горы наваливающихся на него волн, распарывая их своим острым форштевнем, то становился на дыбы, как бы намереваясь сделать безумный прыжок в пространство. На палубу летели брызги и клочья пены. Напряженно визжали снасти. Под небом, загроможденным клубящимися тучами, среди колыхающейся водной шири, пароход, дымя толстой трубой, упорно шел вперед, в седую и взлохмаченную даль. Барометр все падал. Значит, это были только первые приступы разыгравшегося тайфуна. Но уже чувствовалась его неисчерпаемая сила, сказывались его удары, сотрясавшие хрупкий корпус судна.

Когда с капитанского мостика сообщили, что проходим мимо острова Цусима, почти все матросы вышли на верхнюю палубу. Они оглядывались, жадно искали что-то тревожными глазами, но ничего не видели на поверхности бушующей

го моря, словно никогда и не было здесь сражения. Кто-то сдернул фуражку и тут-же, словно по команде, все, как один, взмахнули руками, и головы обнажились. Так, в молчании, бледные, мрачные, простояли минуту — две, слушая многоголосый рев тайфуна, плакавшего над братским кладбищем.

Начались речи. Выступали матросы и говорили, как умели. Это были другие люди, не те, какими я знал их, когда отправились на войну. На палубе корабля, этого одинокого странника морей и океанов, никогда еще не звучали так смело слова, как на этот раз.

Гальванер Голубев вытащил из кармана потрепанную тетрадь, потряс ею в воздухе и заявил:

— Вот она! В ней все записано и про японский флот, и про наш. Тут одни факты...

Я знал, о чем он будет говорить. Эти же факты отмечены и в моих записях. Обычно в сражении бывает так, что одна из воюющих сторон, уничтожая другую, в то же время и сама несет какой-то урон, иногда очень значительный. В морском же бою русских с японцами получилось иначе. Японцы уничтожили 1-ю и 2-ю наши эскадры, то-есть почти весь наш флот, и морские силы их не только не уменьшились, а увеличились. Недавно, месяца три назад, японский император устроил в Токийском заливе смотр своему флоту, в состав которого вошли наши корабли. Из 1-й нашей эскадры были следующие суда, поднятые противником в Порт-Артуре: броненосцы — «Пересвет», «Ретвизан», «Победа», «Полтава», крейсера — «Паллада», «Варяг» и «Баян»; истребители — «Сильный» и захваченный в Чифу «Решительный»; минные крейсера — «Гайдамак» и «Посадник». Кроме того, 2-я эскадра пополнила их флот сдавшимися судами: броненосцы — «Николай I», «Орел», «Апраксин» и «Сенявин» и истребитель «Бедовый». Из списка неприятельского флота было при блокаде Порт-Артура и за все время войны два броненосца — «Яшима» и «Хатсусе» — и десять небольших судов. Словом, японцы, разгромив наши морские силы, увеличили со-

став своего флота на 57.955 тонн водоизмещения.

Коммерческий неприятельский флот за весь период войны убавился на 35 пароходов водоизмещением 55.652 тонны. Но вместо этой потери японцы подняли в Порт-Артуре и захватили в плен 59 наших пароходов водоизмещением 138.438 тонн.

Гальванер Голубев сначала почитал по тетради, а потом начал выкрикивать:

— Разве это была война? Японцы истребляли нас, как зверобой истребляет беззащитных тюленей на льдах... И мы будем терпеть свое правительство?..

Пароход «Владимир» зачерпнул носом десятки тонн воды. Бурлящими потоками она покатила по верхней палубе, смачивая ноги людей. Но все матросы, вслушиваясь в речи своих товарищей, остались на месте, словно пришитые к нему. Офицеры, находясь на капитанском мостике, боязливо посматривали на загадочно-угрюмые лица бывших рабов.

Каждый из нас знал, что под нами, в этом пляшущем море, погребена почти вся 2-я эскадра, кроме кораблей, сдавшихся в плен или разбежавшихся по нейтральным портам. У японцев погибли только три небольших миноноски. Здесь, в колыхающемся братском кладбище, на морское дне, осталось более 5.000 наших моряков, кости которых омывают соленые воды. Японцы потеряли только 115 человек.

На середину палубы вышел кочегар Бакланов и, поднявшись на закрытый люк, крепко расставил толстые ноги. Его лицо с упрямым подбородком, окрапленное солеными брызгами моря, выражало суровую уверенность в своей силе. Он басисто загремел:

— Дорогие цусимцы! Вы сами видели, как здесь гибли наши товарищи. За что они приняли смертную казнь? Кто в этом виноват? Теперь нам известно, где скрываются главные преступники. Я не знаю, как вы, а я буду рвать им головы. Я не уймуся до тех пор, пока в моей груди будет биться сердце. Мы все будем воевать, но только не за корейские дрова, а за нашу будущую лучшую жизнь. Двинемся на внутренних врагов. Как японцы топили здесь наши корабли,

так и мы утопим в крови весь царский строй...

— Правильно! — гаркнуло несколько человек.

— Все сметем к чертовой матери! — возбужденно подхватили другие голоса.

Кочегар Бакланов продолжал:

— Будем выкорчевывать по всей нашей стране всех прежних заправил, как выкорчевывают пни в лесу...

Ревел простор. Качался пароход, черпая бортами воду, и вокруг него, словно от взрывов, вздымались рваные громады волн. Все было в стремительном движении. Передвигались и люди на уходящей из-под ног палубе и, поднимая кулаки, бросали в воздух грозные слова.

Мы знали, что весть о Цусиме прокатилась по всей стране, вызывая потоки слез и горя. Содрогнулась Россия. Через месяц после гибели эскадры, как бы в ответ на это, броненосец «Потемкин», прорезал воды Черного моря под красным флагом. Восстали моряки на крейсере «Очаков», в кронштадтских и севастопольских экипажах. Поднялись рабочие на заводах и фабриках. Началось аграрное движение, запылали помещичьи усадьбы. Царь, спасая трон, вынужден был объявить манифест о кон-

ституции. Но народ скоро понял, что это было обманом. Улицы Москвы обросли баррикадами. И по всей России, словно тайфун в Японском море, поднимались и буйствовали кровавые шквалы.

Все вычитанное из газет о родине у меня связывалось с тем, что происходило сейчас на палубе, захлестываемой волнами. Это было так ново, настолько необычно, что дрожь пробегала по сердцу. Я всматривался в лица товарищей, вслушивался в их речи, и мне казалось, что и минувшая война, и разливающаяся, как вешние воды, революция являются только прелюдией к еще более грозным событиям.

Остров Цусима, заросший лесами и огражденный подводными рифами и скалами, оставался от нас слева. Его не было видно за крутящейся мглой. Он только угадывался и рисовался в воображении многогорбым чудовищем, этот безмолвный свидетель разыгравшейся здесь трагедии. На нем высоко взметнулся каменный пик, голый и раздвоенный, называемый по лоции «Ослиные уши». Отныне этот остров с «Ослиными ушами» будет вечным памятником навсегда обесславленного царского режима, режима мрака и молчания.

Таня

Рассказ

Л. СЕЙФУЛЛИНА

1

Таню обидел отчим. Девочка его любила. Всякая размолвка с ним отягощала ее недетской сокровенной печалью. Сегодня, как всегда, они вдвоем пили ранний утренний чай. Александр Андреевич сумрачным пришел к столу. Таня этого не заметила, потому что она встала весело. Спеша есть, двигаться, говорить, она сбивчиво рассказывала события вчерашнего дня и свои утренние мысли.

— Ленин — основоположник марксизма.

Александр Андреевич прервал ее:

— Прежде чем сказать, люди думают. А ты?

Бывали случаи, когда он грубей обрывал Таню, но сегодня она учуяла в его тоне особое, неопровержимое презрение к себе, невыросшей, несамостоятельной. У ней от обиды захватило дух. Заносчиво, но неверным голосом девочка ответила:

— Я всегда говорю вещи, в которые я убеждена.

Александр Андреевич сердито перевернул стакан и, вставая, уронил стул.

— В которых, а не в которые. Нет у тебя убеждений, потому что нет знаний. И говоришь ты чорт знает каким языком.

Он ушел, не простившись. В комнате, кроме нее, никого уже не было, но Таня запрокинула голову через спинку стула, чтоб слезы не выкатились из

глаз. Как же у нее нет убеждений, когда она — пионерка? Если б ему, партийцу, кто-нибудь такую вещь сказал, он бы, небось, озверел.

По дороге в школу Таня не отмечала ни улиц ни людей. Ноги шли, глаза смотрели, тело привычно уклонялось от трамваев, извозчиков, автомобилей, но мысль ее была поглощена обидой. Девочка думала со стесненным сердцем:

«Если взрослые так будут, то в конце концов можно и умереть. Глотнуть чего-нибудь и вообще взять да умереть. Нет, не «взять», а просто умереть. Если «взять», то-есть самоубийство, то конечно скажут, никаких убеждений. Есенищину, скажут, заела... «Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя, не видя, умереть» — мысленно пропела Таня.

У ней защипало в горле, и слез проглотить уж не удалось. Они оросили щеки. Таня, всхлипнув, стерла их перчаткой, но они набегали снова и снова.

«Ну, «Письмо к матери» — вообще упадочническое... Не признаю. А все-таки здорово трогательно. Как это?.. «Мр-а-а-ке часто видится одно и то же».. Да, умру, так пожалеют. Вот я умерла нормально, от scarлатины... Папа стоит у гроба... Нет, если нормально. то не все пожалеют. А вот умри я на посту... Вот случилось нападение на Москву...»

Глаза у Тани высохли, щеки разгорелись. Она придумывала и переживала различные возможности доблестной смерти за СССР, за революцию. Перед

ней ясно вставали подробности замечательных похорон.

«...даже вожди у моего гроба в почетном карауле. Из нашей школы все будут рассказывать: «У нас она училась, у нас»!

Но когда в представлении встала долговечная урна с ее собственным, таниным, прахом, в час, когда все живые ушли от нее, Тане очень захотелось жить.

«Можно идейно пострадать, но не до смерти. Даже пускай ранят, но не до смерти. Вот, предположим, я в тюрьме, в капиталистической стране. Да, я в Америке, агитирую... Да, побег был исключительно смелый...»

Когда Таня входила в школу, она в воображении прожила не одну прекрасную героическую жизнь. Все эти жизни были схожи в основном. Каждая из них уходила на победоносное страдание за утверждение таниного мира. Танин мир был определен. Он в совершенстве четко делился всего на два лагеря: своих и чужих. Свои — те, с кем выросла Таня. Чужие, никогда еще не обнаруженные в личном танином существовании, но общеизвестные враги «своих» — капиталисты Европы и Америки, вредители в СССР. Для нее, как в старых убедительных трагедиях, «свои» были без единого изъяна, всегда во всем правы, враг жесток в чернейшей, без просвета, неправде. И пережитые девочкой в мечтании любовь и ненависть были подлинны. Победа любви потрясла ее душу восторгом. Отсветы его легли на существующий повседневный мир. Они сделали его счастливей, добрей. Вот хотя бы Ким. Он вовсе не закоренелый бузотер и грубиян. Он страдал, раскаивался в таниных мечтах, когда ее мучили в американской тюрьме. Он признавался с настоящей большевистской самокритикой.

«Недооценивал я, товарищи, Таню Русанову».

Поэтому Таня сегодня подошла к нему сама и заговорила с ним таким пленительным тоненьким голосом, что Ким отверг разговор.

«Ах, не влюбляй меня навеки, покрасивей найдем».

Таня багрово покраснела, но в перебранку не вступила. Она только мстительно подумала:

«Горько тебе будет. Очень горько».

Весь школьный день девочка была с товарищами уступчива, на уроках прилежна. Но в конце дня с ней снова приключилась неприятность. Собственно, никакой неприятности не было. Все понимают, что Таня ответила правильно, а все-таки... В школе побывала сегодня Надежда Константиновна. Вышло, что у входа она поговорила с Таней, а на прощанье протянула ей руку. Девочка ответила, как надо:

— В нашей организации мы руки не подаем.

Лицо Надежды Константиновны просветлело от хорошего смеха, но в глазах как будто мелькнуло смущенье. Так показалось Тане. Это ее расстроило. Она размышляла:

«Надо было руку пожать. Не из подхалимажа, а из уважения. Нет, не надо. Она понимает, что у нас в организации не зря выдумывают».

Но, чем больше Таня убеждала себя, что поступила правильно, тем смутней становилось ее душевное состояние. На обратном пути домой она тягуче говорила Игорю Серебрякову:

— Мне уже двенадцать лет, а я все не решила, кем я буду. Как ты думаешь, кем я буду?

— А я откуда знаю? Вст я буду летчиком или моряком. Море или небо, без никаких.

— А я ни на чем еще не остановилась. В прошлом году я хотела быть киноактрисой. Очень заманчиво. Ну, а потом решила — это занятие несущественное. У них там какие-то кулисы да закулисы, вообще что-то, интриги. А я еще не знаю, есть ли у меня талант. Вообще мне многие занятия не нравятся. Вот например зубным врачом, — ни за что. Всю жизнь смотреть в чужие, дурно пахнущие рты.

— Да, невесело. Когда зубы болят, все воют. Я один раз как взвыл, так зубодерка убежала.

— Конечно, и зубные, и другие врачи очень полезные люди, но об себе

тоже надо подумать. Я думаю, Игорь, все-таки я буду горным инженером.

— Горняком? Валяй. Одобряю.

— А все-таки я еще сомневаюсь.

— А ты собиралась еще композитором.

— Ну его, нет. У меня мама композитор...

— Ну что ж, у нее, кажется, позиция правильная.

— А что с того? Она — свой человек, хоть и беспартийщина. Но все невеселая да невеселая. Со своими никогда не смеется. Нет, я маму люблю, но жить с ней — спасибо, не надо. Она хорошо придумала, что за третьего замуж вышла.

— Уж за третьего?

— А как же? Первый муж — мой отец. Ну, мама его чего-то отшила, записала меня на себя, я его не знаю. Второй — Александр Андреевич, мой теперешний отец. Ты знаешь, он очень доволен, что я его сама выбрала. Когда мама уходила, я кричала, плакала, что не уйду. Он и Соня меня усыновили, оттого я — Русанова; а мамина же фамилия Балк. Только у нас бывают с ним разногласия...

Таня глубоко вздохнула и неожиданно для себя рассказала Игорю утреннюю сцену. Рассказав, рассердилась на себя за это, покраснела и нахмурилась. Игорь оживленно подхватил:

— Удивительно наши предки любят придираться к словам. Впопыхах что-нибудь неясно скажешь, пойдут разутюживать. На меня отец взелся, когда мы из лагеря вернулись. Я прекрасно вел работу в деревне. Ну, докладываю отцу, матери: «Я три колхоза организовал». Он говорит: «Ты организовал?» И начал меня унижать.

— Игорь, ты «Отцы и дети» читал?

— Чье сочиненье? А, да, этого, как его... Нет еще.

— Я тоже нет еще. Соня с чего-то советует проработать.

— Наверно, сама недавно прочтала. Им как что понравится, сейчас и мы прорабатывай.

— Там как будто дело в том, что Базаров — марксист, а родители его наоборот. А после плачут на могилке.

— Расстраиваться они умеют и без могилки. Особенно матеря. Слушай-ка, ты вот что — прочитай «Войну и мир». Художественное сочинение. Я летом читал. Только несколько длинно. И охота узнать, что дальше, и прямо устаешь. Замучился, но прочитал. Интересно.

— Игорь, а я иногда страницы пропускаю.

Игорь поправил на голове шапку, отвел глаза в сторону.

— Я тоже кое-что несущественное промахнул, а вообще — нет, не следует. Я не пропускаю. Ну, пока.

— А ты мне обещал по математике объяснить.

— Я к тебе вечером загляну. Вообще не расстраивайся.

Игорь свернул в боковую улицу. Зажигались огни. Они возникали четко, будто являлись на дозор, следить, куда уходит отслуживший день. Воздух во власти ни света ни темноты, а странного их соединенья, казался зыбким. Громкое дыханье машин, везущих людей или многообразную для них кладь, истеричное, всегда неожиданное взвизгиванье трамваев, отдаленное зычное оханье паровозов, заводские гудки, неизмеримо слабый в сравнении с ними, но повсеместный непрерывный человеческий голос, — весь этот слитный шум большого города стлался далеко и гулко окрест, как запуганный рев сильного чудовища. В утробе города, в эти сумеречные часы, самодовлеюще жили только маленькие дети и необрачившиеся влюбленные. Люди другой поры, подвластной воспоминаньям, испытывали тоскливое чувство разобщенности с миром. Отчетливо ложились перед ними грани своей, отдельной человеческой судьбы. И Таня показала себе самой всеми забытой, утомленной. Девочка плелась, прищаркивая на-ходу подошвами. На крышах лежал некрасивый снег. Встречные тоже не нравились Тане.

II

Дверь Тане открыл Александр Андреевич. У него было измученное лицо, Тане он улыбку усталое. Но все же улыбнулся. Значит, забыл и «основопо-

ложника» и все другие ошибки. Милый отец! Таня подпрыгнула и крепко обняла его за шею.

— Ну-ну, хорошо. Что ты так поздно?

— У нас была Надежда Константиновна... По нашему советскому обычаю пошли сниматься.

В дверях столовой показалась Соня.

— Иди, иди! Есть хочу, обедаем.

— Все вместе сегодня? Вот роскошное житье!

Семья собиралась за столом не часто. У каждого был свой труд, свои заседания, друзья и встречи. Соня уходила на работу раньше всех. Бывали дни, когда Таня совсем не видела ее. Может быть, поэтому девочка жила с молодой мачехой в большом согласье. Но чувство любви к ней было совсем иным, чем к отчиму. Если бы тоненькая Соня, с ее милым лицом, простой, неяркой шутливостью, с ее неумением долго страдать или сердиться, вдруг исчезла из таниной жизни, девочка горевала бы сильно. Утрату Сони она перенесла бы трудней, чем исчезновение из совместной жизни родной матери. И все же горе не было бы столь глубоко, не образовало бы такой, всю жизнь ощутимой недостачи, как при утрате Александра Андреевича. Сама Таня об этом никогда не думала, Александр Андреевич вдруг понял это сейчас, встретив доверчивый сияющий взгляд дочери.

— Папа, что такое «грех»?

Он машинально переспросил.

— Грех? Разве ты не знаешь?

И вдруг осознал всю значительность этого незнания. Таня выросла без религии, как и без родителей по плоти. Она совсем новый человек в новой стране.

— Разве в книжках ты не читала?

— Я как-то не замечала в них такого слова. А сегодня Нинка говорит: грех тебе будет.

Подыскивая выраженья, Александр Андреевич не очень ясно объяснил.

— Грех — понятие религиозное. По установкам нашей морали грех — это преступление перед революцией, перед классом.

— Эта Нинка просто злая дрянь. Тварь я буду, если мне когда-нибудь можно будет сказать: грех тебе.

Соня сморщила маленький чистый лоб.

— Таня, выбирай выраженья...

Александр Андреевич перестал слышать их разговор. Он думал:

— Мы совершили не только физическую и экономическую революции. Мы совершили уже психологическую. Этих детей трудно вернуть в мир капиталистических понятий. Он подумал и о том, что в его привязанности к девочке была доля самопохвалы, высокая оценка способности любить чужого ребенка, как своего собственного. Вот именно этого понятия «собственного» для девочки не существовало никогда. Она не знала не только собственных домов, она не знала даже долго летних квартир. Она не знала времени, когда семья, свой род служил противопоставленным чужому. Она не знала, что такое кровные узы. Она многого не знала, что считалось естественным или неестественным еще так недавно. Но чувствует она совершенно естественно и цельно. Этот человек охранял мое детство, воспитывает, учит, живет со мной, я его люблю, он — мой отец. Тем труднее будет ей объяснить, что если он и ошибся, то не враг он ей. Большая область старого бытия, отложившего на нем свой пленительный и злой груз, ей непонятна. Как всякий совершенно новый человек, она мыслит прямолинейно. И вообще, черт знает, как трудно теперь с детьми! Присущий всему молодому эгоцентризм конечно действителен и для них, как был присущ самому Александру Андреевичу в отрочестве и юности. Но они его как-то сочетают с непрекращаемым авторитетом родителей и учителей. Да, если эти родители и учителя их единомышленники. Таня в некоторых отношениях ребячливая двенадцатилетняя девочка прошлого. Но именно во внутренних своих установках она устойчива — не по-детски. Чувство ответственности перед коллективом у них велико. Пресловутое чувство локтя! Раньше дети были другими, несомненно. Ему тяжело оскорбить ее любовь к нему не

только потому, что привык он к этой любви. Ему тяжело оскорбить в ней именно этого нового человека. Александр Андреевич отодвинул тарелку и закурил, Соня укоризненно потянула его за рукав.

— Что это ты? Почему не ешь?

— Не хочу, дайте чаю. Голова болит.

Жена просительно улыбнулась.

— Если можно, вызови машину, прокатимся на часок за город. Тебе надо освежиться.

Александр Андреевич нахмурился, скулы его чуть порозовели. Он подумал со странным злорадством.

— Вот завтра вам покажут машину.

Но вслух он сдержанно сказал:

— Не могу. Я буду работать. А Сычева не пускайте ко мне, если придет.

Таня покачала головой.

— Да, его непустишь! Он упрямый, как наш Кимка Шмидт. Папа, ведь второй съезд РСДРП состоялся в Лондоне, в 1903 году. А Кимка засыпался, в 1902, из самолюбья так на своем и стоит.

— А ты вот из самолюбья хвастаешься шпарталочными сведеньями. Ведь истории прошлого совсем не знаешь. Нука, скажи, про крепостное право ты что-нибудь знаешь?

— Знаю. Это когда Петр Великий...

Александр Андреевич усмехнулся.

— Из всего прошлого ты, кажется, про Петра Великого только слышала.

Таня покачала головой.

— Как не так... А еще Николай, которого мы свергли. Еще какие-то были... крестьянам волю без земли. Нет, вообще-то, папа, я неплохо учусь. Но конечно про всех про Николаев да Людовиков устанешь читать. Нам нужно партитурное чтение. Так нам сказал...

Соня засмеялась, Александр Андреевич ласково смазал Таню рукой по лицу.

— Глупа ты еще, девица. Партитурное.

И как будто в таниных смутных знаниях по истории таилось для него какое-то облегчение, он взглянул на девочку светлей. Он встал, чтобы уйти, но невольно задержался. Сегодня он боял-

ся одиночества. Домашняя работница, Елена Михеевна, принесла чай. Соня услужливо освободила конец стола. Она всегда немного робела перед этой сухощавой светлорусой женщиной с темными горячими глазами. А Таня ее не любила. Она переносила присутствие Елены Михеевны, как неизбежную непогоду. Поворочит да скроется. И Елена Михеевна враждовала с Таней. Она никак не могла сердцем принять, что «чужеродное дитя» занимает столь большое место в семье. Но недружелюбие свое начала проявлять открыто недавно, после одного горячего спора с девочкой о боге. Тогда Александр Андреевич довольно посоветовал дочери:

— Ну ты, воинствующая безбожница, учись подходить к людям...

В их быту и еда, и чистота, и целостность одежды зависела от большой старательной работы Елены Михеевны. Александр Андреевич говорил, что, если она их покинет, им останется одно: переселиться в асфальтовый котел, на иждивенье к беспризорникам. И Елена Михеевна ценила его бережное отношение к себе. Она увидела, что сегодня он чем-то огорчен, устал, чувствует себя больным. Подавая ему стакан крепкого горячего чая, как он любил, Елена Михеевна ласково сообщила:

— Сычев приходил, я в комнаты не допустила. Вам отдохнуть надо. Я сказала: «хозяев нет и не пушу».

Таня враждебно, хотя стараясь выговаривать не особенно внятно, проговорила:

— «Не допустила», «хозяев». Скоро у нас будет, как в «Крокодиле» напечатано: «барин на ячейку ушли».

Щеки у Елены Михеевны вспыхнули.

— Меня, Танечка, переучивать поздно. Я — старый человек. И довольно некрасиво с вашей стороны.

Таня постаралась смолчать, но, встретив сухой взгляд нелюбимых глаз, не смогла.

— И старой вы себя не считаете. Как собираетесь куда, так сколько времени перед зеркалом... Потом и старее люди есть, а бога им не надо.

Соня с упреком спросила:

— Таня, это что такое?

Александр Андреевич крикнул сердито:

— Замолчи сейчас же!..

Елена Михеевна шумно собирала со стола грязные тарелки. В глазах у нее выступили слезы, голос пресекался:

— Они еще жизни не знают. Попрекают меня, что не могу от веры в бога отказать. Ну, не могу и не могу! Их еще на свете не было, когда мне, кроме бога, некому было пожаловаться. Я за советскую власть хоть на смерть пойду, а вот бога не могу отрицать... Они думают, что если я — кухарка...

— Да разве я про это говорю. Я про вашего бога. Про кухарку Ленин сказал...

— Ленин всякого трудящегося человека уважал, а вы на готовенькое пришли, а домашних работниц считаете все равно, что грязь...

— Неправда! Неправда же!

— Таня!

Александр Андреевич выговорил устало.

— Елена Михеевна, успокойтесь... Все это — пустяки.

— Для меня — не пустяки. Хоть и бог для меня не пустяки, но и советская власть — не пустяки! Я при этой власти вторую ступень на курсах кончаю, а прежде...

— А я про что говорю? Вы теперь больше меня, может быть, прошли, а все богу молитесь...

— Я не знаю, что вы в школе прошли, а дома трудящихся презираете. Я вас просила на пол карандаши не очищать и бумажки не раскидывать...

— Да я подберу, сама подмету! Я сама себе все должна... Елена Михеевна! Ну, если я за ней побегу, она еще больше запсихует.

Александр Андреевич удержал ее за плечо.

— Ладно, сиди. Откуда, действительно, у тебя такой тон? А?

Соня неожиданно улыбнулась.

— Уж очень ты ее зеркалом обидела. И главное, зря. Она не кокетка. Недавно представлялся случай выйти замуж, никак не хочет. Терпеть не может мужчин!

Таня упрямо покачала головой.

— Лучше бы она бога не герпела, а завела себе пятерых мужьев. От мужьев только ей забота, а от бога кругом — предрассудки.

Соня уже не сдержала звонкого смеха.

— Пятерых! Таня!

Сумрачно усмехнулся и Александр Андреевич, но девочка, глотая слезы, поперхнулась. Подняв на отчима блестящий от слез, но твердый взгляд, она сказала:

— У меня, может быть, грипп. Что-то глаза слезятся. И вообще весь день... неудачный.

Таня быстро выбежала из комнаты. Соня пошла за ней. Александр Андреевич забарабанил пальцами по столу. Какие неудачные дни еще ждут бедную девочку! Он вспомнил первую встречу с ребенком. Тане шел от роду третий год. С ее матерью, Натальей Сергеевной, тогда его женой, он в первый раз пришел к ним на квартиру. Электричество было испорчено. Комнату освещал слабый свет оплывшей свечи, воткнутой в бутылку. Нянька готовила в кухне чай. Девочка сидела в большом кресле, одна. Большими безбоязненными глазами она следила за темными тенями в глубине комнаты. Ее часто оставляли одну, и она привыкла не бояться ни темноты, ни тишины. Мать взяла ее на руки, осыпала горячими виноватыми поцелуями и поднесла к Александру Андреевичу.

— Вот — твой отец.

Девочка покачала непричесанной головкой и заявила степенно:

— У меня отца нет.

Наталья Сергеевна засмеялась и всхлипнула, снова принялась ее целовать.

— Не было! А теперь есть. Мы будем жить втроем, жить очень, очень хорошо!..

В дверь постучали. Пришел монтер. Мать опустила девочку на пол и заговорила с ним. Вдруг Таня дернула ее за платье. Наталья Сергеевна наклонилась к ней.

— Что, детка, что?

Ребенок спросил спокойно и громко, указывая на монтера.

— Мама, это тоже отец?

Очевидно ей казалось естественным, что из необычной сегодняшней темноты должны являться неведомые отцы. Александр Андреевич посадил ее к себе на колени. Она долго внимательно смотрела ему в рот, когда он говорил с ней. Потом девочка потрогала своим пальчиком его губы и спросила:

— А где ты был, когда тебя не было?

При этом воспоминании сердце Александра Андреевича сжалось от нежности и тоски. Он сам не понял, что сказал в ответ вошедшей Соне.

III

Прошла неделя. Пионеры писали письмо Максиму Горькому. Как во всех ответственных письменных выступлениях организации, руководил Игорь Серебряков. Широко расставив руки, он почти лежал на столе. Правая щека у него была запачкана чернилами. Левой рукой он разглаживал наморщенный потный лоб. Долго стоял спор о том, как обращаться к Алексею Максимовичу, на «ты» или на «вы». Игорь убеждал:

— Он для нас все равно — партиец. А потом даже у буржуазного поэта пустое «вы», а сердечное «ты»...

Из-за спины Игоря тоненьким рассудительным голоском Леонтина Кочергина поправила его:

— Так это же романс, он еще обидится.

Игорь с сердцем отодвинул ее локтем: — Не дыши в ухо, романс! Зачем вчера кудри завил?

Темноволосая девушка, из-за стройности казавшаяся выше своего среднего роста, строго придержала его за локоть.

— Что за грубости в пионерской среде, Игорь?

— Ничего не грубости, а дайте же посоветоваться! Если на «вы», то как же выйдет: мы вас любим, потому что герим... Гораздо тверже выходит: «мы тебя любим, потому что верим тебе целиком и полностью».

Таня громко крикнула:

— Нет, нет! Слишком интеллигентски: любим—верим. Может, лучше выйдет: мы прислушиваемся к каждому твоему слову.

Игорь сердито пробормотал: — Что тут прислушиваться, уж зря не скажет!

Ким ядовито спросил:

— А ты, разве, его не любишь?

Таня, зардевшись сердитым румянцем, встала со своего места и подошла к мальчишкам. Она не любит самого большого пролетарского писателя, своего писателя!

— Как ты смеешь меня оскорблять?

Ким не был по натуре злым, но ему доставляло удовольствие дразнить Таню, она, во всем искренняя, сердилась горячо. Сейчас он и не подумал о том, какую боль он причинит девочке.

Он потянул ее за платье и сказал намешляро и громко:

— Ничего удивительного! У тебя с папочкой, кажется, другие вкусы.

Чувствуя, что сбывается над ней какое-то несчастье, Таня испугалась этого внезапного напоминанья о «папочке». Пожалуй в первый раз за свою сознательную жизнь она не решилась потребовать объяснения. Она стояла около Игоря, постепенно бледнея и не зная, что ей делать. Та же высоконькая темноволосая девушка Лиза, что запретила Игорю грубить Леонтине, подошла к Тане. Она стала перед ней почти вплотную, как бы желая закрыть ее от глаз детей.

— Товарищи, Таня Русанова — наш ничем непопороченный товарищ. Она сама сделает нужные выводы. Она сама сообщит нам о деле своего отца. Ким, травить отцом не только преждевременно, а вообще...

Таня переспросила почти беззвучно:

— Травить моим отцом?

Девушка повернула ее за плечи, сердито шепча:

— Ты не читала сегодня «Правды».

Хрупкая, оттого сладчайшая, надежда на короткое время облегчила сердце Тани. «Ребята берут меня на пушку, чтобы ежедневно газеты читала». Походя около Кима, она даже сказала ему уверенно задорным голоском:

— А ты знаешь, отчасти ты дурак.

— То-есть, как же это?

— Вообще.

Вспомнив об этом, теперь она еще ниже опустила голову. Игорь хмуро по-

дал ей «Правду». Они заперлись в маленькой комнате, где обычно работала редакция школьной газеты. Их было пятеро. Пионер-вожатый Лиза, Игорь, Таня и братья Крицкие, очень похожие друг на друга близнецы, оба активисты. Игорь увидел, что Таня от волнения плохо разбирает строки. Он почему-то пониженным голосом рассказал ей содержание.

— В ущерб государственным интересам он стремился сохранить свое хозяйство. Ну, понятно, не свое личное! Совхозы своего треста. Вообще, я полагаю, трестовиков надо почаще проверять. Работа такая... хозяйственная. Ну, понятно, не растратчик он! Личная выгода заинтересованность не отмечается в постановлении. Но, видишь, он оставил в совхозах скрытый хлеб. На прокорм для своего трестовского совхозного скота. А государство? Понимаешь, тут всякие могут быть мотивы! Вообще — понимаешь, явный оппортунист.

Внешне Таня казалась спокойной. Руки ее сразу перестали дрожать. Серые глаза смотрели в лица товарищей сурово и прямо. Только сквозь тонкую кожу лица не видно стало ни кровинки, побелели и губы. Но ей казалось, что она дрожит, так беспокойно прилиwała к сердцу кровь. Все волновавшие девочку разнообразные чувства в мыслях выливались в одно:

— Уцелеет или не уцелеет?

И ни на одно мгновение, ни в каком темном инстинкте, ни разу не сказала эта мысль, как боязнь за служебное положение отца или страх грозящей материальной необеспеченности. Таня естественно считала, что ее, не взрослую, кормят и одевают. Она была убеждена, что всегда накормят и оденут. Начальнические и не начальнические ранги для нее были равны. Александр Андреевич с малолетства не позволял ей пользоваться его общественными преимуществами. Он доходил в этом до мелочности. Девочку, как и жену его, никогда и никуда не возили на его трестовской машине. Лишь иногда, когда он слишком уставал и на какой-нибудь час ездил сам за город, он брал их с собой. Однажды Таня попросила у него для

школы из треста фанеры. Отец сильно рассердился.

— Не разыгрывай из себя ответственной дочери! Таким путем твоя школа от меня никогда ничего не получит.

В этом сказывалась и показная строгость к себе, как к начальнику. Но для Тани такие правила были благотворны. Она знала, что не все живут хорошо в бытовом отношении. Но, не испытав нужды, не думала о ней и не боялась даже ее. Свое «уделеет» она относилась лишь к одному: «оставят ли отца членом партии». Больше число часов своей жизни девочка проводила в коллективе. И семья их не была замкнутой в тесном мире личного сообщества. Беспартийный представлялся ей каким-то хилым одиночкой в общественной жизни. Как же отец, папа, станет таким? Не может быть, не бывает! Нет, нет, не будет так! Разве это можно? Вообще все происходило, как во сне. И дома, и улицы, и дверь в квартиру, такая знакомая, показались ей нереальными. Молодое свежее сердце отказывалось верить тоске. Впустив Таню, Елена Михеевна укоризненно сказала ей:

— Что это у вас чулки спустились, как у тетки? Подтяните.

Ворчливое замечание Елены Михеевны, столь привычное в ее обращении с девочкой, вызвало у Тани впервые в жизни тоску о прошедшем. Даже малопопаятное показалось ей милым в нем. Пускай бы только все осталось, как было! Вечно женственным движением она туго натянула чулки, держась очень прямо, вошла в комнату. Александр Андреевич, серый лицом, с беспокойными глазами зачем-то встал ей навстречу, потом торопливо и ненужно сел на другой стул. Соня плакала у окна. Обычно слезы у ней высыхали быстро, а теперь нос распух. Давно плачет. По комнате, легко нося длинное тело, ходила танина мама, Наталья Сергеевна. Както всегда случалось так, что приходила она к Русачовым во дни неприятностей или с собой приносила печаль. Она не чувствовала себя удовлетворенной ни личной жизнью ни искусством. Оттого часто страдала искренно и тяжело для

окружающих. От нее и пахло всегда печальными духами и вином, как от увядающих в стакане цветов. На ходу она поцеловала дочь. Ощувив этот знакомый запах, Таня совсем сникла. Бледненькая и очень усталая, она прижалась к дверному косяку. Александр Андреевич спросил ее несколько хрипло:

— Ну?

Таня, потупившись, молчала. Простым добрым сердцем Соня поняла, какое большое крушение доверия, надежд и понятий происходит сейчас в душе девочки. Эти внезапно бледнеющие, потускневшие детские лица, что может быть горше! Она быстро подошла, хотела обнять и увести девочку, но Таня еще судорожнее уцепилась за косяк. Александр Андреевич неловко закурил и заговорил неохотно, нервно:

— Будет разыгрывать из себя малютку. Если ты хочешь чего-нибудь сказать или спросить, так спрашивай.

Наталья Сергеевна рассердилась.

— Да что вы, действительно? О чем с ней разговаривать? Она же конечно еще малютка. Иди, Таня, умойся и полежи. Не твое дело судить отца.

Таня резко повернулась к матери.

— Как не мое? Я ему никогда не говорила неправды! И все ребята наши знают, что я немедленно засплюсь, если солгу. А ты зачем же мне все неправду говорила?

Сердито откашлявшись, Александр Андреевич старался говорить возможно ровней и суше.

— Я учил тебя всегда говорить правду, я! И тебе я не лгал, и вообще не лживый человек. Но ты меня поймешь только тогда, когда к тебе придут свои сложности.

Долго сдерживаемые слезы вдруг прорвались у Тани. Они сразу обильными струями погекли по лицу. Она торопливо вытерала их о плечо и обеими руками.

— А... у меня разве их нет? Лиза Борщеникова... от пионеров вызвала отца на соревнование. Он — слесарь и плохо работал. А он взял да изругался, нехорошо ругался, и лист не подписал, а изорвал. И даже ударил ее. Она и говорит: «Товарищи, как же я с ним буду

жить»? А если б... ты лучше меня ударил, а ты сам всадишься... в оппортуни- сть»...

Наталья Сергеевна всплеснула руками.

— Это чудовищно! Взрослые отвечают за вас, а не вы за них. Как ты смеешь?

Громко всхлипнув, Таня отозвалась уже спокойнее и строже.

— Мы все друг за друга отвечаем. Мы не капиталисты, чтобы вразброд...

IV

Эти два месяца были тяжелыми для Тани. Отца не лишили партийного билета. Ему дали безвыездный и, неизвестно на какой срок, отпуск. На собраниях, в учреждениях и в профсоюзах обсуждали его поведение. В газетах почти ежедневно было укоризненное упоминание о Русанове. Александр Андреевич похудел. На волосах его выступила явная седина. Но, узнав, что из партии его не исключают, он значительно успокоился. Чтоб как-нибудь убить тяжкий досуг, он усиленно занимался английским языком, математикой и много читал даже из беллетристики. Многие он и передумывал за это время. Особенно после разговора с Таней, когда он старался ей объяснить известное его возрасту положение, что не ошибаются только равнодушные. Девочка его не поняла. Он размышлял, почему не поняла. И, будучи честным, увидел, что корни его ошибки глубже, чем в словесных объяснениях. Таня чувствует это. Она чувствует, что все же он считает себя, по существу, правым. А ее закон — прям. Если ты уличен в неправоте и все-таки считаешь себя правым, значит, ты — враг. В чем же его неправота? Он искал и находил в себе многое, уже не нужное и даже вредное этому новому таниному миру. Оно таилось иногда в мелочах: в еле уловимых оттенках славнофильства; в любви к дико тоскливым проголосным русским песням, нагнетающим вялую скорбь, в том, что ему нравился мужик типа толстовского Платона Каратаева, иногда становилось жалко прежней невозделанной русской шири, оттого, что иногда взгляд его ста-

новился радостным при виде кривой маломощной ветряной мельницы на опушке заросшего леса. Все эти обвинения, выраженные в словах, звучали тупо. Казалось, даже снижали красочность мира и жизни. Тем не менее он понял, что пионерам совершенно нового бытия являются врагами иногда и простой мирный пейзаж, и высокое в своей первооснове чувство любви ко всем людям. С Таней об этом он не говорил. Сложность всех этих переживаний была конечно еще недоступна ей. Отношения у них установились ровные, но как будто между ними встала прозрачная, а все же перегородка. Отчетливо это сказывалось в том, что Таня теперь скупко рассказывала ему о делах своей пионерской организации, а раньше — надоедала ими. И вообще она сделалась как-то сразу взрослее. Мир уже вставал перед ней не четко разграниченным, а в сложном переплете света и теней. Случай с отцом научил ее видеть многое, чего девочка раньше просто не замечала.

Наконец, через два месяца, Александр Андреевич получил направление на новую работу. Его послали за границу на торговую работу. Соню не отпустил Московский комитет партии, и Александр Андреевич уезжал один. В день отъезда пришла провожать и Наталья Сергеевна. Она размахивала каким-то листком.

— Знаешь, твое назначение очень удачно. Там пойдет моя опера. И ты мне поможешь. Я — советский композитор. Придется выступить и с речами.

Таня замахала руками.

— Ой, мама, не надо! Брякнешь еще что-нибудь мелкобуржуазное. Ты лучше здесь поговоришь, мы поправим.

Все засмеялись, а Александр Андреевич сказал:

— Ну, вот и приезжай ее там поправлять. Приедешь, а? Ты ведь меня не забудешь?

Таня подняла на него свои искренние глаза и сказала совсем тихо.

— Я бы тебя и тогда не забыла, папа. Только моя жизнь тогда стала бы несчастливой.

Он понял, что она хотела сказать

этим «тогда», и как оно еще страшит ее в воспоминаньях. Он крепко поцеловал ее с влажно блеснувшими глазами. Когда девочка зачем-то вышла из комнаты, он попросил старших женщин:

— Берегите девочку. А ты особенно, Наталья Сергеевна, иногда уж очень к ней неумело подходишь. Ты не права, они имеют право судить нас, им жить по нашим установкам. Для них мы возводим леса...

Увидев возвратившуюся Таню, он весело закончил:

— Вот и вознаграждают нас они то красным галстуком почетного пионера, то рогожным знаменем.

Летом Таня поехала к отцу за границу. Накануне вечером они туляли с Игорем по Москве. Игорь наставительно говорил:

— Без дела не вылезай, там пионеры в жестких тисках. Но все-таки не забывай об организации. А то ведь вы, женщины, там шляпки, тряпки, ах, крепдешин дешевый.

Таня укоризненно покачала головой.

— Ну, что ты, Игорь, разве я такая?

Игорь взглянул искоса на чистую, ровную линию лба и носа, увидел сразу и легкую походку, и яркий, серый глаз. Сердце у него учащенно забилося. Девочка остановилась. Они пришли к ее дому. Игорь крепким пожатием взял ее руку и сказал взволнованно и хмурясь.

— Нет, ты не такая. Ты хорошая. И вообще для меня — самая хорошая из женщин. И всегда будешь самая лучшая...

Таня покраснела и осторожно потянула свою руку. Игорь круто повернулся и пошел. Не оглядываясь, он крикнул:

— Так завтра, на вокзале. С дороги обязательно напиши мне!

Он скрылся за углом. Девочка постояла, посмотрела ему вслед и ушла. Только что скрылась она в дверях подъезда, из-за угла снова вышел Игорь. Он посмотрел на опустевшую панель с ощущением сладостной боли, с тем чувством, которое осознается лишь в зрелости, а в первоначальной своей чистоте никогда не повторится.

Игорь получил письмо от Тани с дороги. Множество кривых, написанных карандашом строк лепилось на небольшом листе. Содержание его тоже было беспорядочно. Между прочим она писала:

«Игорь, обязательно учи языки, хорошенько учись, всех ребят заставляй! У меня какой нехороший случай вышел. Дипкурьер, с которым я еду, не захотел завтракать. Я пошла с билетиком в ресторан одна. Села, понимаешь, а ихний подавальщик в форме не подает мне есть, а все чего-то говорит, говорит. Я

сизжу, а все на меня смотрят, хоть провалиться. Сизжу, краснею, краснею и не знаю, что делать. Потом какой-то заграничный дядька, немножечко знающий по-русски, объяснил мне, что у меня билетик на второй завтрак. А то сизжу, сердце ноет, мучительно вспоминаю: дер офен, дас фенстер, ди диле, а у самой даже спину ломит. Пожалуйста, учись! Зачем давать мировой буржуазии возможность смеяться над нами?»

Совсем сбоку мелкими буквами было приписано: «Ты для меня тоже очень хороший».



Строгий юноша

Пьеса для кинематографа

Посвящается Зинаиде Райх

ЮРИЙ ОЛЕША

Сад.
Веранда.
На веранде стол.
Четыре прибора.
Нарядная сервировка.
Жаркий день. Движение листвы и теней.

Стрекозиная тень стекол на стенах.

Садом окружен дом.

Он представляет собой небольшое здание, построенное в современном стиле, легкое, белое, с обилием стекол.

Это летняя резиденция доктора Степанова.

В саду, неподалеку от веранды, сидит в плетеном кресле человек.

Возле кресла маленький столик.

На нем коробка с сигарами, пепельница, окурки сигары в пепельнице.

На гравии у кресла газета.

Это Федор Яковлевич Цитронов, друг хозяина этого дома.

Наружность его неприятна.

Представьте себе лицо, на котором постоянно сохраняется выражение, свойственное засыпающему человеку. Нижняя губа готова отвиснуть.

Щеки кажутся набрякшими.

Прибавьте, что человек, который сидит в кресле, не молод. И что он очень много ел и пил, и чревоугодничал, как мог, в течение своей жизни.

Всегда он был склонен к тучности. Был срок, когда эта тучность могла проявиться особенно сильно. Но произошла катастрофа, — возможно, фи-

зического порядка: может быть, заболевание печени, — и в результате этой катастрофы наступило внезапное похудание, приведшее к тому, что теперь в фигуре этого человека наблюдается некоторая обвислость. Впрочем, каждый, взглянув на него, скажет, что этот человек скорее толст, нежели худ.

Сад.

Клумбы.

Неподвижно стоят цветы.

Двигаются только большие листовые массы.

На кухне готовят обед.

Повар. Он в колпаке.

Окна кухни выходят в ту часть сада, где он теряет свою чистоту. Это задья дачи. Здесь нечто вроде птичьего двора.

Ходят птицы.

Ходит цесарка.

Девушка, присев на ступеньку, вертит мороженицу.

В доме чистота, блеск, высокие белые двери со стеклом.

Из окон видны дорожки, посыпанные гравием, беседки, клумбы.

Неподвижно стоят цветы.

Река. Юная женщина на берегу.

Это Маша, жена доктора Степанова.

Она только-что купалась.

Возвращается домой

Надевает часы на руку.

Еще влажная рука.

Смотрит — который час.
Она идет мимо дач.
Навстречу ей идут купальщики.
Оглядываются.
Она идет.
Жаркий день.
Дорога.

Сад. Сидит в кресле Цитронов.
Маша входит в ворота дачи.
Сидящий и вошедшая издали видят друг друга.
Обнаруживается, что у человека с сонным лицом очень живые глаза.
Женщина идет в легкой одежде.
Она знает, что идет под его взглядом, и испытывает неловкость.
Он знает, что она испытывает неловкость, и это доставляет ему удовольствие.

Она входит на веранду.
Приближается к даче автомобиль.
Цитронов слышит приближение автомобиля.
Поспешно направляется к воротам.
Стоит у ворот.
Автомобиль приближается.
Цитронов машет приветственно рукой.
Везжает автомобиль.
Это новейшего типа, сильная, комфортабельная, дорогая машина.
Из автомобиля выходит приехавший.
Доктор Юлиан Николаевич Степанов. Известный хирург.
Ему лет сорок восемь. Плотного сложения. Без бороды и усов.
Бежит навстречу Маша.
Цитронов.
Степанов.
Маша.
Степанов привлекает к себе жену. Целует.
Все трое идут по аллее.
Цитронов идет сзади, неся шляпу и трость приехавшего.

Дачная станция.
Подходит поезд.
Среди высадившихся молодой человек в белых штанах и белой рубашке.

На даче.
В саду.

Слышен свисток поезда.
Маша. Степанов.
МАША. Вот... Это Гриша приехал.
Смотрит на часы. Продолжает:
— Да... Это он. Мы условились, что в четыре.
Стол. Четыре прибора.
Доктор Степанов говорит:
— А он найдет дорогу?
Вмешивается в разговор Цитронов:
— Как это не найдет? Спросит. Вся местность знает, где дача доктора Степанова.
— Нет, нет, Машенька, — говорит доктор: — Ты все-таки пойдешь. Встреть. Неудобно. В первый раз человек приехал.
Маша уходит.

Молодой человек стоит на перроне.
Поезд ушел.
Молодой человек ехал довольно долго. Он как бы сгряхивает следы давки, которая была в вагоне. Как бы выравливает некоторую свою прямоту.
Перед ним дачная местность.
Маша вышла на дорогу.

На даче.
Доктор Степанов в саду у плетеного кресла, где сидел Цитронов. Там стоит столик, на котором сигары.
СТЕПАНОВ Ф е д о р !
Цитронов откликается:
— Что такое?
СТЕПАНОВ. Ты курил сигары?
ЦИТРОНОВ. Да.
СТЕПАНОВ. Пожалуйста, не смей курить.
ЦИТРОНОВ. Нельзя?
СТЕПАНОВ. Нельзя.
ЦИТРОНОВ. Ты мне как врач запрещаешь?
СТЕПАНОВ. Нет, как хозяин.
ЦИТРОНОВ. Шутись.
Дорога.
Идет Маша.
На даче.
ЦИТРОНОВ. Я вижу, у тебя испортилось настроение. Почему? Тебе неприятно, что

твоя жена пошла встречать
этого молодого человека?

СТЕПАНОВ. Дурак!

Идет молодой человек.

На даче.

Буфетная.

Блеск кафель.

Домработница.

Поваренок.

Домработница молодая, не без фран-
товства.

Вынимает из плетеного ящика бу-
тылки. Это коньяк.

Иностранная этикетка.

Идет молодой человек.

Проходит вдоль дач.

Играют в теннис.

Неловкий удар.

Мяч вылетает за ограду.

Молодой человек оглядывается на
свист мяча.

Ложбина.

Мяч скатывается в ложбину.

Молодой человек это видит.

Трава. В траве лежит мяч.

Молодой человек спускается в лож-
бину.

В это время верхом проходит Маша.

Молодой человек поднимает мяч.

Посылает мяч игрокам.

Маша завернула за угол.

Разминулись.

На даче.

У выхода на веранду.

Воздушная среда сада.

Стоит столик.

Блестит лакированная поверхность
столика.

Слышно, что идет человек с подно-
сом, на котором стекло.

Звенит стекло.

Это Цитронов.

Он опускает поднос на столик.

На подносе бутылка, широкие бока-
лы, хрустальная миска, в которой ос-
колки льда, стакан с соломинками, си-
фоны.

Поставив поднос, Цитронов отду-
гается.

Все-таки это тяжелая ноша.

Принимается откупоривать бутылку.

Столб блеска на бутылке.

ЦИТРОНОВ. Постепенно я
превратился в твоего ла-
кея, Юлиан. Чорт с тобой.
Я не обижаюсь. Ты великий
человек.

Идет молодой человек.

Приближается к даче.

Его поражает великолепии, открыв-
шееся перед ним.

Он замедляет шаг.

Он несколько ошеломлен.

Ограда.

Кушны деревьев.

Молодой человек смотрит через огра-

Чужой богатый дом за оградой.

Молодой человек видит садовника,
пестующего клумбу.

Людей, поливающих автомобиль из
шланга.

Молодой человек готов отказаться от
того, чтобы войти в этот сад.

Ворота.

Молодой человек смотрит.

Из ворот выходит Цитронов с двумя
овчарками.

Молодой человек останавливается.

Свирепое равнодушие псов.

ЦИТРОНОВ. Вам кого?

Молодой человек не успевает отве-
тить.

Издали кричит Маша:

— Гриша, Гриша!

До того, как она позвала, она шла
быстро, почти бежала.

Позвавши, она пошла медленно.

Молодой человек оглянулся.

Она приближается к нему.

Он стоит смущенный и взволнован-
ный.

Есть тип мужской наружности, ко-
торый выработался как бы в результа-
те того, что в мире развилась техника,
авиация, спорт. Из-под кожного ко-
зырька шлема пилота, как правило, смот-
рят на вас серые глаза. И вы уверены,
что когда летчик снимет шлем, то перед
вами блеснут светлые волосы. Вот дви-
жется по улице танк. Вы смотрите. Под
вами трясется почва. Вдруг открывает-
ся в спине этого чудовища люк, и в
люке появляется голова. Это танкист.

И, разумеется, он тоже оказывается светлоглазым.

Светлые глаза, светлые волосы, худощавое лицо, треугольный торс, мускулистая грудь, — вот тип современной мужской красоты.

Это красота красноармейцев, красота молодых людей, носящих на груди значок «ГТО». Она возникает от частого общения с водой, машинами и гимнастическими приборами.

Вот такого вида молодой человек стоит сейчас перед Машей, на траве, среди ромашек, в ярком сиянии солнца.

Встреча.

Цитронов удаляется с собаками.

Оглядывается на молодых людей.

На даче.

За столом.

Степанов, Цитронов, молодой человек, Маша.

Обедают.

ЦИТРОНОВ. Ну, как вы находите, коньяк хороший?

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Очень.

ЦИТРОНОВ. Это любимая марка Юлиан Николаевича. Ему правительство присылает.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Кто присылает?

ЦИТРОНОВ. Правительство. Почему вы удивились?

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Я не удивился. Я просто не слышал.

Маша уходит из-за стола.

Степанов встревожен.

Внутри дома.

МАША. Запрети ему так разговаривать с Гришей. Это возмутительно.

Она не хочет возвращаться к столу.

МАША. Зачем ты держишь этого человека при себе?

СТЕПАНОВ. Ну, Машенька, это мой друг.

МАША. Неправда, тебе нравится, что он тебе льстит.

За столом.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Таких людей, как Юлиан Николаевич, мало.

ЦИТРОНОВ. А таких, как вы? Много?

Молодой человек понимает, что на него ведется атака.

Улыбнувшись, он говорит:

— Да, много.

Маша и Степанов возвращаются к столу.

ЦИТРОНОВ. Оказывается, Юлиан, и в социализме есть много и есть мало.

В саду.

МАША. А ты не прогуляешься с нами?

СТЕПАНОВ. Нет, Машенька, я уж стар. Мне после обеда посидеть хочется.

Двое остались у стола: Степанов и Цитронов.

Идут Маша и молодой человек.

За столом.

СТЕПАНОВ. Что ж, это вполне естественно.

ЦИТРОНОВ. Что естественно?

СТЕПАНОВ. Что ей нравится этот юноша.

ЦИТРОНОВ. Только он беден.

СТЕПАНОВ. К чему ты это говоришь?

Идут молодые люди. Тесней.

ЦИТРОНОВ. Я тебя успокаиваю.

Сад.

Беседки.

Стоит вымытый сверкающий автомобиль.

Идут молодые люди. Еще тесней.

ЦИТРОНОВ. Она от тебя не уйдет. Никогда. Она привыкла к роскоши.

На кухне.

Повар.

Объедает птичью ногу. Запивает вином.

В спальне.

Домработница прячет в шкаф белье Маши.

Дорогое белье.

Тесно идут молодые люди.

За столом.

СТЕПАНОВ. Ты хочешь сказать, что я ее купил?

ЦИТРОНОВ. Да.

Совсем тесно идут молодые люди.

За столом.

Степанов хватает бутылку.

Цитронов тотчас же вскакивает.

В панике. Отбегает в сторону.

Кричит голосом, в котором страх и мольба:

— Юлик! Юлик!

Сбегаёт в сад, часто — панически — оглядываясь:

— Юлик! Юлик!

Степанов отпускает горлышко бутылки.

Встает.

Уходит.

Высокая белая дверь со стеклом.

Это дверь в библиотеку.

В библиотеке. Стена книг.

Но здесь не затхло. Потому что за окнами сад.

Это соседство создает в комнате воздушность.

Каждая вещь, даже поставленная в дальний угол, отражает небо, ветвь, облако.

Ходит по библиотеке Степанов.

Его гнев еще не улегся.

Курит.

Цитронов у двери.

Тихонько стучит. Говорит:

— Юлик... Пусти меня, Юлик... Не сердись... Я ужасную вещь сказал... Она тебя любит, Юлик... Я знаю... Безумно любит...

Возвращаются на дачу молодые люди.

Маша оставляет молодого человека в саду.

Молодой человек один.

Маша в библиотеке.

Маша.

Степанов.

МАША. Гриша уезжает. Можно взять машину? Я его отвезу до станции...

Степанов и Маша выходят в сад.

Идут по саду.

Молодой человек один.

Присоединяется к ним.

Сзади плетется Цитронов.

Степанов говорит:

— Приходите к нам десято-

го. У нас будет прощальный вечер. Я ведь уезжаю в Лондон. На международный конгресс по раку.

Маша возится возле машины.

Молодому человеку очень трудно в данную минуту.

Ему хочется смотреть на Машу.

Но перед ним великий доктор.

Он студент и комсомолец и полон уважения к этому замечательному человеку. Ему нельзя отвернуться и смотреть на Машу. Он слушает доктора и смотрит ему в глаза, но это неестественное и мучительное напряжение.

— Да, — говорит он: — Я знаю. Вы будете доклад делать. А какая тема?

Ему, — почти что виском, — удалось увидеть Машу. В соединении с элегантной машиной она ему кажется особенно милой.

Вмешивается Цитронов:

— Какая тема? Текущие дела, молодой человек. Как вы можете спрашивать, какая тема? Ведь вы не специалист. Тема: воскрешение людей. Юлиан Николаевич буквально людей воскрешает. А вы как небрежно спрашиваете, как будто это доклад в местное.

Молодой человек растерян

ЦИТРОНОВ. Удивительная развязность... Человек находится в доме великого ученого...

СТЕПАНОВ. Пошел вон!

Цитронов стоит.

СТЕПАНОВ. Ты слышишь, что я тебе говорю?

Цитронов удаляется по направлению к веранде.

СТЕПАНОВ. Он, понимаешь, усвоил себе манеру хвастаться мною...

МАША. Тебе это нравится.

СТЕПАНОВ. Глупости говоришь.

Прощаются.

Автомобиль уезжает.

Некая лужайка вне дачи.

Ромашки.

Стоят на лужайке Степанов и Цитронов.

Отсюда им видна дорога. Это поря- дочная даль.

Воздух прозрачен. Они видят детали далекого ландшафта, ставшие очень миниатюрными. Маленькие деревья. Маленькие кусты. Маленькие дома. Появляется стремительно скользящий маленький автомобиль.

Дорога.

Остановившийся автомобиль.

Водительница и седок возле него.

Какая-то неисправность в моторе.

Молодой человек принимается исправлять.

На лужайке.

Цитронов бежит с биноклем.

Степанов смотрит в бинокль. Кру- тит шарниры.

Автомобиль и двое молодых людей, видимых в бинокль.

Степанов налаживает видимость.

И от этого происходят изменения очер- таний автомобиля и молодых людей.

Вдруг они становятся менее четкими. Заволакиваются туманностью.

И только постепенно картина при- обретает прозрачность.

На лугу.

Степанов смотрит в бинокль.

Он большой. Столбы ног.

Большие ступни.

Среди ромашек.

У автомобиля.

Молодой человек занят исправлени- ем мотора.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Мне сни- лось, что на стадион приеха- ла такая вот машина. И за рулем женщина. Я смотрю издали... кажется, вы. Шля- па такая, похожа издали. Не- ужели она, думаю.

МАША. Ну и что ж... Это я бы- ла?

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Нет. Я побежал... Вдруг она выхо- дит из автомобиля... И я ви- жу: иностранка... Немка, с

носом, в очках... Очень не- красивая.

На лугу.

Степанов отнимает бинокль от глаз.

— О чем они говорят, инте- ресно.

Поднимает бинокль.

Видит молодых людей, автомобиль.

Молодые люди разговаривают.

Он видит: движутся губы. Маша смеется. Надо полагать, громко.

Но Степанов ничего не слышит. Это для него немое кино.

На дороге.

Автомобиль уезжает.

На лугу.

Степанов и Цитронов покидают луг.

Автомобиль разворачивается на пло- щадке недалеко от перрона.

Молодой человек поднимается на перрон. Оглядывается.

Автомобиль удаляется.

Молодой человек смотрит.

Маша останавливает машину, кричит:

— Так не забудьте, Гриша. Десятого вечер.

Он машет рукой.

Автомобиль уезжает.

Гриша стоит на перроне.

Ждет поезда.

Гриша Фокин возвращается домой.

Вечер.

Он живет в большом доме, в комму- нальной квартире, вместе со своей стар- ой матерью.

Молодой человек поднимается по лестнице.

Комната.

Он входит.

Рабочий стол.

Книги.

Сын зовет:

— Мама!

Матери нет.

Открывается дверь в коридоре. Вы- глядывает мать.

Говорит:

— Гриша! Я тут.
Она у соседки.
Комната соседки.
Зеркало.
Соседка сидит перед зеркалом.
Смотрит в зеркало.
Мать в дверях.
Подходит сын.
Видит, что соседка сидит перед зеркалом.

Соседка.
Зеркало.
Соседка говорит:
— Здравствуйте, Григорий Иванович.

СЫН. Почему вы так часто в зеркало смотрите, Катя?

СОСЕДКА. Потому что я красивая.

СЫН. Это ничего, Катя. Красота — понятие диалектическое. Оно возникает только между двумя. Никогда неизвестно, какой человек один, сам по себе: красивый или некрасивый. А когда приходит к человеку другой человек и говорит: «Я тебя люблю», то первый сразу становится красивым. Понимаете?

СОСЕДКА. Да?

СЫН. Ну конечно!

СОСЕДКА. А ко мне уже пришел человек и сказал: «Я тебя люблю».

СЫН. Значит, вы уже красивая.

СОСЕДКА. Да?

СЫН. Ну конечно.

Берет зеркало.

Смотрит.

Спрашивает:

— Мама, а я красивый?

МАТЬ. Ну конечно.

СЫН. Но мне еще не сказали: «Я тебя люблю».

СОСЕДКА. Но все-таки вы красивый.

Ходы. Переходы.
Лестницы.
Дорожки.
Площадки.
Трава.
Деревья.
Афиши.
Цифры, написанные известью на песке.

Происходит тренировка.
Группа молодых людей. Отдыхают.
Девушки и юноши.

Яркий летний день.

Высокие деревья.

Огромное небо.

Внизу на площадке группа прыгунов с шестом.

Среди них Гриша Фокин.

К группе отдыхающих поднимается молодой человек с диском. Дискобол.

Фокин видит снизу: идет Дискобол.

Фокин смотрит.

Медленно поднимается по лестнице Дискобол.

Дискобол. Он обнаженный. Только короткие трусы на нем.

Загорелый. В руках тяжелый каменный диск.

Группа отдыхающих. Разговор.

1-й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Он составил третий комплекс «ГТО».

2-й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Кто составил?

ДЕВУШКА. Гриша Фокин.

ТРЕТИЙ. Какой же это комплекс?

1-й МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Моральный.

Сидит Дискобол.

Как будто не слушает.

ТРЕТИЙ. Что это значит?

ДЕВУШКА. Неужели ты не понимаешь?

ТРЕТИЙ. Нет.

ПЕРВЫЙ. Комплекс душевных качеств. Какие душевные качества должен вырабатывать в себе комсомолец.

Дискобол перекладывает диск на другую сторону. Как будто не слушает. Сидит, несколько облокотившись. Загорелое тело блестит на солнце.

Утро.

На стадионе.

ПЕРВЫЙ. Например?

ДЕВУШКА. Неужели ты не понимаешь?

ПЕРВЫЙ. Скромность. Это, во-первых. Чтобы не было грубости и развязности. Дальше: искренность. Чтобы говорить правду. Дальше: великодушие...

ВТОРОЙ. В каком смысле?..

ДЕВУШКА. Неужели ты не понимаешь?

ПЕРВЫЙ. Чтобы не радоваться ошибкам товарища.

Дискобол сидит.

ПЕРВЫЙ. Щедрость. Чтобы изжить чувство собственности.

— Затем сентиментальность.

ДИСКОБОЛ. Ах, и сентиментальность?

— До известной степени. Чтобы не только марши любить, но и вальсы.

ДЕВУШКА. Дальше, дальше, ну?

— Жестокое отношение к эгоизму.

ДЕВУШКА. Правильно.

— Ну, и целомудрие.

ДИСКОБОЛ. Как целомудрие?

ДЕВУШКА. Неужели ты не понимаешь?

Гриша Фокин на кругу. Солнце. Трава. Ромашки.

Дискобол сидит.

ВТОРОЙ. Так ведь это буржуазные качества.

ПЕРВЫЙ. Нет, это человеческие качества.

ВТОРОЙ. Что это значит человеческие?

ДЕВУШКА. Неужели ты не понимаешь?

ПЕРВЫЙ. Буржуазия извратила эти понятия. Потому что была власть денег.

ДЕВУШКА (быстро). А раз теперь власти денег нет, то все эти чувства получают свою чистоту. Неужели ты не понимаешь?

Подъезжает к стадиону автомобиль.

Автомобиль останавливается.

Выходит Маша.

С высоты смотрит молодой человек в бинокль.

Подзывает Девушку.

— Шурка! Иностранцы приехали.

Сенсация.

Смотрят теннисисты.

Смотрит севший на параллельные брусья легкий атлет. Он вытирает руки платком.

Группа отдыхающих. Головы повернулись на крик молодого человека с биноклем.

— Что такое?

ДЕВУШКА: Иностранцы приехали.

Маша на территории стадиона.

Автомобиль стоит. Кукла в окне.

Дискобол видит Машу.

Общий интерес к идущей по территории стадиона незнакомке.

Она вела машину.

Она очень элегантна.

В автомобиле сидит доктор Степанов.

Маша оглядывается.

Посылает мужу рукой приветствие.

Солнце. Пространство. Маша стоит, подняв руку.

Доктор Степанов не отвечает. Маша скандализована тем, что он не отвечает.

Еще раз повторяет жест.

Маша с поднятой рукой.

Доктор Степанов закуривает.

Маша возвращается к автомобилю.

— Ты что... сердисься?

Молчание.

— Неужели ревнуешь? Как тебе не стыдно.

Молчание.

На стадионе наблюдают эту сцену.

Дискобол и Фокин.

Фокин в халате.

ДИСКОБОЛ. Это что? Она?

Фокин вспоминает сон. У него сильно бьется сердце. Он ничего не может ответить.

ДЕВУШКА (сверху). Почему ж ты стоишь, Гриша? Тебе надо подойти. Неужели ты не понимаешь?

Стоят Дискобол и Фокин.

ДИСКОБОЛ. Какое моральное качество по твоей теории ты в данную минуту вырабатываешь? Застенчивость? По-моему, трусость.

У автомобиля.

МАША (в сердцах). Пожалуй-ста. Поедем обратно.

ДОКТОР (с раздражением). Нет, уж теперь неудобно. Поскольку все видели.

Дискобол идет по полю.

В большом пространстве движется темная сверкающая фигура атлета.

Мерно размахивает рукой, которая кажется прямой оттого, что в ней тяжесть диска.

Девушка возле Фокина.

Фокин весь устремлен вперед.

Идет Дискобол.

У автомобиля.

Доктор Степанов.

Маша оглядывается на приближающегося Дискобола.

Тот идет. Подошел. Кланяется.

— Вы приехали, чтоб увидеть Гришу Фокина?

МАША. Да.

ДИСКОБОЛ. Он знает, что вы приехали. Он вас видел. Но он прячется.

МАША. Прячется?

ДИСКОБОЛ. Да. Ему страшно на вас смотреть, потому что он вас любит.

Девушка. Фокин.

Фокин отталкивает Девушку.

Ринулся.

Уже он стоит в группе возле автомобиля.

ФОКИН. Что он сказал? Что ты сказал? Маша...

ДИСКОБОЛ. Я сказал, что ты любишь.. вот.. гражданку...

ДОКТОР СТЕПАНОВ. Маша, я думаю, что разговор глупый.

МАША. И весь стадион знает об этом?

ФОКИН. Нет, нет, Маша... Никто не знает. Только он. Мой друг.

Маша садится за руль.

Скандал. Доктор Степанов возмущен.

Он говорит:

— Странно. Очень странно. Как во сне. Подходит голый человек и говорит, что кто-то любит мою жену.

Уезжает автомобиль.

Стоит Фокин. Обескураженный.

Смотрит вслед удаляющемуся автомобилю.

Подальше стоит Дискобол.

Девушка подбегает.

Дискобол говорит:

— Ведь я прав. По его теории комсомолец должен говорить правду. Вот я и сказал правду.

Фокин стоит.

Автомобиль удаляется.

Дискобол зовет:

— Гриша!

Тот недвижим.

Дискобол опять:

— Гриша!

Тот недвижим.

Дискобол еще раз:

— Гриша!

Тот недвижим.

ДЕВУШКА. Он ничего не слышит. Неужели ты не понимаешь?

Тогда Дискобол разворачивается и кидает диск.

Диск падает у ног Фокина.

Тот недвижим.

Перед нами стоит доктор Степанов.

Обращаясь к невидимому собеседнику, он говорит по-английски. Интонации и жесты его несколько напыщенны.

Он как бы изображает оратора.

Это происходит в библиотеке.

Маша сидит за столом.

Перед ней листы и раскрытые книги.

Оторвавшись от работы, она слушает мужа.

МАША. Что это ты сказал?

СТЕПАНОВ. Дistinguished gentlemen! Заканчивая свой доклад, я хочу перечислить моих коллег, помощников и аспирантов, участвовавших в работе, результа-

ты которой только что были предложены вашему вниманию, достопочтенные джентльмены. На первом месте должен поставить я имя моей жены... Это я скажу на международном конгрессе в Лондоне.

В саду.

Сидит в плетеном кресле Цитронов.

В библиотеке.

Маша за столом.

Степанов берет лист.

Говорит:

— Эти страницы ты помечай римскими цифрами. И потом, достопочтенная леди, вы спутали. Мы имеем в виду не Бруна Вебера, а Вальтера Вебера...

В саду.

Цитронов встает.

Смотрит на окна библиотеки.

В окне Степанов.

Кричит:

— Хочешь сигару, Федор?

ЦИТРОНОВ. Очень.

Направляется к веранде.

Степанов стоит на веранде, протянув сигару.

ЦИТРОНОВ. У тебя, я вижу, улучшилось настроение. Вы что? Помирились?

СТЕПАНОВ. Да. Мы решили больше его не принимать у нас. Ты подумай... Имя Маши треплется по всему стадиону. Этому надо положить предел.

ЦИТРОНОВ. А вечер? Завтра вечер. Ведь вы его пригласили.

СТЕПАНОВ. Подумаешь... Можно отменить приглашение.

Театр.

Театральная костюмерная.

Портной. Он старичок.

Шьет.

Идет по театру Дискобол.

Это оперный театр.

Утро в театре.

Слышна ария репетирующего тенора.

Дискобол слушает.

Ходы. Переходы.

Балерины репетируют.

В коридоре встречает Дискобол балерину.

Она шла на сцену.

Она в пачках.

Балерина видит перед собой красивого юношу.

Дискобол видит перед собой красивую девушку.

Оба останавливаются.

Затем она исполняет роль его проодника.

Куда они идут?

Сейчас это выяснится.

Театр днем.

Ходы. Переходы.

Поет тенор.

Дверь в подземельи театра.

Шелочка. Балерина и Дискобол. Он заглядывает.

Потом благодарит балерину.

Дискобол входит в комнату.

Это костюмерная мастерская.

Дискобол стоит в дверях. Говорит:

— Дядя!

Оглядывается старичок.

Это портной. Он радостно улыбается. Кивает головой.

Говорит:

— Здравствуй, Коля!

Дискобол входит, садится.

Говорит:

— Дядя, мне нужен фрак.

Шкафы. Ряд шкафов.

Племянник и дядя идут вдоль шкафов.

Дядя открывает один из них. Висят фраки.

Старичок говорит:

— Но ты вернешь, Коля. Я ведь отвечать буду. Я, Коля, преступление делаю.

Дискобол рассматривает фраки. Ноль внимания на дядю.

СТАРИЧОК. Я, Коля, преступление делаю.

Старичок с фраком. Фрак на столе.
Все дополнение к фракку.

Старичок достал большую коробку.
Дискобол покуривает.

Старичок, упаковывая фрак, говорит:
— Это из «Травяты» фрак.
Я, Коля, преступление делаю.

Дискобол ноль внимания на дядю.

Берет пакет.

Идет к дверям.

Старичок за ним:

— Слышишь, Коля? Это из «Травяты» фрак.

Закрывается за Дискоболом дверь.

Театр.

Выходит из театра Дискобол с пакетом.

Высоко в одном из окон театра появляется балерина.

Надо полагать, она смотрит на юношу.

Дискобол оглядывается.

Балерина в окне.

Слышны очень отдаленные звуки репетирующего оркестра.

Переулок.

Дискобол появляется в переулке.

Раскрытое окно в первом этаже.

Дискобол подходит к окну. Стучит в стекло откинутой створки.

В окне появляется мальчик.

Дискобол оборачивается.

Взмахивает рукой, указывая мальчику на дом.

Мальчик смотрит.

Дом. В этом доме живет Гриша Фокин. Его окно.

Свешивается с подоконника белая спортивная фуфайка.

Мальчик кивает головой.

Дискобол кладет коробку на подоконник. Затем указывает мальчику на белешный вдали циферблат башенных часов.

• Мальчик кивает головой.

В комнате Гриши.

Он собирается бриться.

Раскладывает бритвенные принадлежности.

Мать ставит стакан с водой.

СЫН. Все-таки я не знаю, мама, итти или не итти.

МАТЬ. Ты сам говорил, что комсомолец должен быть решительным.

СЫН. Да... Но ведь они уехали со стадиона, не сказав мне ни слова.

Лестница.

Поднимаются по лестнице Дискобол и та девушка, которая была на стадионе.

Она возбуждена.

Она что-то говорит Дискоболу.

Он идет на ступеньку впереди. Но она его останавливает. Поэтому восхождение совершается несколько сумбурно.

Девушка говорит:

— Нужно, чтобы исполнились все желания, тогда человек будет счастлив. Неужели ты не понимаешь? Если желания не исполняются, тогда человек делается несчастным. Нельзя подавлять желания. Подавленные желания вызывают горечь. Есть такая теория. Хочется сесть на ступеньку — садись.

Девушка садится на ступеньку.

— Хочется встать — встань.

Девушка встает.

В комнате Фокина.

За шкафом. Мать завязывает сыну галстук.

Распахивается дверь.

Входят Девушка и Дискобол.

ДЕВУШКА. Это так просто. Хочется подпрыгнуть — подпрыгни.

Подпрыгивает.

Мать выглядывает из-за шкафа. Ничего не понимает. Почему подпрыгивает девушка?

ДЕВУШКА. Хочется опрокинуть стакан — опрокинь.

С запальчивостью фанатика опрокидывает стакан.

Опрокинутый стакан.

Вода на клеенке.

Девушка, опрокинув стакан, немедленно садится — усталая, как балерина. Обмахивается.

Говорит:

— Фу, как я устала от своей разнужданности!

Сын выходит из-за шкафа.

Видит стакан, лежащий на боку, воду на клеенке.

Спрашивает:

— Что с тобой происходит?

ДЕВУШКА. Человек не должен подавлять желаний. Захотелось вылить воду, вот я и вылила.

СЫН. Так. Тебе захотелось вылить? А может, тебе и вытереть захочется?

ДЕВУШКА (развалившись). Нет, еще не хочется.

ФОКИН (с легкой угрозой). Ах, не хочется?

ДЕВУШКА (вскочила). Хочется. Хочется.

В дальнейшем вытирает стол.

Дискобол смотрит на Гришу.

Спрашивает:

— Ты так и пойдешь?

ФОКИН. Как «так»?

ДИСКОБОЛ. Тебя не пустят в таком виде. Там все будут во фраках. Это советские аристократы.

Фокин не отвечает.

Уходит.

Фокин стучит в дверь зеркальной соседки. Та открывает. Увидев расфрантившегося Фокина, отступает назад. Всплескивает руками.

Фокин в комнате у соседки.

Зеркало.

Фокин смотрит в зеркало.

Находит, что здесь темно.

Берет зеркало.

Выходит на площадку.

Соседка за ним.

Фокин передает соседке зеркало.

Соседка держит перед ним зеркало.

Здесь светло.

Фокин, не успев отразиться, видит в зеркале Цитронова.

В комнате.

Цитронов в дверях.

Он обводит всех взглядом.

Видит мать,

Дискобола,

Девушку,

Фокина.

Дискобол стоит, сложив на груди руки, они готовы скреститься. Рукава за-

вернуты. Под легкой тканью рубашки угадывается выпуклое сплетение мускулов.

Девушка стоит с ним рядом. Тяготеет к его локтю. Как бы уходит от опасности за его локоть.

Цитронов.

Он в шляпе. С тростью.

Обращаясь к Фокину, говорит:

— Доктор Юлиан Николаевич Степанов и его супруга Мария Михайловна отказывают вам от дому. Эта формула вам понятна?

Мать восклицает:

— Почему отказывают?

Цитронов бросает презрительный взгляд в сторону матери. Затем говорит:

— Просят вас больше не бывать.

ФОКИН (тихо). Хорошо.

Стоит Дискобол, скрестив руки. Девушка рядом. Тяготеет к локтю.

ЦИТРОНОВ. Вы сами сказали, что таких, как доктор Степанов, мало, а таких, как вы, много. Это верно?

ФОКИН. Да.

Дискобол от возмущения весь приходит в движение. Девушка еще дальше уходит за локоть.

ЦИТРОНОВ. Стало-быть, вы согласны, что социализм — это неравенство?

ФОКИН. Говорите проще. Уравниловки конечно не должно быть.

ЦИТРОНОВ. Чего не должно быть?

ФОКИН. Уравниловки.

ЦИТРОНОВ. Это не философский термин.

ФОКИН. Нет, философский.

Девушка выходит из-за локтя. Подходит к Фокину и целует его

И, сделав это, объясняет Дискоболу, глядя на него снизу:

— Мне захотелось его поцеловать. Надо исполнять желания.

И опять уходит за локоть.

ФОКИН. Кто вас послал?

ЦИТРОНОВ. Доктор Степанов и Маша.

ФОКИН (*хрипло*). И Маша?
ЦИТРОНОВ (*смакуя паузу*). Да,
и Маша.

Фокин стоит с опущенной головой.

Цитронов держит трость. Можно подумать, что он хочет подкинуть тростью опущенную голову юноши.

ЦИТРОНОВ. Ну? Почему ж вы опустили голову? Хочется на вечер? Да? Там красиво у нас, — правда? За оградой. Цветы. А сегодня будут гости, будет праздник, будет концерт. Будет Маша сверкать в бальном платье. Как приятно сидеть за ужином напротив любимой. Она ест пирожное, вы смотрите на нее, и вам кажется, что каждый ее глоток похож на поцелуй. Но у вас и фрака нет. У вас есть фрак? Нету? Ну, ладно. Я заболтался.

Прощайте, молодые люди.

Прощайте серенький...

Живите своей серенькой жизнью...

ДЕВУШКА. (*Ее прорвало*). Это фашистское освещение коммунизма. Неужели вы не понимаете?

Дискобол отталкивает Девушку. Сдерживает гнев. Говорит:

— А вы кто такой?.. Как вы смеете так разговаривать?

ЦИТРОНОВ. Я? Я подчеркиватель неравенства.

Дискобол сжимает кулаки.

Говорит, обращаясь к девушке:

— Как ты говоришь, Лизочка? Надо исполнять желания? А если у меня есть желание дать этому человеку по морде?

ДЕВУШКА. Не подавляй желания. Бей.

Дискобол наступает на Цитронова.

ЦИТРОНОВ (*подняв ладонь*). Но, но...

Фокин хватается Дискобола за руку.

Это очень сильная хватка.

Порыв Дискобола пресечен.

Дискобол застывает.

Цитронов уходит в дверь.

ДИСКОБОЛ. Чужая отрада.

Ах, ты, подлец. Подчеркиватель неравенства—ты слышал? Это, значит, неверие... полное неверие в нас... в молодых... в наши силы, умы... в культуру. Ты понял?.. Гришка, как он смеет? Мы тоже будем великими... Как он смеет? Пусти меня. Его надо убить...

По лестнице идет мальчик с пакетом. Входит в дверь.

Площадка. Некоторое время она пуста.

Мальчик выходит из дверей.

Спускается по лестнице.

Площадка. Некоторое время она пуста.

Вдруг распахиваются двери. Вылетает вытолкнутый Дискобол.

Затем вылетает Девушка.

Затем вылетают фрак, манишка.

Фрак повисает на перилах.

ДИСКОБОЛ (*погирая лопатку*). Я нарочно послал фрак. Чтобы он понял. Чтоб ему стыдно стало.

Оборачивается на дверь. Кричит в чрезвычайной обиде:

— Дурак, размазня! Эх, ты. Я тебе покажу. Надо бороться за свое... Э-эх... Если бы я был на его месте... Я бы отбил Машу у этого профессора. Комсомолец должен быть смелым.

Выходит на площадку Фокин. Говорит:

— Все дело в том, что Маша меня не любит. Не любит, и кончено. Его любит. А меня нет. Вот и все. Комсомолец должен быть точным.

ДИСКОБОЛ. А хочешь — я надену фрак и пойду на бал.

ДЕВУШКА. Ой, да. И принеси пирожных. Он так аппетитно говорил о пирожных.

ДИСКОБОЛ. Слышишь, Гриша? Надену фрак и буду целоваться с Машей...

Фокин срывает фрак с перил, размазывает им.

ДИСКОБОЛ. Гришка! Что ты делаешь? Это фрак из «Гравиаты».

Фокин кидает фрак на Дискобола.

Вечер на даче у доктора Степанова. У вьезда автомобиля. Новейшего типа, сильные, комфортабельные, дорогие машины. Куклы в окнах, зверьки, розы.

В саду.

Фонари. Столики.

Бутылки в запотевших от холода ведрах. Снеговые салфетки. Пирамиды фруктов. Грани хрустала.

Цветы, упавшие на гравий.

Чуть втоптаные в гравий цветы.

Летают мотыльки вокруг фонарей.

Падают на скатерть.

Гости.

Группа иностранцев.

Среди них семья: муж, жена и сын-подросток. Он в смокинге, подстриженный, со вздернутым носиком, блондин, с вихорком на макушке — подвижной, но послушный. Рвется вперед, но оглядывается на родителей.

Появляется Маша.

Маша идет по саду. Одна.

Все смотрят на Машу.

Вид Маши, ее ход, движение складок ее платья — так странно, так красиво, так необычно, что подросток не выдерживает и, выбежав вперед, хлопает в ладоши.

Маша приглашает гостей в залу.

Зала.

Рояль.

Гости.

Доктор Степанов и Маша.

Сад.

Слышны звуки рояля.

Через ограду лезет Дискобол.

Он во фраке. Атлет. Сажень в плечах. Сверкают лаковые ботинки. Он перелез.

Он идет.

Звуки рояля.

Дискобол садится за столик. Скатерть. Бокал. Мотылек ходит по кругу бокала

В зале.

Играет пианист.

Гости.

Входит в зал Дискобол.

Маша его видит.

Он видит Машу.

Маша заволновалась.

Играет пианист.

Маша встает.

Идет к Дискоболу.

Пианиста раздражает движение.

Он перестает играть.

Маша, услышав тишину:

— Что?

СТЕПАНОВ. Ты нам мешаешь, Маша. (К пианисту.) Извините, пожалуйста.

Пианист продолжает играть.

Маша смотрит на Дискобола.

Дискобол смотрит на Машу.

Маша улыбается.

Дискобол улыбается.

Пианист перестает играть.

МАША. Что?

СТЕПАНОВ. Ты нам мешаешь, Маша. (К пианисту.) Извините, пожалуйста.

Пианист продолжает играть.

К Маше сел мотылек на плечо.

К Дискоболу сел мотылек на плечо.

Пианист перестает играть.

МАША. Что?

СТЕПАНОВ. Ты нам мешаешь, Маша

Появляется Фокин.

Кричит:

— Что это значит — «она мешает»? Она — сама музыка.

Гости столбенеют.

Фокин подходит к Маше. Говорит:

— Она — сама музыка. Маша...

Она поднимается ему навстречу.

Фокин говорит:

— Вот ее движение. Слушайте.

Он поднимает ее руку.

Рука поет.

Он гладит ее по голове.

Говорит:

— Вот ее осанка. Слушайте.

Волосы поют.

Он кладет ей голову на грудь. Говорит:

— Вот ее сердце. Слушайте.

Сердце поет.
— Вот ее поцелуй. Слушай-те.

Он целует ее.
Поцелуй поет.
Пианист падает головой на рояль.
Подросток стоит, высоко подняв цилиндр.

А Дискобол в саду.
Он берет поднос с пирожными.
Появляется Цитронов.
Он бежит за воров.
Вор с подносом лезет через ограду.
Выбегает публика.
Все стоят полукругом.

Отпрянули.
Боятся.
Вор сидит на ограде.
Цитронов бросается за ним.
Вор, как Чаплин, кидает в него пирожными.

Кремовые пирожные.
Лицо Цитронова залеплено кремом.
В зале.
Фокин у ног Маши.
Целует ее, обнимает.
Вся она поет. Мелодия Маши.
Слезы текут по ее лицу.
Слезы падают на лицо Фокина.
Музыка.

Фокин просыпается.
Он спит под березами.
Дождь.

У него лицо мокрое от дождя.
Вдали дача.

Отъезжает автомобиль.
Закрываются ворота.
Сторож, садовник.
Сторож говорит:

— Бал отменили. Еще с утра. Хозяина вызвали на операцию... Кто-то важный заболел.

Гриша Фокин возвращается домой.
Раннее утро.
Мать спит за ширмой.
В комнате, оказывается, гость. Дискобол.

ДИСКОБОЛ. Ты где был?
Фокин не отвечает.

ДИСКОБОЛ. Ну, ясно.

Голос матери из-за ширмы:

— Гриша!

СЫН. Спи.

Молчание.

ДИСКОБОЛ. Я, Гриша, приходил сегодня вечером к Ольге. Я хотел поговорить с ней. Но, оказалось, она больна. Меня к ней не пустили. Тогда я пришел сюда. Тебя не было, я решил ждать и просидел всю ночь.

ФОКИН. О чем ты хотел говорить с Ольгой?

ДИСКОБОЛ. О докторе Степанове... Гриша, послушай меня... Я хотел спросить Ольгу, не совершает ли доктор Степанов страшного преступления против нашего общества... Против общества, которое вскоре будет бесклассовым...

ФОКИН. Ну, ну. Говори. Я знаю, что ты хочешь сказать...

ДИСКОБОЛ. Знаешь? Я хочу сказать о самом главном законе, который ляжет в основу всех законов бесклассового общества...

ФОКИН. Какой это закон?

ДИСКОБОЛ. Не может быть власти человека над человеком... Правда?

ФОКИН. Правда.

ДИСКОБОЛ. Вед он... этот великий человек... Он злоупотребляет своим величием... Он прислал к тебе человека, который издевался над тобой... Прислал собаку, чтоб травить тебя... Ты подумай. Ведь это так... Ведь ты не знаешь... А, может быть, она... Маша.. любит тебя...

ФОКИН. Нет.

ДИСКОБОЛ. Нет? Ты убежден, что нет?

ФОКИН. Убежден.

ДИСКОБОЛ. Неправда. Просто от большого уважения к нему... ты уговариваешь себя... что она тебя не любит... Чтобы устраниваться и не ме-

шать ему жить... Ты хороший комсомолец... вот в чем дело. Если партия заботится о нем, то ты не считаешь себя в праве нарушать его счастье. Это так, Гриша, так...
ФОКИН. Молчи. Слышишь, молчи.

ДИСКОБОЛ. Как жаль, что заболела Ольга.. Она все знает. Она об'яснила бы все... Есть ли это власть человека над человеком, или нет...

ФОКИН. Это чистая власть... Он не банкир... Он великий ученый, он гений... Ты слышишь?

ДИСКОБОЛ. А власть гения остается?..

ФОКИН. Власть гения? Поклонение гению? То-есть науке? Да. Остается. Для меня— да. Для комсомольца. Да. Я согласен на все... Я устраняюсь... Слышишь? Да... Вот я говорю тебе... Да... Влияние великого ума... Это прекрасная власть.

ДИСКОБОЛ. Ах, как жаль, что больна Ольга... Она бы все об'яснила мне...

Голос матери из-за ширмы:

— Гриша!

СЫН. Ну, что тебе?

МАТЬ. Ты говоришь, что таких, как ты, много, а он один?

СЫН. Да.

МАТЬ. Ты тоже один?

СЫН. Для тебя.

МАТЬ. Да.

СЫН. Ты мать. Ты должна думать, что твой сын лучше всех.

МАТЬ. Да, ты лучше всех.

СЫН. Для тебя, для матери. А для страны?

МАТЬ. Гриша! Но ведь и страна состоит наполовину из матерей.

СЫН (к Дискоболу). А ты знаешь? Кажется, старушка права...

Стук в дверь.

Тревожный стук в дверь.

Вбегает Девушка.

— Товарищи! Ольга умирает... Ребята приходили. Ее в клинику увезли.

ДИСКОБОЛ. Что ты говоришь?

МАТЬ. Какая Ольга, Гриша?

ДИСКОБОЛ. Ну Ольга. Член ЦК комсомола. Помнишь... была у нас. Такая красивая...

В палате.

Больная.

Ее лицо.

Возможно, она корейка.

Или татарка.

Или казачка.

Или метиска — происшедшая от смешения азиатской и русской крови.

Глаза оттянуты к вискам. Скуластость.

Лицо это красиво той удивительной филигранной, кукольной, древней красотой, которая бывает свойственна людям желтой расы.

Теперь это лицо искажено страданием. Смерть рассматривает его. Низко наклонившаяся смерть.

Палата.

Больная.

Персонал.

В приемной.

Толпятся молодые люди.

Реплики:

— Немедленная операция.

— Бедная Ольга!

— А кто будет делать операцию?

Операционная.

Она оборудована по последнему слову техники.

Идут приготовления.

Хирург Степанов моет руки.

Абсолютно спокоен.

Рядом моет руки ассистент.

Степанов говорит:

— Что вам привезти из Лондона, Иван Германович? Шляпу?

АССИСТЕНТ. Шляпу. Можно шляпу. Хорошо. Шляпу.

Палата.
Больная.

В приемной.

Пожилой человек — по виду рабочий — пьет воду. У него дрожит рука. Рядом с ним сидит молодой моряк. Пожилой человек прячет голову на груди моряка.

Группа: Дискобол, Девушка.

ДЕВУШКА. Это ее муж, неужели ты не понимаешь?

Операционная.

Последние приготовления.

Степанов стоит, подняв руки. На них надевают перчатки.

Он в маске.

Столик. Шприц.

Лицо больной.

В приемной.

Все сидят.

Неподвижность.

Часы.

Небольшая комната.

Цитронов в халате.

Столик. Бутылка коньяку. Стакан.

Два персика на тарелке.

В приемной.

Люди.

Часы.

По отдаленной лестнице пробегает женщина в белом.

Пожилой человек прячет голову на груди моряка.

Дискобол. Девушка.

Девушка берет за локоть Дискобола. Что-то хочет сказать ему. Она ничего не сказала, но он отстраняет ее и говорит:

— Тише!

Часы.

Операционная со стороны двора. Громкие окна.

Пролетает птица. Тень птицы на окне.

Круглый цветник во дворе. Цветы.

Лицо больной в маске.

Пожилой человек встал.

Его хватают за руки. Он отбрасывает схвативших. Опрокидывается стакан. Моряк видит стоящую вдали женщину в белом.

Неподвижное лицо женщины в белом.

Дискобол бросается вперед:

— Она умерла?

Операционная.

Человек в халате несет больную на руках.

Она маленькая. Он громадный.

В комнате, где сидит Цитронов.

Степанов вбегает.

Кричит:

— А какой размер шляпы?

Спроси, какой размер шляпы... Спроси скорей.

ЦИТРОНОВ. Успокойся, Юлиан.

Подает ему персик. Тот съедает персик, как обезьяна.

Изо всей ладони ест персик. Течет сок. Вынимает рукой косточку изо рта.

Цитронов подает ему второй персик.

Он его также съедает. Говорит:

— Я обязательно заеду в Копенгаген. Копенгаген. Копенгаген. Кто съел второй персик? Федор. Ты подлец! Подлец! Подлец! Ты съел второй персик?

ЦИТРОНОВ. Успокойся, Юлиан.

Подает ему стакан с коньяком.

Степанов пьет, обливаясь.

Цветник.

Цветы.

Качаются цветы.

Плачущее лицо моряка.

Моряк идет к лестнице.

Там стоит женщина в белом.

Он останавливается перед ней.

Она ладонью стирает слезы с его лица.

Часы.

Солнечный луч на часах.

Солнечный луч на волосах больной.

ДЕВУШКА. Хочется подпрыгнуть — подпрыгни.

Степанов говорит ассистенту:

— Буду я вам шляпы возить, действительно. Буду я по магазинам бегать, действительно. Я, член Английской академии.

АССИСТЕНТ. Да мне и не надо шляпы. Я лысый.

В приемной.

Моряк к женщине в белом:

— А температура?.. Какая температура?

ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ (стирая слезы с его лица). Она жива.

МОРЯК. А я могу здесь подождать?

ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ. Она жива.

МОРЯК. А можно профессору поднести подарок?

ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ. Она жива.

Лестница, ведущая к Грише Фокину. Фокин за столом.

Перед ним листки, чернильница. Он пишет.

Распахивается дверь.

Вбегают в комнату Дискобол и Девушка.

ДИСКОБОЛ. Гриша. Он воскресил ее. Она жива, Гриша. Я видел, она умирала... Гриша... Она жива.

Палата.

Спит больная.

Спокойное лицо больной.

Комната Фокина.

Фокин.

Дискобол.

Девушка.

ДИСКОБОЛ. В твоём третьем комплексе «ГТО»... среди качеств, которые должен выполнять в себе комсомолец, должно быть первое правило, — знаешь, какое?

ФОКИН. Я написал...

Читает:

«Комсомолец должен равняться на лучших. Лучшие — это те, кто творит науку, технику, музыку, мысли... Это

высокие умы... Те, кто борется с природой, победители смерти...»

ДИСКОБОЛ. Правильно.

ДЕВУШКА. Хочется жить — живи!

Улица.

Здание клиники.

Стоит автомобиль.

У руля Маша.

Палата.

Больная.

Светло.

Множество цветов.

Среди цветов маленькая головка больной. Над ней веером цветы. Головка больной — как головка веера.

У постели доктор Степанов.

Лица из персонала.

Молодые люди — юноши и девушки, — пришедшие навестить.

Сверкающий моряк.

Позументы на нем, пуговицы. Круглая, светловолосая, низко остриженная голова.

Доктор говорит:

— Я по роду своей деятельности — гуманист. Я вижу вокруг себя очень много страдания. Стариков, которые боятся смерти, матерей, плачущих над детьми...

Обращается к моряку.

Тот немедленно встает.

— Мне рассказывали, как вы плакали. Вот видите... вы, моряк... в каком вы чине, если перевести на старое?

МОРЯК (встает). Адмирал.

СТЕПАНОВ. Вот видите. Адмирал, а плакали, как серна. Так вот... к чему я это говорю... К тому, что уничтожение капитала еще не говорит об уничтожении несчастий. Ведь это так. Жизнь человека состоит из чередующихся смен радости и печали. Это верно?

БОЛЬНАЯ. Верно.

СТЕПАНОВ (к моряку). Верно?

МОРЯК (встает). Верно.

СТЕПАНОВ. И человек только тогда человек, — когда он

и радуется, и страдает. Вам покажется обаятельным никогда не задумывающийся человек?

БОЛЬНАЯ. Нет.

СТЕПАНОВ. Но если человек задумался, значит, он или сомневается в чем-то, или надеется на что-то... В бесклассовом обществе будут задумывающиеся люди?

БОЛЬНАЯ. Будут.

СТЕПАНОВ. Когда в мире нет денежного тумана, нет разделения на богатых и бедных, то и страдание становится законной частью человеческой жизни. Так я думаю. И мне кажется, что я не ошибаюсь. И я думаю, что уметь переносить несчастья есть высшая человечность. (К моряку). Верно?

МОРЯК (встает). Верно.

СТЕПАНОВ. Да вы не вставайте. Что вы встаете?.. Откуда у вас такая учтивость? Такие хорошие манеры? А? Вы кто по происхождению?

МОРЯК. Крестьянин.

СТЕПАНОВ. Фантастическая вещь.

Доктор Степанов встает. Все встают.

Улыбающаяся больная.

СТЕПАНОВ. Ну вот. Скоро вы встанете. Читать вам можно. Что-нибудь легкое, приятное, возвышенное... Я вам пришлю... Хотите Гамсуна?

Больная достает из-под подушки листки.

Говорит:

— У меня уже есть. Спасибо. Легкое, приятное и возвышенное чтение... Я вам прочту, чем начинается. Эпиграф, хотите?

Читает:

«Если же ты любишь, не вызывая взаимности, т.-е. если твоя любовь как любовь не порождает ответной любви, и ты путем твоих жизненных проявлений как любящий человек не можешь

стать любимым человеком, — то твоя любовь бессильна, и она — несчастье».

СТЕПАНОВ. Вот это хорошо. Замечательно. О любви. О неразделенной любви... То есть, о самом волшебном соединении счастья и несчастья. В бесклассовом обществе будет неразделенная любовь?

МОРЯК. Будет.

СТЕПАНОВ. Это откуда вы прочли? Из Гамсуна? Да? Вот видите. Я угадал, что вы любите Гамсуна.

БОЛЬНАЯ. Нет, это не Гамсун.

Появляется та же цитата на экране.

И подпись:

К. МАРКС.

СТЕПАНОВ. Фантастическая вещь.

Больная. У нее листки в руках. Вынимает из-под подушки листки. Много листков.

Белизна цветов, белизна этих листков, белизна подушек и темное личико больной,—и на этом темном личике — белизна улыбки.

Она говорит:

— Это, знаете, что? Это прислал мне мой друг, комсомолец... Третий комплекс «ГТО». Комплекс душевных качеств, которые должен вырабатывать в себе комсомолец.

Голоса:

— Прочти первый параграф.

— Первый параграф.

Больная читает:

«Равенства нет и не может быть. Само понятие соревнования уничтожает понятие равенства. Равенство есть неподвижность, соревнование есть движение... Равняйся на лучших. Первое правило».

Больная прерывает чтение.

Откидывает улыбку в сторону Степанова и говорит:

— Первое правило касается вас, доктор Степанов...

Степанов слушает.

Все улыбаются.

Больная читает:

«Равняйся на лучших. Кто же лучшие? Лучшие те, кто изобретает машины, борется с природой, творит музыку и мысли. Отдавай дань восхищения высоким умам, науке...»

СТЕПАНОВ. Кто это пишет? Поэт?

БОЛЬНАЯ. Один мой друг. Будущий инженер. Студент. Гриша Фокин.

Доктор Степанов выходит из клиники.

Ступени.

Автомобиль.

Маши в автомобиле нет.

Степанов удивлен.

Где же она? Странная неожиданность.

Пустой автомобиль.

Странно.

Доктор Степанов видит:

Стоит группа прохожих.

Они смотрят.

Произошла авария на соседней улице.

Оборвался трамвайный провод.

Толпа.

Стоят трамваи.

Стадо трамваев.

Движение остановилось.

Это своего рода театр.

Громадные масштабы.

Дома, устья улиц, переулков.

Зрители. Смотрят с крыш. Из окон.

С балконов.

Толпятся на улице.

Высоко на цоколе сидит мальчик. У него осколок зеркала в руке. Он ловит солнце.

Из рук мальчика вылетают лучи. Он поворачивается. Вспыхивает звезда в руках мальчика.

Стоит автомобиль у ступеней. Пустой.

Доктор Степанов приближается к месту происшествия.

Видит: возвышается аварийная башня. Несколько человек на ней.

Где же Маша?

Где-нибудь в толпе.

Мальчик с зеркалом увидел Степанова.

Естественно, этот гражданин привлекает внимание мальчика: солидный, крупного сложения гражданин.

Он направляет в него солнечную стрелу.

Доктор Степанов ослеплен.

Маша стоит в толпе.

Смотрит на аварийную башню.

Там, на площадке, работают люди. Они в брезентовых грубых куртках, которые делают их громадными, как делает громадным человека одежда водолаза.

Они в рукавицах.

Работая у провода, они держат лица поднятыми.

Смотрит Маша.

Один на башне поворачивает голову.

Ему жарко.

Он снимает шапку. Падает на потный лоб светлая прядь. На темном от жары лице светятся серые глаза.

Это Гриша Фокин.

Маша смотрит.

Фокин смотрит.

Увидели друг друга.

Мальчик на цоколе.

Степанов увидел Машу. Почему у нее сияющее лицо?

Она смотрит на башню.

Степанов хочет понять, что заставляет сиять Машу.

Он смотрит туда, куда смотрит Маша.

Мальчик наводит луч на лицо Степанова.

И ослепляет его.

На башне Фокин.

На башне Дискобол.

Фокин отводит глаза. Пусть она не думает, что он увидел ее.

Степанов стоит, закрыв глаза руками, в позе человека, в которого плеснула волна.

Хочущий мальчик на цоколе.

Маша увидела Степанова.

Подходит к нему.

Идут вместе.

На башне. Оборачивается Фокин.

На улице. Оборачивается Маша.

Оборачивается Степанов.

Мальчик посылает луч.

Ослепляет Степанова.
 Опять ничего не видит Степанов.
 Она его ведет под руку.
 Хохочущий мальчик.
 У автомобиля.

Фокин видит с башни маленький автомобиль и две фигурки.

СТЕПАНОВ. Я ничего не вижу. У меня синие цветы в глазах... Иван-да-Марья...

Маша целует его в один глаз, говорит:

— Иван, — целует в другой, говорит:

— Да-Марья.

Фокин смотрит.

Мальчик ослепляет его, Фокин ничего не видит.

Уезжает автомобиль.

По карнизу идет голубь. На расстоянии руки от мальчика. Мальчик протягивает руку.

Роняет зеркало.

Голубь улетает.

Идут по улице устранившие аварию Фокин и Дискобол.

ДИСКОБОЛ. Ты почему такой веселый?

ФОКИН. Веселый? Это тебе кажется.

Осколки зеркала на тротуаре.

Фокин поднимает осколок. Смотрит.

Говорит:

— Веселый, но все-таки с оттенком грусти.

У крыльца дома, где живет Гриша Фокин, стоит доктор Степанов.

Приближается, увидевши издали Степанова, Дискобол.

Они здороваются.

Входят в парадное.

Лестница, ведущая к Грише Фокину.

Девушка смотрит с площадки.

Перегнулась.

Удивительный гость поднимается по лестнице.

Доктор Степанов.

Шаги идущих. Девушка лежит животом на перилах. Вся — слух. Вся — внимание. Потом, как бы вскрикнувши неслышимо, бросается в дверь.

В комнате Гриши Фокина.

Гриша, Фокин, Девушка.

Девушка — страшным шопотом:

— Идет.

Оба взволнованы.

ФОКИН. Я спрячусь. Слышишь? Меня нет... Мне будет трудно устоять... Я не хочу с ним мириться.

Степанов и Дискобол поднимаются по лестнице.

Шкаф. Повис ущемленный рукав шубы.

Входит Степанов.

Говорит:

— Здравствуйте!

Молчание. Доктор Степанов обводит комнату взглядом.

Видит: стол,

полку с книгами,

чертежи,

кушетку, шкаф с торчащим рукавом.

Говорит:

— А хозяин? Где хозяин этого дома?

ДИСКОБОЛ. Где Гриша?

ДЕВУШКА. Его нет.

СТЕПАНОВ. Жаль, я пришел просить прощения. Скажите ему... Он замечательный молодой человек. Он говорил, что таких, как он, много, но доказал, что таких, как он, мало. Вот... И мне стыдно. Так и скажите. Доктору Степанову стыдно. А это очень неприятно, когда взрослому человеку стыдно.

ДИСКОБОЛ. Зачем вы так говорите?.. Он поклоняется вам.

Молчание.

СТЕПАНОВ. Скажите ему... Мы уезжаем в Лондон. И мы устраиваем вечер. И просим его притти к нам...

ДЕВУШКА. Он не придет.

СТЕПАНОВ. Почему?

ДЕВУШКА. Неужели вы не понимаете?

Молчание.

СТЕПАНОВ. Я ведь прошу прощения.

ДИСКБОЛ. Он придет. Что ты говоришь глупости. Он мечтает, об этом... Ведь он так любит... *(Запинается, понял, что говорит лишнее)*.

СТЕПАНОВ. Ну, ничего... Машу любит. Я знаю. Ведь вы же сами мне сказали об этом. Помните? Вы были голый.

ДЕВУШКА. Все равно он не придет. Вы его обидели...

СТЕПАНОВ. Скажите, что и Маша его очень просит притти.

ДЕВУШКА. И Маша?

СТЕПАНОВ. И Маша.

ДЕВУШКА. Вот жаль, что его здесь нет... А! Ладно. Хочется открыть шкаф — открой.

Открывает шкаф.

В шкафу Фокин.

ФОКИН. Я не приду. Комсомолец должен быть гордым.

СТЕПАНОВ. Человек стоит в шкафу и говорит о гордости. У комсомольца должно быть чувство юмора...

ФОКИН. Скажите Маше, что я не приду.

Степанов опускается по лестнице.

В комнате.

Дискобол закрывает дверь шкафа на ключ.

— Сиди, дурак... Сиди...

Отчаянный стук в дверцу шкафа изнутри.

На даче.

Идут приготовления к приему гостей.

Официанты накрывают столы в саду.

Снеговые салфетки.

Пирамиды фруктов.

Грани хрустала.

Оживленная деятельность на кухне.

Горы пирожных.

Зала.

Музыканты в зале.

Располагаются.

Высокая, белая дверь со стеклом.

К ней ведет соломенная дорожка.

Шаги.

Ступает по дорожке Цитронов.

Цитронов. Во рту сигара.

Высокая белая дверь.

Стеклянная ручка двери.

Это дверь в Машину спальню.

Спальня.

Маша одевается.

Шаги.

Маша слушает.

В коридоре. Дверь.

Цитронов. Сигара в руках.

Деталь спальни.

Туалетный столик.

Зеркальные створки.

Флаконы.

Хрустальные сосуды.

Пудреница.

Но Маши не видно.

Цитронов в столовой.

Видит Машины перчатки на столе.

Берет их.

Подносит к лицу.

Опять возникает та же деталь спальни.

Флаконы.

Флаконы.

Флаконы.

Но Маши не видно.

Цитронов отбрасывает перчатки.

Смотрит в сад.

Купы листвы.

На фоне их — статуя.

Каменная девушка.

Спальня.

Новая деталь.

Разбросанные части одежды.

Но Маши не видно.

Цитронов у двери.

Со злобой швыряет сигару.

Сигара на полу у двери.

Маша выходит из дверей.

Одега.

Цитронов в библиотеке. Сидит в кресле. Глубоко ушел в него. Голова опущена. Подбородок лежит на груди. Руки висят по обе стороны поручней. Кресло как бы держит его подмышки.

Слышна из залы музыка.

Маша вышла из ворот.

Слышна музыка.

Приближается к воротам Степанов.

Идет Степанов.
Видит: идет Маша.
Встречаются.

Маша.
Степанов.

Стоят.

Идут.

Она начинает удаляться.

Он стоит.

Спрашивает:

— Ты вернешься?

Пауза.

Лицо Маши. Она улыбается мужу.

Говорит:

— Ну, конечно.

Лестница, ведущая к Грише Фокину.

Маша поднимается по лестнице.

Маша в коридоре.

Сенсация среди соседей.

Выглядывают.

Девочка в коридоре.

Комната.

Гриша спит, на кушетке.

Обед ждет его на столе.

Девочка выбегает на площадку.

Двор.

На дворе дети.

Девочка кричит с площадки.

— Лялька! Лялька! Иди к нам. Скорей!

Девочка со двора спрашивает:

— Зачем?

— У нас в коридоре духами пахнет.

Над спящим Гришей.

Книги. Рабочий стол.

Мать будит сына:

— Гриша! Гриша! Проснись!

Сын спит.

МАТЬ (громче). Гриша! Вы знаете, он сегодня всю ночь занимался. (Еще громче). Гриша! Вставай!

Сын спит.

МАТЬ. Нет, теперь он не проснется. Гриша!

Трясет сына за плечо.

Сын спит.

МАТЬ. Хоть из пушки пали.

Сын спит.

МАША (тихо). Гриша.

Сын просыпается.

На даче.

Веранда.

Коньяк. Бокал. Сифон.

Степанов стоит. Думает.

Наливает воду из сифона.

Несколькими толчками.

Не глядя на сифон.

Нажимает еще раз.

Уже нет воды.

Отходит от стола.

Высокая белая дверь со стеклом.

Дверь в Машину спальню.

Соломенная дорожка.

Ступает по дорожке. Степанов.

На полу у самой двери лежит потухшая сигара.

СТЕПАНОВ (кричит). Федор!

Цитронов с салфеткой поспешно идет по саду. Между столами.

Степанов на веранде.

Цитронов перед ним. Видит — страшное лицо Степанова.

С'еживается. Оседает. Роняет салфетку.

— Когда Маша одевалась, ты стоял у ее дверей?

Цитронов молчит.

СТЕПАНОВ. Гадина! Ты осмеливаешься думать о ней.

Степанов берет бутылку за горлышко.

ЦИТРОНОВ. А ты знаешь, зачем она одевалась? Она к нему пошла.

Степанов кидает в Цитронова бутылкой.

Звон разбивающейся бутылки.

Мокрое пятно на стене.

Бежит по саду Цитронов. Мокрый. Панический. Опрокидывает столы, пирамиды фруктов, горы пирожных.

Он убегает за пределы дачи.

Он убегает далеко.

Он сидит на траве.

Трясущийся. Мокрый.

Маша и Гриша.

— Зачем вы пришли?

— Не надо?

— Нет.

— Какой вы строгий.

Маша спускается по лестнице.

Сын сидит за столом над книгой. Он сразмаху сел за стол.

Мать стоит над обеденным столом.
 Маша спускается по лестнице.
 Сын пронесится мимо матери бурей.
 К дверям.
 Сын на площадке. Распахнутые двери.
 Маши уже нет на лестнице.
 Она идет по переулку.
 Сумерки.
 Крыльцо.
 Она на крыльце.
 Она идет.
 Оглянулась.
 Увидела его.
 Стоят оба.
 Начинают сходитьсь.
 Она останавливается под балконом.
 Балкон над ней.
 Раскрытая дверь.
 Зажженный свет.
 Там в комнате играют на рояле.
 Она стоит под балконом.
 Подходит он.
 Игра прекращается. На балкон вы-
 бегают человек. Перевешивается через
 перила.
 Кричит:
 — Кто там? В чем дело?
 Видит их внизу.
 Поднятые их лица.
 Кричит:
 — В чем дело? Почему вы
 стоите? Как только сядешь
 играть, сейчас начинают слу-
 шать.
 Они стоят под балконом.
 Сумерки темнеют.
 Вид на них с балкона.
 Удаляются.
 Опять звуки рояля.
 Темнеют сумерки.
 Звуки прекращаются.
 Человек выбегает на балкон.
 Кричит:
 — Ушли. Ну то-то! А?
 Играть для влюбленных? Я
 не желаю. Встречи. Разлуки.
 Прощанья. Весь район вблю-

бляется под мою музыку. Я
 не желаю.
 Те двое ушли.
 Перекресток.
 Издали слышен рояль.
 ОНА. Я хочу предложить
 вам одну идею. Можно?
 ОН. Давайте.
 ОНА. Еще немного прой-
 тись.
 Они идут.
 Слышен рояль.
 ОНА. Я вам хочу предло-
 жить одну идею. Можно?
 ОН. Давайте.
 ОНА. Там скамейка есть
 чудная. Я видела. Посидим.
 Они идут.
 Слышен рояль.
 Приближаются к скамье.
 На скамье сидит пара.
 Балкон. Музыкант выбегает.
 Перевешивается через перила.
 Кричит:
 — Никого нет? Можно
 играть!
 Звуки рояля.
 Те двое остановились у моста.
 ОНА. Я вам хочу предло-
 жить одну идею. *(Медленно)*.
 Можно?
 Он смотрит на нее.
 Ее лицо перед ним.
 ОН *(медленно)*. Давайте.
 Они целуются.
 На даче.
 Вечер.
 Гости. Маша выходит к гостям. Ее
 ход, движение складок ее платья, ее
 весь вид — так удивительны, странны
 и красивы, что гости переглядываются,
 а один — молодой иностранец — не
 выдерживает и тихо — как бы про се-
 бя — ударяет в ладоши.
 Май-июнь 1934 г
 Одесса

Синицын и К^о

(Первая поэма трилогии «Большой город»)

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

I

Страна лежала,
В степи и леса
Закутанная глухо,
Логовом гор
И студеных озер,
И слушала,
Как разрастается
Возле самого ее уха
Рек монгольский, кочевнический
Разговор.
Ей еще мерещились
Синие, в рябинах, дали,
Она еще вынюхивала
Золоченое слово «Русь»...
Из-под бровей ее каменных
Вылетали
Стаями утица и серый гусь.

И волков вольная казачья стая
Пробиралась гуськом
По ее хребту,
И, тяжелыми лопатками
Под шкурой играя,
Опасливый медведь
Урчал в темноту.

II

И, ширясь,
Не переставали дивиться
Глаза королевских
И купецких дворов
На потрескивающий ворс
Чернобурой лисицы,
На связки соболей
И саженных бобров.

Они досылали бочками пороху
и свинца,

Но страна,
Богатством своим густая,
Бобром вцеплялась
В брови дельца
И мантии оторачивала
Горностаем.

И соболи
Дорогие
На женских плечах
Поблескивали сдержанно,
Тревожно
И гордо,
Будто помнили,
Как их лупили в ночах
Свирепой палкой
По окровавленным мордам.

III

Но редкие выстрелы
Таежных троп
Были подобны
Хлопанью птицы сбитой,
И страна только ниже
Пасмурный наклоняла лоб,
Крылатый,
Лосинный,
Готовый в битву.

Она под первый
Весенний
Выкрик гагары
Выпускала процвеств
Народы свои,
В дурман и урман уводила пары

И долго корчилась
В судорогах любви.

А к осени,
Спутав следы добычи,
Волчонок скользил
Сквозь студёный дым,
И всплескивался
Отпустивший усища
В реках
Полуфунтовый налим.

IV

К северу,
В предгорьях,
У ледовитых речек,
Где в песке
Синева медвежьей стопы,
Келейным богородицам
Первые свечи
Сжигали одичавшие лесные попы.

Там ютились
Смолевые поместья раскола,
Заросшие по бровь
Грехом и постом...
И до самых крыльев светлых
Тонули пчелы
В цвету золотом,
В меду золотом.

И старцы
Желтый воск
Отделяли богу,
Мед — себе. Вечерами после работ
Девки выходили.
В песнях тая тревогу,
Долгий и невеселый
Вели
Хоровод.

V

К востоку
Тайга сходила на убыль,
Клонились долины
Далеких ровных дорог,
И, щурясь,
Рукавом халата
Жирные губы
Выгирал, усмехаясь, степной царек.

И его невеста
Трясла в смятеньи

В двадцать струй расплескавшеюся
косою,

И плясали над гривами
От селенья к селенью
Шапки острые,
Подбитые
Красной лисой.

И в гремучем дожде
Конского пляса
Под незрячим солнцем,
В мертвом мерцаньи лун
Столковавшийся по барышам
Побуревший прасол
Гнал на запад
Первый
Тысячеголовый табун.

VI

На западе
Виделись редкие взблески
Стали,
По полям тянулись
Рваные
Лемехов следы.
Холёные, только-что возмужали,
Гретье
Яблоновые сады.

Город стоял
На границе степных пожаров,
Молебен о здравии царя
Отслужив едва.
Шаткую
Струганую
Доску тротуаров
Пламенем веселым
Не успела одеть трава.

Субботы
Крестом соборным
Крестились,
Праздники сочно кропились вином,
И лишь...
Превосходительства...
Генерал-губернатора...
Выезд...
Ставил городок
На дыбы конем.

VII

Да когда текло
Архиерейское богослуженье

В христовых хоругвях,
В блистаньи сотен кадил,
Город приходил —
Хоть не сразу! —
В движенье:
Одевался
И чинно
На улицу выходил.

И нога архипастыря,
Гусарский сапог
Год назад сменявшая
На мягкую туфлю,
Переступала
Исцелованный
Соборный порог,
Волоча за собою
Бороды,
Плеши,
Витые букли.

И дьякон, «вонме» вытягивая,
Рос и рос
До самого купола
В сиянья оправе,
Пока распускался павлиний хвост
Византийский,
Глазастый
Хвост православия.

VIII

Впрочем
И иные в городе, к слову,
Ангелы водились... И пошли далеко.
Ангелы кожевенные — Ивановы,
Ангелы скобяные — Золотаревы,
Ангелы мукомольные —
Синицын и К°.

Детей растя
На перинах лебяжьего пуха,
Избегая
Сомнения и наук, —
Во имя отца,
Сына
И святого духа
Работали не покладая рук.

Рынок не почат,
Место злачно —
Подводили счета не мудрствуя:
«Вишь,
Восемь уплачено,
Три истрачено,

Четырнадцать тысяч
Чистый барыш».

IX

Федул Синицын,
Набравший силу,
В городе Зейске на первых порах
По праву
Зачинщика и сторожила
Каменную мельницу
Пустил на парах.

И жил
Возле ее доходного гула,
Но из-за каких-то
Петрусь и Марусь
Сбился не во-время,
Предался разгулу
И ушел в окаянство,
Темень
И грусть.

И в конце года сорок восьмого,
Двадцатого августа,
Отодвинув засов,
Его нашли в петле,
Не живого,
Повиснувшего
Над семьей жерновов.

X

Но сын его,
Синицына Федула, —
Артемий, —
Рябенский, неслышный,
Волосом чал,
Не кончил коммерческого с вестями
теми

И в Зейск
Унаследовать все
Примчал.

И перед судьбой своей одинокой
Перед Зейском всем
Предстал простак —
Юныш незаметный,
Голубокий,
С улыбкой на медовых устах.

Города отцы —
Купцы —
Подошли с подмогой,
Дланью скользя

По умным усам:
— Что уж там? Продай!
Но Артемий: — С богом,
С маменькиной помощью
Управлюсь сам!

XI

И повел.
С почтеньцем, без сумленья,
Вымерил прицелы,
Округлил рубли...
Так повел,
Что города отцы —
Купцы —
В удивленьи
Свистнули и плечом повели.

И, пока они
Горшки деньгой набивали,
Каждый
Неподвижен,
Как божий храм,
Темкин капитал подкатил едва ли
Не к сотне тысяч,
А то и к двумстам.

.
.

XII

Он не копил,
Он крутил обороты —
Деньгу работать гнал! От того ль
Под ним очутились
Мукомольство,
Охоты,
Галантерея
И соль.

И, покуда купцы,
Косясь на иконы,
Карманы набивали,
Крестились замком, —
В конторах темкиных
Немцы компаньоны
Сидели, трубки набив табаком.

И, пока антихристом величали
Купцы за преферансом
И сулили суму, —
«Не зайдете ли к нам...
На стакан
Чаю...» —
Губернатор писал ему.

XIII

И мельницы антихриста,
Крутя жернова,
Рычали, позабывая усталость,
И «юноши» с пролысинками голова
Над прочими
На аршин возвышалась.

И, когда
В купеческом клубе шел
Сын Синицына Федула—Артемий,—
Отцы сторонились
И, одетые в шелк,
Невесты от волненья потели.

И отцы думали:
«Хорош сосед!
Такой оберет, если надо! Страхи!
Можно сказать, двадцать восемь лет—
И такие,
Можно сказать,
Размахи!»

XIV

Страна лежала,
В степи и леса
Закутанная глухо,
Логовом гор
И студеных озер,
И слушала,
Как разрастается
Возле самого ее уха
Рек монгольский, кочевничий
разговор.

Ей еще мерещились
Синие, в рябинах, дали,
Она еще вынюхивала
Золоченое слово «Русь».
Из-под бровей ее каменных
Вылетали
Стаями утица
И серый гусь, —

Когда в знаменитое новолунье,
Охотясь на лисиц
И бобров,
На самых пятках реки Бегуны
Золото отыскал
Охотник Петров!

XV

Золото.
Золото!
Золото!!

XVI

Приискатели
Из-под хмурого Аллана
Расцеловали «мамок» дебелих,
Закрутив ус,
Подарив им на прощанице,
Дорогим да желанным,
Колючие серьги
И связки гремучих бус.

Вместо напутственной,
Приакрыв веки,
Соловей-гармонист
Широко мехами развел,
И на целые ночи
Разыгрались в музыке реки,
Мирные,
Текущие
Среди пашен и сел.

А за сотню верст
В пену одеял колена,
Полной горстью
Влаги разбрасывая изумруд,
Исцарапав руки о камень,
Дичала Лена,
И запевал,
Покачиваясь от тоски,
Якут.

XVII

Он на «ха» и на «хо»,
Задерживался,
И, все короче
И все яростнее вычеканивая «э»,
Запевал —
Когда стая востроносовых
Приискательских оморочек
Уходила
На ходулях шестов
В водовал.

Ему видно было,
Как медленно
И шатуче
Поползло на них
Тулово кривоплечей горы.
Язь плеснул.

И рванулась черная туча
Остервенелой,
Изголодавшейся мошкары.

И тогда он
Песню поднял
До комарьего писка,
А может, и сам
Полетел им вслед комаром,
Чтобы в шею последнего
Жалом впиться,
Возвратить свою кровь,
Не отрываться добром!

XVIII

Приискатели двинулись.
На золото!
К Зейску!
«Плюем на Бом —
В дальнюю тайгу идем».
А безвестный Митрич
Слезно крестил семейство
И наказывал
Бережь
Хозяйство и дом.
И, пьяная, у плетней
До рассвета по-птичьей
Танцовала косматая Митрича тень,—
Это собиралась
На заработок-добычу
Лапотная сила
И мочь
Деревень.
Изба развалилась.
Нечего ждать подмогу.
Какое уж хозяйство?
Почти что гол —
И, хлебушка поев
С кваском
На дорогу, —
До свиданья, милая! Айда, пошел!

XIX

А которая побогаче, —
Тоже, как же! —
Детей собирали,
Что на свадьбу, отцы.
Каждому по лошади —
Вороная сажалка!
Татарские орешки —
Подвешены бубенцы.

Под носом богатство!
 Мало что кто в достатке!
 К северу,
 К Зейску
 Путь стремя,
 Ехали новобранцы золотой
 лихорадкой,

Бабы, провожая,
 Шли у стремян.

И кой-где уже лавочник сапоги
 и ситцы,

Провизию вез...
 «Дорога не далека.
 Амуниция нужна. Снедь пригодится.
 А там,
 Глядь,
 Не обидите и старика».

XX

И в городах дальних
 Тысячелистно
 Газеты подогревали —
 — Ура! —

Золотой азарт:
 Усы распушив,
 Узкогрудым гимназистам
 Позолотевшим глазом
 Моргнул Брет-Гарт.

Они бросили стихи писать.
 Сапоги обули.
 Они докажут
 Папахен и мамахен — чорт возьми!
 Их перехватывали
 Где-нибудь
 В Саратове или Туле,
 Но иные прорывались
 Чтоб полечь костями.

Чтобы сгинуть
 В призейских глухих просторах:
 Не вини, пащенок, ежели слаб!
 Уцелевших же
 Приискателей вошь в проборах
 Заставляли искать. И любили вместо
 баб.

XXI

А в трехстах верстах от Зейска
 Грохотали бутары —
 Аж в Зейске

Слышен был
 Кирок
 Стук:
 Артемию Федулычу Синицыну
 Нехватало тары —
 Для заброски товара!
 На мельницах нехватало рук!

Мельницы ждали
 Его руки мановенья.
 Монополия его, вот он каков!
 Населению мелет
 Лишь
 Для потребленья —
 Остальное для себя
 И для приисков.

И за пуды муки
 Орудует,
 Как захочет!
 Не давая очухаться
 И дела постичь,
 Захватывает россыпи
 За площадь площадь,
 Проценты берет
 С золотых добыч!

XXII

Он оборачивался,
 Оборотливый,
 Скоро.
 Он брал и веху ставил:
 «Трогать не смей!»
 Он непослушных
 Смирля измором,
 Он дьяконов
 Мог заставить
 Славу петь:
 « ... Слава пресвятому
 Оборотному капиталу —
 Родителю богатств,
 Машин
 И красот.
 Да преклонятся перед ним
 От стара до мала,
 Да увеличится
 И возрастет!

Слава стопе его,
 Что крепко встала
 На тех, кто безропотен,
 Ниц
 И наг —

Слава, слава оборотному капиталу,
Творцу и вседержителю
Всяких благ!»

XXIII

Впрочем
И другие не дремали, к слову,—
Тоже подрабатывали,
Как могли:
Ангелы кожевенные — Ивановы,
Ангелы скобяные — Золотаревы
И прочие многие
Короли.

Разрастался вокруг Зейска
Купецкий нерест —
Кто крал втихомолку,
Кто прямо брал...
Купцы надвигались,
В поддевках, через
Рвущий надвое закаты
Урал.

Купцы надвигались
Сквозь одичалые шурги,
Улыбчивые,
Ноздри крылами раздув,
И вот уже
Орел из Санкт-Петербурга
Повернул на восток
Золоченый клюв.

XXIV

Так хищник степной,
Оглядывая просторы.
Круглую голову утопив в плечах,
На сопке сидит,
Кривую отставив шпору,
С недобрыми
Янтарями в очах.

И вдруг обеспокоится,
Заметив что-то —
Там, далеко,
Где с небом земля сошлась, —
Чуть привстает
И вздрагивает
Перед полетом
И с клеткотом срывается,
Почти смеясь!

И на крыльях
Золотом отлиывает Сила:

Сбить добычу!
Прокусить ей тонкое горло! Ага!
Но, нырнувшая сбоку,
Сразмаху когти вцепила
Опередившая добытчика
Пустельга

XXV

Но Синицын вцепился. Крепок,
прочен.
Он вставил вежу,
И чтоб трогать не сметь!
Треть государству,
Треть — для прочих
И Артемию Федулычу третья треть!

Зануздали золото!
Ого!
Пора зануздать воду! —
На первой пристани
Оркестром
Исполнен марш:
Артемий Федулович
Изволили пустить пароходы
И стаю
Тяжелых девушек —
Барж.

Первая пристань
В зелень убрана,
Подняты копыта литых якорей,
Ура!
Пароходы
Дымят
Трубами.
Ура!
Да здравствует Россия
И город Зейск!

XXVI

Ура!
Букеты!
Якоря подняты!
Капитан в белом кителе:
— Полный ход!
Генерал-губернатор
На пляшущих сходнях
Артемию Федуловичу руку жмет.

Платки.
Пароход захлебнулся ревом.
Чайка.

Чайки!
Чайки летят с песка!
На своем пароходе,
В костюме чесучовом,
Артемий Федулович —
На свои прииска!

И, покуда пароходу
Чалки отдали
И он, пошевеливая лапами,
Пошел, —
Верст за триста отсюда
В сукне и крахмале
Управляющих
Выстраивался
Частокол.

XXVII

Сам наехал!
Веселый,
Дорогою не измучен —
«Все так ездить будете» —
Он не жалеет затрат.
Сотня
Украшенных лентами
Таратаек гремучих
В пыль и смятенье одела тракт.

— Сухо! Леса близки!
Не горите ли?
Ха! Бараки отстроили?
Давно пора!
... Выстроенные в шеренгу
Откормленные смотрители,
Выставив груди,
Прогрохотали «ура!»

Сам наехал!
И на первом празднике званом
Оглядел барак,
Обращенный стараньем в зал,
Подшел к инженерше Марье Иванне
И
«На сопках Манчжурии»
Приказал.

XXVIII

И в сверканьи плеч ее,
До ласки охочих,
Плыл по заводям вальса!
Король!

Парил!
И, разыгравшись,
Гонцов от «рабочих»
Именными наградами одарил.

Но, когда наутро
С помпой,
С треском
Обходил рабочих,
Выстроенных в парад,
Кто-то из рядов спокойно и веско
Послал ему вдогонку:
«Наехал, гад».

Он не обернулся,
Улыбчив прошел, однако
Приставу пальцем погрозил:
«Смотри,
Как же это так,
Любезный вояка, —
У тебя, оказывается,
Есть бунтари?..»

XXIX

И красные околыши
Тех слов
Не забыли...
Время спустя за баракком в пыли
Ночью кому-то
Долго
Руки крутили
И, саблями позвякивая,
Увели.

А при отъезде
В последние горестные минуты
Артемий Федулович
Сказал управляющим:
«Господа,
Набирайте китайцев,
Китайцев вербуйте,
Они понадежнее да посмирнее. Да».

И пошли
Голоплечие, фланелевые кули,
Выходцы
Из соседних
Глухих песков.
Заработок упал. Управляющие
вздыхнули
Легче, подняв доход принсков.

XXX

Зейск же расцветал. Под самыми
приисками

Цветом невиданным
В этих местах
По улицам,
Одетым
В гололобий камень,
Рысаки проходили
В белых бинтах.

И франтов в галстуках
И клетчатых брюках
Начинала по ночам
Выплевывать тьма,
И к мощеным набережным
На каменных брюхах
Шестиэтажные
Ползли дома.

Река отступила,
Осетры ее покорились навеки —
Этому,
С железом на хребте,
Осетру —
Целые ночи без-устали
Мчали улицы-реки,
Пьяных на отмелях
Оставляя к утру.

XXXI

В дыму кабаков зейских —
Зейские,
Собственные цыгане
Сторублевый, аховый
Получали заказ —
Приискатель, упав,
Башку раскроив в стакане,
Топал каблуками на них:
— А ну еще раз!

И выскакивала
Гордая,
Ровные зубы скаля, —
Ну, пошел, что ли! — в гарусе
до колен —

Еще раз! — веселая —
Цыгане гуляли —
В синих и желтых
Воронках лент.

И бровями поигрывала —
Эх! —

Привозная,
И волной ходила
От гребня до пят!
У гитар запутаны струны. Сейчас
узнаем,
Как под башмаками
Дешевые деньги
Хрустят.

XXXII

За праздничными лентами
Шибко летали —
Хлопки голубяями. Девочки в чаду
табака
На плечах у кавалеров
До слез хохотали,
Вынимали пудреницы
Из-за чулка.

Они шептали: «Закажи им, душка,
Милый».
И опять хохотали,
Чтобы потом —
Утром раскрыть глаза
На мятых подушках
И деньги пересчитать
С оглядкой,
Зверьком.

Лавочнику отдать, заплатить
портному,
Подарить хозяйке,
Чтобы не ходила ворча, —
По лестнице взбежать. Позвонить.
И по-деловому
Тело заголить под шприцом врача.

XXXIII

Шприц входил
Костяной иглой скорпиона...
Город пробуждался. Быстрее, спорей
Грохотом пролетов,
Колокольным звоном,
Хлопаньем магазинных
Железных дверей.

Дома поднимали
Тяжелые веки — шторы, —
Проходили и проходили
Люди
В оконной тьме,
Счетов деревянную икру

Начинали
Метать конторы,
И дежурные «параши»
Очищали в тюрьме.

И сотрясался от кашля,
Носом в ботинок тыча,
Чеботарь с харкотиной вместо
зрачков,

И проворная кошка
Лизала, мурлыча,
Кровавые пятна его харчков.

XXXIV

Город пробуждался.
В залпах цветочной пыли
На крестах — деревянных
хрестах —

Ржавели венки,
Мимо кладбища, крестясь,
Румяные
В город входили
На заработок плотники,
Пильщики
И печняки.

Город пробуждался.
В охранном отделении,
Вздувая шары
Лощеных утренних щек,
Гостя хозяин встречал: «А! Мое-с
почтенье,
Что у нас нового?»,
Ложкой мешал чаек.

И гость в хохоток, в хохоток
На его допросы:
«По порядку, по порядку,
Как же-с, ась?»
На ухо шептал. Принимал папиросу
И в креслах под конец
Откидывался,
Дымясь.

XXXV

И над всем этим роскошеством —
Золотая пенка —
Вывеска плавала, видимая далеко,
Букв откормленных
Вымуштрованная
Шеренга:
«Контора Артемий Сеницын и К°».

Флаг трехцветный
Похлопывал, рея,
Как на флагманском броненосце
Перед бедой.

Властелин чаевых
В пудовой ливрее
У стеклянных дверей сверкал бородой.

Секретари в коридорах
Играли в жмурки,
Сталкивались, лапками хватая мрак.
Наглухо,
До ворота,
Застегивали тужурки
И садили
Чернить
Снега бумаг.

XXXVI

Запятые, кувыряясь, летели,
В пыльном удушьи
Оборваться грозил бумажный обвал —
И клиентов
Во тьме
Колыхались туши,
Но хозяина плюшевый кабинет
Пустовал.

Но хозяин на даче,
Хмурый и валкий,
Под лиственной овчиной террас,
В сумерках
Лежал
В плетеной качалке,
Ногти грыз и суживал глаз.

Июньское небо,
Высокое,
Золотого крапа...
«Следственно — природа...
Следственно — прииска...»
Встав на дыбы
И раскинув лапы,
На него медведем шла тоска.

XXXVII

Может быть, та самая,
Что когда-то
Уходила отца. И в горькой ее тени
Он молча сидел
Рябой, бородатый,

И слушал, как прислуга
Зажигает огни.

О чем он думал?
Может быть,
Далекое детство
Вдруг проблеснуло водопоем,
Залаял пес?
Некуда, Артемий Федулыч,
От памяти деться —
Ладонью не спрячешь
Седых волос!

О чем он думал,
Вглядываясь долго
В садовую мглу, губой шевеля?
Или нарыскавшегося
Матерого волка
Туго
Предчувствия
Захлестнула петля?

XXXVIII

Однако с чего бы?
Деньги чтили присягу,
Барыши с высот
Не катились вниз,
И давно провезли
На прииски
Первую драму —
Закутанную в рогожи
Американскую мисс.

Однако с чего бы?
Стерегут крученые плетки
Перед злобой низов
Сомнение и страх.
И, просеянные
Сквозь решето решетки,
Агитаторы на казенных хлебах.

Ну и все же на даче,
При звездах,
Валкий,
Он просиживал ночи,
Угрюм и тих,
На соломенной тихой
Волне качалки...
Но однажды решил:
— В Москву! Никаких!

XXXIX

И через недельки две
На вокзале мореные кости
Поразмял. Оглядел каретные кузова
... Вся в еканьи, в грохоте —
Заморского гостя —
Мать купечества — принимала Мо-
сква.

Вывески саженные
Выстроились в шпалеры,
Рванулась навстречу
Скаредная красота,
Попечительницы
Верноподданности и веры
В господу тихого
Иисуса Христа.
Церкви мелькали:
Та сгорбившаяся, без сил,
С колоколами на шее,
Та коньком златогривым.
И лишь собор
Христа Спасителя стыл
Неподвижный,
Как скала перед взрывом.

XL

Из раскрытых чайных вываливались
люди,
Бычьей кровью вскормленные.
Вели разговор.
Лебеди плескались
На летящем в воздухе блюде,
И мелькали кулаки
Извозчичьих ссор.

Мытари на углах
Протягивали руки в муке —
Слепые, с прошением на груди:
«Богом обиженному...»
А те, что безруки,
Глазами приказывали:
«Пошади».

Из переулка,
В коляске,
Встречных шараша, —
Баба
В драгоценной собольей
Пыли...
Артемий поглядел:

«Соболи-то! Наши!
Ишь куда, сердечных, их упекли».

XLI

Этак зажил в Москве,
Уже знакомой им когда-то,
Обменялся визитами
С тузами
Града сего.

Секретарь все допрашивал: — Как?
— Скучновато...
Ну, а впрочем, взглядеться,
Так ничего...

«Ну, а впрочем, взглядеться, так...»
Так на рассвете
Вглядывается хмурый, ушастый сыч...
... Провожатый — обжился
В синицынской карете,
И обвык,
Собакой приставший хлыщ.

И однажды,
Букет заказав подороже,
Заглянул в глаза Артемию:
«Нельзя!
Все же, понимаете, Артемий Феду-
лыч, все же,
Хоть захудавшие, а князья».

XLII

Но Артемию
Понравилась неожиданно фамилья:
«Синицын к Горлицыным!»
Он сказал: «Ускорь».
Пара серых в яблоках,
Морды мыля,
Понесла их
На рысях
По Тверской.

Хлыщ заранее
Подготовил встречу как надо,
Подмигнул:
«Золотопромышленник! Миллионер!»
И пропахшая шубами
Передней прохлада
Их встречала торжественно,
На особый манер.

Глаженный лакей,
Пудренный, гладколицый,

Карточки на серебряный принял под-
нос,

В залы прошел
И «Господин Синицын»
Басом внушительнейшим произнес.

XLIII

«Просить»

Мадам Горлицына, просто мадам,
Фелица Дмитриевна — тень
Фелицы —

Накопила отдышку,
Но к сорока трем годам
Все еще по паркету ходила львицей.

Кутежом,
Прокученными деньгами
От нее разило,
«Катьками», загубленными зазря.
Во-время Фелица сообразила —
Выкрасила волосы,
Бросила якоря.

Во-время Фелица сообразила —
Тщеславия и шика последний за-
слон —

Дом оставила,
Где дочь растила
И держала
Литературный салон.

XLIV

Здесь бывал
Внимательный к обедам мужчина,
Пахнувший табаком,
Стриженный свирепю в скобу,
По неизвестным и темным причинам
Вызвавшийся
Прославить избу.

И его ненавистник
В штанах полосатых
Карапуз, щебечущий про асфальт,
В стихах коего
Был
Лишь один недостаток —
Богом ему ниспосланный
Мальчишеский альт.

И третий... четвертый...
Досужей толпы забавы,
Славословы
Оскудевшей от слав луны,

... Еще через день, отстранясь от
дел,
Свиделся Артемий Федулыв с то-
варом
В горлицынской гостиной,
Как захотел.

Чем не кавалер?
Конечно, определленно!
Лучшего отыщешь ли,
Душой не кривя?
За него разговаривали миллионы —
Его золотые,
Родимые братьовья.

XLIX

— Как живете?
(Нету цены товару!)
— Вы мне привлекательны, хоть и
не льну...

... В первый раз лет за десять
Взял гитару
И, не торопяся,
Зацепил струну:

«Ты скажи мне, перстень сва-
дебный,

Я кому тебя дарю?
Будь ты крепок, перстень сва-
дебный,

Будь ты крепок, говорю!
Ты свети нам, перстень сва-
дебный,

Помогай слюбиться нам, —
Для того я, перстень свадеб-
ный,

Прижимал тебя к губам.

Сорок тысяч перстней свадеб-
ных —

Каждый круглый золотой.

Сорок тысяч перстней—краденых
И один законный—мой.

Сорок тысяч перстней краденых,
Ты же всем перстням отец,
Круглый пламень, пламень сва-
дебный

Золотой мой бубенец.

L

Так решился
Торг короткий ладом —

Понапрасну гитар
Синицын в руки не брал —
Он поцеловал мамашу в лоб,
Заплатил, что надо,
И увез невесту
К себе,
За Урал.

А еще через год,
Весной,
Когда на гагарах
Линяло перо,
В апреле месяце или возле того
Зейск с'езжался с букетами
На тройках и парах
Поздравлять с рождением сына его.
Приискатели фужеры состужнули.
Были
Казаками джигитовки устроены,
И в весеннем снегу,
Раздувая пайпаки, зажиревшие бии
Объявили
В его задравье
Байгу.

LI

Это было весной,
Когда, потрескивая, расходились
Звездою трещины
На речном
Ноздреватом льду,
Когда барсы в Призейском крае
Рыбой плодились.
Это было
В девятьсот девятом году.

Так в великий и долгий
Перелет гусиный,
Когда, накопивший бешенство,
Хлынул разлив,
Начиналось детство синицынского
сына

В скрежетаньи машин
И пляске лошажьих грив.

Годы шли волна за волной
С тяжелым шорохом,
Шли, стуча сапогами,
В глухих просторах страны...
... Тринадцатый...
... Четырнадцатый...
Ширя напитанный порохом,
Голубой, как разрывы шрапнели,
Воздух войны.

ЭПИЛОГ

До крестов георгиевских.
До самых плеч
Октябрьского тумана!

.

Прячься от партизанщины
В таежный урман и лог,
Прицепившись к степному штабу
Краснолампасного атамана,
Синицын вместе с ним
Бежал на восток.

И когда их оцепили — и вдруг! гря-
нули дали

Широким ура,
Повторяя: «Бей! Бей», —
Крепко сжимая стужу
Вороненой стали,
Он засел с товарищами
В дымной избе.

Раз! И еще раз!
Внимательно целясь
По кожаному матросу, бегущему
вперед.

Три!
Упал
Молоденький красноармеец
С рваным кумачом
На серой груди.

И еще раз!
Огоньками ненависти и страха
Глаз разжигая.
Точно, без промаха, в них!

.

Но ворвавшийся выборжец
Всем телом,
Сразмаха
Загнал ему
В заклокотавшее горло
Штык.



Похождения факира

Роман

В.С. ИВАНОВ

(Продолжение ¹)

11

Петька изменил маршрут. Мы согласились беспрекословно. Жажда мести вела нас! Цирк Коромыслова приехал в Шадринск из города Камышлова. Окончив свои представления, цирк направится в Челябинск. Мы шли в Челябинск разоблачать и об'яснять. Для выступлений в Челябинске — на афиши и прочие предварительные расходы — мы заработаем денег на воскресных базарах в богатых селах, степных и маслодельных.

Но воскресные базары плохо кормили нас. Мы часто сворачивали с тракта, выбирая села побогаче. И все же нас кормил Иван Михайлов. В обширной равнине, поросшей ковылем и кипцом, попадались озера. Иван Михайлов быстро плел «морды» и ловил жирных карасей. Он работал в кузницах, он всюду находил работу. Руки его постоянно чем-нибудь заняты, и если он не умел выполнить какую-нибудь работу, то он никак не соглашался, что неспособен к ней, а утверждал, что нехватает настоящего инструмента. Он любил труд, он постоянно говорил и думал о труде. Чего доброго, и девица Измалкова полюбилась ему за какую-нибудь особую работу, которую он не смог, а вот она выполнила. Ему нравилось исправлять наши работы, да и

многое в мире он готов был исправить. Если разведешь костер, Иван непременно поправит его, и огонь действительно горит лучше. Он ненавидел бездельников, людей, которые долго спят, он будил нас непременно на рассвете и постоянно говорил Пашке:

— Подольше богу молись, Павел, подольше...

Пожалуй, он думал, что Пашка способен только к молитве. Пашка, не то страшась его, не то пришли к нему новые мысли, подолгу стоял на коленях лицом к востоку. Лицо у него боязливое. Михайлов смотрел на него с уважением, ему казалось, что именно с таким лицом человек обязан стоять перед богом.

— Мы неученые, — говорил кузнец, — а тут, смотри, какая ученая сделана у него фигура. Мне в Питере много молитв преподавали, а ни одной молитвы об настоящих инструментах не нашлось.

— Рассчитываешь, Пашка подыщет молитву? — спрашивал я.

Кузнец говорил уклончиво:

— Кто его знает, может, и подыщет. Он ведь прямо как святитель, богато нашел в пустыне.

Но пашкину работу он, видимо, не считал особенно нужной. Он осторожно спрашивал:

— А для чего вы его тащите возле себя?

Михайлов присматривался к нам, а ко мне, пожалуй, больше всех. Петьку

¹) См. «Новый мир», кн.кн. 4, 5, 6 и 7 с. г.

Захарова он уважал безмерно и пошел с нами только ради этого уважения, о Пашке Ковалеве быстро решил, что тот готовится к монастырю, я для него был непонятен. Иногда ему казалось, что меня держат вроде лекаря, и он однажды спросил, нет ли какой-нибудь травы для излечения бледности девицы Измалковой. Он несколько успокоился только тогда, когда узнал, что у меня утащили «фокусные» инструменты. Его громадное тело, покрытое жестким и черным волосом, размерами своими похожее на Филиппинского, смущало меня, и мне трудно было с ним разговаривать. Я говорил о том, что мне было более всего известно:

— А тебе, Иван, понятно, что мы идем в Индию?

— Понятно.

Я старался узнать, что же все-таки ему понятно, но он отвечал мне очень осторожно. Он говорил почему-то чрезвычайно уверенно, что все это брехня, будто в Индии нет христиан. Купцы есть? Храмы есть? Значит, и христиане есть, кому же, как не купцам, строить храмы. «Купцу, кроме храмового инструмента, остальной «снаряд» имеет второстепенное значение». Его рассуждения раздражали меня, а еще больше то, что он одобрял пашкины моления. Когда Пашка начинал крестить себе грудь, стучаться лбом в траву, я подходил и говорил возмущенно:

— Врешь и притворяешься. Хочешь, чтобы Иван нес на себе твой багаж? Нельзя, Павел, с притворством написать ту книгу, ради которой я тебя учил типографскому делу.

Кузнец подлинно нес уже несколько дней пашкины вещи.

Пашка глядел на меня со злостью и гогорил:

— Никогда я не собирался писать. Я это глаза тебе отводил, потому что ты любишь читать книги. Мне мамашиним ремеслом заниматься нельзя. У меня к женщинам страсть, а в нашем ремесле должно быть спокойное поведение к женщине. Ты думаешь, я гонюсь за пани Мариной для мамы и для павлодарских купцов? Для себя гонюсь я. Любая баба заставляет меня жаждать ее,

а главное, ревновать. Вот я и рассчитал Денег у мамыши много, сердце у ней ветхое, умрет, продам ее заведение и открою типографию в Павлодаре.

— Зачем же ты идешь с нами? — спросил я, потрясенный.

— У мамыши сердце ветхое, говорю я тебе. Она меня и гнать-то особенно не гнала, я ушел от нее своими ногами, чтобы еще больше сердце всколыхнуть. Теперь я его доколыхаю до такого состояния, что оно совсем остановится. Все мадамы из всех городов пишут ей письма, что вот, мол, ваш сынок Пашка, босой, изнеможенный, прошел среди бродяг и каторжников.

Он наслаждался тем ужасом, который, видимо, появился на моем лице.

— Книжку! В какой книжке ты расскажешь, Всеволод, про всю нашу жизнь-пенку. Люди и более ученые, например знаменитый поэт Чехов¹⁾, не нашли в себе смелости и умения сказать об нас больше, чем одну строчку. А про бога, — я бога здесь в нашем шестивии понял. Только бог у меня особый, си-

¹⁾ Мне хочется напомнить читателям одно наблюдение А. П. Чехова, о котором говорит П. Ковалев. Кроме того, я полагаю, что людям, мало изощренным в отыскании смысла прочитанных книг, оно поможет уяснить общую тему моего сочинения и, может быть, избавит меня от излишних обвинений, что я чересчур пристально рассматриваю биографию Пашки Ковалева, чересчур долго держу его возле себя. Если не в книге, то хотя бы в примечании разрешите мне доказать, что Пашка Ковалев явление не случайное, а типическое в сибирской жизни уездной и прошлой.

Вот что говорит А. П. Чехов («По Сибири», т. XXI, изд. А. Маркса):

«Если не считать плохих трактиров, семейных бань и многочисленных домов терпимости, явных и тайных, до которых такой охотник сибирский человек, то в городах нет никаких развлечений. В длинные осенние и зимние вечера ссыльный сидит у себя дома или идет к старожилу пить водку; выпьет вдвоем бутылки две водки и полдюжины пива, и потом обычный вопрос: «А не поехать ли туда», т.-е. в дом терпимости. Тоска и тоска! Чем развлечь свою душу! Прочтет ссыльный какую-нибудь завалающую книжку, вроде «Болезни воли» Рибо, или в первый солнечный день наденет светлые брюки, да кстаи ли читать о болезнях воли, коли самой воли нет? В светлых брюках холодно, но все-таки разнообразие!»

бирский, я ему не молюсь, а беседую, потому что он имеет храм, и мой дом тоже храм. У него лики святых, у меня тоже лики больших угодниц. Там люди отдыхают, и в мамашинном доме тоже люди отдыхают.

Он торопливо выкрикивал мне свои мысли, боясь, как бы кузнец или Петька Захаров не услышали его:

— Бог со мной тоже сговорится. Мамаша отдала ему мальчиков для его попов и монахов, а себе забрала девиц. Вот мы и разделили прихожан. Не все ли равно, у кого исповедоваться в своих грехах: у пьяной ли девки, или у пьяного попа?

Мои обличительные слова, прежде отлично действовавшие на Пашку, теперь не пугали его и даже не обижали. Мне было тяжело. А тут еще Петька Захаров не замечал моих страданий. Петька весело подсмеивался над пашкиными молитвами, непрестанно восхищался силой Ивана Михайлова, показывал ему, как нужно бороться в цирке. Едва лишь скрылся Шадринск, как Петька Захаров перестал думать о Филиппинском, а если я пробовал говорить, то Петька Захаров одобрял то, что Филиппинский скрылся от нас. «Если вдуматься, так даже приятно, что этого толстяка затянуло в цирк. Филиппинский думает слишком медленно, а в нашей теперешней профессии думать нужно воспламененно». Он радовался тому, как Иван Михайлов способен тащить на себе все наше имущество. Если кто начинал уставать, Михайлов немедленно отбирал у него поклажу. Михайлов молчалив, ест мало, и нам теперь стало заметно, сколь много сжирал Филиппинский. Петька говорит: «Этот вроде Нубии: он сырой травой способен питаться». Когда кузнец уставал, ему достаточно было передохнуть две-три минуты, покурить. Глубоко затягиваясь, он смотрел в землю и расспрашивал Петьку о различных инструментах, которые могут «досыта» перекопать землю. Казалось, эти разговоры подкрепляли его, и усталость его исчезала, едва лишь докуривал он папироску.

Наблюдая, с какой легкостью срываются люди и уходили, сами не зная, ку-

да, смотря в их тревожные глаза, разговаривая с многочисленными странниками, бродягами, мне мой поход в Индию казался не столь громадным и важным предприятием, каким он еще казался мне совсем недавно. Мне казалось, что я обсудил весь поход весьма основательно. На тракте постоянно попадались странники, но чаще всего мы обгоняли их. Странники изумленно шаркались при виде громадного кузнеца, черного, задымленного, в прожженном фартуке, который, морща брови и тараща глаза, быстро шел вперед. Бродяги посмелее спрашивали:

— Каторжник-то из какого централа бежит?

«Иоанн» Михайлов пропускал их молча. Он презирал их. Себя бродягой, «вздорной свербежкой» он не считал, он разыскивает необходимый инструмент! Когда один прохожий с пухлым бабьим лицом и бойкими синими глазами погробовал с ним пошутить, назвав его братцем, кузнец схватил его за грудь и поднял над собой. Бродяга закатил глаза и потемневшими губами прошептал:

— Да что ты, да что ты!

Иван швырнул его далеко в пшеницу. Бродяга упал на спину. Мы подбежали к нему. Из пухлого его рта текла кровь. Увидав нас, он задрогал ногами, он заплакал, решив, должно быть, что мы его подбежали бить.

— Братцы, да что вы, господь с вами! Да что вы!

Петька Захаров посмотрел вслед кузнецу, который попрежнему упорно шагал вперед, даже не обернувшись к бродяге:

— Вот откуда у него, Всеволод, грозное имя Иоанн. Отличная звезда заблестела в созвездии факира, не скоро испарится.

Мне подумалось, что если не сейчас, то вряд ли найдется иное время для искреннего разговора с Петькой Захаровым. Кроме того, и он, и я перерастаем наши теперешние мысли, головы наши не склонятся ли в иные стороны. и тогда поздно разговаривать. Я сказал:

— Созвездие факира? А знаешь ли, что ты говоришь, Петр?

Петр пригладил курчавые волосы, улыбнулся свежим своим ртом. Петр любовался своей свежестью, нашим «созвездием», Нубией, полями пшеницы, меж которых мы шли, коричневым ястребом, который медленно кружил над пшеницей.

— Мне ли не знать, Всеволод?

— Петр, ты дорожишь истиной?

— Еще бы.

— И ради этой истины я тебе должен объяснить, как ты понимаешь созвездие. В этом созвездии ты себя считаешь солнцем, а остальных планетами Ты дорожишь истиной? Но ты дорожишь истиной только потому, что она принадлежит тебе. Ты перестал бранить Пашку Ковалева, потому что он полезен нам, потому что он удерживает кузнеца Михайлова, который, хотя и не говорит вслух, но про себя предполагает с помощью Пашки увлечь бледную девицу Измакову. Но самое важное то, что вместо общего обсуждения смысла нашего путешествия в Индию ты захватил идею в полное свое владение и совсем ненамеренно, даже нехотя, ты утерял подлинную идею путешествия. А теперь ты свое заблуждение уже начал называть истиной. Мало того, ты требуешь, чтобы мы твое заблуждение тоже признавали истиной. Ты начинаешь всеми способами всаживать это твое заблуждение в нас, и я чувствую, что скоро подойдет время, когда, если мы попробуем воспротивиться, если откажемся признать твое господство, ты, Петр, наполнишься неприязненным чувством соперничества, зависти, ревности...

— Я — ревностью?

— Да, ревностью. Но дело вовсе не в ревности, а дело в том, что ты приобрел во время похода, возможно и без умысла, огромное количество тщеславия.

Петька, сияя глазами, сказал:

— Никогда не задумывался над этим словом — тщеславие. Никогда не грозило оно мне.

— Напрасно. Если мир что и скрывает, то тщеславие скрывает тщательнее всего. Тщеславие, Петр, есть страсть разнообразная, изменчивая, тонкая. Рас-

смотреть и узнать ее возможно только самым зорким взглядом, но предостереечь от нее еще труднее. Все остальные страсти однообразны и, пожалуй, просты, а эта многочисленна, многообразна. Тщеславие встречается тебя всюду, со всех сторон — и когда ты еще борешься, и в особенности тогда, когда ты появляешься победителем! Тщеславие похоже на микроб, находящийся в прекрасной ягоде, скажем, в малине. Ягода сочна и ярка. Ты глотаешь ее, а микроб, смертельный и грозный, проскальзывает в тебя. Одежда, твоя фигура, твоя походка, голос, ум, курчавые волосы, неистощимая потребность работать, способность к чтению книг, отличная память, — все твои лучшие качества способны служить пищей тщеславию. Тщеславие льнет ко всему. Ты способен тщеславиться хорошей одеждой и способен тщеславиться плохой. Если ты хорошо говоришь, ты этим тщеславишься, если ты умеешь молчать, ты опять тщеславишься. Ты делаешься похожим на куб, который, как ни брось, все равно будет виден сверху одной плоскостью. Вот тебе кажется: ты прогнал тщеславие, а смотришь, оно возникло в тебе по-новому, в новой форме. Молния указывает на приближение грома. Петр! Тщеславие указывает на приближение гордости.

— Гордости?

— Гордости, Петр. Гордость — страсть свирепая, алчная, страшная, и страшнее всего она в молодости, потому что: чем нам гордиться в молодости? Знаниями? Мы их приобрели мало. Опытном? Мы только-что подходим к нему. Нужно уничтожить тщеславие. Нужно, чтобы не сверкнула молния. Иначе гордость схватит тебя, Петр, и ты способен почувствовать себя факиром.

— Ну какой же я факир, Всеволод? Они, говорят, неделями сидят на корточках, а я всегда стоя.

Он несколько оторопело приглядывается ко мне. Видимо, он еще не совсем понял ту перемену, которая произошла во мне. Нужно мне торопиться. У него светлый ум, глубокий, ясный, отчетливый. Он быстроглазый, но взгляд его лишен язвительности. От напряжен-

ных мыслей щеки у него стали совсем алые. Бледножелтая рубашка прильнула к его телу, горячему, сильному. Мелкие кольца волос на висках почти синие, это вода дает им такую окраску. Мы только-что искупались в озере. Его резко очерченный лоб, его надбровные дуги мощности необыкновенной. Все его тело на удивление свежее, во всей его фигуре нет ничего переросшего, нет ничего убавленного. Он должен понять меня.

И вдруг я слышу: он говорит свежим своим голосом.

— Тщеславие! Какое же здесь тщеславие? Мы все идем в Индию ради тебя, Всеволод. Было бы великолепно, если бы ты, Всеволод, научил меня, как же сейчас нужно поступить. К сожалению, ты ищешь славу в том, чтобы мы признали тебя бóльшим, чем ты есть на самом деле.

Он хочет перехитрить меня! Они, видите ли, идут в Индию ради меня. Я, видите ли, ищу славу!

Я замолчал. Я чувствовал, что многое изменилось во мне во время этого разговора. Я огорчился тому, что вышел опять в причелябинскую степь без спора и сопротивления. Если бы мне остаться за реалом с верстаткой в руке в Омске, думал я, то это принесло бы мне больше пользы, и я бы скорее смог выехать в Индию. Я понимал, что Петька никак не виноват в моем отъезде из Омска, что приехал он в Петропавловск как-раз благодаря моему отъезду из Омска, и все-таки я обвинял его! Грусть, частая, густая, сплошная, обступила меня.

— До Крутихи верст двадцать осталось! — сказал внезапно Петька. Надо нам факирское представление там устроить, Всеволод, а то ты совсем загрузился.

— Я не хочу факирского представления.

И то, что Петька согласился со мной, тоже показалось мне хитростью.

— Там пожарный сарай есть. Вот мы и вкатим туда чемпионат французской борьбы.

— Чемпионата нам нехватало только, — притулившись к моей грусти, ска-

зал Пашка Ковалев. Я огорчился еще больше, меня обижало пашкино соседство. Я согнал с лица «элегию». Я рассмеялся и, притопывая ногой, сказал:

— Чемпионат это лучше, но откуда мы его возьмем?

— Чемпион Бельгии — ты, Всеволод. Ты, Пашка, борешься под желтой масляной чемпионом Китая и тихоокеанских островов. Я — черная маска. С открытым лицом борется Иоанн Михайлов, наш сибирский чудо-богатырь.

Пашка спросил ехидно и боязливо:

— А если выйдет любитель, силач ихний какой-нибудь?

— На появление любителя мы построим всю славу нашего чемпионата. Надо уметь вожделеть, Пашка. Но, помимо вожделения, надо уметь размышлять, прикидывать, притуманивать чужие мозги. Кто самый сильный человек во всех окрестностях? Иоанн Михайлов. Способен ли он побороть любого ярмарочного силача? Способен. Теперь, если этого Иоанна Михайлова кладет самый слабый из нас, например Пашка, то какую же силу имеет самый сильный из нас, например Всеволод?

Этот Петька Захаров умел обольщать людей! Я притопнул ногой и сказал:

— Ну, а если допустить, что любитель пожелает проверить самого слабого, например Пашку?

— Мы говорим тогда любителю: «Нет, молодой человек, вам нужно побороть вначале слабейшего, а затем уже перейти к сильному». Естественно, кузнеца ему не побороть, тогда как мы будем бороться нашего кузнеца без натуги.

«Иоанн» Михайлов сухо и помраченно спросил:

— Каким же инструментом будете вы меня бороться?

— Сговором.

— Каким таким сговором?

— А таким, Иоанн, что ты обязан лечь под меня, быть поборотым в течение например часа. Пашка поборет тебя в полчаса. Всеволод поборет тебя в 10 минут.

Кузнец легонько стукнул пальцем в пашкину грудь. Пашка потемнел и качнулся. Кузнец сказал:

— Вот этот-то меня в полчаса? Мало он еще молился. Я в гвардии служил, со мною сам император Николай Александрович Второй имел честь разговаривать. Выстроились мы во фронт, он проезжает в коляске и говорит жалобно: «Здравствуйте, братцы». Если я упаду, так это будет позор на всю гвардию!

Кузнец повернулся ко мне и сказал:

— Нет, Всеволод, и тебе меня в 10 минут не положить.

Эта фраза ему, видимо, понравилась. Несколько раз он повторил:

— Нет, и тебе, Всеволод, меня никак не положить.

И когда мы шли по красновато-розовому базару, направляясь к пожарному сараю, кузнец сумрачно осматривал бурные лари, синего с черным козла, который торопливо семенял через площадь, и все говорил:

— Никак, никак, Всеволод, не положить.

Петька кричал:

— Но почему, почему, наваренная твоя голова, почему ты не хочешь лечь? Тут тебе и факир, тут тебе и знаменитый песенник-балалаечник, Пашка Ковалев.

— Не могут они меня побороть.

Петька обернулся ко мне и пожал мои руки:

— Ты на него не обижайся, Всеволод, в нем расовый предрассудок, он, видимо, органически не выносит индусов.

Но Петька все-таки потребовал, чтобы плакат изображал мою борьбу с кузнецом. День был воскресный. На встречу толпе, выходящей из церкви, мы несли на шестах громадную афишу, объясняющую наше представление. Базар постепенно наполнялся народом. Лихо звонил звонарь. Мальчики сопровождали нас. Мы шли к церкви берегом речки. На берегу ее, возле дощатого сарая, стояла оранжевая пожарная машина, похожая на самовар, ручки которого вытянуты до невероятных размеров. Возле машины лежали два плуга и борона с выбитыми зубьями. Смирный, теплый ветер веял нам в лицо запахами камыша. Щедро крякали утки.

Впереди шел Пашка с унылым лицом, играя на балалайке. Петька Захаров кружился вокруг, объясняя, рассказывая, приглашая.

Я спросил у кузнеца:

— В гвардии ты наверно фельдфебелем служил?

— Рядовой. Не подошла ко мне гвардейская наука. Не нашел я всеобщего снаряда.

— Во всем Петербурге?

— Можно и в деревне физике обучиться, можно и в Петербурге не найти головы. Да и ходили мы в мундирах, поставили меня на три года вроде коня для подковывания в станок. Мундир мешал.

Вдруг толпа мальчишек отхлынула от нас с криком:

— Ребята, еще один борец забушевал! Ну, этот всех положит.

— Эги в нем завязнут!

Мужики, выходящие из церкви, оставались изумленно. Замолчал звонарь. Перестали скрипеть телеги. Забыли кряканье утки.

По Крутихинской улице шагал, опираясь ногой гигантские дуги, подняв глаза к небу, сам Константин Степанович Филиппинский. Тучи мух облепляли его громадное тело. С него сыпалась хвоя, казалось, — осыпался сон! В громадной руке он нес крошечный узелок клюквенного цвета. Попржнему он не затруднял себя несением тяжести!

Мы поставили перед ним наш пегий плакат. Филиппинский, медленно шевеля губами, прочел афишу и уперся в конец ее: он искал подпись антрепренера. Петька вышел из-за афиши и сказал, обращаясь к безмолвно стоявшему населению Крутихи:

— Я поздравляю вас, господа. Вы увидите сегодня борьбу чемпиона Южной Германии Констанции Филиппи с чемпионом Сибири Иоанном Михайловым.

Филиппинский вздохнул так шумно, словно он долгие годы хранил в себе этот вздох. Он поднял глаза еще выше и сказал:

«Жена упрекает мужа в чрезмерном употреблении водки.

— Зачем ты так много пьешь?

— Вовсе не много, — возражает он. — Ты не знаешь, что доктор велел мне выпивать утром и вечером по рюмке водки.

— Но почему же ты пьешь двадцать рюмок?

Муж потер лысину, оперся на локоть, погрыз ногти, сердито крякнул и сказал:

— Потому что я был у десяти докторов!»

«— Почему ты, Лизочка, думаешь, что Михаил Саввич хочет просить твоей руки?»

Дочь пшла из комнаты, шлепая туфлями, она обернулась на пороге, передернула плечами и, кладя палец на губы, сказала:

— Потому, мамаша, что он очень обстоятельно спрашивает о твоём характере».

Подошел, привлеченный грохотом удивительных словес, мальчишка, посасывавший толстую краюху хлеба. Филиппинский быстро протянул руку, вырвал краюху и сунул ее в рот. Два раза он сжал челюсти. Краюха исчезла. Мальчишки разбежались, наполненные крайним удивлением. Петька Захаров обрадованно смеялся:

— Цирк сгорел, что ли?

— Зачем ему гореть?

Филиппинский медленно рассказал. Ему нельзя было откладывать рассказа: Петька хотя и смеется, но глаза у него такие, что лучше не перечить.

— Взяла она шпаги. Обещала касирство. Сажусь вечером в кассу. Господин Коромыслов спрашивает: «Вы залог когда внесете?» — «Какой такой залог?» — «Самый, говорит, обыкновенный: одну тысячу рублей». — «Дорогой мой, отвечаю ему, кабы да мне тысячу рублей свободных да хороший совет, я бы через три года миллионер». А тот мне: «Прекратите анекдоты рассказывать, здесь не базар, здесь цирк, серьезное учреждение, вынимайте тысячу, иначе начинайте жизнь свою сызнова». Имей я хоть бы сто рублей, дело б уладилось, но тут вдобавок выступает не

кий капельдинер и говорит: «Пожалуйста, господин Филиппинский, на сцену релетировать, вы боретесь сегодня любителем!» Я не выношу физической работы, господа.

— По шее били? — спросил Пашка неизвстно почему испуганно.

Филиппинский побагровел.

— Меня жена не бьет, которую я люблю несметно.

Я спросил, как мог, ядовито:

— И вы их пронзили моей шпагой, Константин Степанович?

Филиппинский спокойно сказал:

— Шпага осталась.

— Говорите яснее.

— Чего же яснее, господин Иванова. Шпаги остались у пани Маринь».

Петька Захаров побледнел. Глаза его сузились. Губы его задрожали. Филиппинский отсырел еще более. Подняв глаза вверх, высыпая анекдоты и оставляя дуги в пыли, он боязливо отступил

— Я тебе не капельдинер, гадюка. Я тебе Петька Захаров! Вот в этой руке нож, а вот в этой через пять минут — твои кишки. Сейчас ты идешь релетировать, а вечером ты борешься два с половиной часа. Внятно я говорю? Без крайностей?

Филиппинский послушно двинулся к сараю.

Я остался один. Опять крякали утки, опять гудел базар. Я думал: все сказанное мною о тщеславии, все оказалось правдой! Петька идет не ради меня, а ради себя. Кто его знает, не придумал ли он еще раньше меня этот поход в Индию. Петька самовольно распоряжается шествием факира! Он самовольно прощает подлейшего из людей, Филиппинского, он улыбается паршивым его анекдотам. Он забыл, что Филиппинский украл ту шпагу, о которой Петька кричал, что с помощью ее Всеволод завоеует весь мир. Петька еще выдаст благоприятный совет этому подлому, отвратительному лавочнику! Филиппинский уверен в Петьке. Петька Захаров уверен в Филиппинском. Вот сейчас Филиппинский ходит по опилкам в том конце пожарного сарая, который готовится для арены чемпионата. Петька весь свежий, бледность и злость

его исчезли. Он доволен тем, что Филиппинский удачно репетирует борьбу с «Иоанном» Михайловым и что Михайлов согласился бороться с Филиппинским.

Я взял зеленую свою «соломенную собаку».

— Ты куда, Всеволод? — спросил Петя.

— Купаться.

В бумажке, которую я приколот к столику «кассы», я писал: «Прощайте навсегда, ухожу домой, тщеславные вы люди».

12

Уездные города мне ближе и роднее. Люди в них казались мне проще. Через Белый Яр, Кабанье, через реку Миас, мимо Воскресенского я вышел на линию железной дороги к станции Мишкино. Отсюда, полагал я, мне легче выбрать путь, ближайший в Индию или в город Курган.

Дойти до линии было нелегко.

Покинув «созвездие», я купил на 15 копеек, которые уцелели у меня, хлеба, но на второй день я уже съел его. Я пытался не думать об еде. Для этого я шел быстрее. Но, чем быстрее я шел, тем больше я думал о еде. Я старался думать о факирстве, о своей необыкновенно крепкой воле, о своей неустрашимости. Особенно требовалась для меня неустрашимость, когда сгущались сумерки и нужно было выбирать место для ночлега. Приходилось сознаваться, что или раньше я был смелее, или недостаток пищи делал меня слабым, или я думал о себе раньше лучше, чем бы это следовало. Едва только исчезало солнце, как мне становилось очень грустно. Я залазил в овоаг, и здесь теснота обступала меня. Все кусты сливались в одну наполненную гулким шумом массу. Кусты ползли ко мне, все шорохи приобретали одно намерение: напасть на меня. Я знал, что это чепуха, что мне так кажется, но я не мог побороть страх. Я боялся тьмы. Мне думалось, что во тьме ко мне подползут змеи. Я очень боялся змей, но в то же время я боялся развести костер. На огонь подходят люди, грабители. Откуда им знать,

что я иду совсем пустой, они могут принять меня за первейшего разбойника, который бежит с деньгами.

Я вылезал из оврага на пригорок. Здесь светлее и меньше комаров. Но здесь ветерки, они меня пугали не меньше тишины оврага. Они текли: вокруг меня — и во мне — острыми и разнообразными струями. Они шелестели, рылись, шаркали. Я ложился на спину и старался смотреть в непрозрачное синее небо. Я лежал на спине до тех пор, пока небо не приобретало перловый, жемчужный блеск утра. Я слышал шаги. Я привставал на локте. Шаги исчезали. Едва я вновь ложился на спину, как шаги с переборами вновь приближались.

Когда я проходил сквозь деревни, я думал, что в детстве я был гораздо умней и смелей. Я бы залез в любой огород, а теперь веселая зелень огурцов проходила мимо меня, и я говорил себе: отложим кражу до утра. Утром я утверждал, что лучше залезть в огород вечером. Иногда мне казалось, что я лежусь вору потому, что утратил какую-то долю уважения к себе, бежав от друзей. Тогда в голову мне приходили вязкие стихи о Пиме. Много раз я собирался вернуться, но, вспомнив Филиппинского, вспомнив Пашку, который сделает спокойное лицо и скажет: «Ну вот, еще лишний рот явился, сдохнем мы с голду», — я устремлялся вперед.

Я голодал. Легче всего попросить хлеба, но просить я не мог по множеству разнообразных причин. Прежде всего я чувствовал себя страшно слабым и ничтожным. Уже перед самым выходом к станции Мишкино я несколько раз воскликнул в отчаянии: «Какой там факир!» Я называл себя всяческим подлыми именами: предателем, прусом, перебежчиком. Кто будет кормить такого чурбана и рохлю! Если мне приходила в голову мысль о том, чтобы выдавать себя в деревне за богомольца или странника, я обижался еще сильнее. Я знал, что в любом селении найдется богомольная старушка, которая накормит, а затем направит меня к знакомой своей, в следующее селение. Я передам поклон и пойду отыскивать еще знакомую. Так можно пройти всю Россию. Но это зна-

чило превратиться в божьего нахлебника, в божьего «ездока». Однажды я даже догнал несколько старушек, идущих на богомолье. Они заговорили со мной. «Эх ты, ездок» — подумал я с презрением. Я намотал на голову зеленую свою «соломенную собаку» и, шагая бодро, спросил их:

— На Индию я правильно иду?

И, не дожидаясь ответа, стараясь ступать на пятки, потому что старушки шли, ступая на носки, я обогнал их. Я не верую в бога и не буду верить в него никогда. Опять я вспомнил свое детство, отца, черный выгон в Лебяжем, медный самовар, искры из трубы. Еще бы да мне просить Христа ради!

Я стер ноги. Итти пришлось медленнее. Линия железной дороги, уже совсем приближавшаяся ко мне, теперь отдалась. Отчаяние владело мною. Я сочинил записку. Я написал ее крупными печатными буквами. Я сообщал, что я глух и нем, ищу хлеба и заработка. Я приколот ее на грудь и с этой запиской вошел в село Кабанье.

Я разрыскал дом с железной крышей. Я не надеялся встретить там добрых людей, но думал, что встречу грамотных. Я увидел в окне хозяина, бородатого важного лавочника. Было воскресенье. Семья кушала. В палисаднике — кусты смородины, над ними вьется хмель. По улице идут под гармошку парни. Вышитые портянки выпущены из голенищ, новые галоши сияют пегим блеском.

Я промычал нечто похожее на «конанье», жеребий в игре: «Одиан, друриан, тройчан, черичан, падан, ладан, сукман...»

Хозяин поправил бороду и сказал мне забавным вялым басом:

— Знаем мы вас, погорельцев! Проходи.

Когда я отходил, я подумал, что кто-нибудь да прочел мою записку, кто-нибудь да догонит меня. Но ничей голос не остановил меня, и ничьи сердобольные шаги не догнали меня. Я шел, нарочито наваливаясь всем телом на свою больную ногу.

За селом я увидел тощую полоску гороха. Чья-то легкомысленная душа, не

знаю, зачем, посеяла его возле самой дороги и возле самой деревни. Прохожие дергали его: не по нужде, а чтобы наказать глупость. Я влез в горох. Я ел долго и жадно. Я чувствовал, что много есть зеленого гороха опасно, но я ел, не останавливаясь. Возле меня лежала груда стручков. Несколько таких груд лежало внутри меня. Я набрал половицу «соломенной собаки». Я шел и кидал пустые стручья в пшеницу. «Зелень есть самое важное для человека» — говорил я, грызя стручья. Нога болела меньше, но больше и больше болел живот. Я зорко оглядывался: не встретится ли еще какая-нибудь пища. Пробовал лущить пшеничные колосья, но зерна по рту слипались, вызывали жажду, а вода встречалась редко. Я старался встать с рассветом, но встать было трудно: из-за холодных ночей, из-за страха я засыпал как-раз на самом рассвете. И помимо всего этого у меня болела грудь. Проколы гноились. Вот тебе и факирское тавро! Вот тебе и румяная дорога в Индию!

Я вышел на шпалы. Налево я увидел станцию Мишкино. Направо шпалы шли к Уралу. Совсем недалеко от Мишкина есть город декабристов — Курган. Много раз Петька Захаров сообщал нам, что город Курган, если считать от Урала, есть первый сибирский город. Вблизи его находится огромный курган: 80 сажень в окружности и 4 в высоту. Здесь жили сосланные декабристы: Нарышкин, Лорер, братья Розен, Свистунов. Декабристы Фохт и Новалов Швейковский похоронены в Кургане.

Я стоял, положив больную ногу на рыжую шпалу. Голова гудела. Пологие крыши храмов индийских, смоляно-бурых, сменялись маршировавшими рядами гвардейцев. И над храмами, и над гвардейцами неслась иглистая метель. Декабристы, звеня прикладами, врывались в ажурные ворота храмов. Брамины в смарагдовых ризах пятились от них. Декабристы стреляли. Кто похоронен в храме? Розен? Свистунов? «Ах, здравствуйте, капитан Свистунов!» — кричал я пробегающему поезду. Я махал зеленой своей собакой.

— Здравствуйте, капитан Свистунов, здравствуйте, — кричал я. — Мое почтение; братья Розен!

Декабристы скачут через храм, через его алтарь. Они во дворе. Они топчут седые розы. Множество будд окружает их. Канонада. Декабристы скачут мимо меня, колючая метель попрежнему крутит над ними. Брамини в сиреневых ризах едят из больших котлов, черная суп круглыми деревянными ложками. Я смеялся. Я вспомнил, как мимо нашего шествия, мимо Петьки Захарова, Филиппинского, Ковалева мужики вели громадные обозы круглых деревянных ложек, завернутых в рогожу. Как это только я не мог догадаться, что ложки эти везут в Индию. Неужели для нашей страны нужно столько ложек, неужели в ней столько пищи? Воду черпать, и то воды нехватит.

Я заснул возле шпал. В полдень меня разбудил грохот подходившего поезда. Я встал, умылся в ручье. Я решил вернуться в Сибирь.

Я миновал несколько раз'ездов. Стрелочники смотрели на меня мрачно. Они выходили мне навстречу со своими красно-зелеными сумками. Одному я сказал развязно:

— Поезд прямого сообщения из Индии в Сибирь. Путь свободен?

— Поворачивайся, поворачивайся, пока по морде не получил, — сказал он мне сипло. — Куроед.

Несомненно какой-то проходящий юноша вроде меня слопал у этого стрелочника курочку. Юноша поступил правильно. Почему бы мне не залезть в курятник и не удушить парочку кур, а затем зажарить их на медленном огне? Мне нравилось говорить: на медленном огне. Или зажарить их в песке, покрытом раскаленной золой, оставшейся после костра. Или завалить их в куске глины, как об этом пишется в романах, кусок глины положив в костер.

Остальных стрелочников я обходил. В конце-концов приятнее ругать самого себя, чем слушать ругань от других.

Вечером я увидел неподалеку от насыпи костер. Костер манил меня. Я остановился, я размышлял. С бродягами мне сидеть не подобает. Я не бродяга,

я ищу заработка. Если Кургану не надобен наборщик, я поступлю в ученики к слесарю. А если у костра начальство, то о чем мне с ним разговаривать? Но какие бродяги будут жечь костер возле линии? Охотники? Спрошу, сколько верст до Кургана.

Над костром висел котелок. Семь баб, завернутых в рваные полушубки, сидели нахохлившись. Рябая баба поднялась мне навстречу.

— Сахару принес? — тревожно спросила она меня.

— Конфет, — ответил я хрипло.

— Ну и конфеты хорошо. Садись.

Рябая баба сдвинула подруг.

— Откуда ты такой?

— С каторги, — ответил я.

Легкий голос рябой бабы развеселил меня.

— Оно и видно. На сколько лет? За что каторга-то тебе?

— На сто сорок. Курицу живьем съел, — ответил я скороговоркой, заглядывая в котелок.

Каша закипала. «Эти непременно угостят» — сказал я сам себе и еще более развеселился.

— На работу, что ли?

— По работу, — ответил я.

— По какую?

— Детей строить.

Баба с медленными и сизыми глазами, сидевшая против меня, сказала строго:

— И для этого дела требуется не валяжник.

Бабы рассмеялись. Рябая сняла котелок.

Баба с медленными и сизыми глазами, с крепким ртом села возле меня. Она расспрашивала меня: кто, откуда, зачем? Прервав расспросы, она вдруг рассказала историю о том, как вот в такой же вечер подошел странник к ремонтным теплым бабам на линии возле Златоуста. Я понял, что наткнулся на группу рабочих, ремонтирующих линию. Неподалеку я увидел шанцовый инструмент. Бабу с медленными глазами звали Софьей. Касаясь меня плечом, она говорила:

— Выходил этот странник. Собой неряха, завалящий... Одежда на нем чудная, длинная.

Рябая баба улыбнулась и кивнула на меня.

— На этого похож?

— Бабы прислушиваются, разговор у него тоже чудной, длинный. Они его ругать. Странник молчит. А тут прибегают служки. Ой, господи, до чего ж тут бабы перепугались, когда оказалось, что к этому страннику надо под благословение подходить, епископ, видишь ли, он был.

— Мне бы туда, — сказала рябая баба, — я бы у него все свои грехи вымолила. И которые позади, и которые впереди моей жизни, прямо чтобы в рай.

Мне хотелось спросить у рябой бабы так же весело, как я начал разговор, подойдя к костру: «Много ли грехов?» Но вопрос прятался во мне. Медленные глаза Софьи мешали мне. Меня срубили эти глаза! Я слушал плохо, хотя понимал, что мне нужно усиленно вслушиваться. Временами костер, котел над костром и даже запах каши отодвигались от меня. В ушах что-то хлопало, и опять вспоминались декабристы, браминны, и чрезвычайно хотелось спать. Я протирал глаза. Бабы приближались. Ночь позади костра походила на смолисто-черный ящик с навесной крышкой. Меня несколько не удивило, когда однажды после исчезнувшего видения моя рука очутилась в чьих-то чужих сухих и гладких «гарусных» пальцах. Так и должно быть. Истязания мои кончились. «Ведь я возвращаюсь, — сказал я сам себе, — ведь я возвращаюсь обратно в Сибирь. Погасли все мои болезни». Я смотрел в круглые сильные и медленные глаза:

— Мы-де поломанный народ. А я, как могу о себе думать, будто я поломанная? Мне просторно, мне весело, я себя увела от горя. Осталось мне здоровье да богатство. Я всегда в праздничном платье работаю. У меня муж вначале говорил: «Зачем, — говорит, — на тебя чужие будут любоваться?» — а потом и замолчал. Я с мужем строгая.

— Она строгая, — пугливо сказала рябая баба. — Софья-то. Право!

Я рассмеялся. Софья наклонилась ко мне и спросила тревожно:

— Молодой, а смеешься, как старик. Али голоден?

Слезы показались у меня на глазах. Ее тревожный вопрос о молодости и о голоде растрогал меня. Я не знал, что меня больше умиляло: то ли, что ей нравится моя голодная молодость, то ли она жалеет меня, как всякого голодного человека. Я отвернулся.

— Ничего, потерплю, Софья.

— А зачем тебе терпеть? Ты ешь.

Она отрезала мне ломоть хлеба, посыпала его крупной крестьянской солью, положила сверху луковицу. Едва лишь я откусил, как мне мучительно захотелось каши. Она издавала чудесный и забавный запах. Софья рассказывала о своем муже и, балуясь, щекотала мне пальцем загривок. Бабы смеялись. Видимо, вначале, когда я подошел, они испугались меня, но когда теперь поверили тому, что я один, они уже считали меня своим и даже надеялись на защиту. Любая из них была сильнее меня раз в пять, но все-таки перед ними сидел мужчина. Так думал я. И думать мне это было приятно.

— Друзьев, приятелей у нас с мужем везде, сколько хочешь. Дороги ко всем дворам проторенные. Власти у меня много. Почестей тоже, сколько хочешь, шатается вокруг. Потому на земле я не на костылях, а на красоте. Вот у нас тут по линии десятник. Толстый такой, важный, Владимиром Павловичем зовут. А я его за бороду таскаю и сейчас за водкой послала. Я могу, милый мой, тасовать людей. Десятник за двенадцать верст к водке поскакал, а спать я с ним никогда не лягу, а вот лягу с тобой, парень.

— Да ты очумела, двумужняя, — крикнула восторженно рябая баба.

Софья скинула платок. Волосы у ней были соломенно-желтые, почти прикрывавшие лоб. Она сняла котелок и поставила его предо мной.

— Вот заработаю денег, уйду в город. Вот этот парень-то и слабже меня, и моложе, а тоже идет в город. Надо во всем новое рассмотреть — и в человеке, и в машине. Вот вы в этом парне что разглядели? Думаете, идет себе бродяжка, ну дадим ему сухарь, и пусть

он идет дальше. Он говорит: слесарь. А какой он слесарь?

Рябая баба вылила в кашу ложку прозрачного масла и протянула эту ложку мне. Софья сказала ласково:

— А ты добавь масла ради гостя.

Рябая баба подумала, посмотрела на меня, улыбнулась и положила три ложки. «Как это в жизни все таинственно и странно,—думал я.—Шел полем человек, увидел в кустах костер. Мог подойти, а мог не подойти. Ну вот он подошел, и уже через час он любит женщину, и женщина любит его. Добро бы они, эти двое, полюбившие друг друга, поговорили бы о себе, о своем прошлом. А разговор был о каком-то небывалом списке, о ситцевых платях, которые бабы сшили к празднику, о трех рублях, которые рябая баба засунула куда-го в паз и никак не может найти». А ведь Софья действительно любила меня! Она пододвигала котелок все ближе и ближе ко мне, с нежностью необыкновенно цельной она смотрела на меня. Я чувствовал себя здоровым, сильным, веселым.

— А ты ешь, парень, не думай. Мы сыты, нам торопиться некуда, а ты ешь.

В тело мое входил тихий и ласковый покой. «Вот она, подлинная любовь,—думал я.—Вот где я ее совсем неожиданно встретил. Да и как же иначе—любовь всегда неожиданна. А то писал письма об индийском принце, об островах, лгал и себе, и другим. Оказывается, достаточно взглянуть друг на друга, даже не спрашивая имени. Ее имя я узнал из беседы ее подруг, я для нее был «слесарь», и вот этому слесарю она готова отдать всю жизнь». Ах какие хорошие мысли шевелились в моей голове! Мне были приятны ее быстрые, ловкие движения, все ее маленькое и сильное тело, и это ощущение непрестанной радости, которое наполняло ее, которое исходило от нее и которому поддавались и понимали все, кто когда-либо встречал ее. Да, она обладала целительной и удивительной властью. Бабы ели молча. Изредка они подвигали мне — кто хлеб, кто соль. Они догадались о нашей любви, и вначале они растерялись, но те-

перь уже думали, что иначе и быть не могло.

Я старался есть медленно. Но глаза Софьи торопили меня. Она подвигала мне котелок, и я сам подвигал его. Во мне свертывалась отличная и сверхмерная теплота. Софья улыбалась. Зубы ее сияли. Она скинула полушубок. Она дышала быстро.

— А ты ешь, ешь, парень.

Я поспешно отодвинул котелок. Я насытился. Я не заметил, как бабы покинули нас. Софья положила мне руки на плечи и тихо сказала:

— А я-то тебя ждала. Изныла вся.

Во мне была самая отборная, самая лучшая, слепящая глаза нежность. Как-раз эти слова, сказанные ею, и нужны мне. Откуда в этой деревенской девке или бабе, — кто ее знает,—откуда умение так говорить? Там не умеют. А где это «там» — я и сам не знал, да и не хотел знать. Я положил ей голову на грудь.

— Спать? — спросила она гулким медным голосом.

— Пора, — сказал я.

Мы встали, держась за руки. Я шел, пошатываясь. Это пошатывание было мне необычайно приятно. Во мне расплавилось... во мне расплавилось все!

В стороне, за пригорочком, лежало несколько полушубков, дерюг и подушек. Позже я догадался, что бабы отдали нам для спанья все, что имели. Я упал на полушубки. Один из полушубков был с разодранной полкой. Мне было приятно, не знаю, почему, видеть эту разодранную полу. Я держал ее в руке.

Софья сидела, охватив колени руками.

— Полюнь-то как пахнет, ты понюхай, парень. А вот перед росой так она запахнет еще гуще. Я все эти травяные запахи далеко вижу. Они для меня никак не замалеваны. Ты бы лег, а то роса падет, а под тулупом-то ты ее и не увидишь.

Она, посмеиваясь, поправила на мне полушубок и сказала:

— А вот дегтем запахло, мужик, должно быть, едет по тракту. Телеги не слышно, в колеях-то пыль да трава. Те-

лега смазана густо, чтобы не скрипела, мужик-то, должно быть, разбойников бится, а дегтем-то молодым несет, а мужик спит себе. А разве сейчас можно спать, а, парень?

— Невозможно, — сказал я, так же смеясь, как и она.

Она положила мне руку на голову. Я не ощущал ни запаха полыни, ни запаха дегтя. Но вскоре я расслышал на тракте дыхание сильной лошади, и сонный голос сказал: «Но, ты, дрема!» Телега пронеслась.

— А теперь из лога клубничкой шибануло, клубника крупная нонче, крепкая. Завтра встанешь, пойдешь на берегу себе, пока мы со шпалами возимся.

Она легла рядом со мной. Ее горячая рука упала мне на грудь. Как только я почувствовал рядом со мной ее горячее тело, непреоборимая сонливость охватила меня. Глаза мои смыкались. Я старался поднять веки. Я протягивал к ним руку, но руки мои скользили куда-то в зыбкое и шаткое. Я пытался найти исчезнувшую проворность, былую мою остроту, резвость. Софья гладила меня. Она хотела меня разбудить. Мне показалось, что на меня упало несколько слезинок. Она не верила мне и говорила:

— Ты, парень, не балуйся, ты открой глаза, а девки подумают: «Надсмеялся он над тобой!»

— Сейчас, сейчас, — говорил я, и, кроме этих слов, во мне слов не было.

Я чувствовал: она прислушивается напряженно к тому, что я хочу сказать. Она сдернула с меня полушубок. «Это хорошо» — сказал я про себя, а сонливость еще более охватила меня. Я понимал, что Софья ощупывает меня, мою грудь, мои ноги, не верит, что я так необыкновенно устал. Она еще думает: он сильный, крепкий, здоровый, ражий!

— Вставай, девки-то за пригорком смеяться начали, будет тебе, парень, они же сейчас ко мне подползут, на всю жизнь осмеют.

Смеяться? Как же можно смеяться над тем, что человеку хочется спать. Я обиделся. Я сел. Я оглядел огромное

тепло-синее пространство, сонное и молчаливое, растянувшееся вокруг меня. Софья радостно захохотала:

— Выспался?

Но опять, едва она обняла меня, едва дотронулась горячими своими руками, как сон охватил меня. Я прислонился к ней и заснул.

Когда я проснулся, солнце стояло высоко. Роса уже исчезла. Девки пели возле насыпи. Пронесся пыхтя локомотив. Машинист махнул девкам грязной тряпкой. Меня изумило его радостное и веселое лицо, его огромные глаза.

Я чувствовал большую и какую-то извилистую усталость. Возле моя «солонная собака», мое кепи, мой черный плащ с жестяными львами, все выхлопанное, аккуратно сложенное. Я сел, протер глаза. Я отлично выспался, я проснулся как бы процеженным, ловким. Но постепенно глухой и далекий стыд охватил меня. Почему убрали от меня девки всю свою «лопатину»? Если они убрали и аккуратно вычистили мою, то это не значит ли, что мы люди разные и чужие? Я прислушался. Голоса у них тоже чужие, и я понял, что они пели лишь для того, чтобы показать: не останавливайтесь, бродяги, отгружайтесь! Не подумай, что приехал десятник или муж и они испугались. Кого они могут испугаться?

Денек серенький, серенький. Солнце тоскливо спряталось за тучку. На пригорке полыни. Дальше пыльный и одинокий тракт. Скрипит телега, пахнет дегтем, словно телега еще со вчерашней ночи не тронулась с места. Ах, как плохо! Не ястреб ты, Всеволод, не птица ты! Я жался, ежился, корчился, я переминался с ноги на ногу. Тесно мне было. Я на цыпочках сошел с пригорка и направился к тракту. Не окрикнул ли меня? На мгновение девичья песня смолкла. Я убавил шаги. Нет, никто не окрикнул меня. Пение смолкало для того, чтобы перейти к другой песне.

Пройдя версты четыре по тракту, я свернул к насыпи. Не встречу ли я еще ремонтную партию, не встречу ли я еще девицу, не встречу ли я любовь? Я жаж-

дал утешения. То я говорил себе, что вот и прекрасно, что не остался возле Софьи. Ну, бил лопатой, вытаскивал бы гнилые шпалы, развинчивал гайки. Работал бы я плохо, мужики попрекали бы меня каждой коркой хлеба, а на следующую весну пустили бы меня пастухом. Но могло бы быть иначе. Красота и ловкость Софьи заставили бы меня учиться, уехали бы мы в город, стал бы я заведующим типографией, читали бы мы вместе веселые книги, ходило бы ее ловкое тело в шелку, завел бы я рысак и поехал бы с ней в кинематограф, или бы вдруг появился чудеснейший Петька Захаров и в две недели научил бы ее ходить на проволоке! Как бы сияло на ней платье—бабочкой, как бы чудесно переливались золотые шары в ушах. Офицеры и купцы подносили бы ей цветы, а я бы радовался ее верности.

Насыпь оплетает полынь. Шпалы от угля и от масла грязно-табачного цвета. Облака тоже какие-то несуразные, похожие на махорку. Плохие сведения получил я о самом себе. Я уныло переставлял ноги и собирал стихи:

Здесь полынь, и в сердце полынь.
Нет ни дружбы и ни любви.
Ты идешь, одинокий и бедный Пим,
Нескончаемым морем травы
Небо серое над тобой
И дурацкий колап в руке
Ты идешь, одинокий Пим,
Мимо счастья и кораблей!

Я пел и плакал. Я записал стихи в тетрадку, и мне стало легче. Я шел, размахивая «соломенной собакой». Увидав раз'езд, я решил не сворачивать. Пусть меня бранят, не все же бранить мне самого себя. На раз'езде стоял товарный поезд. Я считал взмахами «соломенной собаки» длинные платформы, груженные лесом. Кондуктор с тампаковыми подушками сидел на площадке вагона. Он скорбно посмотрел на меня и указал пальцем на мой кашемир:

— Зеленое?

— Зеленое, — ответил я.

— Сигнализируешь, что жизнь благополучная?

— Кабы благополучная, так ехать бы мне в первом классе, господин кондуктор.

— Класс еще не обозначает благополучия. В первом классе большей частью больные ездят.

И он спросил еще более грустный:

— Тебе куда, зеленый?

— В Курган, город добродетельных людей, потомков декабристов, господин кондуктор.

— Садись, подвезу.

Поезд тронулся. Кондуктор сказал:

— Полтинник.

— Откуда у меня полтинник?

— Что ж, бесплатно мне тебя везти?

Он тупо оглядел меня.

— Нету? Тогда давай играть в носы.

Он долго тасовал карты.

— Предупреждаю, если ты выиграешь, мне-таки тебя бить, потому что ты безбилетный, у тебя зеленое знамя, у тебя все благополучно, а у меня грыжа и жена двойню родила.

Я старался играть, не торопясь, долго думал над ходами, ронял карты, старался разговориться с кондуктором, но он даже не хотел назвать своего имени:

— Какое там имя, оно мне и дома надоело. Подставляй нос!

Он сильно, с отдачей бил меня жирными картами по носу и злобно говорил:

— Я тебе покажу благополучие. Я тебе покажу размахивать зелеными сигналами.

Нос краснел и пух. Поезд шел все медленнее и медленнее. Я спросил у кондуктора:

— Сколько же верст до Кургана?

— Надоело мне считать версты. Прекрати тасовать, сдавай.

Я смотрел на эти седые усы, на его одышку и скучное лицо, на фонарь, который стоял возле ног, обутых в широкие сапоги. Ах, не все ли равно, колоться ли шпильками, или кондуктор бьет тебя по носу! И здесь, и там ты получаешь известное вознаграждение. И воля твоя воспитывается.

Черное шоссе, огибая привокзальный поселок, направлялось к городу Кургану. Возле чайной «Общество трезвости» парни дрались толстыми сосновыми сучьями. Топчась на месте, они старались ударить друг друга в голову. Из окна чайной вываливалась белокурая женщина, держа в зубах рваный пуховый платок. Из глаз ее лились

слезы, а за ее спиной причитала беззубая старуха: «На кого ты меня покидаешь ..»

Я миновал парней. Я читал по-инному мое стихотворение:

Небо серое над тобой
И дурацкий колпак в руке!
Подосель одинокий Пим
К великолепной реке!

(Продолжение следует)

Магистраль

Роман

АЛЕКСЕЙ КАРЦЕВ

(Продолжение¹)

ГЛАВА ПЯТАЯ

Максим Робертович был одним из редких уже в наше время «потомственных инженеров» страны. Отец его, дядя, дед — все были путейцами.

Он рос в той особой специфической среде заправил железнодорожного строительства, которая еще со середины прошлого века своей размашистой деятельностью завоевала особое и видное место среди новой промышленной аристократии.

Еще мальчиком он наслушался бесчисленных рассказов о сказочной карьере своего деда — праотца целой дюжины русских железнодорожных обществ.

Сорокалетний безвестный инженер в министерстве путей сообщения одним из первых увидел поднимающуюся над николаевской Россией грозу. Загремела крымская кампания — война на самом неожиданном, отдаленном театре, — и гибельность дикого российского бездорожья впервые заставила генералов и министров в ярости бессилия метаться по кабинетам и штабквартирам: армия и тыл костенели в параличе.

Как стынущему телу, стране нужна была спасительная быстрота движения, — но не рельсовая, а проселочная колея,

не вагон, а крестьянская телега являли собою пути сообщения Российской империи. Знаменитый народный поэт, в то время впервые ставший известным на всю Россию, вспоминал потом эти тягостные

дни войны.

Когда над Русью безмятежной
Восстал немолчный скрип тележной,
Печальный, как народный стон!
Русь поднялась со всех сторон,
Все, что имела, отдавала
И на защиту выслала
Со всех проселочных путей
Своих покорных сыновей.
Войска водили офицеры,
Гремел походный барабан,
Скакали бешено курьеры;
За караваном караван
Тянулся к месту ярой битвы —
Свезли хлеб, сгоняли скот.
Проклятья, стоны и молитвы
Носились в воздухе. Народ
Смотрел довольными глазами
На фуры с пленными врагами,
Откуда рыжих англичан,
Французов с красными ногами
И чамоносных мусульман
Глядели сумрачные лица...

Но скоро народ этими же «довольными глазами» увидел другое.

Союзный флот громил из орудий последние нахимовские бастионы, а в это время транспорты снарядов все еще ползли к защитникам Крыма по тамбовским и конотопским трактам. Солдаты, матросы, офицеры, обтрепанные, измотанные многомесячной осадой, все

¹) См. «Новый мир» кн. кн. 6 и 7 с. г.

ту же и безнадежней подтягивали животы, в это время обозы с провиантом и амуницией (даже те, которые успевали отойти от интендантских складов, не разворованными вконец) вязли по непролазным большакам и проселкам. И когда обозы эти добирались, наконец, до редких, как оазисы в пустыне, железнодорожных станций, то и тут еще неделями стояли под дождем, ветром и снегом, дожидаясь очереди на погрузку, забывая на целые версты и тракт, и платформы, и станционные тупики, и пути. Российское общество восхищалось «серыми героями». И севавтопольские рассказы офицера Толстого заменяли тысячам патриотов славу собственных подвигов, — ведь они, эти рассказы, распространялись тоже в боевой обстановке — под залпами тостов, в шуме салонов и гостиных, в зареве иллюминированных клубов, под грохот парадов, в дыму карточных притонов. Над их облачающими, полными скорби и гнева страницами рыдали вдовы, плакали слабонервные адвокаты и либеральные ораторы, всхлипывали в надушенных альковах содержанки интендантов, обалдевших от жадности и безнаказанного всенародного хапежа. Сотни других офицеров, взбудораженных этим успехом, кричали до хрипоты на тыловых полках о своих будущих подвигах и, расплескивая бокалы, лезли в облеваных лаковых сапогах на парадные столы офицерских собраний, изрыгая с остатками майонеза и лунша хриплые восторженные тосты:

— В-во славу об-божаемого м-м-монар-хха...

В это время и в ту же самую славу погибала на полуострове армия, отрезанная от страны тысячами глухих верст. И не только к ней, но и от нее не привозили по неделям ни раненых, ни писем, ни донесений железные дороги Российской империи — две-три рваных бечевки, протянутых по могучему телу страны. Вот тогда-то безвестный сорокалетний инженер, сговоровшись с двумя-тремя коллегами, а через них — с дюжиной петербургских и московских толстосумов, подсунил в докладе высокому начальству коротенькую табличку:

Франция: 3.000

Германия: 6.000

Англия: 10.000

— Что это? — сощурилось начальство, держа бумажку на отлете старчески-пухлыми пальцами.

— Протяженность железнодорожных путей, ваше сиятельство... По европейскому исчислению, в километрах...

— Ну?

— Благоволите взглянуть ниже...

Ниже стояло жирное:

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: 937.

— Гм... Это как, тоже — по-иному? В этих...

— Так точно, в километрах. Но это почти одно и то же. Вот почему, ваше сиятельство...

Листок добротной веленовой бумаги, с круглейшими буквами и цифрами лучшего департаментского каллиграфиста, поехал в министерском портфеле.

Он блуждал долго. Он побывал на сукнах массивных столов и на шелковой диванной подушке, в мрачной тишине правительственных кабинетов и за тройными портьерами посольств, в гостиной титулованной полуслепой старухи и в низеньких «личных» апартаментах дворца; его трогали короткие и кривые, длинные и тонкие пальцы, мужские и женские, пахнущие амброй и табаком, мылом и лавандой, постным маслом и купеческими миллионами, застарелым мужицким потом и тончайшим ароматом заграничных сигар. Пороховой дым войны застилал переговоры, — под грохот русских и иностранных пушек распределялись акции между иностранными и русскими капиталами. Именитейшие расейские толстосумы, столько лет упорно чуравшиеся всяких капиталовложений в незнакомое железнодорожное строительство, теперь зашевелились: дело поворачивалось так, что упускать было обидно.

Во-первых, правительство сулило неслыханные льготы. Во-вторых, иностранные конкуренты явно захватывали инициативу в свои руки, и к довершению всего радикальное течение, все шире овладевавшее лучшими умами страны, резко вставало на сторону заграничного вмешательства. Люди, по-

бывавшие в Европе, беспощадно разносили — и устно и печатно — варварский, пошехонский уклад хозяйствования на русских железнодорожных линиях. Юный Николай Добролюбов, в то время только-что вернувшийся из-за границы, пустил в своем кружке язвительные стишки, озаглавленные им как «Выдержки из путевых заметок»:

По чугунным рельсам
Едет поезд длинный:
Не свернет ни разу
С колеи рутинной.

Часом в час рассчитан
Путь его помыльно...
Воля моя, воля!
Как ты здесь бессильна!

То ли дело с тройкой!
Мчусь, куда хочу я,
Без нужды, без цели,
Землю полосую.

Не хочу я прямо —
Забирай налево,
По лугам направо,
Взад через посевы,

Но увя! Уж скоро
Мертвая машина
Стянет и раздолье
Руси-исполина.

Сыплют иностранцы
Русские миллионы,
Чтобы русской воле
Положить препоны.

Но не поддадимся
Мы слепой рутине:
Мы дадим дух жизни
И самой машине.

Не пойдет наш поезд,
Как идет немецкий:
То соскочит с рельсов
С силой молодецкой.

То обвалит насыпь,
То мосток продавит,
То на встречный поезд
Ухарски направит.

То пойдет потише,
Опоздает вволю,
За мятежь станет
Суток трое в поле.

А иной раз просто
Часика четыре
Подождет особу,
Сильную в сем мире.

Да, я верю твердо:
Мертвая машина
Произвол не свяжет
Руси-исполина.

Верю: все машины
С русской природой
Сами оживятся
Духом и свободой.

Стишки пошли по рукам, из литературных кружков просочились в коммерческие сферы, либеральные ораторы цитировали их на клубных обедах, и все тот же сорокалетний инженер, усмотрев в них такую же взрывчатую силу, что и в своей знаменитой табличке, представил высокому начальству копию добролюбовской поэзии.

— Н-да... — сказала начальство, шелкая крышкой золотой табакерки. — Крепко пронимает, ракалия. — И троекратное сановное чиханье потрясло особу, взвизгившую на инженера увлажненными рачьими глазами. — Всеконечно, пора и нам, тово...

Так возникло в Петербурге из сева-стопольских развалин Главное общество российских железных дорог. Правительство Российской империи широковещательно обращалось «к частной инициативе, к патриотическим чувствам всех финансовых и промышленных деятелей». Проще говоря, отечественные капиталисты приглашались тряхнуть мощной ради железнодорожного строительства, без которого, оказывается, воевать теперь нельзя. Акции раскупались быстро, но никто, казалось, не замечал, что главными патриотами Российской империи оказывались почему-то не отечественные, а французские капиталисты: во главе акционеров общества очутились они, у руководства постройки — их привозные инженеры. Франция, только-что всеми силами помогавшая поражению царизма в Крымской войне, теперь выступала как главная помощница его укрепления. И наградой за такое рыцарство французские банкиры хотели иметь самые пустяки: «некоторую льготность условий».

Посредник нашелся.

Тот же безвестный сорокалетний инженер стал сорока двух лет директором правления, вкрадчивым и всемогущим

воротилой громадного предприятия. Он имел уже два собственных дома на Каменноостровском, одышку, великолепных рысаков на бегах и суставный ревматизм, перекупил у какого-то великого князя — за акции, конечно, — виллу на крымском берегу.

Все рождалось, как Афродита из пены, — вчерашний день инженера был забыт всеми, кроме него самого.

Жонглируя цифрами, как фокусник шарами, ссылаясь на заграничный опыт и «беспримечную, непосильную для любого частного капитала» медленность оборота средств, вложенных в железнодорожное строительство, он выжал из казны правительственную гарантию пятипроцентного дохода на весь акционерный капитал, и за один этот день слава его переросла заставы столицы. Из всех городов потекли к нему деньги, предложения, просьбы, — его дело стало золотым дном, почетной и верной наживой без риска. Строительная горячка вспыхнула в атмосфере легализованного грабежа казны, как пожар в здании, полном премучего газа. Кулцы и графы, генералы и просто жулики наперебой хватили подряды на постройку линий, заводя дружбу с всесильным директором Главного общества.

Спрос на инженеров и техников за один год поднялся небывало, и Гесс неожиданно и сразу почувствовал себя громадной силой.

Старших сыновей он уже устроил в путевский институт, третий — Арнольд — готовился туда же. Младшего, Роберта, Гесс с детства возил по постройкам, — это был любимец отца, темноглазый бледный мальчишка, бойкий на язык, с болезненно развитым воображением. В девять лет он уже знал, что такое насыпь и балласт, какие бывают мосты и почему рельсы надо класть на шпалы, а не прямо на землю; но тут случай едва не погубил в нем будущего инженера. Осенью ехал он с отцом в вагоне, — Гесс возвращался с осмотра новой ветки. Против них сидел господин лет сорока с небольшим, одетый по-барски и говоривший шопотом, словно от застарелой простуды. Роберт стоял у окна в нарядном кучер-

ском армячке (отец культивировал в семье все русское) и весело разглядывал несущееся мимо багряное великолепие осенних лесов. Был ясный холодный день. Желтые листья, не успевшие еще поблекнуть, лежали под деревьями свежим и пышным ковром. Покой растилался кругом. За ночь, очевидно, подморозило — на речке, скользящей под мостом, лежал неокрепший ледок, похожий на тающий сахар.

Поезд загрохотал по мосту, Роберту на минуту стало страшно, но вагон уже опять несся между оголенных рощ.

— Папаша, а кто строил эту дорогу? — неожиданно спросил Роберт.

— Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька, — проговорил отец, не отрываясь от газеты.

Господин с пропавшим голосом в это время тоже смотрел в окно. Бледное носатое лицо его было задумчиво, облысевший высокий лоб бороздила морщина. Разговор отца с сыном так явно и странно подействовал на него, что даже мальчик заметил это. Господин порывисто расстегнул пальто, точно ему стало душно, и глаза его сверкнули на газету, закрывавшую Гесса. Он нервно погладил вислые усы и зажевал губами, так что борода его — кустистая и редкая — задрожала над высоко повязанным пестрым галстуком. Увидев любопытный взгляд Роберта, он поманил его сухим пальцем и зашептал:

— Эту дорогу, душенька, строили тысячи голодных мужиков... Вот мы с тобой едем, а по бокам-то вдоль насыпи — всё их могилки... Лихорадка их мучила. Тут ведь болото...

Отец дремал за газетой. Роберт испуганно смотрел на шепчущего господина, и то, что слышал, было так жестоко и страшно, и усталые глаза бледного господина так печально и ласково смотрели на него, что эту встречу Роберт запомнил на всю жизнь. Долго потом железные дороги казались ему бесконечными кладбищами. Он стал совсем по-другому смотреть на отца, чуждался братьев, только и говоривших, что о постройках, — и никто не знал, что этот темноглазый подросток, окруженный атмосферой преуспевающе-

го высшего путейства, одиноко мучается над тягостным вопросом:

«Итти или не итти ему в инженеры»...

Он не знал, кто говорил с ним тогда в вагоне, он помнил только лицо этого странного человека... Но ровно через десять лет, уже поступив в путейский институт, он услышал на студенческой вечеринке потрясающие стихи знаменитого народного поэта. Они назывались «Железная дорога», читал их молодой профессор, вскоре высланный из столицы за неблагонадежность, и первых же слов у Роберта захватило дыхание.

... Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские...
Сколько их? Ваничка, знаешь ли ты!

Роберт побледнел и вытянул шею к эстраде. Что это такое? Это — его слова, того бледного господина с редкой бородой...

... Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролись с голодом,
Мерзли и мокли, болели цынгой...

Протиснувшись вперед, Роберт, не мигая, смотрел на профессора. Звучный молодой голос все выше поднимался в зале, скорбь и ненависть звенели в нем, студенты и девушки замерли на стульях...

Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять...
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать...

Высокая девушка у окна громко заплакала. Кто-то усиленно сморкался сзади Роберта, он сам слушал, как в тумане, потом вместе со всеми бешено аплодировал чтецу и, пробравшись к профессору, жал ему тонкие пальцы и лепетал бессвязно:

— Это он... вы не поверите, какое счастье!... Я помню все... я знаю, это он сам...

И, всматриваясь в портрет поэта, уже много раз виденный раньше, он опять и опять перелистывал книгу, только-что вышедшую, еще пахнущую типографской краской, и громко изу-

млялся, как это до сих пор не пришло ему в голову, что это лицо, и нос, и глаза, и облысевший лоб, и борода, — всё это то самое, как тогда в вагоне... И разговор Роберта с отцом точно передан в эпиграфе, только Роберт назван Ваней, а отец — генералом в пальто на красной подкладке...

Он купил книгу и хранил ее, как святыню, и поэт стал любимым поэтом Роберта. Никому в семье не говорил он о своих тайных мыслях, но старый инженер Гесс все чаще замечал странности младшего сына и все собирался присмотреться к нему поближе и поговорить, но всегда было некогда.

Дело Гесса росло. Газеты, акционеры и министры на все лады восхваляли его. Он не замечал времени, а оно несло его быстрее самого скорого поезда, — к новым предприятиям, дивидендам и славе...

За десять лет железнодорожная сеть страны выросла вчетверо, а к концу следующего десятилетия — в двадцать раз. Инженер давно оставил министерство — министры и сановники сами были теперь его акционерами. Общество протягивало пути из недр страны к центрам, от центров — к морям, хлебные потоки широко потекли в южные порты империи, и Черное море принимало уже не трупы севастопольских солдат, но мешки с золотистой экспортной пшеницей.

Инженер облысел и обрюзг. Он сам был теперь капиталистом, по месяцам жила за границей и мог спокойно умирать от своей астмы; но широкой спине его было тесно в директорском глубоком кресле. Он носился из края в край, сколачивая новые компании, зачиная новые и новые стройки, и сам не знал теперь, что сильнее мотало его — азарт наживы или творческий созидательный размах. Закисший было в срок лет в департаментской пыли, он к шестидесяти вспомнил свои юношеские восторги и больше всего любил неожиданно выехать на постройку новой линии, куда-нибудь в степь или лесную глухомань, и радостно дышать бодрящим и вольным воздухом работ. Среди десятников, землекопов и молодых тех-

ников он вспоминал и свои молодые годы, и свежий ветер, обнося его запахами взрытой земли и порубленных деревьев, стуками лопат и топоров рождал новые замыслы в его крутолобой лысой голове.

Уже совсем больной, переживая каждый припадок удушья в одинокой борьбе со смертью, он оживлялся и молодедел, говоря о своих стройках; и все, кто окружал и любил его, вместе с ним жили этим романтическим культом войны с природой, с ее пространствами, с лесами, реками и степями, — и тем красивее, поэтичнее, благороднее и увлекательнее разрастался этот культ, чем больше и пышнее разрасталась роскошь и все удобства жизни, которые создавала родственникам умирающего инженера эта его борьба. На дочерях его с радостью женились крупнейшие железнодорожные акционеры. Трое сыновей уже были путейцами-построечниками, и когда четвертый — Роберт — кончал тот же институт, два события встретили его на пороге самостоятельной деятельности: Россия начала войну с Турцией, и отца разбил паралич.

Нервный и впечатлительный, как все последыши в больших семьях, Роберт Гесс принял оба эти события в какой-то тайной и сложной связи, и впоследствии не раз начинало ему казаться, что был он тогда не так уж далеко от правды.

Первые же месяцы русско-турецкой войны обнажили опять перед всем миром застарелую язву империи — ее железнодорожный транспорт.

Опять!

Ужели напрасны были все усилия последних лет — и в строительстве, и в эксплуатации?

Ужели без пользы оказалась и стройжайшая реформа всего высшего путейского управления — на военный манер?

Ведь существует уже специальный «корпус инженеров путей сообщения», ведь уже носят все эти инженеры обязательный военный мундир! Ведь один за другим назначались в министры путей сообщения самые brave генералы всех рангов и родов оружия — то генерал-инженер Мельников, то генерал-

лейтенант Паукер, то генерал из бывших адмиралов Посьет, то генерал свиты его величества граф Владимир Бобринский! А давно ли другой граф Бобринский, Алексей, тоже попавший в министры путей сообщения и осмелившийся не в военной форме встретить императора Александра на Варшавском вокзале, был тут же отправлен царем на гауптвахту, невзирая на министерский сан, и, подав потом в отставку, должен был навсегда уехать в деревню!

Ужели всё еще нет у России хороших, настоящих, европейских железных дорог?

Но теперь беда была не в том, что железных дорог не было: они были, но работали отчаянно плохо.

Паровозы десятками выбывали из строя, вагоны с перегоревшими буксами, с неисправными осями отцеплялись от поездов чуть не на каждой станции, и кладбища их вырастали на всех железнодорожных узлах, загромаждая и без того коротенькие запасные пути. Военские перевозки задерживались катастрофически: на всем протяжении от Москвы до юга возникали гибельные «пробки», — эшелоны с войсками и снаряжением, как мертвые удавы, растягивались на путях. Тогда к театру войны стали гнать поезд за поездом, без выжидания на перегонах, даже без semaфорной сигнализации, и в довершение всего участились крушения.

Впрочем, к крушениям, как и ко всяким вообще происшествиям на железных дорогах, в России успели привыкнуть и до войны; только полагалось «по мере возможности» молчать о них — и чиновникам, и газетам. Втихомолку сошел даже случай на станции Жмеринка, куда вместо ожидавшегося царского поезда царь со всей свитой припелся лешком, по шпалам: поезд сошел в пути с рельсов, и даже известить об этом станцию способа не нашлось. В другой раз царя и вовсе забыли на станции Бирзула, во время его поездки в Крым по Одесской дороге (линии на Севастополь все еще не было). На этой остановке всероссийскому самодержцу вздумалось выйти погулять

не с той стороны вагона, с которой полагалось ему гулять по церемониалу; но церемониал великолепно провели и без царской особы, в рассуждении, что его величество почивает, а надобности в общении его с верноподданным населением на данной станции как будто не предусмотрено. Обычных же пассажиров, именуемых «публикой», к царскому поезду, разумеется, не подпускали, и вскоре поезд ушел дальше, независимо от общего расписания, оставив царскую особу в толпе этих самых пассажиров. Только уже в пути свита хватилась обожаемого монарха, и поезд спешно полетел назад, на станцию Бирзула.

Роберт фон-Гесс, пылкий студент-путеец, шумно негодовал в тесном кружке товарищей. Он готовился уже стать инженером, он успел полюбить свое будущее дело, и транспортный хаос в стране бесил его. Он метал громы и молнии против железнодорожных заправил, плевавших на все, кроме прибылей на акционерный капитал, с цинической бессмысленностью гарантированных правительством при любом состоянии железных дорог; он едко высмеивал министров, бессильных даже понять что-либо в путанице рельсовых путей страны, управляемых десятками самостоятельных акционерных компаний, в непрерывной тарифной войне и взаимных надувательствах; он возмущался, наконец, рабской угодливостью газет, трусливо скрывавших по указке сверху всякое крупное безобразие на железных дорогах.

Но перед самой войной, в последний год студенчества Роберта, прогремело на самой глухой дороге событие, которого даже в грохоте всероссийской транспортной разрухи никому не удалось скрыть.

На границе Подольской и Херсонской губерний, к высокой насыпи над оврагом Тилигул шел в декабрьскую метель длинный темный поезд. Жестяные чайники и деревенские песни звенели в обмерзлых вагонах, темнота свистела ветром в щелях, ледяным ветром бьюжной зимы. В вагонах мерзли и жались друг к другу хмурые крестьян-

ские парни; в поезде ехали молодые солдаты-новобранцы из Балты в Одессу. Они ехали служить царю и отечеству, они пели тоскливые песни с веселыми словами, они тряслись и раскачивались в темноте, стараясь согреть друг друга боками, и губы их деревенели от холода, как пальцы в сапогах, потому что давно уже кончился в вагонах кипяток.

«Щей бы...» — думали самые смелые и дерзкие.

«Покурить бы...» — мечтали другие.

А один из тех, которые не были ни мечтателями, ни смельчаками, тихо сказал вслух:

— Костер бы развести...

В темноте кто-то хмыкнул угрюмо. Из другого угла простуженный голос ответил:

— Погоди, парень. Службу узнаешь, и так жарко будет...

Начинался день. Поезд пошел быстрее. Он шел высоко, он качался уже над тилигульской насыпью, и овраг внизу смутно белел сугробами вокруг редких кустов. Впереди, в конце насыпи, происходил ремонт пути. Это был совсем небольшой ремонт, о каких дорожный мастер по инструкции начальства даже не обязан был предупреждать соседние станции. Дорожный мастер был опытный служака: он знал хорошо, что именно так сказано в инструкции и что обязан он только обставить место ремонта красными огнями или красными флагами. Лопнул всего один рельс, надо было сменить его, и дорожный мастер, приведя рабочих, снял рельс. Но тут началась метель. Вьюга помешала мастеру: он пошел с рабочими погреться чайком и куревом в ближайшую сторожевую будку и не поставил на пути ни фонарей, ни флагов. Может быть, он забыл. Может быть, он считал, что по инструкции для фонарей уже слишком светло, а для флагов еще слишком темно.

Поезд шел по насыпи все быстрее. И в качающейся рассветной мути вагона заочневший молодой новобранец, мечтавший о костре, увидел лицо того, кто отвечал ему: в углу сидел старый солдат-конвоир, один из тех, кто сопровождал новобранцев до города. У солда-

та было усатое, равнодушное, каменно-серое лицо, и парень даже не поверил себе, что солдат действительно разговаривал с ним. Он посмотрел робко на его мохнатую папаху, на морщинистые щеки солдата и открыл рот. Он хотел спросить, почему же бывает человеку горячо на солдатской службе, и разве это хуже, когда горячо, чем когда вот такая стужа, как в этом вагоне. Он открыл рот и кашлянул робко, прикрыв оковчелыми пальцами беззую верхнюю губу. И тут затрещало, зазвенело стеклами и встал на дыбы вагон, и парень ударился губой в железную скобу на потолке.

Он открыл глаза, когда весь поезд был уже в овраге, под насыпью. Дико были, стонали люди, обломки вагонов громоздились над мертвыми и еще живыми, и над всем свистала метель, и снег летел к небу, как дым. Новобранец хотел вздохнуть и не мог. Он лежал под горой из торчащего железа и дерева, и вдруг увидел, что эта гора — костер. Огненные языки металась повсюду, трещали доски, шипел снег. По дну оврага, под самой тилигульской насыпью была каменная «труба» — для стока весенних и дождевых вод. Поезд горел, и ветер сильно и быстро раздувал огонь в трубе, как в топке камина. Новобранцу вдруг обожгло бок, он закричал и зашевелился под обломками и, вертя головой, увидел, что и справа и слева вместе с деревом горят люди и куски людей. Прямо над ним запылала мохнатая папаху и свалилась, пылая, ему на грудь. Он задохнулся от жара и увидел последним взглядом лицо солдата, с которого упала папаху. Это был тот самый солдат-конвоир, говоривший ночью про жаркую солдатскую службу. Все также равнодушно было каменно-серое мертвое лицо солдата, и усы его, жесткие и густые, горели, потрескивая, едко воняя паленым. Новобранец дернулся весь от страшного ожога в лицо. Он завыл протяжно и тонко, оттого, что не мог умереть. Он еще горел, но уже не видел ничего. Он был слеп.

Когда на место крушения приехали начальники-инженеры, почти весь поезд сгорел до тла. Кроме нескольких уни-

равших, только пепел остался от новобранцев. Даже самые робкие из российских газет требовали беспощадного суда над дорожным мастером и его начальниками. Мастер скрылся, а начальникам присудили по четыре месяца тюрьмы заочно, потому что начальники не захотели явиться в суд. Но тут началось война, и начальники, как люди, незаменимые для перевозки солдат, были освобождены от наказания.

В самом начале войны Роберт Гесс получил диплом инженера путей сообщения и в конце сентября поехал на крымское побережье — к отцу.

Стояли небывало ранние холода. Из окна купэ, забрызганного осенним дождем, восемь суток — вместо четырех — с отвращением смотрел он на суматошную разруху движения, и всюду, когда поезд застревал на долгие часы перед какою-нибудь узловым станцией, неотвратимо лезли ему в глаза бесконечные хвосты грязных, обшарпанных, щелястых вагонов, и грязные угрюмые солдаты в разноцветных мундирах дружно и стройно пели захватские похабные песни, тесно сидя на соломе, на барабанах, привязывая пустыми манерками и щелкая вшей. Пронзительный ветер подсвистывал песне, солдаты плотней прижимались друг к другу и, широко разевав оружие рты, смотрели на пассажирский поезд пустыми далекими глазами. Другие бродили по шпалам, угрюмые, издали сторонясь от редко мелькавших офицерских шинелей.

На степном разезде, среди голой кочкастой равнины, поезд Роберта обогнал полуроту сапер. Солдаты, очевидно, отстали от своей части вместе с тремя вагонами, поломавшимися в пути. Под мокрым колючим ветром, с посиравшими руками и носами, они топтались в слякоти у вагонов, лазили под колеса, ползали на коленях около букс. Они пытались сами починить вагоны, хотя инструментов не было видно почти ни у кого, и тот, который работал прямо перед окном Роберта, все старался отвернуть гайку рукоятью старинного штыка. Штык скользил и срывался, рукоять пристывала к пальцам,

солдат совал ее подмышку и яростно дышал на руки, и щетинистые усы его колюче тыкались в изыбшую темную ладонь. Ветер бил в стену вагона, хлестал саперу в глаза. Защищаясь, он поворотился к ветру спиной и увидел через стекло Роберта, смотревшего на него. Волчий косой взгляд обжег инженера, он едва удержался, чтобы не отвернуться, — с такой открытой вызывающей ненавистью ощупывали глаза сапера его лицо и новенький форменный сюртук.

В этот момент пассажирский поезд тронулся. Инженер передохнул освобожденно. Сам не зная почему, он усмехнулся чуть заметно бледными губами, и судорога бесильной злобы перекосила скулы сапера. Солдат сжал кулаки, штык выпал у него из подмышки, и, пока он нагибался за ним, поезд пошел быстрее. Тогда, взмахнув штыком, сапер кинулся за уходящим окном и злобно прокричал что-то, и звук его голоса — лающий и зловеющий — и оскаленный усатый рот на всю жизнь остались в памяти Роберта.

Раздраженный бессонной тряской, весь натянувшийся внутренне, он добрался, наконец, до крымской дачи отца. Поднимался к отцу по мраморной лесенке, — вокруг были зелень и сияние, пирамидальные кипарисы сторожили покой полумертвого миллионера, и каждый из них, разукрашенный пышными, словно полированными шишками, был в свою очередь охраняем узорной металлической оградой, отдельной для каждого дерева. Старик полулежал в лонгшезе, мозаичные плиты веранды источали прозрачную теплоту, и сверкающее море искрилось и шумело внизу. Старый инженер поправлялся плохо: речь только недавно вернулась к нему, но рука и нога окаменели безнадежно, и сам он знал это лучше врачей и семьи.

— Ку-да... — внятно сказал он сыну после первых объятий.

И Роберт понял. Все его старшие братья, благоговей перед легендарной карьерой отца, неизменно отказывались от казенной службы и уходили в акционерные общества, где одна фамилия

Гессов открывала перед ними все двери и сердца. Один Роберт колебался, весь последний год раздражая этим старика: он застал в институте уже новые веяния, молодые профессора все настойчивее внедряли среди путейского студенчества идеи полного огосударствления железных дорог.

Усталый с дороги, Роберт хотел уклониться от прямого ответа. Но старик, не мигая, смотрел на него стеклянными глазами, и сын сказал неохотно:

— Я думаю, папа, надо же кому-нибудь из нас быть и на правительственной службе...

Старик ерзнул по одеялу здоровой рукой, свежее выбритый рот его нетерпеливо задергался.

— Го-го-сударсу... не лак-кеев надо, — выговорил он. Роберт пожал плечами. Он слышал от отца уже не раз, что департамент обезличивает инженеров, выдвигает знатных балбесов, что чины и ордена, это — нелепые побрякушки для слабоумных, а частная акционерная компания обеспечивает продвижение только действительно дельному и способному инженеру. При этом отец всегда ставил в пример себя и с неукротимой ненавистью вспоминал свои молодые годы, бессмысленно затертые ржавой департаментской машиной.

Все это Роберт знал и многое считал верным. Ему, сыну разночинца, никак не щекотала нервы пышность бюрократической иерархии: но не чины тянули его, а прирожденная любовь к порядку, к стройности, к организованной связанности всех элементов работы. Он понимал страсть отца к широким масштабам, и сам мечтал о них, но разве не было необходимостью — именно ради огромных перспектив будущего — соединить, связать воедино все эти разобщенные линии, узлы, ветки? Ведь это же факт, что при передаче друг другу грузов на конечных станциях компании обмениваются чуть ли не таможенными формальностями, и грузы спотыкаются в пути об эти перегородки, как бревна на речных перекатах...

— Я не собираюсь быть лакеем, — угрюмо сказал Роберт. — Но так боль-

ше нельзя. Нестерпимо даже смотреть на этот... — он чуть не сказал «развал», но удержался.. — На эти порядки, а не только способствовать им.

— Где... — хрипнул старик едва слышно. Он качнулся в лонгшезе, приподнимаясь на локоть здоровой руки, и сердито отмахнулся от помощи сына. — Где?.. Кто?

Роберт видел всё, но уже не мог остановиться. Весь позор пережитого за эти восемь дней дороги встал перед ним, он побледнел и сказал упрямо:

— На наших дорогах — хаос, папа. Если бы ты не заболел, ты сам сказал бы это..

Их прервали мать, сестра и два старших брата с женами, проводившие здесь свои отпуска. Плотные фигуры братьев, их громкие самодовольные голоса и нарядные жены еще больше ожесточили Роберта.

Он односложно отвечал на вопросы и шутки, без улыбки принимал поздравления с дипломом и окончательно разошелся, когда толстый лакей принес на подносе бокалы с шампанским.

«Пир во время чумы»...

— За карьеру нового инженера! — возгласил пышноусый Арнольд.

— За карьеру России, — криво улыбнулся Роберт, чокаясь с ним.

— Bravo, Роберт! — зааплодировали женщины. Братья переглянулись. Жена Арнольда, полнеющая блондинка, с интересом осмотрела бледного темноглазого юношу в форменном сюртуке:

— Вы про войну, Роберт, да? О, я так с вами согласна!..

— Если так, — усмехнулся Арнольд, раздувая усы, — почему бы тебе не снять инженерское облачение, которое, кстати, тебе очень идет, и прямо из института не отправиться серым героем в дунайскую действующую армию?

— Ах, как этот ваш... студент с глазами Иисуса, — вставила жена Арнольда.

Роберт вскинул на нее строгие глаза. — Да, Всеволод Гаршин поступил именно так. И я горжусь тем, что он считает меня одним из своих друзей.

Только крупные люди способны ставить интересы родины выше своих личных интересов.

— Не дерзи, мальчик, — спокойно проговорил Арнольд, садясь рядом с лонгшезом отца. — Твой Гаршин — просто ипохондрик. У него и отец почти сумасшедший — какую-то канатную железную дорогу изобретал... Ты помнишь, папа, этого умницу-студентика, который ходил к Роберту прошлой зимой? Ну вот, он бросил университет и уехал добровольцем..

— Просто испугался экзаменов, — опять поддержала его жена. — Это все говорят, и с его же слов, он сам говорил перед отъездом..

Роберт круто повернулся и вышел, дрожа губами от гнева. Как они смеют!

Он бродил по парку, щелкая тросточкой по лаврам и пальмам, сидел на камнях у водопада под пахучими ветками глицинии, — и опять вставали перед ним забитые станции и раз'езды, кладбища паровозов и неподвижные вереницы вагонов с орущими солдатами, и тот усатый, со штыком... Страна, его родная страна лежала в параличе, с застывшими венами, закупоренными артериями — в таком же параличе, как и этот упрямый, родной полумертвый старик, который создал, построил, вызвал к жизни все это, порождая в азарте созидания всеобщую жажду наживы, преступную спешку строителей, хищническую эксплуатацию хозяйства и хаос-хаос, хаос...

Только раз еще удалось ему переговорить наедине с отцом, и этот последний разговор навсегда размежевал их. Роберт прямо и честно изложил свои взгляды, передал с беспощадной точностью и разговоры в институте и свои дорожные впечатления.

— Ты много сделал, папа, — говорил он прерывающимся голосом, прижимая руки к инженерскому значку на сюртуке. — Я знаю это не хуже всех, и глубоко уважаю тебя, как инженера и смелого человека. Но если бы ты видел, в каком сейчас состоянии все эти дороги! Разрушается даже то, что есть, а сколько еще надо сделать! Ведь мы

еще отстаем, безнадежно отстаем от Европы...

При упоминании о Европе гневная складка на лбу старика разгладилась. Он остановил рукой сына и сказал внятно:

— Роберт, пегух ты... индейский. Мы идем хорошо. Очень хорошо. Запомни мои слова. Через два года, когда... закончатся и будут приняты в эксплуатацию все стройки, начатые еще при мне... тогда наша сеть составит... шесть процентов всей сети... земного шара. Когда я начинал... у нас был с...один... процент.

И он довольными, прощающими глазами сощурился на сына, и это заостреннее благодушье окончательно разрушило веру Роберта в политическую мудрость отца.

Шесть процентов!!

Ему было тесно дышать, инженерский сюртук давил подмышками, невыразимо хотелось сказать отцу:

— При тебе Англия и Франция были нас в Севастополе, при тебе они бьют нас сейчас под видом защиты туннелов, и ты спокойно смотришь на это, и строишь дороги, и не видишь, как бьют тебя и тут, на твоём собственном деле! Скажи, старик, окошко русских железнодорожных акций лежит в Париже и Лондоне? Скажи, сколько они настроили дорог у себя — на наши деньги, на даровые доходы, обеспеченные тобой?

Но он не сказал ничего, почтительно простился с отцом и уехал обратно, разделив в сердце семью на две половины: там — отец и Арнольд, и оба средних брата; здесь — он один.

Вернувшись в столицу, он поступил в министерство. А через год после позорного мира с Турцией в железнодорожных кругах с тревогой заговорили о дерзком докладе, составленном в департаменте путей сообщения.

Доклад со скандальной резкостью называл вещи своими именами. Залежи грузов на железных дорогах становятся угрожающими. Тяговое и путевое хозяйство гибнет, ремонт плох, охраны никакой. Многие дороги после войны оказались бездоходными, но капиталы

«железнодорожных королей» растут. Постройка новых дорог повсюду идет безнадзорно, сметы раздуваются до размеров открытого грабежа. Никто не думает ни о денежных перерасходах, ни о нормах заготовки материалов, — кому охота беречь и рассчитывать, когда при любом результате казна гарантирует пять процентов чистого дохода на акцию?

Поднялся шум.

Подрядчики, генералы, аферисты, сенаторы, откупщики, крупнейшие помещики и еще более крупные карточные шулера, епископы, великосветские проститутки, великие князья и купцы, — все акционеры железных дорог объявили войну дерзким департаментским социальным деятелям.

Борьба затянулась на долгие месяцы. Но кучка никому неизвестных людей стойко держалась на своей вызывающей позиции. Они апеллировали к государственности, к порядку, к идее правительственного господства над всероссийским железнодорожным хаосом, — и зачинщик этой атаки не подозревал даже, до какой степени доклад «попал в точку»: трезвый хозяйственный взгляд, вооруженный технической мыслью, осветил неожиданно одну из сторон мрачной действительности, и правящие «верхи», обозрев картину через увеличительные стекла жандармской политики, решили:

«Да, здесь, именно здесь — опасность».

Время на этом фронте было, действительно, горячее. Еще не успело забыться прошлогоднее гартмановское покушение на царский поезд под Москвой, как раскрылся хладнокровнейший минированный подкоп под полотно железной дороги у Александровока, перед осенним проездом царя из Ливадии. Одно за другим гремели под носом у охранников подозрительные и явно террористические крушения. На съезде представителей железных дорог оказался секретарем Всеволод Гаршин, известный герой турецкой войны, еще более прославившийся протестом против казни революционера, покушавшегося на графа Лорис-Меликова. И где-

то в тихой квартирке у петербургского Вознесенского моста бывший студент института путей сообщения уже готовил свои смертоносные снаряды по приговору «Народной воли» для царя. Было от чего беспокоиться о железных дорогах!

Наступивший в такой атмосфере новый — тысяча восемьсот восемьдесят первый — год раскрыл наконец карты: египетский министр финансов стоял за дерзкою кучкой прожектеров. Глухой к шуму и ропоту «кругов», как водолаз к трохоту прибоя, он внес в комитет министров новый законопроект. Самые ярые защитники железнодорожных обществ не могли усмотреть в нем намека на дерзости, которыми был переполнен тот злополучный доклад. Но были в законопроекте вразумительные и мягкие слова:

«Неизбежно еще раз сделать опыт постройки железных дорог за счет казны».

И когда комитет министров одобрил предложенное, и с необычной быстротой было проведено утверждение законопроекта царем, Роберт Гесс, до сих пор незаметный и скромный, но уже правая рука директора департамента, сказал с заблестевшими глазами:

— Господа, для железных дорог России открывается новая эра.

Это случилось на частной путевой гечеринке, собралась почти исключительно инженерная молодежь, товарищи Роберта по выпуску, но через неделю в «кругах» уже знали, кто — автор законопроекта. Те же самые акционеры наперерыв устроивали знакомство с ним, на его холостую квартиру посыпались визитные карточки, письма, телеграммы, и одна из них за подписью «Арнольд» сообщила кратко:

«Поздравляю победой тчк У отца был вторичный удар».

Роберт, простудившийся накануне, целую неделю не мог выехать. Но вскоре брат появился сам, любезный и оживленный, как никогда. Он смачно расцеловал Роберта, щекоча его душистыми усами, тонко льстил мимолетными похвалами и очень интересовался перспективами, которые намечались по цен-

трализации железнодорожного строительства. Он брал за последние годы самые крупные подряды на постройку новых линий, богател также быстро, как в свое время отец, и сдавал участки и ветки в эксплуатацию так ловко, помпезно и гладко, что имена его и отца повторялись среди промышленников и акционеров рядом, как некая династия строителей.

Мимоходом он справился, верно ли, что Роберту сооватали очаровательную девушку, племянницу директора департамента. Узнав, что правда, опять пригласился поздравлять, и с таким жаром, словно сам устраивал этот брак. На вопрос об отце он ответил небрежно:

— Да, подкосил-таки ты старика... Ну-ну, я шучу. В его положении это сбычный ход болезни. Во всяком случае, долго он не протянет. Между прочим, видеть тебя он пока действительно не желает...

Оказалось, что он уже привез от отца просьбу об отставке в Главное общество российских железных дорог. Роберт поморщился.

— Что же... ты собираешься на его место?

— О, только не туда, — благодушно посмеялся Арнольд. — Вы же, голубчики, там, поди, камня на камне не оставите? Вы ведь теперь хозяева, казна!! А я — практик, Роберт родной, только практик, мне бы подрядик поразмашистей, это бы так... Кстати, как теперь будет с подрядами? Торги-то вы отменяете или как?

Он рокотал баритоном, и брелоки качались на его толстой часовой цепочке, и пухлые отцовские пальцы шевелились на столе, на портфеле, на коленке Роберта, хватко цепляя и задерживая все вокруг.

Целый месяц братья встречались после этого в деловом мире. На банкетах промышленников, на собраниях акционеров, в совещании железнодорожных деятелей при департаменте Роберт пламенно выступал за огосударствление дальнейшего строительства. Арнольд велеречиво и мягко призывал к осторожности, возлагал все надежды на «мудрое использование правительством жи-

вых хозяйственных сил родины». Вокруг распространялась сенсация — борьба братьев, как столкновение двух эпох: династия Гессов обогащалась третьим именем.

Наконец, последовало указующее решение. Крупнейшие подряды принимала на себя казна, в остальном объявлялась прежняя свобода частному строительству, но под обязательным государственным контролем.

Новое течение шумно праздновало победу. Арнольд публично поздравил брата, назвав его «Мишиным железнодорожного дела», и Роберт в тот вечер утомленно и счастливо сказал невесте:

— Теперь, Наточка, мы, кажется, в самом деле будем строить дороги, а не собственные дома и поместья по сметам дорог.

Он верил всем сердцем в то, что говорил, и от переполненности счастьем, и гордостью, и сознанием честно исполненного долга попросил у патрона и будущего родственника недельный отпуск. Он привел в порядок дела, представил смету и список важнейших назначений на первое большое казенное строительство, открывшееся в этом же году, и уехал в Петергоф на дачу к невесте, веселый, скрыленный мечтами о будущем.

Они катались на лодке, читали стихи. Наточка пела жениху модные романсы и так прижималась к нему в темноте сада, что гибкие косточки корсета похрустывали под тугим платьем, и девичья грудь податливо выгибалась из корсажного плена под трепетными ладонями Роберта.

Он вернулся в Петербург, как в тумане. Туман и в самом деле встретил его с утра на Невском — ранний августовский от внезапного похолодания туман. В департаменте все было в порядке. Смета ждала его, уже утвержденная с особым одобрением за экономность, список назначений был также одобрен зеленым карандашом — размашистым начертанием сверху. Но кандидат на пост главного инженера строительства был решительно зачеркнут: теми же зелеными толстыми буквами на это решающее место водружался Арнольд.

Роберт побелел, сердце шибко засту-

чало и замерло. Потом зеленые буквы с беспощадной ясностью вошли в сознание, и он почувствовал, что уши у него краснеют, как у мальчишки, высмеянного старшими. Он устремился к начальству, лстыивые столоначальники ехидно смотрели ему вслед, многозначительно переглядываясь через столы. Его приняли очень не скоро, но любезно и даже ласково. Выпрямившись со списком в руках, он в смятении вслушивался в собственные слова, и сам понимал уже, как нелеп и смешон его протест, и получил ответ, исполненный благодушного изумления:

— Что вы, что вы, друг мой... Я полагал, напротив, сделать вам приятное! И притом брат ваш — отменный в сферах своих деятель...

Роберт мучился с месяц, одиноко и тайно от самых близких людей. Всю борьбу, которую он поднял и пронес на своих плечах, весь смысл важнейшего государственного начинания, казавшегося Роберту делом всей его жизни, — все это он видел теперь не так, как создавал в мечтах, а так, как было в действительности, в циническом и гнусном сбнажении. Неотвязно владело им ощущение, словно кто оскорбил и опозорил его публично, извратив и придав мерзкий смысл искреннейшему его поступку. Ему казалось, что все, против кого он боролся, считают его теперь простаком, умело использованным умными людьми, а друзья — просто наемным мистификатором, подставным лицом в чей-то чужой игре. Было мучительно похоже на то, как если бы он женился на Наточке и повез ее в Крым — показывать матери и сестрам, и вдруг оказалось бы, что у нее через три месяца будет ребенок от директора департамента — наточкиного дяди и робертова начальника. Представив себе это, Роберт скорчился от стыда и гнева и тут в смятении почувствовал, что даже и тогда он не смог бы отказаться от Наты, от ее гладкого тела, от грудного чувственного голоса и томных глаз, похожих в одно и то же время на глаза какого-то глупого животного и на глаза женщины, готовой отдаться всякому сильному и здоровому мужчине.

И когда прошли первые острые приступы этих позорных ощущений, и никто кругом, казалось, не заметил происшедшего, и он вынес официальную встречу с Арнольдом, который даже на сладость нравоучений побежденному не захотел тратить времени и говорил только по деловым вопросам постройки, — после всего этого Роберт понял, что все останется по-старому.

Как и до сих пор, будут строиться российские дороги постыдно плохо и дорого, и инженеры будут наживать состояния на постройках — все равно, государственных или частных, — и вся разница будет только в том, что львиную долю грабежа, которую на частных стройках инженеры отдавали хозяину-акционеру, здесь они будут отдавать контролерам, инспекторам и всему высшему казенному начальству.

«Буду работать», — с грустью и горечью сказал он себе. — «Буду делать, что могу»...

И ушел с головой в единственное, что осталось ему, — в технику строительства.

Борьба с отсталостью железнодорожного хозяйства, с узкокольным пренебрежением к развитию подъездных и запасных путей, борьба с кустарным полудеревенским водоснабжением, — все это стало теперь его творческим вдохновением. На другой день после свадьбы он упоенно целовал теплые плечи жены в кулэ вагона, уносившего их в Крым, и, словно стараясь заглушить беспокойные свои мысли, думал:

«Мы — техники, только техники, отдавшие свои знания на пользу государства... И все остальное — не наше дело. Нас ценят, нас любят, нами дорожат, — что еще нужно честному инженеру?»

Жизнь потекла, как у всех, по крайней мере, как у многих из среды Роберта. Через три года Ната родила ему сына, — это и был Максим, названный так в честь деда, все еще существовавшего в своем крымском дворце, вопреки предсказаниям Арнольда.

Примирившись с параличным стариком, у которого оставались теперь — кро-

ме речи — только глаза, уши и правая рука, Роберт все чаще вспоминал отцовское пророчество; не в пример братнину, оно сбывалось так блистательно, как не предполагал, вероятно, и сам старый Гесс. Арнольд и десятки подобных ему Арнольдов строили ветку за веткой, линию за линией, прокладывая рельсы везде, куда требовались они зашевелившимся расейским капиталам. Сеть росла с каждым годом, и Роберту на его административной вышке оставалась лишь борьба с разнобоям казенных и частновладельческих интересов — борьба за транзит.

Но тут-то, в последнем десятилетии века, и началось неожиданно все то, о чем Роберт фон-Гесс перестал даже мечтать.

Забывтое детище его служебной юности — идея о государственной роли железных дорог — внезапно возродилось в «сферах», как феникс из пепла.

«Все дороги — в казну!»

«Только правительство должно владеть путями сообщения!»

«Довольно насаждать железнодорожных королей!»

Таков был смысл и статей в печати и банкетных речей, встречавших назначение нового министра путей сообщения. Роберт прислушивался, не веря себе, еще не понимая, в чем дело. Было странно, почему вдруг воскресает и так явно поощряется сверху то самое «направление умов», которому еще совсем недавно так ловко и быстро заткнули рот.

«Они поняли, наконец!» — решил о правителях империи окрыленный Роберт. Он почувствовал себя опять молодым пылким инженером, опять блестящие перспективы рисовались ему — и для России, и для его собственной деятельности.

— Ну, ты опять в эмпиреях? — с тончайшей улыбочкой шутил Арнольд при первой же встрече с братом. — Ну-ну... Qui vivra — verra..., как говорит мой лакей Грегуар. Что? Да поневоле, друг мой, перейдешь на французские пословицы, если русские оказываются враньем! Вот к примеру береженого-то, оказывается, не бог бережет,

и даже не корпус жандармов, а смекалистые кандидаты в министры!

Роберт поморщился. Брат намекал ему на сплетни в «сферах» о причинах выбора столь неожиданной кандидатуры нового министра. Российские пути сообщения царь поручил «какому-то Витте», еще недавно малоизвестному верхам железнодорожному дельцу. Оказалось, что этот Витте был чуть ли не единственным среди путевой администрации, который предвидел и много раз предсказывал крушение царского поезда. Не стесняясь, он в присутствии любого начальства возмущался безграмотным составлением и вождением императорских поездов, часто проходивших через его участок. Он грубил министрам и генералам в лицо, указывая, что два товарных паровоза, мчащиеся такой тяжелой состав пассажирской скоростью, варварски расшатывают путь. Однажды ему довелось высказать все это, как бы не замечая, что неподалеку стоит на платформе сам царь.

— Извините, ваше высокопревосходительство, — громко и отчетливо сказал Витте министру путей сообщения. — Извините, но я такой скоростью по такой дороге императорского поезда не пропущу. Я не хочу сломать голову его величеству.

На это ему обозленным и перепуганным министром было отвечено, что вся причина тут не в скорости и не в паровозах, а в том, что «дорога эта — жидовская, а вы — трус».

В правлении дороги, действительно, были и еврейские банкиры. Но вскоре крушение, действительно, состоялось — в Борках, около Харькова, на дороге, где хозяйничали в правлении самые храбрые из русских придворных генералов и самые православные из родовитых немецких баронов.

Безвестный Витте быстро пошел в гору в своем ведомстве. Но назначение его министром было все же совершенно неожиданным для самых дальновзорких политиканов. В «сферах» нового сановника долго не называли — за глаза конечно — иначе, как «высочкой»; но через год «высочка» был уже мини-

стром финансов, и с этой командующей в правительстве высоты повел такую атаку на транспортный хаос, какую инженер Роберт фон-Гесс уже не надеялся увидеть и во сне.

Частные постройки железных дорог прекратились почти совсем. Казна же, игнорируя крупнейших подрядчиков, начинала все новые путевые сооружения.

Как зашумели, как взъярились все-ликие «железнодорожные короли»! Сановные спекулянты из высшей царской бюрократии, как Дервиз, и черашние кабацкие откупщики вроде Кокорева; лощеные европеизированные банкиры, как Блюх, и «миллионеры из мужичья» вроде знаменитого Аникиты Губонина; разбухшие на постройках еврей-подрядчики типа Самуила Полякова, и крупнейшие инженеры квалифицированной немецкой породы, как старый фон-Мекк, — все поднялись против новой железнодорожной политики, как раньше — против проектов Роберта Гесса и его товарищей.

Но время было другое.

Огромная страна совсем задышалась от бездорожья, как тучный человек, заболевший закупоркой вен и артерий. Кровь не растекалась по всему гигантскому телу, послушная биению одного мощного сердца, а металась и лабухала в разобренных жилах парализованной кровеносной системы, словно бился в ней десяток отделившихся маленьких, беспоконных и бессильных сердец. И не в случайности царского шального выбора, и не в твердой воле нового министра был корень новой политики, а в железных законах хозяйственного развития страны. Так по крайней мере казалось Роберту, и он с радостью, с гордостью принял предложение стать ближайшим сотрудником человека, которого никто уже из родовитых придворных тупиц не смел вслух называть высочкой.

Впервые в истории России началось широкое, настойчивое огосударствление ее железных дорог. «Королей» теснили все круче: уже не только не давали им строить новых путей, — год за годом, одна за другой выкупались в казну и старые дороги. Наконец-то инженер

Роберт фон-Гесс видел победу своей идеи!

Не опять брат Арнольд, успеет ли уже пристроиться к крупнейшей из новых казенных построек, нашептывал при встречах:

— Кё фер, друг мой, кё фер! И Самсон, говорят, погиб от силы своей... Хочешь песенку послушать? Ей-ей, не я сочинил!

Оглядевшись, он мурлыкал тихонько на модный шансонетный мотивчик «Ой-ра, ой-ра»:

Сами, сами виноваты
Все путейские магнаты —
Зарвались немощно зря,
Коль... на царя!!!

И, ухмыляясь жирно, Арнольд досказывал стишками и прозой, какой, оказывается, рокамболь устроил недавно каналья Половцев — главарь всех «железнодорожных королей» империи, председатель пресловутого Главного общества российских железных дорог. Из Царского Села возвращался в столицу целый поезд гостей императора с какого-то придворного празднества. И гостям подали специальный состав вагонов... без паровоза. На глазах у всех генералов и графов, министров и великих князей Половцев со своей компанией уселся в отдельный вагон, приказал прицепить его к паровозу и укатил, оставив все пышное общество дожидаться «по расписанию». Ну, император до того взбеленился, что приказано всех этих железнодорожных царьков...

— Ах, оставь, в самом деле! — нетерпеливо обрывал брата Роберт. Он попрежнему отказывался верить, что вздорные, случайные причины могли создавать целую систему правительственных мероприятий, смысл которых так совпадал с подлинными нуждами государства.

Но время шло.

И многое, что приходилось видеть и слышать Роберту фон-Гессу, заставляло его — инженера не молодого, но все еще честного — бледнеть от стыда за чужие страны.

Еженедельно, по пятницам, были доклады царю министра финансов и мини-

стра путей сообщения. И вот, в первую же пятницу после возвращения царя-миротворца с больших военных маневров у западной границы, последовал высочайший указ о награждениях многочисленному путейскому начальству. Работа железных дорог, еще недавно вызывавшая всеобщие нарекания, теперь признавалась почти образцовой. Оказалось:

В самом конце маневров его величеству понадобилось приготовиться к встрече неожиданного гостя — германского принца Вильгельма. Принц спешно ехал на границу с официальным почетительным визитом и неофициальным, но столь же явным желанием: проследить, на всякий случай, хоть в конце за неожиданными маневрами царской армии.

Как задержать дорогого гостя?

Как не допустить его до района маневров?

Царский двор оповещает, что его величество, движимый гостеприимством и братскими чувствами к германскому венценосному дому, спешно выезжает навстречу его высочеству — к границе, в крепость Брест. Вдруг, уже в пути, обнаруживается: встреча не может состояться! Царю ведь давно уже поднесен чин офицера прусской армии, а прусский мундир остался во дворце, в Петербурге. Кто ж его знал, этого принца, с его «визитом»? В прусском же мундире — немислимо: по международному военно-дипломатическому этикету это все равно, что встретить принца нагишом.

И вот получают российские железные дороги первое, за всю свою историю, непосредственное боевое задание от верховного вождя государства:

— В сорок восемь часов доставить из Петербурга в Брест мой прусский мундир!

Столица — в волнении. Министерство — в панике. По станциям, по депо летят правительственные депеши:

— Освободить путь!

— Держать всюду наготове самые мощные паровозы!

— Предупредить строжайше всех линейных агентов, что в случае, если...

В Петербурге прямо из царской гардеробной мчат на вокзал специального фельд'егеря: при фельд'егере — бумага, при бумаге — чемодан, в чемодане — мундир, решающий — кто знает! — судьбы двух великих держав...

... Остановлены все поезда. Почтовые. Пассажирские. Даже воинские. (О товарных нечего и говорить...). Замерло все на пути. Начальники станций, дежурные, стрелочники стоят по всей линии: ждут. Машинисты, кочегары не смыкают глаз: приказано держать под парами, чтобы в один секунд...

По рельсам, как буря, мчится одинокий паровоз. Фельд'егерь мотается за спиной машиниста, осоловелый от жара, от ветра, от бессонной ночи.

Не зевай, фельд'егерь, — пересадка! Фыркая огнем и дымом, паровоз влетает на последнюю станцию перегона. Дальше! Уже ждет, уже трогается с места новый паровоз, и опять мелькают ерсты, станции, жандармы на перронах — час, два, десять, двадцать часов...

Не спи, фельд'егерь!

Человек качается, как кукла. Он вытянулся около чемодана, словно около военной святыни — полкового денежного ящика. Человек одеревенел, он мешает машинисту и кочегару, они злы, — может быть, потому, что жалеют его... Ночь. Расовет. День. Ночь. Мчится неслыханная эстафета паровозов, и только на границах тяговых участков встряхивается на минуту обалдевший человек, и машинисты торопливо передают его друг другу:

— Бумага...

— При бумаге — чемодан...

— При чемодане — унтер-офицер фельд'егерской службы...

Через сорок восемь часов его величество в Бресте облачался в свой прусский мундир. Отныне — что бы там ни писали в газетах! — правительство было спокойно за российские железные дороги.

Роберт фон-Гесс попрежнему служил в своем министерстве, быстро подвигаясь по иерархической лестнице; еще быстрее росло поставленное на новые рельсы железнодорожное строительство.

Ширился экспорт пшеницы. Росли зерновые грузопотоки, появились новые грузы, о которых в студенческие годы Роберту почти не приходилось и слышать. Руда, чугун, железо, сталь грузились в поездные составы. Не существовавшие вовсе до турецкой войны, эти грузы все явственнее выдвигались в департаментской статистике Роберта; но мощнее, стремительнее всех захватывал рельсы еще один груз, который приходилось теперь постоянно встречать во время ежегодных поездок с семьей на юг. Бесконечные хвосты открытых платформ стояли на путях, и пассажиры скорых поездов с любопытством смотрели на тусклые или блестящие черные куски и глыбы, громоздившиеся на платформах невысокими грудками. Иногда уголь шел мелкий, — зернистые холмы лежали тогда ровней, похожие на неспланированный откос железнодорожной насыпи; но Максиму, смотревшему вместе с отцом из окна купе, они совсем не нравились. Зато, разглядев на остановке хоть одну платформу с крупным углем, мальчик выскакивал из вагона и стремглав мчался туда, возвращаясь к ужасу матери с карманами, полными блестящих, пачкающих и хрупких кусков. Пристрастившийся к рисованию, а потом и к черчению, Максим упрямо и ревниво сберегал все эти кусочки до Петербурга, — там доставалось и бумаге, и одежде, и паркету, и даже стенам детской, которые отец с улыбкой приказывал только почаще белить.

В тринадцать лет это удовольствие оборвалось — и надолго. Максим заболел воспалением легких, его увезли к дедушке, и там, медленно поправляясь, он прожил почти год возле забытого всеми старика. Деду, прикованному к качалке и веранде, внук был драгоценным подарком. Он рассказывал ему жизнь мира и овою собственную, с наслаждением мешая сказки с правдой, и сам оживал в горячих мальчишеских глазах и, увлекаясь воспоминаниями, лазил его молодыми ногами по воображаемым насыпям и выемкам, по высоким виадукам, мчался на пробных паровозах по неиспытанным еще мостам

над глубокими реками. Через год, когда приехал отец, дед и внук встретили его друзьями.

— Папочка! — восторженно сказал Максим, загоревший и выросший, но еще худой, большеглазый, как отец. — Папочка, я умру, если ты непустишь меня в инженеры путей сообщения!!

Старый Гесс переглянулся с сыном. Судьба третьего поколения строительской династии была решена.

В этот вечер дед, сын и внук долго просидели втроем. Старинные куранты за камином проиграли полночь. Максим, которого гувернантка не осмеливалась увести спать, с пылающими ушами слушал медленную беседу инженеров, — и оттого, что они говорили при нем, как при взрослом, этот вечер казался ему счастливейшим в его жизни.

— Дело идет, Роберт, — медленно говорил старый Гесс. Он смотрел в окно на близкое море, на лунную дорожку, дрожавшую среди черных волн. — Дело идет... Помнишь, ты пугал меня Европой? До конца столетия осталось два года... Если я не доживу, ты увидишь сам. Никто в Европе не останется впереди нас, — это говорю тебе я.

— Да... По длине колеи... — задумчиво соглашался сын. И тонкой волосатой рукой гладил голову, лысеющую, как у всех Гессов, со лба. — Между прочим, отец... Послезавтра исполнится ровно двадцать лет моей службы в департаменте. Как это странно все-таки! Дело, на которое человек тратит себя, именно тогда начинает разрастаться, когда надвигается старость и падают силы... Вот, мне уже за сорок, а у России теперь — сорок тысяч верст рельсового пути. Но я иду к концу, а для страны это только начало...

— Ну-ну, — слабо усмехнулся старик. — Начало было давно, Роберт.

Он кивнул на стену кабинета, и Максим из своего угла, следя за глазами деда, увидел то непонятное, о чем давно собирался и не решался спросить. Лакей только-что зажег стенную лампу, пламя медленно разгоралось за матовым стеклом абажура, освещая обои мягким и ровным светом. Между лампой и камином, в небольшом квадрате

ном багете, висел пожелтевший от времени листок бумаги. Витиеватые, выцветшие буквы и цифры занимали всего четыре строчки: названия государств и таинственные цифры против них. Теперь, ярко освещенные лампой, они с каждым словом деда раскрывали перед мальчиком свой непонятный смысл. Он широко раскрыл глаза и замер на кресле, и дед, щурясь на лампу, строго сказал отцу:

— Англия — позади, Францию мы настигаем. Когда мы обгоним и немцев, ты перечеркнешь эти цифры, Роберт, и поставишь новые. Не забудь!

И Роберт не забыл.

Через четыре года, став уже директором своего департамента, он опять поехал с сыном в Крым. Был конец лета, и Максим, только-что принятый в путейский институт, жадно разглядывал на станциях новые блестящие паровозы с короткими узкими трубами, расширенные вокзалы, каменные высокие башни водокачек, строящиеся депо. Море встретило его вечным плеском и шумом; все было по-старому — и кипарисы с решетками, и глицинии над камнями у родника, и морская галька на дорожках парка, и знакомые с детства мозаичные узоры на солнечном полу веранды. Только лонгшеза не было на веранде, и хозяйское кресло в кабинете стояло пустым.

Отец и сын вошли туда вместе. Солнечный блик золотым пыльным пятном лежал на маленьком темном багете; в углах рамка рассохлась, обнажая дерево, источенное полустолетием.

— Папа, можно... я? — полушопотом спросил Максим. Он двигался, как в церкви. Паркет слабым и чутким потрескиванием отмечал его шаги.

Сняв стекло, Максим благоговейно вынул листок, пахнувший мышами и тленем.

Пальцы его дрожали. Под диктовку отца он перечеркнул и сменил забытые временем цифры:

Франция: 43.000

Германия 51.000

Англия: 35.000

Российская империя: 53.707

— Теперь — твоя очередь, — сказал сзади отец, кладя ему на плечо сухую легкую руку. — Мы с дедушкой свое сделали, Максим... В твоё время Россия, кажется, сможет воевать победоносно!

Бережно вставив обратно бумагу и стекло, они отнесли багет в дальнюю аллею парка. И садовник при них укрепил рамку над заросшей уже могилой, в специально приготовленном домике из толстого бёмского стекла.

Это было в тысяча девятьсот втором году. Уже протянулся от Челябинска до Владивостока — на все семь тысяч километров — строящийся целое десятилетие великий сибирский путь. Правда, еще далеко не закончена была постройка, но через Байкал умудрялись перевозить каждый поезд на особых парходах; правда, узок и маломощен был новый путь, но кто же из хозяев России знал тогда, что как раз по этому пути через три года потащится империя на новую войну, и опять будет бит в несчетный раз, застревая сотнями дальневосточных эшелонов на всех станциях необъятной Сибири, забивая многоверстными пробками поездов единственную дорогу на манчжурский фронт!

Вслепую, не видя даже на три года вперед, шагала по дорогам истории сермяжная царская империя.

Ее инженерам не полагалось видеть дальше, чем ее генералам, а генералам — дальше, чем царю; царь же ездил на Дальний Восток самолично, еще наследником, ездил с великой пышностью, с огромной свитой, до самого океана — на почтовых лошадях.

Как же было не гордиться двум поколениям российского путейства в то ясное крымское утро, когда их Россия оказалась на первом месте в Европе по длине железных дорог!

Директор железнодорожного департамента и студент института путей сообщения стояли перед победоносными цифрами над могилой отца и деда. Морской ветерок шевелил волосы победителей, чайки кричали торжествующе, резкими голосами призыва.

С этого часа и считала свою путейскую жизнь Максим Робертович Гесс, глав-

ный инженер строительства новой советской магистрали, встречавший сейчас у себя в квартире своего старого отца.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Эх, и звонок на зимней улице комсомольский хор!

Братишка наш Буденный,
С нами весь народ!
Приказ — голов не вешать
И смотреть вперед...

Мартовский ветер подхватывает припев: скоро, скоро весна. С подсвистом, с гиком плывет по вечерней окраине песня — старый, родной, боевой мотив. Где-то теперь бойцы, родившие эту песню, в боях вот за этот самый город покрывшие славой буденновскую конницу? Здесь, под старыми ветлами предместья, за сиреневыми палисадниками, над сплавной обмелевшей рекой, где когда-то строили Петру донской флот, — здесь три дня билась буденновцы с конными корпусами Мамонтова и Шкуро, билась и отстояли город, показав всему миру рабоче-крестьянскую кавалерию.

По тем же кривым надречным улицам, под теми же ветлами плывет опять боевая песня. Комсомольцы областного города идут с переменного сбора, и город встречает их, кончая еще до сумерек рабочий день.

С маслобоен, с паровых мельниц, с холодильников и железнодорожных мастерских люди идут по домам, и рабочий поток с двух сторон сливается с переменниками, и вот уже песню подхватывает вся улица, вспоминая свои фронтовые дни. Дружно поют переменники, строен правофланговый — рослый парень в ватной куртке.

Вечер густеет. Зажигаются фонари и витрины. Сияют киновывески, входы рабочих клубов и подезд городского театра. Девушки с маслобойни, забежав домой переодеться, гурьбой торопятся на «Евгения Онегина», среди них есть и Татьяна и Ольга, и они хохочут об этом так, что милиционер с перекрестка забывает эффектно простереть длани навстречу поющим переменникам.

Их уже мало: взвод за взводом сворачивает в переулки, к своим предприятиям и жилым корпусам. Только ребята с бойни, да с мельницы, да с холодильника еще идут в колонне. На углу, пока колонна делает шаг на месте, правофланговый зорко вглядывается в толпу на тротуаре. «Татьяна... куда это она? Неужели с Васькой?...» Он хмурится, он тверже бьет шаг, но тут же вспоминает о том, что предстоит ему самому нынче вечером, и ревность в нем тает, как дым на ветру.

Колонна выходит на проспект. Она идет мимо ярко освещенного дома Красной армии, и за блистающими стеклами вестибюля переменники видят девушек в разноцветных платьях, повзводно мажущих губы перед зеркалами.

— Сурков, это что тут нынче? — спрашивают сзади правофлангового.

— Ударницы железнодорожных мастерских, — отвечает правофланговый шагая. — Концерт для ударниц, получшеших значок «ГТО».

Он проходит в строю, не оглядываясь. Он знает, что одной ударницы тут сегодня не будет, а об остальных пусть думают другие.

Через два часа на нем уже нет ни ватной куртки, ни старых сапог, ни винтовки, ни противогаза. Нет и колонны: правофланговый Володя Сурков шагает один. На нем клетчатое кепи, московшвейское пальто «реглан», длинноносые ботинки «джимми», скрытые до самых каблуков широкими модными штанами. Володя Сурков, новый комсомольский отсекр с паровой мельницы, уже начинает понимать толк в культуре. Это тебе не район!

Сурков опять пересекает проспект — уже с другой стороны, и чугунный Петр в скверике, опираясь кулаком на якорь, с постамента указывает Володе дорогу свободной рукой. Володя Сурков усмехается Петру — он немножко выпил для храбрости: сегодня — первое в его жизни настоящее свидание, с настоящей любовью, с настоящей городской девушкой.

Как занятно, оказывается, устроена жизнь!

В феврале еще лазил по снегам в по-

ле, забивал колья для инженера Василь Василича; только кончились изыскания, райком новую мобилизацию комсомольцев объявил: «Лучшие активисты — в пищевую промышленность». Область ведь черноземная — мельничное дело, маслобойное дело надо разворачивать во-всю. «Сурков? Он—спец! На паровую мельницу, в двадцать четыре часа!» (А какой спец — в селе год на ветрянке работал, а тут ведь паровая...) Через неделю Володя — в городе на новой паровой мельнице, и еще март не кончился, а он — отсекар! Вот только учиться не дают... Ладно, он своего добьется.

Сурков идет по проспекту, насвистывая, девушки оглядываются на него. Может быть, не на него, а на «джимми», на фасонистые штаны? Ерунда. В районе в чем ходил, — все равно липли. Хотя вот Васенка... Тоже ерунда. Поработали бы вместе еще с неделю, прилипла бы покрепче, чем к тому технику. И вообще — что такое Васенка? Посмотреть бы ей на городских девушек! Татьяна с маслобойни. Татьяна — ничего, но вот эта, железнодорожница, еще лучше...

«Беленькая. Губы какие».

Отсекр Володя Сурков убыстряет шаги. Не опоздать бы...

Через полчаса они — уже вместе, в спасительной темноте кино. На экране — тоже любовь. Красивый веселый парень, страдающий за прорыв на заводе, влюбленно смотрит на девушку, которая — чужая жена. Володя Сурков чувствует свое превосходство: у него — не чужая. Он улыбается экрану, и еще теснее переплетаются его пальцы с горячими пальцами ударницы железнодорожных мастерских, пренебрегшей концертом в доме Красной армии. В полутьме близко-близко белеет круглое девичье лицо.

— Володя... А ведь я заходила на концерт.

— Зачем?

— Смотри...

Меховой воротник откинут. На светлом джемпере, над левой грудью, приколот на цепочке темный кружок — значок «ГТО».

— Милая.. — шепчет Володя, наклоняясь.

Девушка не сопротивляется. Она готова к труду и обороне, но днем она хорошо потрудилась в мастерских, а обороняться она будет когда угодно, только не сейчас...

Картина плывет на экране. Там тоже хорошо. Утро большого советского города. Набережная. Заводские трубы. Музыка лирического рассвета и двух молодых поющих голосов:

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Встает страна со славою
Навстречу дня...

Володя Сурков все ближе склоняется к значку. Но губы его прижимаются со всем не туда.

— Володя... миленький... Какая это картина? — прерывистым шопотом спрашивает девушка.

— Не знаю.

— И я не знаю...

— «Встречный» картина называется, — отвечает сзади чей-то очень знакомый Суркову голос.

Володя оглядывается: в темноте — никого не разглядеть. Но вот на экране показывают небо — в зале становится светлее.

— Товарищ Богун! — чуть не вскрикивает Сурков от радости.

— Я самый...

Белые зубы улыбающегося техника блестят в полутьме. Он нагибается к уху комсомольца, и они начинают шептаться, не слушая шипенья соседей.

— Опять работаем...

— Да-ну! Где?

— Опять там же, в Каменке.

— Эх, Григорий Павлович... кабы мне опять к вам! Чай, вместе ведь начинали...

Володина девушка оскорбленно отодвигает плечо. Спихватившись, Володя наклоняется к ней:

— Дуся, да я это так... Я шутю...

На экране поют. В фойе играет джаз. На площади гремит радио, пространство из театра на всю черноземную область мелодию вальса на балу у Ларинных.

Город отдыхает. Час веселья и отдыха плывет над советским областным городом, не забывающим свои фронтовые дни...

Скоро, скоро весна...



В этот час, когда во всех советских учреждениях становятся полновластными хозяевами мыши и запоздалые уборщицы, когда даже энтузиасты сверхурочных вечерних занятий, вроде близких к пенсии бухгалтеров, уже сидят дома за самоваром, — в этот поздний час зеленоватый дом напротив квартиры инженера Гесса еще работал. Сейчас он был, впрочем, одного цвета с соседними домами — темный, мутносерый от фонаря перед подездом. Но просторные окна светились — все до одного, и тени людей, двигавшихся за ними, ложились на освещенные квадраты широкого снежного тротуара, как на длинный ряд одинаковых маленьких экранов, разделенных узенькими темными интервалами.

Если смотреть от самой стены или с подезда, получалась кинематографическая лента, увеличенная почти так же, как это делает для зрителей аппарат в кино.

Но здесь лента была живая — оживал каждый из составляющих ее экранов, как в «Портрете» оживает ростощик; только человек, которому вообразилось все это с подезда особняка, не принимал своих фантазий так близко к сердцу, как гоголевский художник Чертков. Он только-что прикрыл за собою тяжелую дверь и с интересом смотрел на свое открытие.

Жизнь, едва оставленная им за этими стенами, продолжалась здесь — немая и все-таки выразительная.

Вот поднялся над столом лохматый силуэт человека с широченными плечами: это — завог Быков, это он кончил работу, отпустив последнего посетителя («правильно, за мной в очереди оставался только один»). Но кого это он кроет, размахивая огромной черной рукой? Вот в соседнем экране качнулся горбоносый профиль: это все читает

письма из районов инструктор Берман, этот чудесный хромой парень с ястребиными глазами («Как хорошо, что мы сговорились переписываться»). Вон дальше, присунулась к самому широкому экрану круглоголовая фигурка: ага, это Кулик, секретарь обкома по транспорту уже проявляет беспокойство, подана ли наконец машина, чтобы везти его к поезду... Боевой. Сегодня приехал — и опять на линию («Не забыл бы, что обещал заехать к нам на участок, вот бы подмога для начала»). А что тут, в ближайшем окне? И как четко видно... Мужской стройный силуэт наклоняется сзади над женским, у женщины что-то уж очень пышные, словно встрепанные волосы... вот она клонится ниже, беспомощно сгибая тонкую шею... но он приближается снова, он нагнулся еще, поднял руку, и выпяченные губы шевелятся над самой шеей... Чорт знает что! Другого места не нашли... Ох, да ведь это же Якименко из культпропа! Уже диктует машинистке, наверное эту статью насчет магистралей, которую только-что исправил ему Кулик...

Все еще стоя в под'езде, человек с воображением фыркнул от смеха над своей ошибкой. И фыркание — еще фантастичнее, чем ожившая кинолента — распространилось на всю улицу, стократно и яростно усилившись: к под'езду подкатывал автомобиль. Призывно рывкнул гудок, в широком окне открылась форточка, и сердитый тенор крикнул:

— За кем машина?

— За Куликом! — басовито отозвался шофер. Форточка хлопнула, широкий экран потух, и фантастическая кинолента, разорвавшись посередине, стала обычным рядом освещенных окон. Человек, стоявший в под'езде, медленно, словно просыпаясь, сошел вниз, и свет фонаря упал на его профиль. Он был молод и худощав, в полувоенной одежде — узкие сапоги и галифе из-под короткого пальто, кожаная фуражка. Очень смуглое лицо, черные стриженные усики, тонкий нос с чуть заметной горбинкой и особенно характерный блеск глаз довольно явственно определяли его на-

циональность. Обойдя автомобиль, он также неторопливо перешел снежную улицу, разглядел номер противоположного дома и позвонил у двери. Через пять минут он уже сидел в комнате, полной душистого табачного дыма, в старинном кресле с высокой прямой спинкой, сбоку от освещенного лампой письменного стола.

— Я извиняюсь, товарищ Гесс, — говорил он тихим приятным голосом, слегка смущенно улыбаясь хозяину. — Я сам понимаю, канэчно... Я помешал работать...

— Пожалуйста, я отдыхаю.

— Еще хуже, я помешал отдыхать. Тем более, что вы отдыхаете с книгой и карандашом.

Максим Робертович погладил пальцами бороду, с любопытством оглядывая посетителя.

— Собственно, я учусь, — с легкой улыбкой сказал он.

И — словно улыбка эта была им отнята у собеседника — тот сразу стал серьезным, почти строгим:

— Вот. Как раз за этим я к вам и пришел.

— За... ученьем?

— Канэчно.

— Ко мне? Но... простите, товарищ...

— Меня зовут Гветадзе.

— ...Товарищ Гветадзе, вы кажется сказали вначале, что будете у нас работать по партийной линии?

— Канэчно. Я командирован в распоряжение обкома. А обком направляет на магистраль. Еду парторгом на южный участок, к инженеру Дорофееву.

— Ага, там — интересный мост. Но Дорофеев — это только прораб. Начальник участка там инженер Рыбаков, мой старый товарищ. Так что же я, собственно, могу...

— У меня очень мало знаний, товарищ Гесс. Мне необходимо квалифицироваться.

— Гм... Вы — не студент?

— Нет.

— Техник?

— Нет. Но я был когда-то землекопом.

— На железнодорожной постройке?

— Да, у нас в Грузии, лет семь назад. До призыва в Красную армию.

— На какой же дороге?

— О, это совсем не дорога. По ней ничего не возят... — Гветадзе усмехнулся грустно, глаза его прищурились. — Этой дороги нет до сих пор.

— Позвольте, — сказал инженер, — но я сам в молодости работал в Грузии...

Недоумение сгустилось в комнате, в плавающем табачном дыму. Трубка инженера попыхивала усиленно, она тянула ленту разговора, как тянет паровоз на подьем трудный состав. Странный гость тоже закурил папиросу, продолжая тихим вежливым голосом отвечать на вопросы. Потом закурил другую... Потом третью...

— Позвольте, — вдруг сказал опять инженер. — Я догадываюсь теперь, где вы работали!

Тогда в пепельницу перед гостем уткнулся четвертый окурочек, и недоумение инженера Гесса рассеялось.

— Конечно, — печально улыбаясь, сказал Гветадзе. — Я имел счастье и несчастье работать там...

Гость и хозяин вспоминали черноморское побережье — зеленые горы с вершинами в облаках, и море, сверкающее в солнечные дни у их подножий, и дорогу между горами и морем, бесконечно строящуюся железную дорогу, которую начал Грузия строить еще при ольденбургском принце. Гость и хозяин забыли о времени. Они говорили, перебивая один другого. Они смотрели друг на друга сквозь завесу табачного дыма, пронизанную светом настольной лампы, словно туман на Черном море — зеленым огнем гагринского маяка.

— ...А помочь, пожалуйста! Что могу — с удовольствием!.. — оживленно говорил Гесс. — Только вот нет у нас популярных таких книжек... Впрочем, кое-что вы уже знаете, я вижу... Придется вам начать с трудного! Поскольку вас специально интересуют мосты... Мы, русская техника, в этой области долго не оставались учениками, и довольно-таки бездарными, надо сказать. Но и заграничные курсы — с точки зрения

ваших требований, — я, пожалуй, и не нашел бы книги, которая... Видите ли, объять необъятное, то-есть взять в курс все, что есть интересного в технической практике и литературе, это в Европе тоже никому не удалось. Разве только у французозов — Morandière...

Гесс посмотрел на книжные полки, ища глазами переплет:

— ...Но и он не достиг этого, да и дело-то было лет шестьдесят назад. Немцы же... у них из всей мостовой области резко выделены железные мосты, собственно железное пролетное строение. А у нас, понимаете ли, вслед за ними... Мягко выражаясь, компилировали, да так старательно, что довели все до абсурда. Да-да, не улыбайтесь, я говорю точно. Что, вам кажется, я хочу охаять немецкую технику?

— Нет, ничего, — коротко сказал Гветадзе.

— Немецкие инженеры — я вовсе не говорю, что они плохи. Они — отличные конструкторы железных мостов, они дали интересные типы железных ферм. Но вот Фортский мост построен англичанами, хотя у них и нет таких курсов, как в немецкой литературе. Огромнейшие железные виадуки, арочной системы, сперва построили французы. Они же подняли на высокий уровень постройку каменных мостов, они же изобрели и применили к мостам железобетон. А немецкие инженеры... чорт их знает!..

Гесс пощелкал пальцами:

— ... Им нехватает широты горизонтов, что ли... Размаха нет, творчества нет, понимаете? Это ремесленники, образованные ремесленники.

— В управление к вам приглашен, однако, немецкий специалист, — вежливо сказал Гветадзе.

— Кто, Лемке? Ну, он же не мостовик, он по экскаваторам. И потом это не аргумент в нашем разговоре, не так ли?

Смуглое лицо парторга выражало только желание слушать дальше.

— Так вот, товарищ Гветадзе. Для начала я порекомендую вам эту книжечку... — Инженер снял со стопки.

книг блюде с вареньем и достал обемистый томик. — Тут страниц триста, но вы не пугайтесь. Прочтете только вступление.

— Ничего, — сказал Гветадзе, протягивая руку за книгой.

— Прочтете с интересом. Да и притом, раз вы хотите заняться серьезно... Тут что для вас главное? Чтобы не итти дальше ошупью. Вы поймете, так сказать, азбуку мостового дела. А то ведь раньше, знаете ли, огромное большинство даже инженеров-конструкторов находилось прямо в детски беспомощном состоянии, вот как сейчас — вы, не обижайтесь...

— Ничего, — проговорил Гветадзе, подвигая к себе книгу.

Это неизменное «ничего» выходило у него так серьезно и искренно, что Гесс искоса посмотрел на странного гостя, пока тот перелистывал учебник.

— Тут есть замечательные примеры, — сказал он вслух, кивая на раскрытую гостем книгу. — Самые передовые люди техники бродили на одном и том же месте и натыкались друг на друга, словно впотьмах. И каждый был уверен, что делает открытие. Вот прочтете историю американских мостовых ферм — это же анекдот! Ферма, у которой стойки сжаты, а раскосы вытянуты, носит имя Пратта... Дайте я вам найду.

Не отнимая от Гветадзе книгу, он перегнулся через стол и быстро залистал ее.

— Вот! Видите? Теперь переверните страницу — ферма та же самая, только стойки чуть наклонены, а между тем это «ферма системы Поста»... А здесь? Абсолютно то же самое, не так ли? Только наклон стоек дает равносторонний треугольник — пожалуйста, ферма Варрена! Нет, не всё... переверните еще, еще... опять та же ферма, верно? Только треугольники, видите ли, равнобедренные, но это уже система Невилля, «просят не смешивать»!..

Он смеялся, откинувшись в кресло, холеная борода вздрагивала над пиджамой, над крахмальным воротничком. — Понимаете? Четыре изобретения, четыре патента — и все одно и то же, по существу разницы никакой! Теперь-то

это все знают, а в свое время... — Он оборвал себя. — Я утомил вас, наверное. (Неужели сейчас опять скажет «ничего»?).

— Ничего, — учтиво сказал парт-орг. — Все это очень интересно, товарищ Гесс.

— Ну, тем лучше. Так читайте пока, вам хватит на месяц, а там пришлю другую.

— Я буду сам приезжать иногда, по вызову руководства.

— Еще лучше.

— Я очень вам благодарен, товарищ Гесс! — с чувством произнес Гветадзе и встал. Инженер поднялся тоже. Гость заинтересовал его необычайно. Уже стоя, они проговорили еще с четверть часа, Гесс увлекся, достал с полки еще том, принялся объяснять какой-то рисунок и кончил тем, что предложил парт-оргу взять заодно уж и эту книгу:

— Потом вместе и вернете. Ах, впрочем, что же я...

Он сморщился, как бывает с хорошо воспитанным человеком, нечаянно сделавшим грубую бестактность:

— Это ведь... на немецком языке!

Он легонько потянул книгу обратно, но Гветадзе крепко держал ее вместе с первой.

— Ничего, — проговорил он. — Будьте здоровы, товарищ Гесс. Я вам очень благодарен.

Уже в передней, дожидаясь, пока гость оденет пальто, инженер в последний раз попытался восстановить ориентировку.

— Слушайте... товарищ Гветадзе, — сказал он неуверенно. — Вы что же, неужели только землекопом работали? Я хочу сказать... вы технического образования не имеете?

Гветадзе аккуратно завертывал обе книги в газету, взглядев его вопросительно поднялся на Гесса. Тот пояснил.

— Я боюсь, не трудно ли вам будет читать? Там есть чертежи, например...

— Ничего, — сказал Гветадзе, засгегивая пальто. — Я ведь был в спецвойсках. Комвзвод запаса РККА.

— А-аа, — неопределенно протянул инженер. — Ну, будьте здоровы. Значит, через месяц...

Он залер за гостем дверь и вернулся в комнату, недоумевая. Он потягивался, зевнул, но спать не хотелось. Странное чувство испытывал он сейчас.

«Этот кавказский юноша — вот чудак, право! Пришел ни с того, ни с сего, молчал все время, а меня... а я неизвестно отчего разразился целым рефератом... Странно! И потом—как его, собственно, принесло-то ко мне? Послал что ли кто...»

Он чувствовал ясно, что в нем уже сидит, уже растет интерес к этому молодому чудаку — не любопытство, а что-то совсем другое — не то изумление, не то настороженность, с привкусом сознания нелепости, почти комизма аудиенции, — все это вместе, от иронии превосходства до какого-то смутного, еще неосознанного уважения. Ему хотелось знать, кто и что — этот молодой человек, откуда он, что знает и что ему нужно от жизни, какой у него характер и вкусы, на что он способен, умен ли он и скрытен, как кажется, или эта односложность ответов, эти «ничего» и «канэчно» — просто от ограниченности, от добросовестности тупого, но старательного рядовика...

В задумчивости стоял он посреди своей комнаты.

Так ученый, исследователь десятков разновидностей какого-нибудь явления животного мира, вдруг наталкивается — в самых обычных и оттого совершенно неожиданных условиях — на неизвестный ему экземпляр. Общность вида несомненна — все признаки определяет сразу зоркий глаз ученого. И тем не менее — необыкновенные, странные свойства у этого экземпляра!

Тон окраски, детали строения, размер, манера движений, самый характер сочетания всего этого, составляющий жизненную целесообразность экземпляра, — все ново, оригинально, непонятно. И стоит ученый в напряженном внимании, и колеблется — работает, ищет его мысль... Может быть, это какая-нибудь из известных уже разновидностей, перенесенная случаем из Австралии или Африки в коридор его коммунальной квартиры? Или здесь просто заблуждение — новый случай с жюль-

верновским кузенном Бенедиктом, грубая деформация вроде оторванной мушиной ножки или сломанного рога жука?

Старческое покашливанье послышалось с порога:

— Максим, ты всегда работаешь так поздно? Уже второй час.

— Я не работал, отец. Хотя, впрочем... Колодец тоже работает, когда из него черпают воду.

Роберт Гесс, стоя в дверях, зорко посмотрел на сына. Из-под кустистых седых бровей запавшие глаза темнели живым, совсем молодым блеском на морщинистом бритом лице.

— Работа колодца, Максим, состоит в накапливании воды. И для успеха этой работы совершенно необязательно, чтобы каждый бродяга непременно зачерпнул из него своей грязной шапкой. Кто это был у тебя?

— Так, один новый работник.

Старик недоверчиво пожевал губами, оглядел комнату, полную табачного дыма, потом медленно и осторожно прошел до кресла и также медленно и осторожно сел, вытянув на поручнях желтые сухие руки.

— Что же ты каждому новому работнику отпускаешь такие ночные проповеди?

Максим Робертович усмехнулся. — Каждому, отец, кто догадается использовать меня еще и этим способом.

— И сколько же здесь таких догадливых?

— Этот — первый.

Отец и сын помолчали.

— Все-таки, кто он такой?

— Не знаю. Вежлив весьма, но в незнакомую квартиру позвонился без малого в полночь. Скромнен исключительно, но собирается изучить мостовое дело, не нюхав не только втуза, но и техникума. О себе — только имя да фамилию, а меня заставил столько наговорить, словно я на старости лет вторично дипломный проект защищаю. Одним словом, отец, это молодой человек двадцатого столетия.

— Хорошо, но если он только еще собирается изучать, то что ему делать на строительстве?

— Он — по политической линии. Будет партийным организатором на одном из прорабских пунктов.

— Коммунист?

— Угадал, отец! — засмеялся Гесс.

Но старик смотрел попрежнему серьезно, что-то обдумывая.

— Понимаю, — сказал он наконец. — Этот современный юноша решил попасть в инженеры примерно по тому же рецепту, по какому во времена твоего деда шалопаи, причисленные к министерствам, получали чины и ордена.

— Ну, не совсем так...

Максим Робертович встал и потянулся.

Ему вдруг захотелось спать, но он понимал отлично, что весь этот разговор, как и первая беседа с отцом при встрече, — все это только вступление к теме. Не может быть, чтобы после двенадцатилетнего отшельничества старик без какой-то особой цели выбрался из своего гнезда. «Назестить», «повидаться» — этих понятий между ними не существовало, несмотря на глубокое и молчаливое взаимное уважение (а, может быть, именно благодаря ему); сын ежегодно проводил у отца первую неделю отпуска, и этого было вполне достаточно обоим. Материальные же отношения аккуратно выражались такими же ежегодными посылками — в одну сторону с грушами, абрикосами, сливами собственного отцовского сада, в другую — с книгами и дорогим импортным бельем; иных подарков старик не принимал, вполне обходясь на свою персональную пенсию. И теперь, с первого же известия о неожиданном приезде отца, Максим Робертович ждал разговора, из которого станет ясным настоящий смысл этого приезда, ждал сдержанно, не показывая и тени любопытства или нетерпения, — так, как полагалось вести себя по отношению к близким и уважаемым людям во всех поколениях Гессов.

— Кстати, отец, ты приехал очень удачно, хотя и неожиданно. Вот книга, которую я собирался тебе послать по почте. В Москве нашел.

Гесс порылся в портфеле и вынул желтый томик в старинном кожаном переплете.

— Спасибо, — проговорил старик. — О, Пушкин? Неужели...

— Вот именно, — сказал инженер, самодовольно поглаживая бороду. — Здесь — то самое письмо его к Одоевскому, которое так интересовало тебя.

Старый Гесс дрожащими пальцами перелистывал книгу.

— Максим, если бы ты знал... Ну, спасибо, спасибо тебе! Если бы ты знал, как нехватало его в моей коллекции...

— Я рад, отец. Но пора спать, пожалуй? Ты устал.

— Подожди. У меня есть вопрос к тебе.

— Я слушаю, отец. («Наконец-то!»).

— Вот что, Максим, — раздумчиво заговорил старик. — Этот твой молодой человек... кажется, он едет на южный участок?

— Да. А что?

— Если на южный, у меня будет к нему одна пустяковая просьба, которую я не хочу навязывать тебе. Дело касается моего домика.

— Твоего домика?

— Да.

Старик смотрел на сына, жуя бескровными губами, словно смакуя его изумление.

— Прости, отец, но я не понимаю. Ты меш... тебе мешает наша магистраль?

— Боюсь, что да.

— Но ведь, насколько я помню, от трассы до твоего «поместья» не меньше пяти километров?

— Шесть. Но тем не менее... Одним словом, я очень просил бы познакомить меня с этим грузинским юношей.

— Таинственно. Но, конечно, раз ты желаешь... Только он ведь завтра последний раз пойдет в управление. Ему надо торопиться на трассу, там дела совсем плохи.

— Хорошо. Завтра с утра я тоже приду в управление, и ты познакомишь нас.

— Для тебя я устрою за ним специальную слежку. Потому что он ведь — по другой линии, ко мне может и не зайти.

— Оба помолчали.

— Отец, а разве я сам... не могу быть полезен тебе?

Старик покачал головой, скупая усмешка затеплилась в его темных глазах.

— Ты неплохой сын, Максим, лучше, чем был я в свое время. И мне жаль огорчать тебя. Но, кажется, и на этот раз я сумею обойтись без поддержки.

Восьмидесятилетний отец и сорокадвятилетний сын, улыбаясь, смотрели друг на друга.

Каждый из них был тайно доволен и горд другим — сегодня, как и всегда (об этом они никогда не говорили вслух).

Но каждый из них был еще больше доволен и горд самим собой (об этом им не приходилось думать даже наедине).

Давно спал областной город. Спал Володя Сурков, обнимая во сне подушку, на которой почему-то не был приколот значок «ГТО». Спал парторг Гветадзе и видел во сне четыре американских мостовых фермы. Спал инженер Гесс, главный строитель магистрали, и сквозь сон чудилось ему покачивание полутемного купэ и на свету из открытой двери — серенькая мешанская кофточка, растегнутая на груди, которая была почему-то грудью Магдалины Ивановны Волковой, «первобытной» женщины из международного вагона.

Только отец Гесса еще не ложился в постель. Он сидел в кресле у низкой зеленой лампы, старый томик Пушкина шелестел страницами в его старых руках. Он опустил книгу, сухие пальцы медленно гладили шероховатую толстую страницу. Роберт Гесс вспомнил.

Он думал о прочитанном, и, как всегда, эти мысли уносили его в прошлое. Все новые факты, с новых точек и высот, под новыми углами освещали старому инженеру его полувековой, созидательный путь. Так повелось с того далекого года, когда он вышел на персональную пенсию. В последний раз, закрывая за собой двери НКПС, он сознательно и спокойно ушел от современности. Будущее представлялось хаосом; настоящее он, как Герберт Уэллс в те

годы, видел в сплошной мгле; только прошлое оставалось незыблемым — милые еще со школы тени великих вставали перед ним, пережитое сплеталось с мечтами, с легендарною былью человеческой истории, — и он погрузился туда с головой. Старая страсть к сокровищам литературы проснулась в нем. Мимолетная встреча в детстве с Некрасовым, юношеское преклонение перед «Железной дорогой», студенческая дружба с Гаршиным, тогда секретарем железнодорожного съезда, а потом борьба против Гарина-Михайловского, этого «писателя среди инженеров, инженера среди писателей», — все это тянуло теперь опять к книгам, все глубже, все дальше в прошлое... Но теперь он не читал ни романов, ни рассказов, ни поэм: он искал подлинной, обнаженной правды былого. Даже очерки и статьи не удовлетворяли его — примесь домысла, художественного или полемического, неизменностораживала его старчески-недоверчивый ум. И он обратился к последнему, единственно-чистому, как казалось ему, источнику: к письмам.

Переписка гигантов культуры потекла перед ним — библиотеками друзей и своей собственной, абонементом в государственных книгохранилищах, подарками сына, покупками у букинистов. Но он отбирал только девятнадцатое столетие — первый век железных дорог, его срединные десятилетия, грохотом паровозов и стремительным разбегом рельсов врывавшиеся в сознание лучших людей эпохи. Томы писем Гюго и Флобера, Гоголя и Энгельса, Гейне и Герцена сменяли друг друга на читательском его пюпитре. Он терпеливо и медленно перелистывал их, уверенный заранее, что найдет. Разве могли они, современники величайшего покорения пространств, остаться равнодушными к грохоту жизни? И каждый раз, когда еще одна драгоценная страница награждала поиски старого инженера, он, дрожа от волнения, брался за перо и свою сафьяновую тетрадь.

Философия и искусство, политика и поэзия, — все пути культуры оказывались пересеченными грохочущей железнодорожной колеей. И какая горячая,

противоречивая и страстная разгоралась вокруг паровоза борьба!

Ужас Флобера, восхищение Энгельса, ирония Герцена, мечты Генриха Гейне...

И вот — слово величайшего русского поэта.

...Последний год жизни Пушкина.

На Мойке, против здания министерства иностранных дел, в одной из комнат трехэтажного мрачного дома рождаются последние, прозрачно-ясные страницы «Капитанской дочки». А на площади Адмиралтейства уже слышны грохот и лязг невиданных стальных полос, — то для возки гранита укладывают первые рельсы, а от Павловска до Кузьмина, на изумление взбудораженным петербуржцам, строится первый участок российской железнодорожной колени.

Отрываясь от романтической истории необычайной старинной любви, Пушкин берется за принесенную ему статью. Какого-то Волкова... Это — для «Современника». О новости дня — о железных дорогах. Он читает и усмехается, выпуклые глаза блестят интересом. Потом желтый лоб прорезает морщина. Он хмурится. Он кусает толстые губы.

Прочел. И опять — улыбка, неожиданная и мальчишески-лукавая... Кто это прислал? А, Одоевский!.. Он склоняется над столом и быстро, торопливо пишет Одоевскому:

«...Статья г. Волкова в самом деле очень замечательна, дельно и умно написана и занимательна для всякого. Однажкож...»

Он покусывает перо. Европеец в душе, ненавидящий мракобесие родины, еще борется с редактором журнала. Однажкож правительство... Нет. С Канкриным не надобно ссориться. Бог с ним, чорт его поberi!

И перо быстро скользит по бумаге:

«... Однажкож я ее не помещу, потому что, по моему мнению, правительству во все не нужно вмешиваться в проект этого Герстнера. Россия не может бросить 3.000.000 на попытку. Дело о новой дороге касается частных людей: пускай они и хлопочут. Все, что можно им обе-

щать, так это привилегию на 12 или 15 лет...»

Откинувшись, он задумчиво смотрит в окно. Пятнадцать лет... Когда же, наконец, сгинет российское бездорожье!! Не сам ли он горько смеялся в «Онегине» над отечественными цивилизаторами:

... Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ.
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут;
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой;
Раздвинем горы; под водой
Пророем дерзостные своды,
И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир.

Да, когда-нибудь... Но для чего же, в самом деле, ожидать столетиями? Ведь вот он тогда мечтал только о шоссейных дорогах, — и первое в империи шоссе проложено между Петербургом и Москвой всего три года назад... А от железных дорог надобно ждать, конечно, гораздо большего. Например, от Москвы бы к Волге... Когда, бывало, ездил в Болдино, ведь тонешь в грязи, а про обозы и говорить нечего!

Болдинский помещик Нижегородской губернии, пробужденный воспоминаниями, обрушивается на редактора: «Россия терпит от расстояний!» Но если так, что нужнее: сообщение промеж столицами или пути по всей стране — торговые, военные, связь чугунных дорог с дорогами водными? Впрочем, зимой все равно задушат снега...

И опять быстро скользит перо:

«...Дорога (железная) из Москвы в Нижний-Новгород еще была бы нужнее дороги из Москвы в Петербург. И мое мнение было бы — с нее и начать... Я, конечно, не против железных дорог, но я против того, чтоб этим занялось правительство. Некоторые возражения противу проекта неоспоримы. Например, о заносе снега. Для сего должна быть выдумана новая машина, sine qua поп. О высылке народа или о найме ра-

ботников для сметания снега нечего и думать: это нелепость...»

Неужто, однако, пропадет статья. Жаль! Если бы не Канкрин... На-днях только пришлось опять унижаться перед ним из-за сорока пяти тысяч, которые задолжал казне. А он — против постройки дороги правительством. И пока он министр финансов...

Надо кончать письмо. Размашистые косые строчки покрывают бумагу, и опять пробегает по выпяченным губам не то лукавая, не то скорбная усмешка.

«...Статья Волкова писана живо, остро. Отрешков отделан очень смешно; но не должно забывать, что противу железных дорог были многие из государственного совета; и тон статьи вообще должен быть очень смягчен.

Я бы желал, чтобы статья была напечатана особо или в другом журнале; тогда бы мы об ней представили выгодный отчет с обильными выписками...»

Письмо кончено. Первый поэт страны угрюмо смотрит на дело рук своих. Вот он потянулся опять к листам «Капитанской дочки», но мысли его — еще далеко... Он думает о будущем, — о том желанном, несбыточно-прекрасном времени, когда он заговорит полным голосом, не оглядываясь на всевластных министров и жандармов царя. Он мечтает, не зная о том, что через несколько месяцев его заруют в могилу в далеком глухом монастыре.

За пять дней до смерти, словно чувствуя угрызения совести, он закажет для своего «Современника» новую статью о паровых машинах, а на утро Царкосельская железная дорога пустит торжественно первый свой пробный

поезд, и граф Канкрин, бессознательно перефразируя мысль Пушкина, скажет брюзгливо дерзость, дозволенную только ему:

«В других государствах железными дорогами связываются важные промышленные пункты, — у нас выстроили такую в трактир».

Старый Гесс открыл глаза. Шелково-зеленый свет лампы слабо струился над страницей, дымчатый и туманный, как сновиденье. О чем это думалось сейчас? Лампа, кажется, тухнет. Очевидно, уже ночь. Пришли часы твои, бессонница! Впрочем, как будто вздремнул.

Эх, Пушкин, Пушкин... И это — ты, современник великого Стефенсона, столько раз порывавшийся в Англию!

Прям и гладок рельсовый путь, но извилист путь человеческой мысли. Свободный поэт и подневольный редактор, глубокий мыслитель и мелкий помещик... Одинокий человек вечно борется сам с собою.

Старый инженер медленно встает с кресла и переходит на постель. Осторожно скрипит пружинная сетка кровати. Матрац слишком удобен, опять не скоро уснешь. Первый день за двенадцать лет засыпать не в своей постели! Мысль о привычном насиженном гнезде напоминает про завтрашнюю встречу с молодым кавказским чудаком.

«Да, все бывает на свете... Кажется, я не Пушкин; но можно, выходит, даже отдать всю жизнь одному единственному делу, и вдруг увидеть, что оно тебя...»

Лампа потушена. Раздевшись, старик тихо лежит с открытыми глазами.

Сна нет.

(Продолжение следует)

Ледяная тропа

Повесть

МАКС ЗИНГЕР

(Окончание ¹)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I
В тесных каморках нижеколымской гидрометеорологической станции жили две семьи: Батюшков с женой — помощницей по метеорологической части — и крошечной дочуркой да женщина-геофизик, прибывшая на Колыму с морскими пароходами.

На ворсистой, сверкающей шкуре зимнего белого медведя Коннов сладко спал до самого утра, без сновидений, без просыпа. В избе было тепло. Одно это тепло уже создавало своеобразный уют, забылись ночевки в лесу под открытым небом, в пятидесятиградусные морозы.

Первым встал Батюшков, записал показания своих метеорологических приборов, принес охапку дров, затопил железные печурки. В избе стало жарко. От радости тепла Коннов насвистывал весело скачущее вступление к опере «Севильский цирюльник». Женщина-геофизик, убирая комнаты, вслушивалась в знакомую мелодию, которая будила в ней воспоминания о далекой Москве. Там она провела свои молодые годы и оставила любимого когда-то человека. Он обманул ее, и она ушла, не сказавшись, за двенадцать тысяч километров, на Колыму, служить науке. Здесь полярной ночью она родила сына, бледного, немощного, как сама, и в знак укора послала обманувшему ее человеку радиограмму, подписанную именем и фамилией рожденного в Нижнеколымске сына.

У мальчишки болит животик, повязанный теплой фланелькой. Ребенок

кричит, надрыываясь. Ему вторит дочурка Батюшковых. Трещат поленья в железных печках, обложенных кирпичом. От ледяных окон веет холодом. На бревенчатых, покрытых инеем стенах висят диаграммы метеорологов, кривые температур за последний квартал года и розы ветров с причудливыми лепестками. По всему полярному берегу, на мысах, где зимуют метеорологи, в занесенных снегами землянках и домиках висят на стенах розы ветров, вычерченные посланцами советской науки. Ледяная тропа пароходов усеяна этими розами.

Целый день на станции толчется народ. Приходят к Батюшкову ученики из семилетки, где он преподает несколько предметов, приходят люди по делу и без всякого дела.

У местного партизана Размашкина умер сын-комсомолец. Приуныл и осунулся весельчак и балагур Размашкин, у которого нога в пасмурные дни ноет от раны, полученной в боях с кулачем. Ночью он приходит на метеорологическую станцию к комсомольцу Батюшкову.

— Как старый партизан хочу, парень, похоронить своего сына с музыкой, — говорит Размашкин. И у самого на глазах светятся слезы.

— Так у нас в крепости однако нет музыкантов! — отвечает Батюшков.

— А балалаечники?

— Так они не пойдут в такой мороз!

— А сколько сегодня градусов?

¹) См. «Новый мир», кн. 7.

— Минус сорок, с ветерком.

Размашкин задумывается, потом вдруг оживляется и громко говорит:

— Они пойдут! Я заплачу им мукой, которую мне дали за разгрузку паровозов. Дам ребятам килограммов двадцать — пойдут! От муки не откажутся, парень!

— За муку пойдут, как за муку не пойти! — говорит и Батюшков.

На морозе балалайки звенели, как разбитое стекло, но балалаечники честно отработывали хлеб, исполняя похоронный марш Шопена...

По скрипучему морозному снегу Коннов, Беденко и Нилина пошли в деревянную церковь, превращенную в клуб, где раз в пятидневку показывали кинокартины и выступали с лекциями и докладами.

В Нижнеколымске, как и на Певеке, Нилина торопила Коннова с приготовлениями к дальнейшему переезду.

Каюры не спешили расставаться с колымским городком. Здесь они получили от моряков много подарков, табак, чай, мануфактуру. Каюры подыскивали корм для собак и себя на обратный путь.

Коннову была непонятна торопливость Нилиной, он скорее был согласен одобрить решение Беды-Беденко, сделать привал в Нижнеколымске недели на две, отогреться, отоспаться после езды на собаках по горам и бездорожью. Но Нилина будоражила Коннова, как на Певеке. Надо было запастись пельменей на дорогу, разыскать клюквенный экстракт, пойти в кооператив, в Якутпушнину. Это было скучно, но необходимо, и он помогал в этой нудной работе своей спутнице, неугомонной Нилиной.

«И что она торопится? Посидели бы здесь в тепле, — думает Коннов, — быть может, упадут морозы, и вегер сбавит яростную силу».

Коннов спрашивает Батюшкова: не уменьшатся ли холода?

Батюшков качает головой. Он уверяет, что скоро холода станут еще крепче.

— Куда же крепче? Сегодня минус сорок два? — спрашивает Коннов.

— Перевалит и за пятьдесят! — утешает метеоролог.

Нилина разыскала в Нижнеколымске круглые, как спасательные пояса, шарфы из черных беличьих хвостов, самые теплые шарфы на все свете. От них становится жарко в любую стужу. Нилина покупает рукавицы из лапок волка. Волчий мех хорошо греет, он незаменим при сильном морозе, хотя и тяжел.

Жена каюра Котеликова, потомка колымских казаков, готовит вместе с Нилиной пельмени из оленины.

— Если вы понравитесь якутам, у которых будете ночевать, то они охотно станут угощать вас, — говорит Коннову метеоролог Батюшков.

— Знаю, знаю, — вступает в разговор Нилина. — Нас угостят мороженым хаяхом¹⁾, сбитыми сливками — кюорчах — и другими замечательными ещами. У меня на Колыме много знакомых якутов, которых я вылечила от трахомы. Я думаю, что нас примут не хуже, чем в прошлые годы, когда мы сплывали здесь вместе с Солнцевым.

Коннов впервые слышит из ее уст это имя, о котором сказал в Островном учитель Васильев.

II

В избе Батюшкова на почерневшем от времени столе висится горка настроганной мороженой нельмы. Люди крепко солят и перчат ее. Эти белые и розовые витки строганины макают в уксусе и едят с хлебом, быстро и сосредоточенно.

Подростки из школы-семилетки приходят по вечерам в избу Батюшкова учиться метеорологической науке. Здесь — геофизический, никому не известный институт, у самых ворот в Ледовитое море.

В свободные часы Нилина сидит за маленькой клеенчатой тетрадью и что-то записывает мельчайшим почерком. Быть может, в этой тетради разгадка грусти Нилиной.

— О чем вы пишете в свою колдовочку? — спрашивает Нилину Коннов.

— Какую колдовочку? — удивляется Нилина.

— Колдовочка это по-нашему, по-морскому, значит записная книжка,

¹⁾ Белое якутское масло.

которая заколдована от взора других, — говорит Коннов.

Нилина улыбается в ответ, но молчит невозмутимо, и это молчание неотступно влечет к ней Коннова.

Ночью, когда догорали лампы на станции, с Сухарной займки приехал Кеша Четвериков — первый колымский лоцман. Он привез с займки мальчика для учения в школе-интернате.

Коннов ходил вместе с Кешей осенью по Колыме от устья к Нижнеколымску, перевозил грузы, прибывшие с моря для реки. Кеша стоял тогда на капитанском мостике первого колымского парохода «Ленин», всматривался в речную даль. Речники еще не доверяли лоцману и часто проверяли его знания.

— А ну, Кеша, сколько до Шалауровой косы остается? — спрашивал Кешу старший помощник капитана.

— Моих десять, твоих восемь однако километров будет, — прищурился правый глаз, отвечал Кеша.

— Каких же твоих-то?

— Мои-то собаки километры, они длиннее ваших, пароходских, будут. Не угнаться моим собакам за пароходом. У нас на Колыме так: если собаки хорошие, то и километры короткие. А на плохих собаках долго едешь, а потому и километры становятся длиннее.

Широкоплечий, узкоглазый, лопухий, с обветренным коричневым лицом, черноволосый, по виду монгол, колымский лоцман Кеша Четвериков сохранил в себе очень мало русских черт, хотя не без гордости называл себя русским. В оленьей шапочке, торбазах, звериных шкурах, приземистый, низколобый и скуластый, он напоминал человека древних времен. При разговоре с ним Коннову казалось, что он вдруг переносится, будто в романе Уэльса, на машине времени, в древние века, к первобытным людям. Говорил Кеша, по-детски картавя, как все колымчане. Он знал реку, тундру, море, как своих собак, как песцовые и медвежьи повадки.

Ходил он по-звериному, чуть вприпрыжку, и уши стояли у него настороженно, как у волка.

— Как это ты так хорошо реку знаешь? — спросил Кешу Коннов.

— А своим мнением, назойством знаю я Колыму. Рос я в сиротстве. Магь моя была ламутка, отец — колымчанин. Брат был — помер, сестра тоже померла, и остался я, сказать, один, и двадцати годов женился.

Долго расхваливал Кеша свою жену. Детей у лоцмана не было. Он взял на воспитание к себе мальчика-сироту. Жил Кеша на займке Сухарной, недалеко от Нижнеколымска. Вместе с женой уезжал в тундру рубить, пасти, — ставить ловушки на песца. Жена таскала плавник, а Кеша рубил его и ставил пасти до самого Чауна.

— Так мы лета свои провожали, — говорил Кеша. — Пятнадцать лет мы себе покою не имели. Пять лет с женой две избы строил.

— А зачем тебе, Кеша, две избы понадобились? — спросил Коннов удивленно.

— Хотелось против товарищей своих почище жить. Через эту свою собственность потом я полгода ходил без голоса.

— Ну, а теперь?

— Дали голос. Теперь однако хорошо живу! Трудное наше житье было раньше, когда завоза с моря не было. Пять лет под ряд не приходили пароходы на Колыму. Колчак посылал к нам пароход «Ставрополь», а он у мыса Северного на переднем пути зазимовал и так не зашел к нам на Колыму, вернулся на будущий год обратчю. Когда советская власть пришла во Владивосток, приготовили нам, говорят, пароход, да тут меркуловцы восстали. Захватили судно и отправили его со своими бандами в Охотск. Только вот с той поры, как стала крепка советская власть на Востоке, к нам каждый год с моря приходят пароходы в Колыму. Жизнь началась другая. А то ведь ни чая, ни табаку, ни, сказать, еды. А теперь — рон сколько на Амбарчике сей год пришло пароходов. У меня в доме все есть, — и камбуз, и половики, и кровать железная, столы и все домашнее. Песцов я шибко промышляю. В Колымском крае я на интерес какой промышленник. Нас теперь не пускают-то пастырями давать песцов, только капканами. Ну я и

капканами поймаю за зиму однако тридцать песцов. А сей год я хожу лодманом на Колыме. Мои товарищи обижаются на меня. Ты, — говорят, — Кеша, деньги наживаешь! А Кибизов говорит: работай, и больше ничего!

— А кто такой Кибизов? — спросил Коннов.

— А он меня на пароход поставил. Я никогда на пароходах ни в жизнь не плавал. «Ну, что же, Кеша, — спросил меня Кибизов, — борозду знаешь, харватер?» — «Знаю» — говорю «Ну, иди, садись на пароход!» Я и пошел на «Ленин». А теперь сам попросился на другой год. Я, по своему мнению, реку знаю. Осенью, когда новый лед замерзнет крепко, то сетки мы ставим, глубь вымериваем. Река начинает замерзать с берегов, а на глуби вода долго держится. Когда северный ветер потянет с моря, тогда колымская вода утихает, о ту пору река замерзает и серединой. А весной наоборот, — лед падает раньше у берегов, а на глуби держится дольше, его хорошо видать. А мы на собачках по берегу ездим. Все замечаем.

По морю погоды бывают, а потом утихают. Как потихнет погода, медведь в море с берега идет. А у нас собаки есть, норовленные. Хомуты им скидаваем, и пускаем собак по следу, — они зрера и становят. Собака нас от смерти избавляет, саму себя кормит и нас. Вот ее труд мы заболь¹⁾ эксплуатируем. Изза пустого брюха она служит нам. Денег она не просит. Одежду тоже не просит. Только надо следить за тем, чтобы она не смерзла. За тысячу километров она нас возит. Мы, если не поедим день, не можем работать. А она не поест, а все идет с нартами, пока не воткнется в снег.

Вот на Амбарчике сей год выгрузили груз. Мы его зимой на собачках будем возить. Четыре нарты одну тонну груза увезут. По десять-двенадцать собачек в упряжке. А у кого собак мало, те и по девять, и по восемь в нарту запрягают.

Маленький бронзовый лоб Кеши морщился, как печеное яблоко, когда он

затягивался махорочным дымом. Он смотрел на Коннова узкими, будто полуоткрытыми глазами. Кеша удивлялся любопытству моряка, которое было ему непонятно. Он не понимал, как можно интересоваться такой простой жизнью.

— А не скучно ли жить здесь целый век? — спросил Коннов.

Колымчанин удивленно ответил, что у него триста шестьдесят пастей было расставлено по тундре на песцов. Живет он на заимке, где много народа, целых девять изб, и скучать времени не находится. Каждый день кто-нибудь из охотников тащит на фабрику песка. Принес сосед одного песца, вот и хочется Кеше назавтра двух принести.

— Социалистическое соревнование получается, — сказал, улыбаясь, Кеша.

Кеша был недоволен запретом ловли пастями песцов.

— Это неверно, что пушнина портится от пастей! — говорил он с жаром. — В капкане хуже-то песца добывать. Зверь бьется в капкане и пушнину себе портит. А пасть убивает сразу, и зверь пушнину не изгубит. Но мне — что? Не жаль! Я через эти несчастные пасты сам хворал и жену замучил.

И Кеша снова принялся расхваливать свою подругу жизни. Но вскоре снова возвратился к пастям.

— Трудно будет теперь тому в тундре, кто привык песца пастями добывать. И зачем такой закон выдумали? Век-то песца пастями давили, и пушнина ценная была, никто не жаловался, купцы принимали, на что злые были.

— Песец не всегда приманку берет, — говорит Кеша, — Охота у песца бывает только при луне. Луна прошла, песец приманку не пошевелит. А когда луна взойдет, то он готов у пастей даже убитого товарища съест, если только он на виду лежит, не под бревном. А так песец только мышами питается и редко когда приманку берет. Он больше приманку хватает, когда новый снег упадет. К весне, как только дни станут длиннее, он хуже начинает брать, а с первого апреля совсем перестает хватать, хоть ты ему все на свете рассыпай. Тюлени в это время бросают кормить мо-

¹⁾ Верно (древнее казачье слово).

локом своих тюленчиков. Ребятишки их плавают сами по себе и выходят на лед подышать воздухом, понежиться. А он их караулит тут, за торосами.

Вот наша жизнь и как мы живем. Наше счастье в труде. Если не потрудишься, ничего не получишь! Такое здесь поведение.

Кеша поведал Коннову последние новости о речных пароходах, приведенных с моря на Колыму. Колесники-пароходы дошли до затона Лабуи, а паровые катера застряли во льду, не дойдя до затона.

Увидев Нилину, Кеша бесцеремонно стал спрашивать ее о смерти Солнцева, с которым вместе не раз ездил по Колыме. Нилина отвечала нехотя, односложно. Умка, собиравшийся уезжать с чукчами на Певек, просматривал собачьи алыки. Кеша советовал чукчам возвращаться только берегом моря, не тундрой, и обещал снабдить каюров в Суларной заимке сушеной рыбой.

III

Чукотская земля была пройдена. Далекими казались убеленные снегами горы Восточносибирской тундры и в ее снежном смятении затерявшиеся яранги кочевников — чаучу. В память врезались чукотские сказки о мамонтах, героях-сверхлюдях, которыми была полна древняя, воинственная Чукотка. Эти сказки Коннов слышал на дневках в стойбищах от своих каюров и стариков чаучу. Рассказав сказку, чукча просил обычно Коннова сообщить новости с Большой земли, — какая теперь там жизнь?

Старый чукча Рентыргин, напоминавший собой китайца, посасывая трубку из моржевой кости, говорил Коннову, что слышал от людей, которые проходили здесь однажды с морского берега далеко на восток, много разных новостей. Рентыргин знал о Ленине и Сталине, что они защитники угнетенных. Рентыргин показал Коннову портрет Ленина, вырезанный из американского журнала. Портрет попал к чукче давно, когда у чукотского берега зимовала однажды американская шхуна. Как-то зимой бе-

реговые чукчи завезли этот портрет сюда к кочевникам.

Показывая портрет Ленина, бережно хранимый в ящичке вместе с посудой, — самым дорогим в тундре, — Рентыргин сказал Коннову:

— Это тот самый Ленин, который прогнал Тириэрми — царя. Ленин погиб от яраны и потому живет теперь на небе в светлой, сухой и чистой яранге. На Большой земле остался Сталин, его товарищ, он великий Эйрем, могучий человек. Он хочет, чтобы лучше жилось нашим людям в тундре и на морском берегу.

В другом стойбище шаман Таманэ, недовольный советскими работниками, занесшими его в кулацкий список, как обладателя трехтысячного стада, именем Ленина бунтовал против большевиков.

— Ко мне ночью в ярангу пришел самый большой шаман на земле — Ленин-Солнце, — говорил Таманэ. — Ленин-Солнце сказал мне: «Таманэ, не пускай русских людей в тундру, чукчи должны управляться сами, как управлялись в старые года».

Нилина вслушивалась в чукотские рассказы и разговоры, она больше знала береговую Чукотку.

— Прошлой весной, — рассказывала Нилина Коннову, — с американского острова Диомида прибыла к нам эскимосская делегация на моржевых байдарках и подала заявление от своего племени с просьбой разрешить переход на советскую территорию. Здесь, у эскимосов, было много родных и знакомых, которые хвалили свою жизнь. А на американском берегу перестали покупать моржевый клык и редко завозили товары.

На заявлении были отпечатки пальцев, — так скрепили свой документ эскимосы, искавшие новое отечество.

Чем ближе к Колыме, тем больше о советской власти знали чукчи. Береговые были первыми вестниками в тундре о новой жизни. Проходя с собаками по снежным просторам тундры, они разносили весть о новом солнце, о Ленине-Солнце и его товарище Сталине.

Каюры согласились с доводами колымчанина Кешы Четверикова и решили

возвращаться из Нижнеколымска не тундрой, а берегом Полярного моря. Умка купил в Нижнеколымске цветных ниток и разных иголок для жены, ожидавшей его на Певеке. Но больше всего Умка радовался двум новым псам в своей упряжке.

— Каждый стоит трех песцов, — хвастал Умка, показывая на крепких колымских собак, которых прикупил у местных каюров.

Только Рольтыиргин ничего не купил в Нижнеколымске. Он загрузил свою нарту книгами, разысканными здесь для него Нилиной. В местном клубе он нашел много старых журналов с портретами вождей, ими собирался он украсить стены красного уголка в Доме просвещения на Певеке.

IV

Темным колымским утром зажигаются на метеостанции керосиновые лампы. Батюшков готовит последний чай Коннову и Нилиной, уезжающим в Среднеколымск. А за ледяным окном лают застоявшиеся в упряжи собаки, лают и воют без конца. Каюр торопит людей с чаепитием. Умка уехал на север по морозной Колыме. Теперь новый каюр везет Коннова. Комсомольца Рольтыиргина сменил пожилой колымчанин. Он хорошо, но очень мало говорит по-русски, он молчалив.

Коннову разрешили вместе с Нилиной брать станционных собак и оленей на почтовых станциях по Колыме. Беда-Беденко остается в Нижнеколымске.

— Все равно я догоню вас, — говорит он на прощанье. — Вы далеко от меня не уйдете.

Собаки резво берут с места и скачут так, что едва седоки держатся на нартах. Чукчи каюры, так мало знавшие по-русски, были куда разговорчивей колымчан. Каюр Коннова поехал с неохотой. Ему надо было заниматься подвозкой дров из лесу к своей избе, его оторвали от этого дела.

Коннов везет с собой первую почту из Нижнеколымска в Средний. У моряка под сидением кожаная сума, от которой пахнет прелью и древностью. Она поры-

жела и зацвела от времени и пропиталась запахом тлена. В ней немного писем для Среднеколымска, Абыя и Якутска, — так сказал начальник почтовой станции в Нижнеколымске, передавая суму моряку.

— Берегите ее! Сдайте в Среднеколымске под расписку! — наказывал перед отъездом станционный начальник.

Впереди на сильных колымских собаках мчится во весь дух Нилина. Издали виден Коннову в сумерках наступившего бессолнечного дня ее пестрый махай из лисих лапок. Она приветливо машет рукой. Коннов что-то кричит в ответ, но ветер относит в сторону его слова.

До Лакеева собаки идут «на проходную», без смены, и вот почему досаждают каюры. Нарты тянут «горой» — берегом — до самой займки Колымской, по волочкам и озерам, окруженным зеленым забором хвойных лесов. На большом Брусенинском озере ветер гуляет, словно по ровной тундре, и здесь так же холодно, как на перевалах.

В займке Колымской русские избы с двускатными крышами. Директор оленеводческого совхоза комсомолец Стадухин поставил себе задачу догнать и перегнать оленную Аляску. Он дает лучшее снабжение оленеводам-пастухам, он обеспечивает рабочих хорошими бытовыми условиями. Пастухи объявили себя ударниками. Лучшим из соревнующихся будет признан тот, у кого стадо даст наибольший приплод и наименьший падеж. Молодой Стадухин знает поучительную историю развития оленеводства на Аляске. Когда там началась золотая лихорадка и копачи-хищники со всех концов Америки потянулись на север, американцы решили переделать жизнь своего крайнего северо-запада, обзавестись там оленеводческим хозяйством, чтобы обеспечить питание пришлым людям-золотоискателям. До этого ни одного оленя на Аляске не было. Ведомство просвещения, которое занялось этим делом, выписало из Сибири первую партию оленей, но все они погибли, не дойдя до Аляски. Тогда решили вести оленей с Чукотского Носа, откуда на Аляску удалось доставить впервые

сто тридцать оленей. Всего за несколько лет было перевезено около полуторы тысяч оленей, после чего ввоз прекратился. Олени акклиматизировались и стали успешно множиться.

На Аляске не было людей, которые бы знали, как ловить оленей в стаде, как ухаживать за ними, как запрягать и обучать езде в упряжи. Американцы выписали из Норвегии лопарей и устроили оленеводческие школы. Туземцы учились у лопарей в этих школах технике оленеводства.

— Нам не нужно выписывать из Норвегии лопарей для обучения якутов технике оленеводства, — говорил Коннову директор совхоза Стадухин. — У нас есть свои изумительные мастера этого дела. Наша задача — в скорейшее время дать товарное мясо для новых людей, которые идут работать в Колымский край.

Стадухин приехал на Колыму с моря. Он шел из Владивостока в той же колонне судов, где находился Коннов, где были грузы для Колымы. Едва заметный светлый пушок пробивался на юношески свежих щеках комсомольца, прозрачно светились ясные голубые глаза. Он сдал весной последние испытания на зоотехника и пошел на Колыму на три года, чтобы передать колымским людям накопленные знания. Коннов видел его осенью, когда речные пароходы разгрузались для оленсовхоза. Стадухин вместе с рабочими влезал по колено в студеную воду, чтобы подтаскивать ближе к берегу тяжело груженные кунгасы. На этой девственной реке он не робел, но и не кичился, ясно сознавая те трудности, которые стояли на пути ведения рационального оленеводческого хозяйства.

Стадухин помог Коннову достать рыбы для собак и людей, и нарты потянулись «горой» по якутским юртам. Возле дымящихся камельками якутских жилищ обычно паслось по несколько коров, обросших длинной шерстью. Лохматые и заиндевшие от мороза коровы казались шарообразными. Приезжих угощали суоратом — кислым молоком и мелко нарубленным мороженым хаяхом, с которым якуты пьют чай

ь прикуску, словно с сахаром. Все меньше и меньше встречалось собак по тайге возле юрт, и не слышно было их назойливого подвывания. Собачье каюрство кончалось вскоре за Нижнеколымском, и возле якутских юрт Коннов уже видел широкие олени нарты. На собачьих нартах приходилось только сидеть, свесив ноги, цепляя каждый кустик, каждую застругу. Олени нарты шире собачьих в два раза, на них можно лежать, спрятав ноги в теплый спальный мешок — кукуль.

Олени бегут быстрее собак, но скоро теряют силы. За Лажеевым нарты Нилиной были запряжены белыми, как снег, оленями. В дымке тумана их едва можно было различить с нарта. Седокам казалось, что они едут на нартах-самоходах. Сначала олени бежали легко, но к полудню уже резко сбавили ход. Тогда ямщики остановили нарты, чтобы срезать в тальнике длинные хвостины для подгонки оленей. Получив удар прутом, олень встряхивал задом и несколько минут бежал рысью, затем сменял ее на мелкий шаг и вскоре снова едва перебирал ногами. Коннов смотрел на худых, изможденных оленей и думал, откуда берется сила у этих маленьких животных, чтобы везти кладь и людей. Ямщики, не вдаваясь в рассуждения, все погоняли оленей и неистово кричали на них, будто ссорясь с кем-то. Вот один олень упал. Ямщик встал с нарты, растолкал его ногами, поднял и, сказав «кусаган», снова погнал вперед.

Нилина предложила Коннову облегчить работу ездовых и идти вперед пешком. Эта женщина полпути от Пеека прошла пешью.

День за днем тянулись нарты на юг к полярному городку Среднеколымску. В юртах люди сушили меховые одежды и развешивали их на высоких грядках близ камелька.

На стенах юрт, посеревших от времени, были нацарапаны фамилии и имена проходивших здесь людей. Некоторые останавливались здесь десятки лет назад, но надписи их были видны, потому что никто и никогда не красил стены юрт.

И длится наш путь бесконечный,
 Тихонько олени бредут,
 И сухо стучат их копыцца.
 И нарты ползут и ползут.
 И тянется лес беспредельный,
 И горы зубцами встают;
 В ущельях глубоких метели,
 Как волки, поют и поют.
 Сменяется все чередою,
 И ночью, и утром, и днем,
 И кажется путь бесконечный
 Мечтою иль бредом, иль сном.
 Не день, не неделю, не месяц
 Все длится и длится наш путь,
 Все дики картины природы, —
 Пустыня, куда ни взглянуть.
 И, точно во сне, пролетают
 Озер бесконечная цепь,
 И рек беспредельных долины,
 И тундры бесплодная степь.
 И старого леса равнины,
 Болота и гарь, и снега,
 И гор обнаженных вершины, —
 Сибири свободной земля.

Эти неизвестные строки Нилина переписывает в свою «колдовочку» со стены одной из юрт. Здесь, подобно ей, останавливался на ночлег какой-то проезжий человек.

V

Чукотский малахай, в котором Коннов проехал Восточносибирскую тундру, стал ему немного тесен и плохо защищал от ветра лицо. В первой юрте после оленсовхоза Коннов попросил якутку Тарасову, розовощекую, улыбающуюся хозяйку юрты, расставить пыжиковый малахай. Коннов знал всего лишь несколько слов по-якутски, но якутка поняла его, взяла улыбочиво малахай и села за переделку.

Согревшись чаем, Коннов расспрашивал старика Тарасова о новостях. Это был разговор двух людей, не знающих языка друг друга.

Коннов говорил: «Капсе!», что значит по-якутски «рассказывай» — приветственный возглас якутов при встрече. Коннов выкрикивал отдельные якутские слова, которые должны были много рассказать старику Тарасову. Байхал! (море). Пароход! Экспедиция! Мус! (лед). И якут понял моряка, что он едет издалека и даже стал вздыхать из сочувствия к людям, оставшимся на безвестной зимовке в Полярном море. Прислушивалась к разговору и молодая

якутка. Нилиной в избе не было, — она установилась во второй юрте, чтобы не стеснять маленький дом.

Коннова угощают рисовой кашей, лепешками и даже хлебом. И здесь, в нескольких стах километрах от Полярного моря, сказывается великое значение Северного морского пуги для окраин Союза. Только с кораблями могла прийти мука в низовья Колымы. Морским путем были доставлены сюда мешки с рисом, из которого якуты варили кашу себе и пупникам. В годы интервенции Колыма была оторвана от морского пути, к ней не приходили ледяной тропой пароходы, и река протяжением в три тысячи километров голодала. Люди питались несоленой рыбой и теми остатками продовольствия, которые сохранились еще в амбарах.

Утром приветливая якутка вышла провожать Коннова. Он смотрел на ее ширококулое, но красивое лицо, высоко перетянутую талию, на черные большие глаза, он слышал ее напевный разговор и думал:

«Так иногда в Москве проезжает автобус, и за его окном — замечательной красоты девушка. Сейчас бы познакомился с нею, рассказал ей о себе, о Севере, о необычайном. Но автобус немолимо уносит девушку, будто сновидение».

Оленьи нарты, гремя бубенцами, увозят Коннова от юрты Тарасова. В тайге, закурженной, насупившейся снегами, радостно Коннову. Он любит леса, их смолистый, пряный запах и зимнюю снежную чистоту тайги, где одинаковые следы белочек, пушисто прыгающих от кедра к кедру. У каждого кедра белочки сорили орешками.

Когда-то, в первые годы плавания, Коннов так же трепетно любил море и вдыхал глубоко его соленый и крепкий воздух, как сейчас лесные запахи зашнувшей в снегах Колымы.

Нарты останавливаются неожиданно в заснеженной тайге. Ямщики подходят к оленям. В руках старшего ямщика лапа-ножовка, ржавленая, с поломанными зубцами. Ямщик, что помоложе, схватывает оленя за рога, а старик начинает пилить их под самый корень. Олень

дрожит, ноздри его широко раздулись. Он дышит тяжело, сопит. Росинки крови обагрили белый снег. А ямщик, посасывая трубку терпкого табаку, пилит рога, словно сухостой для варки чая. Рога спилены и падают, вонзаясь глубоко в снег. Олений поезд вскоре трогается. Все олени стали комолые. Теперь они не будут больше цеплять рогами еловые ветви, не распылят их богатые снежные куржаки.

Коннов привык к этому вечному движению, которому кажется не будет конца. Там, в Чаунской губе, на Певеке, моряки так же свыклись с зимовкой, как Коннов со своим бродяжничеством. Каждый день нарты у новых юрт. Лиственницы и ели провозжат людей. Хрустит девственный снег. Среди таежных тесных оленных нарты ползут все дальше и дальше от Полярного моря.

Рядом с Конновым шагает женщина, неизвестно кому давшая обет молчания. Коннов уже все рассказал ей о себе. Иссякают разговоры в томительной и непрестанной езде. Они уже говорят лишь о том, что видят: о пробежавшем бурнудчке или белочке, о ямщиках, которые кричат на ленивых оленей; говорят без охоты, словно по принуждению. Еще много километров до столицы Якутии, и все эти километры надо пройти тайгой, испещренной озерами, пересеченной горными хребтами. Вместе с оленями движется постоянное облачко. Это дышат олени. На сильном морозе их совсем не видать, они скрыты этим облачком пара. Нилина идет рядом с Конновым, он слышит ее певучий голос, но не видит, не чувствует и не понимает ее.

Нилина делает в день по пятнадцать километров лешком на ветру и морозе. Разбитый усталостью, Коннов еалится по ночам на орон в юрте, которую разыскали в тайге ямщики. Он спит беспробудно до утра, когда старая якутка счищает лучинкой снежуру со льдины, вставленной в прорез окна. Нилиной безусловно тяжелей, чем Коннову, широкоплечему, коренастому моряку, уверенному в своих силах, но она никогда и ничем не показывает, что ее утомляет путь, не выдает себя ни одним

движением. Коннов судит о ее усталости лишь по тому, как скоро, быстрее всех, засыпает Нилина. Как ребенок в свивальнике, она спит в своем меховом мешке, тесно облегающем ее. Утром она встает раньше всех. Коннов, просыпаясь, видит ее у камелька, где трещат поленья, звучно рассыпая золотистые искры по всей юрте.

Плечом к плечу вместе с Конновым Нилина делает тяжелые километры по глубокому снегу. И какая-то внутренняя гордость за свою спутницу, советскую женщину, которая идет рядом с Конновым эти тысячи километров, наполняет его всего. И кажется ему эта женщина выше хребтов, где пляшут снежные метели под свист и завывания ветров. Коннов гордится женщиной, которая идет с ним ледяной тропой по полярному фронту Советов.

«Вот так же, плечом к плечу, пойдет она по сыпучим снегам и на защиту советских границ» — думает Коннов, глядя на нее, идущую от Ледяного моря к седым и далеким стенам Кремля.

Нилина идет, словно выполняя какой-то долг. Это написано на ее лице. Сосредоточенность и печаль бровей она не может прогнать случайной улыбкой. И в этой печали и сосредоточенности Коннов находит тоже величие. Это — печаль русской женщины. Такой была его мать давно-давно, в годы его детства. Быть может, в самом деле Нилина выполняет какой-то высокий долг перед человеком или перед обществом? При этой мысли у Коннова всегда является желание как-нибудь облегчить ей тяготы пути, скрасить шуткой или какой-нибудь детской забавой мрачные дни, еще не освещенные солнцем.

Кажется, что само небо село людям на плечи, так низко нависло оно над землей. Это — мѐрок, как говорят колымчане, — мрачное, низкое небо. Коннов и Нилина садятся на нарты, потому что не видно ничего вокруг, и люди натываются на деревья. Нельзя понять, как протискиваются сквозь лесную чашу олени, как находят путь ямщики в этом таежном столпотворении. И вдруг во тьме образуется какой-то провал, нар-

ты выезжают на светлую дорогу. В чернильной темноте ночи, в тумане мороза виднеется фиолетовое поле, уходящее бесконечно далеко. Нарты выехали на Колыму с «горы» (берега). На Колыме гуляет ветер, и наступает конец морозу, и в небе зажигаются одна за другой яркие звезды.

Кажется, что вдали замаячили огоньки. Быть может, это мираж. Часто в пути казалось Коннову, что где-то мелькнул огонек. Уставшие за день глаза всюду видели эти огоньки. Их рисовало усталое воображение. За каждым деревом в тайге чудилась усеченная пирамида юрты и сверкающий снопискр из трубы камелька.

Но сейчас действительно мерцают огоньки, словно люди ночью забегали с фонарями. Их много. Они становятся ярче и ближе. Вон видны и силуэты приземистых, ушедших в снег домов Это Среднеколымск.

VI

В юртах, где Коннов и Нилина останавливались на ночевку, висели бумажные полотнища крупно отпечатанного латинизированного алфавита. Холодные, как лед, бревенчатые стены серебрились инеем. Рядом с плакатом-алфавитом склонился над «Правдой» Ленин, и в военном кителе стоял, заложив руку за борт, Сталин. С утра, когда чуть брезжил свет сквозь оконные льдины, и до позднего, пока не затухал огонек камелька, виднелись на стенах эти латинизированные буквы, Ленин с «Правдой» и в военном кителе Сталин.

Встававшие рано утром якуты звонко полоскали рты водой, натаянной изо льда, долго умывались, неспеша распивали полуведерные чайники и затем только шли «гойкать» — звать оленей из тайги, чтобы запрягать нарты. Олени паслись в тайге по ягельникам. Ямщики разыскивали оленей по их глубоким следам. Когда дверь юрты открывалась, по земляному полу клубами вваливалось из тайги большое и густое облачко тумана, веяло холодом, и метался в стороны огонек камелька. Распихиваясь как-то в дорожном листе у Кон-

нова при получении «прогонных» дечег, ямщик-якут сказал:

— Родной язык мы теперь скоро берем, советская власть нас научила!

Три года прошло с тех пор, как первая грамотность проникла широкой дорогой к колымским берегам. И почти все ямщики оставляли в дорожном листе Коннова свои автографы, только старики еще ставили печати или кресты взамен подписи.

К Нилиной часто обращались якутки с просьбой полечить слезившиеся глаза. В благодарность якутки угощали приезжих сбитыми сливками — кюорчах — и даже поливали кюорчах розовым соком отжатой брусники. Нилина посыпала высокие пенистые розовые горки кюорчах толченым сахаром, и вкуснее этого блюда не было, казалось, ничего на свете. После мороженой крови, несоленой оленины или мерзлого оленьего сырого мяса стакан парного молока казался живительным напитком в засыпанной снегами тайге.

Колымскими таежными тропами ходили революционеры, некогда сосланные сюда царской властью на погибель. Их помнит и знает вся Колыма. Они первые принесли на Колыму прамоту. Многие из «сыльных» не выдерживали суровости, одиночества и ничтожности десятилетнего пребывания в тюрьме, где вместо решетки за окном были постоянные туманы и взамен высокого забора — непроходимая тайга.

Гуковский был выдан в 1890 году германским правительством и заключен в петербургскую одиночную тюрьму «Кресты». Здесь он пробыл пять лет. За мотивированный отказ от присяги был сослан на пять лет в Среднеколымск, где и застрелился.

Калашников был арестован в Одессе в 1894 году. После года и пяти месяцев предварительного заключения сослан в Среднеколымск на десять лет. Застрелился в 1900 году.

Янович, Людвиг Фомич. Принадлежал к партии «Пролетариат». Был арестован в Варшаве. Во время ареста стрелял в полицейского агента из револьвера. Был приговорен к шестнадцати годам каторжных работ и посажен в

Шлиссельбургскую крепость, откуда был сослан на поселение в Среднеколымск. Застрелился в Якутске, куда был вызван свидетелем по делу Ергина.

Но не все добровольно уходило от жизни, раздавленные полицейским сапогом пьяной власти на Колыме. Иные проводили здесь долгие годы, оставляя после себя неизгладимый лучистый след. Таким был Тан-Богораз, о котором при жизни его ходят легенды по Колыме и Чукотке. Таким был Солнцева, который отдал свою молодость далекому и холодному Северу, куда был сослан в начале империалистической войны. Коннов всюду на Колыме слышал об этом недюжинном человеке. Если говорили о его физической силе, то она вырастала до богатырской. Если говорили об уме, то как о необычайно великом и спокойном. По юртам якутов, по ярангам чукчей шла о Солнцева добрая слава. Люди возмущались нелепостью его смерти и не верили в нее.

Нилина чутко прислушивалась всегда к разговорам якутов и чукчей о Солнцева, ее начальнике, с которым она проходила эти самые дебри, где стучали копыта якутских и тунгусских оленей. Она прислушивалась, но никогда не задавала вопросов, а что-то записывала в записную книжку по вечерам, при свете догорающего камелька.

— Что вы пишете, Нилина? — часто спрашивал Коннов.

— Свои впечатления о поездке, которая необычайно хороша, — отвечала она, чуть дразняще улыбаясь.

Записную книжку она прятала всегда в карман меховой рубашки у левой груди. Когда было тепло, она писала даже в дороге. Теплом считались морозы не свыше двадцати градусов, если не было ветра.

Среднеколымск был хорошо знаком Нилиной по экспедициям Солнцева. Но она не хотела заезжать в дома своих старых знакомых. Ей трудно было отвечать на многочисленные расспросы о Солнцева, о его гибели.

Нилина предоставила выбор места ночлега Коннову. Он никогда не бывал в Среднеколымске и сказал ямщикам,

чтобы под'езжали к крайней избе. Из окна избы, казавшегося издали маленьким фонарем, тускло светился огонек. Значит, там не спали. Соскочив с нарт, ямщик постучал в дверь. Она была не заперта, кто-то крикнул: «Входите!» Ямщик толкнул дверь, она распахнулась, и за столом у маленькой керосиновой лампочки Коннов увидел знакомое лицо. Это был Силин — кочегар ледокола-флагмана, который осенью подходил к Колыме. Силин списался с ледокола, узнав о смерти родного брата, работавшего в Среднеколымске, и приехал сюда навестить тот дом, где любимый брат был сражен туберкулезом и в помощи нуждалась его оставшаяся жена.

— Силин, вот не ожидал! — сказал Коннов, протягивая руку товарищу-сплавателю.

— Здорово, корешок! — сказал, поднимаясь с лавки, кочегар Силин. — Вот где привелось встретиться!

Силин помог людям раздеться, развесить по стенам одежды для просушки.

Спиною к вошедшим лежал на складной походной койке широкоплечий, грузный старик. Он тяжело дышал, распухшее его лицо было болезненно бледно.

— Кто это у тебя на койке лежит? — спросил за чаем Коннов.

— Копач Панов, ленский хищник, позарился на колымское золото, приволокся сюда с лотком из самого Якутска, да зацынговал с голодухи. Мы теперь старика брусничным соком поим. Морошку давали мороженую, тут фельдшер советовал, в ягоде, говорит, даже в мороженой, много витаминов, легче с цынгой бороться. Да не видно, что легче-то.

Больной проснулся и, увидев приезжих, что-то невнятно промычал. Нилина подошла ближе к его койке.

— Может ли он сам передвигаться? — спросила Нилина.

— Только, если до ветру, а больше-то нет.

— Еще не все потеряно, — сказала Нилина. — Сколько времени он болен?

— Да второй месяц пошел!

— Я займусь им. В Среднеколымске нам все равно придется задержаться вероятно около недели, раньше не достать оленей.

VII

У копача Панова под ряд были неудачи. Несколько лет он бродил по левому притокам Витима и не находил золота. Это бесцельное и пустое хождение по тайге Панов решил оставить навсегда, сплыть в Бодайбо, за пределы вольного Витима, подчиниться царской власти и поступить на хозяйские прииска. Это было так же тягостно копачу, как чукче-кочевнику стать береговым и оседлым, расстаться с оленьими стадами. Это значило порвать полностью со всеми грезами о богатстве. Старатель получал у хозяина только жалование. А вольному копачу всегда грезилась необычайные открытия, за которыми должны были последовать несметные богатства.

Былинной силой обладал Панов и роста был высокого. Говорил трубно, басовито. Ходок был наипервейший по Витиму. Ни один копач не мог столько унести на плечах, сколько Панов. И тайгу он знал лучше других хищников, и столько волос не было на голове Панова, сколько золотиносных ручьев исходил этот неутомимый искатель.

И вот этот сибирский землепроходец решил с товарищами после ряда неудач отказаться навсегда от хищничества и идти на прииска к хозяевам.

Околев от холода, бродяги выходили на реку Витим по ключу Среднему Орлову, который зовется теперь Каролоном.

Спустилась темная ночь, закрыв тайгу и скалы, в которых шумел ручей.

Не дойдя трех километров до устья ключа Средний Орлов, бродяги остановились на ночлег. За весь день они съели несколько горстей кедровых орехов, ободрали белок, которых зашибли камнями, и пожевали питательных кореньев, собранных в тайге.

Подкопав кайлами и лопатами под нагесом скалы место для ночлега, хищники легли тесно друг к другу, разведя впереди себя костер. Огонь, отражаясь

от каменного ската, излучал тепло целую ночь, и копачи чувствовали себя, будто в избе. Вода, скопившаяся в трещинах скалы, давно замерзла, хваченная осенними заморозками. Но разогретый огнем костра лед вдруг раздался в стороны по трещинам скалы, и каменная глыба шумно лопнула сразу в нескольких местах, разбудив копачей. Они проснулись, смотрят на камень, освещенный догорающим костром, и не верят глазам. В обломках скалы, в кварцевых жилах светятся золотые самородки.

— Как тараканы лезут! — вымолвил обомлевший Панов.

И люди, голодные, прозябшие, усталые, разбитые безысходностью, вдруг распрямили плечи, подняли понурые головы, и глаза заблестели потерянным было блеском.

Копачи сразу забыли о хозяйских работах, о холоде, голоде, о пройденном пути.

— Теперь мы скалу обложим кострами, нагреем, а потом — водой студеной будем поливать! Камень рассыплется, сам нам все золото отдаст, язвы его! — сказал Панов товарищам.

Раскаленная огнем костров, политая студеной водой из соседнего ключа скала с треском рассыпалась, показывая копачам свои потайные кладовые. Люди работали без сна, торопливо, у дико бегущего ручья. За несколько дней они набрали четыре килограмма чистого золота.

Оставив двоих копать и мыть золото, Панов с товарищем пошел в город Баргузин — центр золотопромышленного района Среднего и Верхнего Витимов. Баргузин стоит на одноименной с ним реке, впадающей в озеро Байкал.

— Мы скоро вернемся, — сказал на прощанье Панов. — Сделаем заявку, получим право на разработку и приедем к вам на лошадях с продуктами и новым инструментом.

Исполнилась мечта всей жизни Панова. Он нашел самородное золото, которое само «лезло» из камня. Весь мир был теперь у ног копача, так казалось человеку, брюхо которого сводило от голода.

Нелегко был путь в Баргузин от золотой скалы ключа Среднего Орлова, — шестьсот километров по нехоженной тропе в позднее осеннее время. Истощенные, они перевалили через Муйский хребет и дотащились до Баргузина в одних лохмотьях, неся в котомках золото. Хищники зашли прежде всего в лавочку кабатчика Фризера «выпить по рюмашечке», закусить и немного обогреться после дальнего пути. Очухались копачи в кабачке после того, как ни одного грамма из добытого золота не оставалось уже в их котомках. Не купили ни товаров, ни инструмента, не наняли лошадей до ключа Средний Орлов, где дожидались их у золотой скалы голодные товарищи.

— Прошли мы себя и товарищей, — говорил Панов. — Как теперь покажемся у Среднего Орлова? С чем придем туда? Что же мы, гады, понаделали? — сокрушался Панов. В нем, как в старом копаче было высоко развито чувство товарищества. — Пропадут теперь ребятушки, дожидавши нас! У них и спички на исходе. Околеют они с холода и голода!

— Как же выручить их? — боязливо глядя на Панова, сказал второй копач. — Ведь с пустыми руками мы им не нужны.

— И я так думаю, что с пустыми руками мы им не нужны. Придется продать это место, — сказал Панов, и лицо его побагровело.

— Такое-то место! — воскликнул второй копач.

— Да, такое! Что? Жалеешь? И мне жалко! А товарищей и того жалче! — сказал Панов.

Когда Панов пред'явил впервые за скромную закуску большой самородок невиданного еще на Баргузине типа золота, понял тогда кабатчик Фризер, что люди нашли где-то в горах несметные клады. Пропивший добытое золото, пьяный Панов предложил Фризеру заглазно купить все месторождение; кабатчик этого только и дожидался. Он выложил копачу сразу две тысячи рублей. Панов купил лошадь, продукты, инструменты и помчался вперед к товарищам, которые заждались его у золотого

ключа. Панов рассчитывал, что пока Фризер выберется к Среднему Орлову, копачи намоют немало золота у ключа.

Панова встретили у Среднего Орлова без упреков. Добытого золота и оставшихся денег хватило хищникам лишь для того, чтобы покутить в Муе. И «богачи» вновь стали бродягами, искателями счастья.

Через несколько лет Панов отыскал богатую золотом косу Благодатную. Добыв много золота и помня урок Каралонского прииска, который гремел уже на всю Россию золотыми богатствами, Панов решил быть осторожнее. Но, добравшись до Бодайбо, вдруг задикошарил: нанял для одного себя целый пароход и решил сплывать по реке Витиму к Лене и оттуда в Иркутск, чтобы посмотреть большие сибирские города, о которых много слышал. В городе Вигиме Панов держал пароход две недели у пристани, все никак догулять не мог. И когда догулял, то остался снова без денег, как после кабатчика Фризера. На том же пароходе, где он плывал хозяином по Витиму, он пошел обратно кочегаром.

Много лет кряду собирался Панов съехать из тайги, проститься с ее суровыми неписаными законами. Но каждый раз, когда, как птица, в комнату залетала к Панову возможность начать новую жизнь, он терял ее без печали и сожалений.

Открыв еще несколько месторождений, Панов сошелся с одной из мамок золотоискательской партии. В мамки шли средних лет хозяйственные женщины, они следили за хозяйством артели, чинили копачам одежду, готовили незатейливую еду. Хорошей мамкой дорожила вся артель, и каждый из копачей следил друг за другом, чтобы кто-нибудь не сошелся с мамкой. Эта связь приводила обычно артель к развалу. Закрутив любовь, мамка перестала думать о копачах, и те ходили голодные и грязные и вяло мыли золото. Вот почему на Среднем Витиме был закон безжония среди копачей. И, Панов, чтобы не ломать закона, решил, поженившись на мамке, уйти к Верхнему Витиму.

В тайге, в самом устье реки Ингура, где шумели, пенясь, на камнях, одиннадцать порогов, одиннадцать шипишек, как называли их копачи, построил Панов небывалый для этих мест дом о пяти комнатах с петухом по коньку и железной кровлей.

— Построил тебе развиденцию, жи-ви не тужи, мамка! — говорил Панов.

В «развиденцию» Панов ухитрился затащить из Читы пианино, на котором не только сам, никто на пятьсот километров вокруг, играть не мог. Комнаты в просторном доме пустовали, а жил копач с женой на кухне. Мирно копачил несколько лет. Но произошло одьажды такое, что вырвало Панова из ленской копаческой жизни. Вернувшись как-то домой, Панов обнаружил небыгалую измену со стороны мамки. Она достала у проходившего мимо копача спирт и, таючись от Панова, не дождавшись его возвращения, выпила все без остатка.

Обманывали Панова всячески. Отбирали его прииска, которые он разыскивал годами трудов и недоеданий. Изменяли не раз ему женщины с ничтожными полюбовниками. Друзья выдавали Панова полиции, не поделив с ним золота. Обкрадывали и скрывались с награбленным добром. Все прощал копач Панов. Но такой измены не мог перенести и по законам тайги полоснул ножом свою мамку под самое сердце, как режут на севере оленей.

Опротивела после того Панову Лена, и пропал он без вести. След Панова отыскался через много лет на Колыме, куда он пришел седым, но крепким еще ходоком. Перекочевал по таежным тропам из Якутска через Оймекон на Хириникан, прослышав про колымское золото. Но здесь из-за постоянной голодухи вдруг зацынговал старик.

VIII

Кочегар Силин сидел за столом близ больного Панова и писал предлинное письмо чернильным карандашом. Он слюнявил по привычке карандаш, и кончик языка становился синим. Письмо посылалось в Москву брату-железнодо-

рожнику, с которым он делился своею тоской по морю и обещал, что уйдет с Колымы снова в море.

Силин угощал гостей жареными куропатками. Он настрелял их осенью, заморозил убитые тушки, и они сохранились нетронутыми, будто пристреленные еще сегодня.

На койке нудно мычал больной копач. Глаза его были неподвижны, мертвенно бледны распухшие щеки, плотно сомкнуты синие, неговорящие уста.

«Он, должно быть, долго не протянет, — подумал Коннов. — Уходит последний представитель разудалого копаческого племени».

Нилина потчевала больного разными снадобиями из своей аптечки. Панов принимал лекарства, с трудом раскрывая рот. И, быть может, в благодарность что-то протяжно мычал.

От Среднеколымска путь предстоял на Абый. Сверкая ледяной одеждой, гесело стоял городок Среднеколымск. Колымчане обмазывали бревенчатые стены домов мокрым снегом, словно штукатуркой. Мокрый снег сразу схватывался крепким морозом, только пар шел от стен, словно в русской бане. Колымчане с начала декабря «леденили» свои дома, закрывая их непроницаемой для студеных ветров ледяной корой. Люди делали так для того, чтобы сохранить тепло в избах, срубленных столет назад. Мальчишки гоняли собак далеко в лес по дрова. Когда-то тайга закрывала колымские берега у самого селения, но ее позырубили, оголив берег, и стали ездить за дровами далеко на собаках, оленях или конях. Кони — их было несколько в полярном городке — обросли длинной шерстью. Шерсть была вся в блестях кудрявого инея, и потому животные казались все белого цвета, как обледелые дома, как сама закрытая снегами Колыма. Собаки мчались с нартами в тайгу, будто с горы снежная лавина, только слышно было, как гикали отчаянно ребятишки. Для них поездка за дровами далеко в тайгу была веселым трудом. Они не берегли себя от мороза, и на раскрасневшихся детских лицах часто были видны почерневшие пятна обмороженной кожи.

Из леса груженные нарты шли медленно, и мальчишки, покрикивая на собак, помогали им тащить нелегкую поклажу.

Коннов смотрит на этот ветхий городок, свержающий нарядно своими ледяными одеждами, смотрит на людей, живущих здесь столетиями, сохраняя говор предков, завоевателей Колымы. Древние казацкие словечки еще остались у колымчан, медлительность и спокойствие сохранились в их характере. Перед Конновым встают, словно отлитые из бронзы, люди, которые пришли в Колыму ледяной тропой Полярного моря, пробившись сквозь ледовые заслоны с первой эскадрой морских пароходов, открыли Колыму с моря. Недалеко от Среднеколымска, в загоме Лабуя, стоят речные пароходы, приведенные моряками в Колыму. Оседлана река пароходами, трубят они зорю пробуждающегося края. Вон трактор, впрягшись в груженные сани, тащит бревна плавника на стройку нового порта. Вон строятся баржи, которых поведут речные пароходы тут же вслед за уходящим льдом весной на Север, к месту встречи с морской эскадрой. В эфире рассыпаны позывные новых колымских радиостанций.

Пойдут летом с Тихого океана на Север снова корабли кильватерной колонной вслед за ледоколом, тропой, указанной разведчиком льдов — самолетом, поднимутся вверх по Колыме первые ее пароходы с баржами, полными жизненно-необходимого груза. Уже встают дома на безлюдных берегах, шагает новая жизнь по городкам и заимкам, где вместо церквей высятся клубы и школы.

IX

Нарты Коннова и Нилиной движутся на северо-запад. Ветви елей хлещут по щекам и малахаям, осыпая на одежду свои пышные куржаки. Олени, погоняемые новыми ямщиками, идут мелким шагом, друг за другом, уныло позванивая боталами. Нарты ползут к Индигирке.

Триста лет назад к этой порожиистой реке пришли первые русские люди. И только через триста лет прибыла сюда

первая партия ученых гидрографов, гидрологов и астрономов-геодезистов. Это случилось всего лишь за год до проезда Коннова через Индигирку на оленях.

С Полярного моря большие суда не входили ни разу в Индигирку и не поднимались по ней. В район реки Момы, притока Индигирки, завозилось грузов за год на одного человека всего лишь пять килограммов. Это происходило потому, что необследованная человеком река не впускала с моря суда, а собачьего и оленьего транспорта не хватало для того, чтобы снабдить весь крайний Север.

Тунгусы говорили, что ни один человек не может даже близко подойти к Индигирским порогам, не только переплыть их. Высоко в горах, над рекой, зажатой в каменных теснинах, сидит дух гор, у самой середины всех пяти порогов Индигирки. Как только завидит он человека, вмиг спустит на него своих верных собак, на которых ездит по горам. Эти собаки — злые ветры. Как напустит он злые ветры, свалят они человека, разобьют об острые камни и наполнят душу его ужасом. От Якутска до самой Колымы ходили легенды о жестоких порогах Индигирки.

На сто километров в длину раскинулся порожиистый участок этой своеобразной реки — победительницы гор.

Советский ученый, начальник Индигирской изыскательской партии Бусик, решил заснять реку, разыскать вход в нее с моря, рассеять вековое суеверие, — описать уклоны порогов, дать представление о мощности реки, зажатой в каменных щехах, рассказать о ее глубоком каньоне.

Бусик был создан природой для мужественных переходов по неизведанным дорогам. Работая до-устали, он находил еще время перед сном для того, чтобы рассказать в своем походном дневнике о работе, о том, что занимало его за день. Начальник вставал раньше всех в лагере и будил товарищей. Люди спали по пяти часов в сутки, остальное время продвигались вперед с промерами глубин реки, со съемкой ее крутосклонных берегов, с нивелировкой. Вместо наркомзодовской пятикилометровой нормы партия

Бусика спускалась вниз к порогам с промерами по тридцать километров в день.

— Мы дойдем до порогов, и я дам вам большую дневку, — обещал изыскателям начальник.

И вот издали слышался звенящий шум порогов. Казалось, что где-то неведомо шумел предлинный поезд, грохоча по рельсам железной дороги.

Наступила звездная ночь. Раскинув палатки, люди мечтали о предстоящей заслуженной дневке. Но и на завтра, когда Бусик предложил желающим плыть вместе с ним в пороги, которые шумели призывно и тревожно, все пожелали плыть вместе с начальником. Он отобрал себе в помощь троих, которых мог взять с собою в моторную лодку.

Своей неутомимостью и любовью к познанию неведомой реки Бусик заразил всех сотрудников партии. И вот люди стояли перед заветной целью. Об отдыхе никто не думал на этой реке, где пьянил человека запах воды, багульника и хвойных лесов и чаровал неизбывный, звенящий шум ревущих порогов.

Поплыли вниз по течению на маленькой моторной лодке. Решено было так: до порогов доплыть, но в тот же день не переплывать, а сначала обойти берег, узнать характер слива реки. И вот мотор стал подходить к первому порогу. Бусик подвернул к берегу, залез на гору, осмотрел сверху порог и быстро спустился вниз.

— Дело плетное! Это не порог, а простая шивера! Валяй вперед! Держись правее! — крикнул начальник рулевому, садясь в лодку.

Моторка понеслась вниз. Ее подхватило быстрым течением, и она устремилась по тому пути, который указывал Бусик. Первый порог был пройден, и второй уже явственно шумел невдалеке на каменном коггистом ложе. И снова Бусик вышел на берег, залез на высокую скалу и глянул сверху на второй порог.

— Это или шивера, или пережат! Это не порог! — сказал начальник, пренебрежительно махнув рукой, и моторка тронулась дальше.

— Очевидно здесь предпорожье, а самые пороги где-нибудь впереди, — решил исследователь.

Перед третьим порогом Бусик не стал подворачивать к берегу, не забирался на прибрежную горку. Он поднялся в лодке во весь свой огромный рост и, махнув рукой, крикнул рулевому:

— Пошел вперед серединой!

Лодка стремительно понеслась, как нарта с горы. Бусик стоял около рулевого и смотрел вперед на пенящуюся реку. Вдруг, ударившись носом о камень, скрытый под водой, лодка на миг задержалась, и люди от внезапного удара попадали на днище. Потом, развернувшись кормой, лодка еще несколько раз толкнулась бортами о торчавшие из реки камни и остановилась среди пенящейся реки.

Бусик плавал, как нерпа, его помощник Калинин тоже был отличным плывцом. Рулевой и моторист не решились покинуть захлестнутую водой отяжелевшую лодку. Она едва держалась на плыву.

Начальник плыл в кожанке и сапогах. От вогнутого берега шло сильное отбойное течение. Пытаясь выбраться на берег, Бусик сбил ногти об острые мрачные камни. Не пересилив отбойного течения, Бусик поплыл к другому берегу и быстро достиг его. Сидевшим в лодке видно было издали, как снимал с себя на берегу мокрую одежду начальник и как вдруг, заметив тонущего Калинина, он бросился к нему на помощь.

Окоченев от студеной воды, рабочие судорожно держались за борта лодки, упавшей в тихое место. Но даже и здесь, в тихом месте порога, лодка чуть ходила то вправо, то влево между двух острых камней. И здесь сказывалось мощное дыхание дикой реки. Ославшиеся в лодке видели, как Бусик подплыл к Калинину, как тот обхватил своего спасителя и как вместе они скрылись под водой. Несколько раз они показались еще на поверхности и потом исчезли навсегда. Лодку вдруг вырвало из камней и понесло вниз по течению. Рулевой снова стал у руля и правил туда, как указывал прежде начальник. Третий порог протащил лодку за свои вспененные границы. Ее неожиданно подбило к большой коряге. Рабочие выбрались на берег и потащились к месту гибели Бусика и Калинина. Но ничего не увидели

в пенных водах взбешенной реки и поплыли обратно к табору. Так хищный порог расправился с первыми смельчаками, исследователями Индигирки.

Сподвижники Бусика обработали все материалы по Индигирке, добытые отважным отрядом. Они проложили на карту глубины реки, распознали и описали опасные камни, разбили суеверие веков. Река вычерчивалась в чертежных Иркутска, ложилась на карты извилистыми берегами. Дело, начатое по мысли Петра еще экспедицией Беринга, заканчивалось в стране Советов через два столетия. Советские люди прошли на моторных лодках, пересекая пояса земли от умеренного до холодного, из густо заросшей тайги — к голым, безлесым, закрытым мхом и снегами безлюдным берегам Севера.

Так прокладывались водные подездные пути к Полярному морю, торилась дорога на советском Севере.

К этой реке нарты Коннова подошли по насту — ледяной корке снега. Олени скользили по насту своими тонкими ногами, падали и снова поднимались, попукаемые ямщиками. В долине реки гулял хлесткий ветер.

Х

Новый год Нилина и Коннов встречают на берегу озера, окруженного лиственницами и елями. Обвисли тяжелые ветви в блестях куржака. Безветрие. Ничто не шелохнется в тайге. В тумане ночи не видать берегов озера, и оно кажется бесконечно большим. Ямщик, высокий, жизнерадостный, всегда напевающий якут, оставляет раскинутую близ озера палатку и уходит в лес, где вскоре слышится стук топора. Сухое дерево горит ярко и быстро дает тепло застывшим в дороге ногам. Ямщик вырубает из озера кусок льда, мельчит его топором и набивает звонкими ледяными осколками медный чайник. Вода в чайнике долго не закипает на морозе.

Заканчивается четвертый и последний год первой пятилетки.

На Певеке, где стоит во льдах караван морских судов, сейчас тоже встречают новый год и, быть может, вспоми-

нают Коннова, бредущего по тайге с вестью о великом походе.

Олень опрокинул при спуске с горы нарты, на которой сидела Нилина. Половиной ее ударило в голову. Меховой малахай ослабил силу удара. Нилина крепится, не хочет показать, что ей больно. Но по тому, как она украдкой жмурит глаза, Коннов видит ее страдания, облегчить которые не может.

Ямщик, рослый и красивый якут, говорит безумолку о своих оленях. Это редкий тип ямщика, который щадит своих оленей. Он подходит к ветвисторогому, высокому оленю, щиплющему ягель неподалеку от палатки, поднимает его коричневую морду, чтобы ее было видней русским, и говорит:

— Учугей!

— Хорошо!

Он хвалит своего лучшего ездового. Огонь освещает ямщика и оленя. В заснувшей под снегами тайге ямщик со своим оленем кажутся вылитыми из бронзы среди суровости и тишины Севера.

После чая ямщик быстро засыпает. Ему нет дела до нового года. Ямщик накрылся пушистым заячьим одеялом, молодецки похрапывая. Догорают поленья в костре, и становится темнее во круг, прячутся в темноте ели.

И в этой темноте, когда не видно лица друг друга, Коннов снова, как в Восточной тундре, спрашивает Нилину, сидящую рядом на оленьей шкуре в палатке:

— Зачем вы едете в Москву? Дорога так тяжела, она бесконечна, и разве вы уверены, что пройдете эти тысячи километров, которые еще лежат перед нами до железной дороги? Зачем?

— Я еду в Москву за правдой, — говорит в темноте Нилина, и Коннов настораживается.

— Я не верю в нечаянную смерть Солнцева! Я знаю его постоянную осторожность при обращении с оружием. Он не мог застрелиться. Его застрелили.

— Но ведь были же свидетели! — восклицает Коннов.

— Я им не верю! Москва поможет мне разобрать это дело, и, возможно, свидетели станут обвиняемыми. Солнцев

многим мешал своей прямолинейностью. Это был редкий человек, быть может, таких во множестве дадут грядущие поколения, но сейчас их не так много. Его большевистская прямота была многим не по нутру. Его убрали люди, на пути которых он стоял, разоблачая их гнусную работу.

— О ком вы говорите? — спросил Коннов.

— Вы не знаете этих людей! Но я еду в Москву, чтобы рассказать о них. И я дойду до Москвы!

Недолгое молчание кажется вечным. Становится томительно, как в душной юрте.

— Меня не было с ним, когда раздался этот выстрел, — тихо говорит она. — Вдруг получила записку: «Приезжайте как можно скорее. Захватите стерилизатор и все необходимое для полостной операции. Солнцев застрелился».

Я раскидываю в стороны разные мешки в своей палатке, бросаю из стороны в сторону чемоданы, я раскрываю и снова закрываю их.

Надо будет прокипятить инструменты для операции. Для этого придется разжечь примус. И вдруг выскочило из головы, никак не припомню, куда я положила примусные иголки. Если я их сейчас же не найду, то Солнцев погибнет, пропадет из-за такой мелочи. И вдруг вспоминаю, что иголки — в моей полевой сумке.

Еду верхом следом за проводником якуту Андреем, который привез мне страшную весть о несчастье.

— Андрей! Куда и как ранен начальник, из какого ружья? — спрашиваю ямщика.

— Ружье пульное. Начальник вынул его из чехла дулом к себе. Куда пуля вышла, не знаю. При мне не успели осмотреть, погнали к вам с запиской.

Кони бегут рысью. Еду и ясно представляю палатку и побледневшего Солнцева, лежащего в ней с растростертыми руками, и вижу лужицу крови. Я мысленно резецирую и тут же волнуясь, боюсь, что операция выйдет недостаточно чисто. Но Солнцев ведь так силен, он выживет, он поправится, найдет в себе силы добраться до первой хорошей боль-

ницы, а оттуда его быстро, самолетами, перекинут в Москву. И все будет по-хорошему. Так я думаю, сидя в старом казачком седле. Мы едем уже час, но я все не вижу палатки Солнцева. Еду бодро, я уверена, что окажу помощь. Я не представляю, что Солнцева вдруг не станет, он не будет больше существовать. Это чудовищное предположение даже не возникает в моей разгоряченной голове. Мы едем уже два часа, и все нету палатки! «Мой проводник потерял верную дорогу, или он нарочно водит меня!» — вдруг соображаю я. — Ведь этот проводник — кулак якут Андрей, у которого недавно отобрали стадо. Он нарочно кружит со мной по тундре, чтобы не успеть к умирающему Солнцеву!

— Андрей, куда ты едешь? — спрашиваю, нет, не спрашиваю, а кричу я иступленно.

— Дорога самый учугей, дорога хороша! — спокойно говорит мне Андрей.

Тундра выжелтела от летнего незаходящего солнца. Мне ненавистен этот желтый, блеклый цвет. Я гоню своего коня. Он скачет по зыбунам и кочкам. Слышно, как екает у коня селезенка. Вот наконец палатка! Щемит сердце. Чувствую, как бледнею. Но креплюсь. Надо крепиться. Надо быть мужественной, — уговариваю сама себя. Соскакиваю с коня. Бегу. Подлезаю в палатку. Солнцев — на оленьей шкуре. Руки раскинуты, но крови нигде не видно. Это сразу успокаивает меня. Я делаю раненому инъекцию камфары. Я слушаю его сердце и... не слышу биения. Солнцев умер. Уже проступили багрово-лиловые трупные пятна. Значит, я сделала впрыскивание мертвому человеку. Я опоздала. В брюшной полости Солнцева скопилось много крови. Я томпонирую рану, но к чему? В палатку заходит молодой чукча и плачет, растирая по грязному лицу липкие слезы.

— Айнакургин! Ты видел, как это все произошло? — спрашиваю я его.

— Уйна! Нет! Я не видел этого, я убежал в палатку, когда начальник уже лежал на земле, он кусал свои руки от страшной боли. Я дал ему из фляжки немного спирта, растирал ему руки, тут и русские подбежали. Начальник все по-

сылал меня посмотреть, не взойшло ли солнце. Наконец показалось и солнце. Я сказал об этом начальнику и заплакал. «О чем ты плачешь, Айнакургин? — спросил меня начальник. — Подойди ко мне поближе! Подними меня немного, я хочу в последний раз посмотреть на солнце. Айнакургин, передай всем чукчам, чтобы они крепче держались за советскую власть!»

После этого он лег, заснул и вскоре умер.

Так говорит мне Айнакургин.

Я смотрю на одежду Солнцева, ищу следы ожогов от пороховых газов, их нет, ни на теле, ни на одежде. Очевидно, что выстрел был произведен не в упор, а с известного расстояния. Значит здесь не самоубийство!

Нилина замолкает. Глаза ее стали влажными, голубые, ясные глаза, сияющие, как расселины многолетнего торосистого льда. Молчит и Коннов. Только слышно, как во сне кричит якут оленям: «Гой! Гой!»

Он сзывает их из тайги, куда они далеко зашли в поисках ягеля.

— Кровь Солнцева зовет, — вдруг ожигается она. — Не могут у нас на далеких окраинах погибать безнаказанно такие люди. Я дойду до Москвы. Я не замерзну ни в тайге, ни на высоких перевалах. Скоро Абый. Мы сделали уже больше трети пути, мы, пожалуй, уже на подороге к Якутску. Я дойду!

— Кто послал вам записку о несчастии? — спрашивает Коннов после некоторого молчания.

— Наш сотрудник, который был при Солнцева.

— Он был свидетелем его смерти?

— Он был когда-то в войсках Колчака. Солнцев верил тому, что колчаковец гереродился и стал советским человеком. Я думаю, что именно он убил Солнцева и, быть может, не один.

Нилина затихает. Возле палатки догорел костер. В темноте не стало видно голубых глаз Нилиной и ее лапкового лисьего полосатого малахая.

— Солнцев мне сказал накануне своего отъезда, когда наша партия разбилась на две части: «Как не хочется мне ехать без вас!»

Пойги бы мне тогда с ним, я бы вовремя успела сделать ему операцию, я бы спасла его от смерти. Каждый день я думаю об этом. Он сказал мне: «Первый раз я с сожалением расстаюсь с вами, хотя и не подвержен сентиментальной грусти». Я пришивала в палатке пуговицы к его полушубку и, пожалуй, не обратила внимания на его слова. А вот теперь, когда его нет, эти слова я не могу так просто вспомнить. Это не легко.

Я, насколько могла, привела в лучший вид тело Солнцева, но все еще не верила, что передо мною только труп.

Ведь в этой же палатке, где Солнцев лежит мертвым, он мыслил, работал еще только вчера. На нарте, посреди палатки, лежит тело, оно разлагается, пахнет, хотя это и не вызывает у меня отвращения. Я только чувствую невероятную горечь, обиду и щемящую боль.

Я вскрываю мертвое тело. Но как трудно братья за нож, как трудно резать!

Нилина снова умолкает.

«Она идет в Москву за правдой. Она бредет за нартами от Чаунских гор через тундру и неведомые перевалы, через тайгу и полярные реки, к железной дороге, — думает Коннов. — Какая настойчивость, какая сильная, яркая женщина!»

Палатка затихает на ночь. Наступил новый год. Тайга стоит в дремотной тишине. Слышно, как вдалеке позванивают боталами разбредшиеся по лесу олени.

XI

Красное полотнище, изъеденное туманами, трепетало от ветра над могилкой борца за советский Север. Солнцев погиб здесь за несколько дней до подхода первой эскадры морских и речных судов к суровому берегу Полярного моря Восточной Сибири. Он пришел сюда издаleка, чтобы наладить работу в тундре, и нашел свою могилу на каменистом берегу, у пустынного мыса, оглушенного прибывшими вскоре кораблями. Солнцев так и не увидел их дымок, не услышал богатырских погудок-разговоров гремевшей здесь эскадры, которая мечала льцo крaя.

Над его могилой не пели певчие птицы, их не было здесь. Ее не убрали живыми цветами. Ее вырубил там, где под тонким слоем тундровой земли шел сплошным пластом каменный лед и растлалась вечная мерзлота.

Бухта шумела. Юркие катера свистели тонкими, детскими голосками, таща за собой кунгасы и баржи, освобождавшие пароходы от бремени грузов. Во время короткого шабаша моряки и речники собирались группами у этой одинокой могилы и говорили о человеке, которого не знали, но о котором слышали много хорошего по всему Полярному берегу, где жили чукчи.

И по Колыме, где проходили нарты Коннова, шли разговоры о Солнце. Говорили о его вдумчивом отношении к якутам и чукчам, о неутомимой энергии, о высоком росте, сверхчеловеческой силе, о том, что долгие годы он проводил на Севере, работая здесь по заданию партии и правительства.

Школы и больницы, грамотность по якутским юртам, первые ростки советской культуры пришли сюда одновременно с этим мужественным человеком. Не прошло и полугода со дня его смерти, как о нем уже складывали легенды люди Севера, любящие все чудесное и исключительное.

Нилина больше ничего не рассказывала о Солнце. Она знала многое, но ей трудно было говорить о том, с кем она разделяла еще недавно тягости полярного сурового похода. Ей трудно было говорить о человеке, которого она несомненно любила какою-то жертвенной любовью. Его смерть ударила ее по нервам и заставила напречься до предела.

И брели в бесконечность оленьи нарты, и отрясали олени длинными рогами снег с протянутых ветвей таежных деревьев на кухлянки и малахаи.

Сменяется все чередою
И ночью, и утром, и днем,
И кажется путь бесконечный
Мечтой иль бредом, иль сном.

Абый светится в ночи мерцающими огоньками. Нарты подъезжают к самому большому дому. К нему везут ящики, это лучший дом из всех девятнадцати,

стоящих в этом городке на берегу безмолвного Абыйского озера. Заслышав звон бубенцов, выходят навстречу несколько красноармейцев. Они такие же, как в Москве, только на головах у них вместо остроконечных шлемов длинные малахаи.

— Откуда будете? — спрашивают они приезжих.

— С Восточносибирской тундры.

— С чаунской зимовки? А мы вас давно поджидаем.

— Откуда же вы знаете про нас? — удивленно спрашивает Коннов.

— А у нас радио далеко хватает. Мы слышали, как корабли ваши пробивались к Колыме. А теперь нам интересно будет послушать, что стало с экспедицией после того, как она ушла с Колымы. Зимой у нас связь нередко прерывалась, но о вашем отъезде мы тоже слышали. Ваш радист передавал радиogramмы в Москву с корабля, а наш подслушал. Мы теперь благодаря радиостанции не чувствуем здесь себя в одиночестве. Якутск хорошо слышать. Даже Японию иногда ловим.

За большим столом сидели, склонившись над журналами и книгами, несколько красноармейцев. Заслышав стук дверей, они поднялись навстречу вошедшим и помогли стянуть с застывших плеч заиндевшие кухлянки. После горячего чая всегда становилось веселее, сразу забывалось о пройденном дне и холодных захлестах пурги. Коннову хотелось и говорить без-умолку и слушать новости. Красноармейцы слушали о Колыме далеко за полночь. Только телегли спать, которым с утра предстояло ехать на дровозаготовки или стоять в карауле.

На побеленной известью стене висело огромное полотнище стенгазеты. Здесь были статьи о военной дисциплине, культуре, о ворошиловских стрелках и ударниках политической грамоты. Статьи были украшены виньетками и заставками. По краям стенгазеты смотрели портреты Ленина и Сталина, обтянутые красной материей. В библиотечных шкафах ровными рядами адели книги Ленина, стояли томы «Большой советской энциклопедии».

Утром дежурный по кухне угощал всех рисовой кашей, которую приготовил с курягой в честь приезда гостей, а красноармеец-хлебопек выложил на стол вкусно пахнущий горячий, еще дымившийся хлеб. Свежего хлеба Коннов и Нилина не видали от самого Среднеколымска.

XII

Коннов покупает в Абые две нарты, привязывает к ним вещи, чтобы не снимать их больше до самого Якутска. Только мешок с продовольствием, где мерзлый хлеб, сухари, пельмени и мерзлая ягода морошка, лежит непривязанный на сидении рядом с Конновым. Больше не придется менять в дороге нарты. Надо будет менять только оленьей. Это ускорит езду, меньше придется задерживаться на почтовых станциях-юртах, где живут подряженные Наркомсвязью ямщики-якуты и тунгусы.

— Мы поедem в Якутск без ночевок, — решает Нилина. — Мы будем спать на нартах. Мы скорее будем у цели.

— Утуй суох! Утуй суох! — кричит Коннов, входя в каждую станционную юрту. — Спать нет! Спать нет! — кричит он на ломаном якутском языке. Он подгоняет этим станционных ямщиков, чтобы скорее доставали оленей. Но ямщики никогда не торопятся, они говорят о том, что оленей близко нет, что они паeутся на далеких ягельниках и что лучше всего переночевать ночь в юрте и ехать с утра. Ямщики приглашают приезжих пить чай и отдыхать. Но решение Нилиной твердо, и ей не перечит Коннов. Напоив ямщиков чаем с сухарями и морошкой, угостив их черкасским табаком, Нилина с радостью смотрит, как ямщик начинает медленно натягивать высокие лосовые торбаза. Он пойдет в лес за оленями, будет сзывать их, протяжно крича: «Гой-гой!»

Ямщик просит у Нилиной щепотку соли. Соль — любимое лакомство оленя. Он бежит всегда к хозяину, если у него в горсти завидит белеющую соль. Не проходит и часа, как ямщик радостно кричит, входя в юрту:

— Оленья готова!

Но снова начинается чаепитие, потому что ямщик, не напившись чаю, не сядет на нарту.

В просторных карманах камлейки Нилиной всегда имеется пучок листьев черкасского табаку. Она угощает табаком в дороге своих ямщиков, тогда олени прибавляют шаг, они бегут быстрее, даже по глубокому снегу.

Первая бессонная ночь проходит незаметно, а после второй ночи Коннов приучается дремать, сидя на нартах. О дремоте, по-детски сладкой, рассказывает на дневках Коннову и едущая впереди Нилина. Дремы с грезами и видениями. Коннову кажется, что он в Москве, рассказывает в Наркомводе о холоде тундры, о крутых горах, о высоких перевалах. Олень задевает рогами за ветви елей, снег осыпается на горячее лицо Коннова и тает. Капля за каплей течет по лицу моряка, и их теплый бег еще не будит Коннова. Вдруг нарта с разбега ударяется о поваленную ураганом пихту. Коннов открывает глаза, и Москва сразу исчезла. Ели, снега, нагншее небо. Ямщик возится у нарты. Олений поезд трогается снова, и снова продолжается таежная сказка. Коннов и Нилина не спят больше в юртах, они дремлют на нартах, чутко и настороженно.

Когда отсыревшие меховые чулки и торбаза перестают греть иззябшие ноги, Коннов уговаривает Нилину задержаться на несколько часов в станционной юрте, чтобы просушиться у камелька, развесив на грядках одежды. В юрте, где сушит Коннов торбаза и тяжести, в углу за камельком возится с ребенком молодая женщина. Она приехала погостить на несколько дней к своим знакомым. Ребенку около двух лет, мать кормит его еще грудью. Она живет отсюда в ста двадцати километрах и приехала сюда, чтобы «поговорить», «покапсекать», и сегодня вместе с русскими нартами собирается уезжать. Пятидесятиградусный мороз не останавливает ее. Вместе с ребенком, которого не на кого дома оставить, она отправляется за сто двадцать километров, чтобы навестить друзей, погостовать, послушать новости, У станционных всегда больше новостей,

потому что здесь пролегает тракт, здесь ездят разные люди. А там, в глуши, далеко от тракта, где живет с ребенком женщина, подолгу не бывает новостей.

С каждым днем крепчает мороз. Градусник показывает уже пятьдесят девять градусов ниже нуля. Нарты приближаются к полюсу холода. И вот из-за пригорка вдруг показалось стелющееся над горизонтом солнце. Это солнце начинающейся где-то далеко весны, оно говорит о грядущем тепле, которое, быть может, увидят и Нилина, и Коннов. Вместе с Нилиной, будто по уговору, Коннов восторженно приветствует светило. Ямщики оглядываются на русских. Так беспричинно и резко мярчат¹⁾ по юртам большие якутки. Ямщикам кажется, что и Коннов, и Нилина замерячили в своем долгом пути от Полярного моря.

Розовым светом солнца зажжены снега высоких гор, верхушки заснеженных кедров и елей. И этот розовый свет радует путников своей новизной. Они давно не видали теплых красок в холодной синей тундре, темнозеленой тайге, стоящей по полям в снегу.

Сгнула полярная ночь. Победно изза гор показалось солнце. Идет к концу зима. Через несколько месяцев освободятся от ледового плена моряки, зимующие в Чаунской губе. Там они построят из зимовочного теса Дом просвещения для чукчей и баржи для Колымы из плавника, леса-наносника. И в Доме просвещения будет работать бывший каюр комсомолец Рольфтыргин. И пойдут моряки домой во Владивосток на своих кораблях.

На Певеке тоже показалось солнце. И там моряки празднуют его радостное появление.

Коннов смотрит на огненный шар и вспоминает о Солнце. Смотрят на солнце и якуты-ямщики, и даже олени, кажется, быстрее бегут по свежей пороше, оставляя маленькие следы.

— Учугей! Самый хорошо! — говорят ямщики, показывая на солнце. Они поняли вдруг, чему обрадовались русские.

— Сырдан! Светает! — говорит ямщик.

Рассветает по всему Северу.

XIII

В юрту вваливаются едущие из Верхоянска люди. Один из них хорошо говорит по-русски и рассказывает Коннову, что впереди, по горным рекам, нету наледей, зима благополучная, и никто из ямщиков не проваливался в наледь и не студил себя и оленей.

Ночью, окутанной туманом, везжают нарты в Верхоянск. Коннов сдает почтовую суму на станции городка. На стене почтовой конторы висит длинный список станций, которые остаются теперь до Якутска.

— Еще двадцать восемь раз придется перепрягать оленей, прежде чем увидишь Якутск, — говорит Коннов Нилиной, подсчитав количество остающихся до Якутска станций. Двадцать восемь раз придется еще ладиться с ямщиками, подгонять их чаем и табаком, много ночей не спать, а, смеживши очи, грезить на нартах Москвой, далекой и бесконечно близкой одновременно.

В Теньюрахе Коннов узнает, что впереди — высокий перевал, самый высокий на всем пути к Якутску от Певека. Ямщики на последней станции дают Коннову и его спутнице шесты, с которыми легче будет переваливать через Верхоянский хребет.

Коннов слышал еще по колымским городкам о Верхоянском перевале. О нем много страшного и чудесного рассказывали якуты.

И вот уже гребень перевала. Ямщики отпрягают оленей и ставят их позади нарт. Они подпрягают их с боков, чтобы олени служили живым тормозом для спускающихся нарт. Впереди, управляя нартами и оленями, идет ямщик-якут. Он не велит Коннову спускаться до тех пор, пока сам не достигнет подножья горы.

Олени упираются, скользят тонкими ногами, стараясь удержать быстрые нарты от разбега, чтобы не разогнаться самим с этой кручи. Все меньше и меньше становятся олени с ямщиком, они ка-

¹⁾ Припадки истерии.

жуются сверху игрушечно-маленькими. И тогда по нартыному следу спускается Коннов, и вслед за ним Нилина. Снег убит ветрами.

Вот уже половина спуска, как вдруг нога Коннова проваливается в мягкий снег, за каменным выступом, куда не заглянул ветер. Коннов скользит беспомощно щеткарями по снегу, получает разгон и, присев, несется вниз. Он размахивает руками, тычет палкой в снег, пытаюсь остановиться. Но вдруг и Нилина, взрывая снег, неудержимо понеслась вниз. Она звонко смеется и кричит. Смеется внизу и якут, когда, убеленные снегом, к нему скатываются люди. Олени в испуге шарахаются.

Не будет больше высоких горных перевалов и коварных наледей на горных речках. Нарты скачут по камням-валунам, торчащим из-под снега иссиня-черными шапками. Крепко слажены якутские нарты, и, как ни бьются они о камни, целы скользкие, будто навощенные, полозовины. Только чаще оглядываются ямщики, тревожно прислушиваясь к нартыному стуку о камни.

Перед самым Якутском Коннову отказывают в оленях. В выгоне стоят крупнозадые, откормленные лошади. Коннов указывает на них якутам. Ямщики долго и пространно объясняют что-то по-якутски. Нилина разбирает речь ямщиков. Оказывается, что в выгоне стоят кобылы, а на кобылах ямщики не ездят, они держат их только на племя или на мясо. Якуты ездят здесь только на конях.

— Когда придут кони с ближайшей станции, нас повезут к Якутску, — поясняет Нилина.

XIV

Кони везут медленным, нудным шагом. Нет ничего скучнее на свете, чем езда на раскормленных конях.

Кончились перелески. И вдруг раскинулось далеко широкое, белое, неохватное поле. Вон грядами высоко наторошен лед.

— Лена! — кричат ямщики и просят табачку.

Нилина поздравляет Коннова с прибытием к берегам великой сибирской ре-

ки. В радости Нилина сама обнимает и неловко целует его в бороду, серебряющуюся тонкими льдинками.

Вот и Якутск! Ямщик, не спрашивая, ведет нарты прямо на почту. Коннов и Нилина, сдавая почтовые сумы, перестают быть почтальонами холодной Якутии. Отсюда они полетят самолетом к Иркутску, к железной дороге.

Каждый раз, когда в таежном мраке вдруг вспыхивал снопом искр якутский камелек, Коннов с Нилиной входили, низко пригибаясь, в крохотную дверь гостеприимной юрты, где всегда можно было получить ночлег. Но в большом городе, где много улиц, просторных домов и много людей, Коннов и Нилина вдруг словно растерялись, выйдя со двора почты.

— Куда итти? К кому постучаться? — сказал Коннов. — Здесь не крайний Север! Как посмотрят на нас в наших лохмотьях, обожженных кострами кухлянках, опаленных малахаях, чукотских коротких торбазах, которых в Якутске не носит никто?

Чаунские зимовщики ходят по улицам города, робко озираясь на магазины, на людей, проходящих мимо и с любопытством разглядывающих приезжих. Вот уже вечер подкрался к Якутску. Зажглись в застекленных окнах электрические огоньки, а двое приезжих еще не пили даже утреннего чая и застыли от мороза, который перевалил за шестьдесят градусов.

На улице кто-то окликает Коннова. Он оглядывается. К нему идет, широко улыбаясь, Беда-Беденко. Он выехал не «почтой», не на Среднеколымск, а напрямик в Абый, через тундру, вместе с кочевниками, сократив намного свой путь. Беда-Беденко ведет неожиданных естречных в общежитие ленских водников.

Несколько дней проходят в томительном ожидании самолета, открывающего зимние рейсы. Из Якутска к железной дороге самолеты мчат людей через горные перевалы, над тайгой и реками. Вместо юрт и станционных изб люди обогреваются у кафельных печей воздушных станций Якутской авиалинии.

Тридцать дней надо мчаться на конях до Иркутска по зимней Лене. В три дня пролетает то же расстояние самолет. Самолет вырывает Коннова и Нилину из полярного оцепенения. Но даже в вагоне они долго не могут притти в себя. Им все кажется, что они еще трясутся на нартах по бугристо-замерзшей реке, или стучат полозьями нарт о камни, которых не замело снегами. Так и хочется пригнуть голову, чтобы не задеть закурженных ветвей нарядной ели. Так и хочется похлопать рукавицами, чтобы согреть иззябшие руки, пробежаться, вернуть утраченное на холоде свое тепло.

Но за окном мелькают столбы телеграфа. Поезд мчится к Москве, самому лучшему головному псу никогда не догнать его. И, если каюры Умка или Рольтыиргин увидят когда-нибудь этот поезд, они скажут ему свое «меченьки» — хорошо!

Молодой Рольтыиргин скоро увидит поезд, когда поедет на Большую землю учиться к Тану-Богоразу в Ленинград.

Как перед высоким лесом, остановится Рольтыиргин и долго будет смотреть изумленными черными глазами на большой город.

— «Меченьки» — хорошо! — скажет ему комсомолец-чукча.

«Меченьки!» — как сказал он высокому впервые виденному лесу.

«Меченьки!» — как сказал он о советских пароходах, которые стали из года в год привозить продукты к чукотскому берегу, прокладывая дорогу сквозь льды.

«Меченьки!» — как сказал он про самолет, несущий чукчам радостную весть об идущей среди льдов эскадре пароходов с грузами для тундры.

«Меченьки!» — как сказал он про красный галстук, подаренный ему зимовавшим в Певеке моряком.

«Меченьки!» — как говорит он про новую жизнь на советском Севере.

Меченьки!

Хорошо!

Послесловие

Метет пурга в Тикси, в море Лаптевых, близ самого устья Лены. Люди стучат топорами о бревна плавника, ставят

енцы первых изб нового портового городка Усть-Ленска.

Коннов вновь пришел к Лене, не штурманом, но уже капитаном, не на собаках, а на одном из пароходов, которые доставили Якутии жизненно-необходимые грузы. Снова ледяной тропой прошли корабли к северным берегам Якутии, но на этот раз не только к Колыме из Владивостока, но и к Лене из Архангельска. Второй раз Коннов видит столицу Якутии. В первый раз Коннов видел город в снегах, морозный и туманный, с безлюдными от стужи улицами. Теперь тепло, на якутских улицах много народа, радостно течет жизнь, на перекрестках и площадях слышится музыка иркутской и московской радиостанций.

Автомобили, самолеты, радиостанции приблизили Якутск к Москве, и она, далекая, кажется близкой к таежной Лене.

В Якутске Коннов неожиданно узнает о Нилиной. Ему рассказывают о том, что она родила в Москве сына. Ему дала она имя в честь человека, которого безгранично чтит. Значит, беременной она шла по тундре и тайге, по горным перевалам, за нартами чукчей и якутов, в морозы, когда дышать становилось трудно. И Коннов снова дивится этой женщине.

По делу о смерти Солнцева идет следствие, изолировано несколько человек. После разбора дела она уедет далеко на Север, в залив Провидения, к Чукотской земле, где организует первый постоянный медицинский пункт для кочевых и оседлых чукчей. Нилина подписала контракт на три года. Сына она берет с собой.

Три года она проведет на далекой земле. По веснам будет радостно встречать встающее из-за гор Провидения солнце. Она будет, как и многие на Севере, продолжать дело мужественного большевика Солнцева, имя которого помнят в ярангах чукчей и по юртам якутов и тунгусов. Помнят там, где рядом с плакатом латинизированного алфавита с заиндевевших от мороза стен, завешанных оленьими шкурами, смотрит сурово великий Эйрем — могучий человек — воспитатель Солнцевых.

Стамбул, Анкара, Измир

Л. НИКУЛИН

II. АНКАРА

«On pourra tuer les turcs, on ne les vaincra pas».

«Можно уничтожить турок, но победить их нельзя».

Мысли Наполеона, со-
бранные Бальзаком.

Вчера на закате солнца поезд про-
бегал по берегу Моаморного мо-
ря, вдоль залива Измид. Темно-
зеленые Принцевы острова лежали в
море, как стайка горбатых морских жи-
вотных. Закат быстро потух, но бледное
заревое огней Стамбула долго сияло на
западе. Темнело. Море угадывалось
справа по влажной прохладе, проника-
ющей в открытые окна вагона. Слева
ветер приносил бальзамический запах
кипарисовых рош. В бархатно-черной
пустоге медленно поворачивался трех-
угольник огней — желтый, зеленый и
рубиновый огни парохода — и дрожал
вертикальный световой столб маяка.

Утром мы были на другой планете.
Белесоватое небо низко лежало над
грустной и бесплодной землей. По плос-
ким, белым камешкам бежали скудные
ручьи. Как брошенный хворост, лежали
у камней мертвые, сухие кустарники.

Мы приближались к Анкаре.

Солончак, бурая с окисью земля, под-
стилагется под колеса паровоза. Цвета
верблюжьей шерсти горы расступаются,
нехотя пропуская железнодорожное по-
лотно. В воздухе зеркальной чистоты и
прозрачности всплывает серо-зеленое
облако — дым и пыль цементного заво-
да. Затем на исчерченной аллеями воз-
вышенности появляется Гази Чифлик —

парк и образцовая сельскохозяйствен-
ная экономия, показательное земельное
хозяйство.

Человек не отступил перед тысячелет-
ним, суровым пейзажем Азии.

И вы чувствуете уважение к зеленому
пунктиру акаций. И вас трогает дымное
облако над цементным заводом. Посте-
пенно из вашей памяти уходит кладби-
щенская зелень кипарисовых рош, мир-
ты Скутарийского кладбища, мрамор
вилл на Босфоре. Пятнадцать часов пу-
ти отделяют Стамбул от Анкары, и ка-
кая перемена! Где милое кладбище, дра-
гоценный мрамор истории, над которым
можно было пролить слезу о веке тор-
жественных селямлик, тысячу раз
описанных константинопольских собак,
вертящихся дервишей и шикарных воен-
ных аташе, соблазняющих фавориток
паши.

Когда путешественник проведет один
или два месяца под неумолимым солн-
цем Анатолии, когда он познакомится
с ветрами, поднимающими облака бурой
пыли, он научится ценить молодые ро-
щи Чифлика и два бассейна, называе-
мые Черным и Мраморным морями.
Эти моря в миллионы раз меньше под-
линных Черного и Мраморного, они ле-
жат перед вами, как увеличенный чер-
теж, перенесенный с географической
карты в единственный в городе Анкаре
парк — Гази Чифлик.

Суров и прекрасен пейзаж Анатолии.
Корни молодой акации мужественно це-
пляются за жизнь, проникая в скудную,
безводную анатолийскую почву. Тяже-
лые розовые сережки, первый весенний

цвет акации, радуют глаз анатолийца, жителя Анкары, больше, чем все кипарисы и лавры Стамбула. Я разрешаю себе чрезмерную пышность в описании Чифлика только для того, чтобы отдать должное упорному труду турецких садоводов, побеждающих климат и почву Анкары. Земледелец видит здесь усовершенствованные методы земледелия, образцовое скотоводство, садоводство и виноделие, ремонтную мастерскую сельскохозяйственных орудий, и все это сочетается с культурно поставленным общедоступным парком, местом прогулок и отдыха.

Господин скептик, пожалуй, осудит меня за такое дидактическое вступление. Господин скептик, читатель ориентальных романов, пожелает каиков, рассекающих бирюзовые воды Золотого Рога, белоснежных голубей в бухте Эйюб, «сладких вод Азии», муэдзинов и томных глаз, сверкающих в прорезах чадры. В сущности, все это можно было увидеть семнадцать лет назад, кое-что радовало глаз ориенталиста-любителя девять, десять лет назад, когда старая Турция нехотя уступала место новой. Но мы под'езжаем к новой столице Турции. В зеркально-чистом воздухе со стереоскопической отчетливостью нарисованы мачты радиотелеграфа. Минареты в Стамбуле, радиотелеграфные вышки в Анкаре — вот первое противопоставление, первый вызов древнему Стамбулу. И в то же время это вызов старой Анкаре, древней крепости на вершине горы, башням и стенам, сооруженным воинами Рима и воинами Тимура.

Когда мы говорим «Анкара», мы отождествляем этот город с историей новой Турции. Мы меньше всего думаем о прошлом этого города, древнем хеттском, греческом, римском прошлом. Хеттские львы, руины храма Августа, колонна Августа на провинциальной площади старого турецкого города, — все это сейчас только характерные штрихи, деталь, подчеркивающая лицо нового города. Туристы по привычке, почти автоматически фотографируют все, что полагается фотографировать путешественнику по Турции, — руины,

кладбища и минареты, и вдруг обнаруживают позади минарета на высоте пятого этажа современного жилого дома большую вывеску: «Школа Берлица», и видят на мраморной голове хеттского льва шлем мотоциклиста. Мотоцикл прислонен к туловищу льва, а сам мотоциклист сидит у стены, построенной римлянами, и читает «Хакимиет Миллие», газету народной партии.

Когда мы говорим «Анкара», мы не припоминаем недавнее прошлое — эпоху, когда здесь был провинциальный административный центр, местопребывание анатолийского вали, провинциального губернатора. Старое здание губернских учреждений, похожее на русское губернское присутствие, оставлено в прежнем виде как бы для того, чтобы резче показать контраст между старой и новой Анкарой. Новая Анкара, столица, центр Турецкой республики, почти вытеснила в нашем сознании старую. Мы понимаем, что столица молодой республики должна быть именно здесь, в центре страны, среди народа, испытанного в боях и лишениях и борьбе с природой. Столица независимой республики должна быть отодвинута от проливов, где в любой день могут бросить якорь непрошеные гости — чужестранные крейсера. Столица должна быть вдали от границ, слишком близко придвинутых по Севрскому договору к городу Стамбулу. Она должна быть вдали от чужеземных и космополитических влияний, которым подвержено старое поколение жителей Стамбула.

Знаменитый Мольтке в молодые годы, когда был еще полковником, советовал Абдул-Гамиду перенести столицу в Азию, в город Конию, древнюю столицу турок-сельджуков. Но султаны не могли отрешиться от славы Фатиха, завоевателя Константинополя. («Кто овладеет Константинополем, тот овладеет миром» — сказал Наполеон). Однако именно султан отдал Константинополь союзникам, именно султанское правительство подписало гибельный для турецкого государства мир и отдало страну во власть державам-победителям.

Оказалось, что нельзя ни победить ни уничтожить восемнадцатимиллионный народ. Оказалось, что Константинополь уже не ключ к овладению Турцией и миром, и Анкара, тихий, забытый людьми и историей, провинциальный город в Анатолии, стал жизненным центром, возродившим Турцию — «большого человека», дал жизнь и независимость возродившейся стране. Для людей из поколения султанской, оттоманской Турции этот поворот истории был полной неожиданностью.

Сейчас для молодого поколения, для тех, кому было десять лет (или меньше десяти лет) в эпоху войны за независимость, уже стали почти легендой рассказы старших о битве при Думлу Пунаре, о смирнском сражении, когда был сброшен в море десант интервентов. Помните отсутствующий взгляд и меланхолический взгляд молодого журналиста в ту минуту, когда ветеран борьбы за независимость рассказывал об оккупации Стамбула. Молодые люди, студенты и школьники, с вежливым вниманием слушали рассказы о том, как поздней ночью их отцы уходили сквозь тройные кордоны султанской и иностранной полиции из Стамбула на анатолийский берег. Как Джелал-бей, теперь министр экономики, пришел к партизанам в чалме под видом муллы, как вождем партизан — смирнских горцев — был восьмидесятилетний Мемед Эфе, вождь зейбеков. Именем его сейчас названа сельская школа.

Это была героическая пора борьбы за независимость, время, когда женщины, пробираясь под огнем, приносили артиллеристам снаряды, когда молодые люди женились перед отправлением на фронт, «чтобы оставить Турции потомство».

Газеты того времени печатались на коричневой оберточной бумаге (они напоминают наши фронтовые газеты времен гражданской войны). Вы читаете обращенные к врагу боевые лозунги!

«Уходи, пока мы не окрасили твою кровью» (газета «Огюд»).

Не очень много времени отделяет смирнское сражение от даты 1 ноября 1922 года — конца султанской власти

в Турции. Литератор, интересующийся эпохой крушения власти султана и халифа, заместника пророка на земле, должен перелистать газеты и журналы того времени, в особенности сатирические журналы. Он может пренебречь некоторыми стамбульскими газетами, печатавшими главным образом разоблачения гаремной жизни султанов и тайны сераля. Эта разоблачительная шумиха была естественна, — впервые турецкой печати было разрешено посягнуть на священную особу султана. Интереснее стамбульских были трапезундские газеты и сатирические журналы: они вели боевую пропагандистскую и разоблачительную работу.

На помощь карикатуристам пришел Карагез, герой турецкого театра, остро слов, досаждавший с давних времен муллам и дервишам.

Вот он беседует с хамалом — носильщиком, только что сбросившим со спины султанский трон. «Это — просто стул, — говорит хамал, — простой стул, но всю его тяжесть я почувствовал, когда сбросил его со спины».

Для того, чтобы хамал сбросил со спины трон, нужно было растолковать ему предательскую роль султанского правительства в эпоху подписания Севрского мира. На троне сидел монарх и халиф мусульманского мира. Молодая Турция вступила в борьбу с реакцией, спрятавшейся под чалмой халифа. Она упразднила власть духовного вождя, она атаковала клерикальную реакцию. Карикатуристы из сатирических журналов изображают чалму в виде кочана капусты. Карикатура приобретает облик боевого агитационного плаката.

Вот человек в чалме. Присмотритесь к рисунку: это не чалма, а змея. Под этим рисунком надпись: «Змея фанатизма обвилась вокруг головы молодой Турецкой республики». Это — вариант упомянутого Марксом выражения о «живой голове турка вместо закрученного тюбана». Дождь карикатур, разоблачающих дервишей, мулл и сектантов. Карагез упраздняет духовную школу — медресе. Он прибывает над входом в медресе новую вывеску — «школа».

Вспомните, где это происходит. Это происходит в Турции, стране воинствующего ислама, в стране, воевавшей и побеждавшей под зеленым знаменем пророка. Перелистайте томы Вамбери, книги путешественников, посещавших страну «великого турка». Вспомните все, что было написано о религиозной нетерпимости турецкого народа и фанатизме мусульман. Чалма и феска — символ воинствующей старой Турции. И вот феска упразднена, а чалма оставлена только служителям культа — муллам.

Горный волк, серый горный волк, мчится по горному ущелью, среди неприступных базальтовых скал. Это — рисунок на турецкой почтовой марке. Серый волк — эмблема современной Турции. Нельзя себе отказать в удовольствии повторить детскую сказочку о красной шапочке и сером волке. Как в старой сказке, волк съедает красную шапочку — фреску, съедает без остатка, и на этом кончается сказка. Горе поклонникам старого оттоманского Стамбула, — Стамбула капитуляций, левантийских банкиров, вертящихся дервишей. Как мило выглядели эти круглые, вишнево-красные головные уборы, черная шелковая кисть, ниспадающая на лоб стамбульского щеголя. Разве феска не придавала неповторимую пестроту, живость, яркость толпе на Галатском мосту, на пристанях, в кофейнях и театрах? И расстаться с этой милой деталью старого Стамбула, уничтожить целую промышленность, лишить хлеба людей, профессия которых заключалась в том, что они разглаживали феску, делали ее верхний край ровным и круглым, повторяющим самую точную геометрическую фигуру... Уничтожить феску только потому, что она напоминает о султанате, старой, доброй Турции.. Суrowый ветер дует от берегов Азии, ветер Анатолии. В одно мгновение он сдувает с головы стамбульских жителей фески, и, так как трудно найти такое количество шляп, чтобы заменить ими сотни тысяч фесок, магазины, торгующие шляпами, опустошают все свои склады. Шляпы всех сезонов появляются на улицах Стамбула — каракулевые шапки, панамы, цилиндры, фуражки,

наконец особый вид наспех сделанных шляп из защитной материи. Грузчики в Галате, только они одни не беспокоятся о головном уборе, — голова их повязана все той же тряпкой из выгоревшей на солнце материи. Верующие мусульмане, древние старцы в глухих деревнях скорее готовы расстаться с головой, — как же можно расстаться с чалмой-ходже побывавшему в Мекке, может ли родич пророка отказаться от почетнейшей зеленой чалмы, отличающей его от простого смертного? Но ветер из Анкары дует с ужасающей силой, — берегитесь, чтобы вместе с чалмой ветер Анкары не унес голову фанатика, реакционера. Ветер срывает чадру с головы женщины — волосную маску и шелковый мешок, превращающий женщину в бесформенный кокон. Он держится еще на плечах женщины в старых кварталах Смирны. Она даже отвернется при встрече с вами и станет лицом к стене. Жестом, унаследованным от многих поколений, она прикроет лицо, но еще небольшое усилие — и рука опустится, и исчезнет романтика чадры, покров тайны, привлекавший ориентальных романистов.

В Анкаре вы увидите мечети, обращенные в склады, Хаджи-Байрам, старинную, заброшенную и теперь забытую мечеть.

Эти реформы встретили сопротивление клерикалов и реакционеров, но что могли сказать народу дервиши и муллы, скажем, в тот день, когда была решена отмена вакуфов, когда земли, принадлежащие мусульманскому духовенству, передали народу. Какие доводы можно было найти против этого справедливейшего решения, когда самый отсталый крестьянин понимал, что эта реформа принесит ему реальную, ощутимую пользу. Однако молодой республике пришлось выдержать довольно длительную и жестокую борьбу с реакционерами, пришлось подавлять открытые восстания, бороться с тайной, скрытой подрывной работой реакционеров и империалистов.

В Смирне, в Народном доме, вы увидите портрет молодого человека в военной форме. Его звали Кубилай. Этот

человек был варварски замучен и обезглавлен в день мятежа реакционеров, в городе Менемен. Таким образом, у национального движения Турции есть свои мученики и герои. Когда вы думаете обо всем этом и представляете себе трудный и опасный путь, по которому шли люди новой Турции, когда вы говорите «Анкара», вместо того чтобы сказать «Турция», только тогда вы начинаете понимать историческую роль и высокое значение этого небольшого и замечательного города. Именно этому городу суждено было объединить в себе и вокруг себя все живые силы турецкой нации. Именно отсюда шло наступление на войска интервентов и на змею фашизма и реакции, обвившуюся вокруг турецкого народа. Вы начинаете понимать, почему турок из Анкары молчит, когда иностранец-турист расписывает ему прелести старого Стамбула и великолепие набережной в Смирне. Вы начинаете понимать разницу, видимую разницу между жителем Анкары и жителем Стамбула и Смирны, между толпой на улице Стамбула и прохожими на улице Анкары. Там — пестрота, разноязычие, космополитический муравейник, здесь, в Анкаре, — особенная сдержанность, достоинство, вежливость без тени низкопоклонства. В кинематографе, в ресторане, на улице вы ощущаете разницу между Анкарой и Стамбулом, разницу в отношениях к людям, разницу в самих людях, хотя бы они были людьми одной и той же нации и у них один и тот же родной язык. Хотя житель Анкары прямо не говорит об этом, но он не упустит случая, чтобы дать вам понять: здесь, а не там, настоящая Турция, именно здесь, в Анкаре и в Анатолии. И, разумеется, в этом есть своя правда, потому что именно здесь родилась новая и независимая Турция.

Журналисты. Депутаты. Дипломаты. Писатели. Что у них общего со старой Турцией? Кажется, иная социальная среда выдвинула их и сделала первыми людьми страны

Рушен Эшреф — литератор, дипломат, посол в Албании. В начале освободительного движения он был студентом

и сотрудником боевых газет эпохи войны за независимость.

Ака Гюндюз — редактор острого сатирического журнала «Пейям Сабах», той же эпохи, депутат меджлиса и один из редакторов газеты народной партии «Хакимет Милле» («Власть народа»).

Фалих Рифки — литератор, член делегации, представлявшей Турцию на конференции по разоружению. Публицист, написавший единственную в турецкой литературе книгу о нашей стране.

Якуб Кадри — писатель, вдумчивый и глубокий писатель. Его тема — разрыв между интеллигенцией и народом в современной Турции.

Какая дистанция между этими людьми и людьми оттоманского Стамбула, государственными людьми эпохи младотурецкого правительства! Насколько они прямее, демократичнее, смелее людей стамбульского периода турецкой истории! Я смею это сказать потому, что в этих людях особый отпечаток Анкары, дух Анкары — новой столицы Турецкой республики.

Спустимся в Анкару. Именно спустимся, предположив, что мы находимся на вершине горы, что мы подымались, не оглядываясь, не глядя по сторонам, чтобы оттуда увидеть во всю ширь долину — новый, выросший в одно десятилетие город.

Мы находимся под стенами древней крепости. Над нами — арка из грубо обтесанного камня. Одни и те же камни служили грекам, римлянам и воинам Тимура для постройки цитадели на вершине горы. Вы увидите вделанные в стену перевернутые латинские надписи. Вы увидите голову хеттского льва, вделанную в фундамент дома, построенного четверть века назад. Сейчас с хеттскими памятниками обходятся более почтительно. Мог ли подумать кожевник, тридцать лет разбивавший сыромятную кожу на спине хеттского льва, мог ли подумать этот кожевник о том, что однажды к нему явится археологическая комиссия и заменит льва обыкновенным камнем и с почетом перенесет льва в археологический музей?

Хеттский лев честно служил отцу и деду кожевника. Он стоял полвека в темной и тесной лавке в азиатской, узкой, грязной улочке старой Анкары. Она и до сих пор существует, старая Анкара.

Мы заставили себя подняться на гору и спуститься в старый город только для того, чтобы увидеть разительный контраст. Вот типичный азиатский базар, скопище осликов, буйволов и арб, запряженных буйволами. Вы вдыхаете запахи жарящейся на углях баранины, запахи лука, кофе, инжира, запахи караван-сарая старого мусульманского города. Словом, вечная Азия, — это похоже на Герат, Мешед и Старую Бухару. Ценитель ориентальных прелестей радостно раздувает ноздри. Он доволен. Это именно то, о чем он грустил. И вдруг кончаются азиатские очарования.

Новый, чистый город начинается внезапно у подножья горы. Широкие улицы, новые современные дома и магазины, выстроенные из местного, напоминающего гранит, камня. Две горы образывали род ущелья над крышами строящегося города. Половину одной горы сел город. Башня Тимура на вершине этой горы рухнула. Люди рвали динамитом, ломали камень и строили новую Анкару. Теперь этот камень рассыпан по всей долине, из него строят новые дома.

Новый город вгрызается в старый, отрывая кусок за куском булыжную мостовую, заменяя его свежими, еще дымящимися полосами асфальта. Новый город атакует ветхие, старые здания с фронта и тыла. С флангов, углом, боком вламываются в азиатские, узкие улицы дома современной архитектуры. Вделанные в асфальт светофоры указывают путь автомобилям. Хотя не так уже много машин на улицах, не так уже много света и световых реклам, но это — современный город, похожий на большой, благоустроенный горный курорт и совершенно не похожий на город древностей и коммерции — Стамбул, Константинополь. Однако и здесь почитают древности — никто не дерзнул например потревожить чету аистов, обитателей гнезда на верхушке римской колон-

ны, никто не потеснил римские саркофаги, собранные в сквере близ храма Августа, но с султанским, стамбульским прошлым обращаются решительно и непринужденно. Это прошлое, как видите, еще удержалось на вершине горы и на подступах к горе, но долина вся в руках людей нашего века. Десять лет назад здесь были беспредельные, старые кладбища, города мертвых, отнимавшие больше места, чем глинобитные дома живых. Малярийные болота поставляли мертвецов городам мертвых. Теперь нет ни кладбищ, ни малярийных болот. Широкая улица-аллея Каваклы Дерре прорезает долину. Млечный путь ночных огней, электрические созвездия представляют как бы световой план, световой чертеж нового города.

Это город иностранных посольств, правительственных зданий и особняков политических деятелей. Это музей национальной архитектуры тех стран, которые представляют послы.

Венгры выстроили особняк, напоминающий загородную виллу на Дунае, персы — здание в ориентальном вкусе, соединение мечети с караван-сараем. Поляки перенесли сюда галицийскую усадьбу — род замка галицийского магната. При этом произошел анекдот, напоминающий известную историю с мельницей Фридриха Второго.

В ста шагах от посольства находился старый деревянный дом, принадлежавший жителю Анкары. Это ветхое грибообразное здание портило фасад дома посольства. Чтобы открыть фасад, надо было снести старый дом. Домовладельцы запросили с посольства такую сумму, что поляки отказались от покупки дома. И ветхий двухэтажный дом стоит, как стоял, закрывая со стороны улицы галицийский замок. Товарищество, владеющее руиной, ждет, пока поляки расщедрятся, поляки ждут, пока домовладельцы умерят аппетиты, и право собственности, священные права собственников торжествуют. Так история мельника, не пожелавшего продать мельницу Фридриху Второму, повторяется с некоторым видоизменением.

Немцы построили в Анкаре довольно мрачное, тюремного типа, баварское по-

месте. В пятницу—день отдыха—флаги всех наций развеваются над зданиями посольств. В одну из пятниц, весной 1933 года, группа людей остановилась вблизи здания германского посольства. Эти люди говорили о том, что именно сегодня немцы, вместо черно-красно-золотого флага Веймарской республики, поднимут старый имперский флаг.

— Не знаю, произойдет ли это сегодня, — усумнился один из нас, — говорят, что посол специально запрашивал Берлин, нужно ли менять флаг. Здешние немцы, в сущности, приличные люди. Что у них общего с «наци»? Я уверен, что им противны эти средневековые мерзости, и мы можем быть свидетелями того, как здешние немцы не будут торопиться...

Но вдруг наш собеседник умолк. На флагштоке германского посольства появился род свертка, ветер подхватил сверток цветной материи и с треском развернул опромное полотнище с прусским хищным орлом. Но это оказалось недостаточным для полного эффекта, и на втором флагштоке взвился флаг, скрещенные черви фашистской свастики. Это была в своем роде историческая минута. За тысячи километров от Анкары перевернули страницу истории. Шелест перевернутой страницы долетел до нас и послышался нам в треске и шелесте флага фашистской Германии.

В ночь на фашистскую пятницу сильный радиоприемник наполнил громом барабанов, музыкой, ревом толпы большой полутемный зал нашего дома. Мы слышали шабаш на Брокене, истерические выкрики, заклятья, завывания фашистских ведьм. И это было самое удивительное — средневековый фашистский шабаш, переданный в эфир в 1933 году по беспроволочному телеграфу. Величайшее изобретение человеческого гения — радиотелеграф — и сожжение книг на площади у Бранденбургских ворот.

Впечатления следующего дня.

Анкара, редакция газеты «Хакимет Милие» («Власть народа»), центральный орган Народной партии. Два человека, сильные, пожилые люди, позируют фотографу в редакционной комнате.

— Это два мастера из угольных ко-

пей в Зунгулдаке. Мы поместим в газете их портреты и биографии, чтобы они служили примером для других.

На мгновение мы чувствуем себя как бы дома, на родине, в привычной редакционной обстановке.

Но это Анатолия. Но это Анкара.

В кофейне, на Старом базаре, блаженствуют игроки в нарды и тянут сквозь булькающую воду густой табачный дым наргиле.

Звуковой кинематограф извещает о перемене программы, идет новый фильм французского актера Мориса Шевалье, постановка «Парамоунт». Француз поет по-английски, и надписи на боковом экране переводят его песенки на турецкий язык.

Пять часов дня. У ресторана Анкара-Палас и у Карпыча стоят машины с флажками посольств. Эфенди Карпыч, бывший студент Лазаревского института в Москве, сдержанно жалуется на дела. Он переехал из Стамбула в Анкару, — начальство хочет иметь в столице хороший европейский ресторан. Но жители Анкары предпочитают здоровую национальную кухню, они привыкли к маленьким столовым, где все на виду и утварь блестит, как приборы лаборатории, и пахнет лимонами и жареной черноморской кефалью. Одни иностранцы ходят к эфенди Карпычу. Маленький хеттский лев—ангорская кошка (единственная ангорская кошка, которую я видел в Анкаре — родине ангорских кошек) — загадочно глядит на Карпыча глазами разного цвета — голубым и желтым зрачком.

На площади Суверенитета Нации, у подножья монумента в честь президента республики, блестят золотые пуговицы и алеют околыши дорожной полиции.

Автобусы — фанерные ящики, поставленные на грузовиках Форда, — ждут пассажиров в Каваклы Дере.

Улица-аллея Каваклы Дере начинается институтом Исмета-паши, высоким, как бы составленным из кубов, зданием с отражающими свет плоскостями.

Такое здание можно увидеть в Берлине, в Париже, в Москве, и однако фасад его не походит на комод с выдвину-

тыми ящиками, простейший вид новой, утилитарной архитектуры. Это — борт океанского парохода с возвышающимися одна над другой палубами. Здесь находится институт Исмета-паши — женское учебное заведение, очаг раскрепощенной турецкой женщины. Здесь турецкие девушки обучаются воспитанию детей, кройке, шитью, рисованию, проходят курс общеобразовательных наук и готовятся к самостоятельной жизни. Они сами обслуживают себя и готовят себе пищу.

Ну что ж, — скажет читатель, — обыкновенное закрытое учебное заведение. Но случай подготовил нам показательный контраст. Когда мы выходили из института Исмета-паши, по улице в двух шагах от нас проходила женщина с закрытым лицом, в чадре и шальварях. Плоскости и прямые углы своеобразного здания, отсутствие намека на ориентальный стиль были убедительным контрастом с суровым горным пейзажем и женщиной с закрытым лицом в старой, национальной одежде.

Вечер. Световая геометрия улиц, электрические огни Каваклы Дере лежали перед нами на десять километров впереди. Улица-аллея замыкалась освещенным прожекторами, президентским дворцом Чанкая. Не здесь ли ключ к тем переменам, которые мы увидели в современной Турции весной 1933 года?

Гази

Этот человек привлекает ваше внимание не только потому, что черты его мужественного, несколько сурового лица вы привыкли видеть в бронзе и мраморе памятников, на почтовых марках и кредитных билетах, в школьных домах, в банках и канцеляриях. Известно, что выдающиеся способности этого человека признают даже его враги. Памфлетисту и разведчику, автору книги «Серый волк», капитану Армстронг характерная фигура Мустафы Кемал-паши представляется «загадочной». И он главным образом останавливается на отрицательных качествах «загадочной природы» — главы турецкого государства. Негодование и возмущение, которые вызывает

книга Армстронга в Турции, заставляет литератора с особым вниманием эгнестись к человеку, которого зовут Мустафа Кемаль, президент Турецкой республики, а еще чаще Эль Гази — Победитель.

Он заслуживает внимания тем более потому, что люди большого опыта и наблюдательности, люди нашего лагеря дают высокую оценку этой замечательной фигуре века. Все это делает трудной и значительной задачу литератора, который попробует объективно подойти к действительно монументальной фигуре руководителя внешней и внутренней политики страны, о которой идет речь.

«Полнота власти—у того, кто не связан ни традициями, ни обычаями, ни средой, кто может лепить из государства и народа новые фигуры по своему усмотрению. Такая безудержная полнота власти таит в себе и страшные соблазны. Едва ли можно считать ее государственным идеалом. Но несомненно также, что такую власть могут обладать только люди исключительной силы. Такая власть не дается ни по наследству, ни по выбору; такую власть только берут».

Эта длинная цитата взята из статьи русского эмигранта, человека, чуждого и враждебного современной Турции. Пока не будем комментировать наивных взглядов автора относительно правителя, «не связанного средой», и продолжим рассуждения русского эмигранта о Гази:

«Из всех диктаторов наших дней, быть может, только один обладает такой властью... Ею мог бы обладать, пожалуй, Муссолини, но он не поддался этому соблазну и удерживает свою власть в известных пределах, остерегаясь посягать на монархию и на церковь, на укorenившиеся формы народного быта. Еще меньше обладает этой властью Гитлер...»

Автор этих строк не указывает пределов власти Гитлера, не говорит, что же собственно связывает самовластие Гитлера. В расчеты русского эмигранта не входит разоблачение Гитлера как агента королей германской промышлен-

ности. Не задерживаясь на этом факте, он переходит к характеристике Гази:

«Только Мустафа Кемаль, Гази, сейчас держит в своих руках власть, которой не видно предела. Он оказался в силах пойти вразрез со всеми вековыми традициями Турции: навязать стране не только новые формы правления, но и новый шрифт, и новые одежды, и новый быт, не опираясь при этом ни на какое мощное идейное течение, ни на какую партию...»

В этом месте обнаруживаются наивность и близорукость русского литератора-эмигранта, его беспомощность в характеристике живых и творческих сил, которые возглавили Гази, Мустафа Кемаль. Полагать, что крутой, сотрясающий весь Восток поворот в истории Турции мог совершить один человек, — вот наивная и беспомощная философия реакционера и обскуранта.

В силах ли один человек (каких бы он ни был способностей) пойти вразрез с вековыми традициями, «не опираясь ни на какое идейное течение», опираясь единственно на силу своей личности?.. Существовали ли в истории человечества люди, которые, так сказать, единолично осуществляли повороты в исторических судьбах народов? На эти вопросы у нас может ответить школьник, — каждый советский школьник скажет, что исторические перемены, подобные происшедшим в Турции, происходят в результате сложнейших экономических и политических процессов, в результате созревших в народе идей национальной и экономической независимости. О продвижении цивилизации на Восток мечтал Маркс, потому что эта цивилизация — ступень к дальнейшему движению по пути социальных перемен.

Но нельзя уменьшать роль Гази в деле распространения идеи политической и экономической независимости. Особенно значительна роль Мустафы Кемалья была тогда, когда для Турции, казалось, все было кончено, султан был пленником англичан и французов, Стамбул был оккупирован, и союзники приступили к разделу Турции.

16 марта 1920 года султан и англичане разогнали оттоманский парламент.

Людей, не желавших примириться с разделом Турции, ожидала ссылка или изгнание. После Эрзерумского и Сивасского конгрессов 1919 года власть в Анатолийской Турции фактически была в руках Представительного комитета национально-революционных организаций, председателем которого был Мустафа Кемаль. Весной 1920 года, когда оттоманский парламент перестал существовать, в Анкаре открылось Великое национальное собрание Турции. К нему перешла власть в стране. И опять, под давлением англичан, султан принужден был объявить священную войну «безбожникам и мятежникам», сторонникам Национального собрания. Начались отвратительные погромы, и подстрекателями кровавых черносотенных погромов были муллы и сектанты. Именно эти зверства реакционеров привлекли к сторонникам Кемалья интеллигенцию и либеральную буржуазию.

Почти год продолжались колебания в самом Национальном собрании, — то принимались решения итти на мир с султаном, перенести заседания Национального собрания в Константинополь, то обострялась гражданская война между сторонниками Кемалья и сторонниками султана. Но Севрский договор был подписан, и на греческие войска была возложена миссия произвести раздел Турции. Настал год, когда греки почти без сопротивления заняли Европейскую Турцию и вели наступление от Смирны вглубь Анатолии. Турецкой армии не существовало, и некому оказывать сопротивление оккупантам. В Национальном собрании открыто говорили о мире, измученная годами балканских войн, обескровленная мировой войной страна желала мира, компрадоры, смирнские и стамбульские экспортеры и коммерсанты мечтали о довоенном, мирном времени и возобновлении нормальной коммерческой связи с иностранными капиталистами. Политические деятели боялись взять на себя ответственность и открыто выбрать между войной и миром, — именно тогда с потрясающей убедительностью и силой прозвучал голос Мустафы Кемалья. Он говорил об отступлении, — придется отступить, при-

дется без сопротивления отдать часть территории врагу, но отступить надо только для того, чтобы отвлечь неприятеля от его баз.

Голос его, обычно не громкий, глухого гортанного тембра, звучал, как боевая труба: да, турецкая армия не может сейчас померяться силами с преческой. Нужно пересоздать армию. По крайней мере положение ясно: греки и турки борются лицом к лицу; за греками есть англичане, но это моральная поддержка.

— И вы, — говорил Кемаль, — вы называете себя турками и хотите пасть ниц перед греками, которые были рабами султанов? Я этому не верю. Готовьте победу, и она будет вашей!

Мустафа Кемаль остановил наступление греков в августе 1921 года на реке Сакарья. Прошел еще год, турецкая армия перешла в наступление. Турки сумели использовать англо-французские противоречия. На севере, в Советской стране, борьба за независимость Турции вызывала симпатии и сочувствие туркам.

— Мы не забудем, — сказал мне в Анкаре старый воин, участник освободительной войны, — мы не забудем одного характерного и трогательного обстоятельства. Когда Гази отправился на фронт, чтобы принять на себя командование в решающем сражении, именно в этот день газеты сообщили, что он присутствовал на приеме в советском посольстве. Так был зашифрован его отъезд в армию.

В 1922 году греческий десант был сброшен в море у Смирны. Операция раздела Турции не состоялась. Севрский договор был разорван в клочки. Длившееся почти два столетия вассальное положение Турции прекратилось. И вместо полного разгрома и раздела страны получился необыкновенный рост ее престижа в мусульманском мире. Однако те, кто полагал, что новая власть восстановит государство на базе ислама, на обветшалом средневековом фундаменте, принципе разделения нации на верующих и неверных, жестоко ошиблись. Новая Турция стояла на пороге борьбы с тремя, угрожающими ее су-

ществованию, врагами — султаном, духовенством и иностранными империалистами.

В 1923 году на смирнском рейде еще стояли крейсера интервентов, пушки их были направлены на город, а Мустафа Кемаль на экономическом конгрессе, собранном в Смирне, говорил о вековом угнетении Турции, о режиме капитуляций и «детт оттоман» — турецком государственном долге империалистам — и призывал Турцию боготреться до конца за политическое и экономическое возрождение.

Уже в 1923 году участникам освободительной войны казались наивными лозунги, к которым они были вынуждены прибегать в самом начале борьбы:

«Анатолийские мусульмане! С божьей помощью вы освободите не только Анатолию, но и весь мусульманский мир!»

«Аскеры! Вы должны знать, что чтение корана равносильно разговору с богом».

30 октября 1922 года был упразднен султанат. Абдул Меджид Эфенди теперь именовался халифом, но был лишен и тени государственной власти. Мусульмане Индии обратились с петицией, они протестовали против низложения султана, — это было предлогом для уничтожения халифата и изгнания халифа из пределов страны. Сейчас, когда закрыты монастыри сектантов («текке»), когда введено светское обучение и упразднены духовные школы и вакуфы — земельные участки, принадлежащие духовенству, — воспрещено многоженство, упразднен суд по шариату, наконец закон предписывает изменение самого языка, на котором молятся мульты, — старые лозунги, к которым пришлось прибегать, звучат действительно наивно, как отдаленное эхо прошлого Турции. И, оглянувшись на пройденный страной путь и оценив роль человека, который возглавил национально-революционное движение в стране, объективный путешественник должен признать отвечающим истине титул Эль Гази — Победитель, которым почти всегда заменяют имя президента Турецкой республики — Мустафы Кемалья-паши.

Какая же среда выдвинула Гази, чем привлекательна история жизни человека, сыгравшего такую значительную, неоспоримую роль в создании новой Турции?

Сын мелкого служащего таможи в Салониках. Рано лишился отца и с девяти лет работал на ферме, присматривал за скотом. Мать с трудом нашла средства для того, чтобы отдать Мустафу Кемаль в духовную школу. Из него хотели сделать муллу. Он предпочел пасти овец и убежал из школы. Тогда один из родственников посоветовал отдать его в военное училище.

Мустафа Кемаль был замкнутым, необщительным юношей, держался в стороне от товарищей по училищу, имел способности к математике и военному искусству. (Здесь биографы проводят параллель с Наполеоном в Бриеннской школе.) Из военного училища он перешел в высшую военную школу в Монастыре. Затем он с лучшей аттестацией кончил академию главного штаба. В январе 1905 года он вышел из академии и, как многие из его товарищей, был членом тайной революционной организации. Это было младотурецкое движение. Через три года оно пришло к власти. Затем Мустафа Кемаль был близок к масонской ложе, но ни у масонов, ни у младотурок Мустафа Кемаль не играл крупной роли. В то время как Энвер, Талаат и Джемаль оказались на гребне событий 1908 года и сделались государственными деятелями первой величины, Мустафа Кемаль остался в тени. Он получил только незначительное повышение по службе.

Чтобы выдвинуться, ему нужно было ответственное и реальное дело. В 1911 году началась война с Италией из-за Триполи. Кемалю поручили организовать сопротивление, и в Триполи он впервые столкнулся с Энвером, человеком иного склада, поэтом, искателем популярности, фантазером. Кемаль остался в тени. Когда начались балканские войны, Кемаль опять не играл большой роли. Между тем у него было ценное для младотурок прошлое — член революционной организации «Ватан», человек, заключенный при султани Абдул-

Гамиде в тюрьму. Но Мустафа Кемаль был в оппозиции к своим товарищам по организации, и, чтобы удалить его из Стамбула, его назначили военным атташе в Софию. Во время мировой войны Мустафа Кемаль принял на себя командование турецкими войсками в южной части Галипольского полуострова.

Этот театр войны, борьба за Дарданеллы, связывается с именем Мустафы Кемаль-паши. Он был руководителем борьбы со стороны турок, и турецкие войска под его начальством отстаивали важнейшую позицию, падение которой могло бы повлиять на ход мировой войны. Он появлялся на передовых позициях Чанак-Баира и Ходжа-Чемена и принимал участие в атаках и ружейной перестрелке, стреляя из винтовки, как рядовой пехотинец. В военном музее в Стамбуле есть нарисованная посредственным художником картина — ночь, окоп в снегу и человек в плаще и папахе, сляпший на голой земле. Это — Мустафа Кемаль. И надо сказать, что художник нарисовал то, что иной раз было в действительности. После Галиполи он командовал войсками на кавказском фронте и затем сопровождал наследника престола — принца Вахид Эддина в его поездке в Германию в 1918 году.

Воспоминания Мустафы Кемаль, написанные характерным, выразительным языком, показывают наблюдательность и остроту восприятия автора воспоминаний:

Первое свидание с принцем Вахид Эддином:

«... к господам в сюртуках, которые стояли в зале, покрытом циновками, и казались приветливыми, присоединилось еще одно лицо. Пришедший сел на диван и закрыл глаза, как бы погруженный в глубокое размышление, и только спустя долгое время открыл глаза. Тогда он соизволил нам поклониться.

— Имею честь... Я доволен, — сказал он и снова закрыл глаза.

Я приготовился ответить, но обратил внимание на то, что нахожусь в присутствии удрученного и опустившегося человека. И предпочел ожидать, найдется ли у этого человека сил, чтобы заговорить.

... должен признаться, что у меня сразу сложилось впечатление, что передо мной сумасшедший».

Дальше Мустафа Кемаль с характерной резкостью обращается к Наджипаше:

— Этот человек не сегодня—завтра будет султаном. Что можно ожидать от него?

— Мы, имеющие ум и опыт, сознающие тяжелое положение страны, думающие о ее судьбе, — что мы можем сделать?

— Действительно, положение трудное, — уклончиво ответил собеседник.

Поездка в Германию убедила Мустафу Кемалья в неизбежности поражения Германии. Он предвидел и поражение Турции в том случае, если она не отделит свою судьбу от судьбы Германской империи. Но правительство султана на это не решилось. Капитуляция Германии застала Мустафу Кемалья в Сирии, на посту командующего группой армий «Илдырим». Ему удалось спасти группу «Илдырим» и спасти турецкую армию в Сирии от разгрома, к которому ее привело германское командование.

Вдали от Стамбула, среди войск, которые еще были способны сопротивляться возрастающим требованиям победителей, он сохранял полное спокойствие. Это длилось до тех пор, пока он убедился в том, «что Османская империя согласилась отдаться неприятелю без всяких условий; она не только согласилась, но и обещала свою помощь врагу, когда он явится оккупировать страну».

Переписка между великим визирем, начальником штаба верховного командования и командующим группой «Илдырим» — иллюстрация к трагическому положению, в котором находилась турецкая нация.

Иззет-паша — Мустафе Кемалю-паше:

«Хотя английское командование не имеет права оккупировать Александрету, но его требование использовать этот порт для подвоза продовольствия английским войскам в Алеппо справедливо.

Тем более это допустимо, чтобы доставить удовольствие ан-

лийскому делегату, который поджентльменски несколько изменил условия перемирия и при этом, за отсутствием времени, дал нам устные заверения».

Мустафа Кемаль-паша отвечает Иззет-паше, начальнику штаба верховного командования:

«Всякое задержание в передаче наказывалось смертью».

«... Я вам сообщаю о моей неспособности понять качества джентльмена из английской делегации и причину ваших уступок — с вашей стороны.

... я приказал силой воспрепятствовать всякой попытке высадки англичан в Александретте...»

Так Мустафа Кемаль отказывается принимать участие в молчаливом сговоре султанского правительства и английского командования. Он видит бессилие правительства и требует от правительства или открытого признания своего бессилия, или открытого неподчинения. Джентльменские увертки, дипломатические реверансы, сохранение хорошей мины при плохой игре внушают ему отвращение.

«Так как мой характер не позволяет мне приводить в исполнение приказы, осуществляющие вероломные действия англичан.. прошу указать мне лицо, которому я могу немедленно передать командование».

Человек с таким характером представлял известную опасность для Османской империи и оккупировавших Константинополь властей. И потому, когда Мустафа Кемаль появился в Константинополе, он мог ожидать там ареста и путешествия на остров Мальту, место ссылки турецких патриотов, не примирившихся с Севрским договором.

И вдруг неожиданный поворот судьбы — Мустафа Кемаль принимает поручение разоружить и привести в повиновение анатолийский корпус Карабек-кир-паши. Султан и великий визирь сумели убедить англичан в том, что Мустафа Кемаль загладит свою вину перед британской делегацией и командованием.

Мустафа Кемаль отправляется в Самсун в должности инспектора 3-й армии. За несколько часов до его отъезда великий визирь получает сведения о том, что Мустафа Кемаль полагает стать во главе войск, оказывающих сопротивление в Анатолии. В ту же ночь английский верховный комиссар отдает приказ вернуть и задержать Кемалю. Приказ запоздал. Мустафа Кемаль высадился в Самсуне и проехал к анатолийским войскам. Он собирает совещание военачальников.

Обстановка ясна: султан и правительство в руках врага, не следует им повиноваться. Нужно задержать сдачу оружия союзникам, нужно организовать сопротивление партизанских отрядов и собирать под прикрытием партизан все, что осталось от турецкой армии.

Все, что происходило дальше, известно читателю, — все, от высадки в Самсуне до соглашения в Лозанне и восстановления турецкого государства и создания Турецкой республики. Следовательно, нельзя уменьшить историческую роль организатора сопротивления войскам империалистов Мустафы Кемалю-паши.

Слава полководца — Триполи, Галиполи, Адана, Саккария, Смирна, авторитет политического деятеля, замечательная биография, — все это проходит в памяти человека в ту минуту, когда автомобиль останавливается у дворца Чанкая.

Во дворце Чанкая — суровая тишина и прохлада. Негромкие, шуршащие шаги дежурного адъютанта. Неслышно открываются тяжелые двери.

В зеркальном потолке отражается серебряная мебель, сквозь стеклянную стену вестибюля виден бассейн, в марморной раме — зеленая вода, прозрачная, как стекло, вода, неподвижная, хрустальная вода под сине-голубым горным небом. Ни намек на ориентальную пышность, ничего общего с киосками оттоманских дворцов. Мы в загородной вилле, выстроенной современным архитектором, испытавшим влияние Корбюзье и Мале Стевен и Бруно Таут. Дворец похож на океанскую яхту. Точно с капитанской рубки, видна долина,

рассыпанные в долине новые здания, город, выросший на скрытых кладбищах и осушенных малярийных болотах.

Человек долго жил кочевой жизнью воина, спал в палатках и разрушенных артиллерийским огнем лачугах, затем жил в старом уютном доме, где родилась его слава и власть. Сейчас все достигнуто — слава, авторитет, непререкаемая власть главы государства, высокий титул спасителя страны. Корреспонденты мировых газет, странствующие писатели, политические деятели добиваются приема у Гази, победителя, человека с загадочным характером и несокрушимой волей, полководца и политика. Невозможно пройти мимо этого человека, мимо его бронзового облика на площадях и улицах, мимо его имени, связанного с историей молодой республики. В народных домах, в университете, в меджлисе—парламенте—поминают его имя, говоря о настоящем и прошлом:

— Высокое Национальное собрание Турции помещалось как бы на бивуаке, в старом неприспособленном для заседаний доме — там Гази говорил об организации сопротивления грекам...

Затем показывают просторный, светлый парламентский зал в новом здании, где депутаты сидят по двое, как школьники:

— С этой трибуны Гази докладывал проект конституции...

Вы глядите из ложи и видите председателя во фраке, демократические пиджаки министров и депутатов и вспоминаете рассказы о блеске мундиров и сиянии звезд Блистательной Порты. Где мрамор и хрустальная сень люстр единственного в мире тронного зала во дворце Долма Бахче, в Стамбуле?

Да, это другая страна, вернее, другая эпоха.

Когда же странствующий литератор получит приглашение прибыть в Чанкая, он увидит военачальника, одетого в штатский синий пиджак, политического деятеля, увлекающегося лингвистикой, историей и техникой языка, руководителя работ исторической и лингвистической комиссий.

Триполи, Дарданеллы, Сирия, Думлу-Пунарские высоты, Сивасский, Эрзе-

румский и Смирнский конгрессы, и вдруг — кабинет-библиотека и двухчасовая академическая беседа о следах древней турецкой культуры в бассейне Средиземного моря, о турецкой культуре в Греции, в Константинополе, предшествующей образованию греко-римского мира, возникновению греческого и латинского языков.

Всмотритесь в крупные черты лица, густые нависшие брови, мужественный подбородок, множество раз повторенный в портретах и скульптуре, и вы подумаете, — настал час, когда для этого человека, мастера войны и мира, стал привлекателен мир науки, бездонный, необъятный мир человеческого познания, — все, что узнало человечество за время существования на земле.

Нет, это не верно.

Годы идут, медленно угасают страсти, мысль становится холоднее, глубже, мастерство политика уже не в том, чтобы бороться с теми, «кто хромает, неся на себе тяжесть республики», а в том, чтобы сделать неизбежно-прочным основание, фундамент молодой республики.

Негромким, внезапно усиливающимся голосом Гази рассказывает о том, как он пришел к мысли, что «не император Константин основал Константинополь», что турки до греков были в Элладе, что турки имеют право на древнюю хеттскую цивилизацию. Профессорский, академический тон сменяется стремительной и даже гневной речью политического оратора, — он доказывает равноценность древней турецкой и древней арабской и персидской культур. Вероятно с той же убежденностью и силой он говорил колеблющимся: «И вы называете себя турками?.. Готовьте победу, и она будет вашей!»

Нет, думаете вы, это политик, воин и ученый в одно и то же время. Политик, превратившийся в историка и лингвиста для того, чтобы укрепить и углубить дело своих рук.

«Политика — это рок» — сказал Наполеон автору Фауста. Политический деятель не может уйти в чистую науку, и мы начинаем понимать причины, заста-

вившие полководца и политического деятеля с напряженным вниманием слушать ученого Николая Яковлевича Марра.

— ... как песок и пласты глины погребают под собой древние памятники, так арабские и персидские слова похоронили под собой турецкий язык, народную живую речь. Современный турецкий язык оторван от народных масс; для того, чтобы его вернуть народу, надо его очистить от наносных персидских и арабских слов.

Разговор происходит в марте 1933 года, во дворце Чанкая, в кабинете президента республики. Николай Яковлевич Марр вдруг умолкает, — он вспоминает об официальном характере беседы, ему кажется неуместными жестикомания, темперамент, которые он вкладывает в академические рассуждения о языке, истории и технике языка. И он говорит:

— Извините мою горячность. Я — ученый, в то же время, если хотите, я дервиш, то-есть одержимый в науке...

Но именно это и нравится Гази, не в его характере абстрактные, академические беседы о проблемах изучения языка.

— Исследователи, — продолжает Николай Яковлевич Марр, — отдаю больше внимания персидскому и арабскому языкам, чем языку турецкому, иначе говоря, они отдаю больше внимания мертвым письменным языкам и пренебрегают живой, действительно родной народу речью. Это не только в отношении турецкого языка, это сказывается вообще в отношении ко всему турецкому.

Нескрываемая радость появляется в лице полководца, политика, лингвиста и историка. Действительно, все можно подделат: архивные документы, рукописи, надписи, но нельзя подделат памятники материальной культуры, памятники архитектуры древних, гигантские сооружения. — Именно по этим памятникам, — говорит Марр, — можно установить факт существования турецкой культуры, предшествующей культуре Рима и Эллады, на берегах Мраморного и Эгейского морей.

Этот разговор происходит в то время, когда каждая турецкая газета занимается изысканием турецких слов, чтобы ими заменить персидские и арабские. В университетских аудиториях, в парламенте, в народных домах говорят об очищении языка, и закон предписывает мullaм перевести с арабского на турецкий язык тексты молитв.

Теперь вы уже не услышите с вышки минарета протяжный призыв:

— Ла ил-а-ах иль ал-ла-ах вэ Моха-а-ммэд...

Прислушайтесь, это не привычный напев и не те слова, муэдзин покорно выкликает турецкое «таири» (бог) вместо арабского «алла». Мулла в Сельджуке, в мечети Исса-бей, построенной из обломков храма Дианы Эфесской, читает по записке молитву на турецком языке. Он не успел выучить наизусть турецкий текст молитвы. Муллы чувствуют себя так, как почувствовали бы себя православные священники или католические ксендзы в царской России, если бы закон предписал заменить церковно-славянский русским, а латынь — польским в церквах и костелах. Магическое действие слов, произносимых на непонятном народу языке, гипнотическое действие произносимой нараспев непонятной речи прекратилось. Тексты молитв оказались тяжеловесными виршами, а иногда звучными и вдохновенными стихами.

Сочинитель корана понимал поэтическую ценность коранических сурр. В тридцать шестой суре не отрекается от поэтической ценности Корана и говорит достаточно ясно:

«Мы не учили его стихотворству, и оно не прилично ему. Это только учение и вразумительное чтение, чтобы он учил того, кто имеет жизнь, и чтобы это слово исполнилось над неверными».

Не за поэтическую силу корана, а за «учение и вразумительное чтение», за мертвящую догму, деление мира на верующих и неверных сражались фанатики.

Художники-портретисты давно перестали рисовать Гази в походной форме командующего. Его долго рисовали и фотографировали во фраке, в граждан-

ском платье главы государства, с орденом Независимости на груди. Теперь его рисуют и фотографируют у школьной доски в образе учителя, разъясняющего ученикам основы латинизации алфавита.

Латинизация алфавита давно совершилась, исчезли каллиграфические завитки на вывесках, газеты и книги выглядят, как обыкновенные европейские, набранные латинским шрифтом, книги. Об этом уже не говорят, и только служащий музейного ведомства мимоходом покажет вам древнюю могильную плиту, где надпись сделана не арабской вязью, а латинскими буквами, — лишней довод в пользу латинизации алфавита. Но замена арабского языка турецким в стенах мечетей встретила сопротивление реакционеров.

В Бруссе волнуются фанатики. Ропот доходит до ушей ученого лингвиста из Чанкая, и он обращается в государственного деятеля и воина. Он едет в Бруссу, и опять действует непререкаемый авторитет человека, спасшего страну от раздела, и опять клерикалы и реакционеры чувствуют тяжелую руку воина и политика.

— В конце-концов, — рассуждают дипломаты, — надо же чем-нибудь заменить ислам — религиозную базу, на которой держалась оттоманская империя. Гази подводит другую, объединяющую народ, национальную базу. История турецкого народа, ценность турецкой культуры, язык, — вот элементы, из которых слагается единство нации. Гази — умный человек. А может быть, он действительно устал от политической кухни, непосредственного руководства страной и оставил это своему испытанному соратнику Исмету и увлекся чистой наукой и делает успехи, — недаром он был лучшим учеником в «Харбие» — военной школе. Лингвистика и история заменили стратегию и тактику. Но дипломаты из Берлина и Лондона не перестают рассказывать двусмысленные, не всегда правдивые истории о бурном характере и страстях человека, увлекающегося чистой наукой, и странствующие журналистки и американские корреспонденты опять возвращаются к испытан-

ной, привлекательной для их читателей теме, возвращаются к загадочной натуре, сильному характеру, к человеку, «который мог бы быть султаном и халифом правоверных», если бы не питал непримиримой вражды к клерикалам.

Очень сложно и трудно писать о человеке с такой биографией, человеке, облеченном большой властью, человеке, с именем которого связано и героическое, и жестокое, государственное и личное. Много из того, что писали о Гази, написано с мнимой объективностью, мнимой потому, что не из личных отрицательных качеств слагается облик человека. Иногда некоторые отрицательные качества не противоречат целому положительному образу человека, в особенности если жизнь и биография его связаны с возрождением его страны, с движением ее по пути к прогрессу и социальным реформам. Для данного времени, в данных условиях нельзя не видеть заслуг этого человека в борьбе с реакцией и клерикализмом, в борьбе за политическую и экономическую независимость Турции.

Легче всего сравнить Гази с Петром Первым и Кромвелем, прочитав ему нравоучение и указать на общие недостатки характера.

Шиллер сказал: «Я никогда не грешил в пустынях, мой создатель». В конце-концов если поставить рядом с решительными и небезупречными характерами убогую и корректную посредственность (скажем, Макдональда или Болдуина), то выбор, кажется, ясен.

С той же мнимой объективностью литераторы из британского разведывательного департамента (типа полковника Лоуренса или Локкарта) любят рассказывать о том, как Гази сначала покровительствовал оппозиции, чуть ли не организовал ее, чтобы вокруг легального парламентского ядра собрались все враждебные ему силы. Скажут, что он делал это для того, чтобы одним ударом раздавить политических противников. Трудно поверить, чтобы это было именно так, потому что перед вами — воинствующий характер, человек необузданного темперамента, постоянно ищущий открытой встречи с врагом. Сегодня его

враг — султан, завтра — клерикалы, затем иностранные империалисты и, наконец люди, колеблющиеся между двумя борющимися силами. Правда, удары, наносимые Гази, бывают жестокими и безжалостными, но политическая борьба создана для сильных и верящих в свою миссию людей. Они не дают и не ждут пощады, и в суждении о них все в конце-концов определяется положительной или отрицательной ролью, которую сыграл данный человек в свою эпоху.

Злоба, ненависть и, разумеется, клевета часто сопутствуют большим людям. Вглядитесь в нахмуренные брови, крепко сжатые, тонкие губы, внимательный, насторожившийся взгляд, и вы поймете ненависть и страх, которые внушает врагам имя Гази-победителя. И вы поймете шекспировские страсти, кипящие в этом бурном и неукротимом характере.

«Серый волк» называется книга-памфлет капитана Армстронга.

Серый волк — эмблема турок-османлисов, победителей, пришедших из-за гор. Теперь это — эмблема Турецкой республики.

Ну что ж, в тот век, когда «человек человеку — волк», когда каждая нация должна защищать независимость от государств-хищников, — серый волк — почетное имя для Мустафы-Кемала, Гази, Победителя.

Большие дороги

Бугры и впадины, конусообразные, бурые холмы, придавленные серым февральским небом. Две глубоких колеи, выбитые из подмерзающей, твердой земле. Мотоцикл рулит так, чтобы не провалиться в колею, ветер бросается на нас, прорываясь между холмов. Мы замедляем ход, и внезапно сквозь прерывающийся треск мотоцикла пробивается раздирающее уши стенание, монотонный и длительный скрип с плачем и присвистом.

Мы перепрыгиваем через колею и поднимаемся на пригорок. Мотор затих, и торжествующий, победоносный, пронзительный скрип висит над угрюмым и печальным пейзажем Анатолии. Это — «кани» — крестьянская двухколесная

арба. Это скрип примитивной крестьянской телеги — печальное, вечное стеление колес на турецких проселках.

Два тощих, почти плоских от худобы буйвола появились на повороте дороги. Головы буйволов лежат почти горизонтально в ярме, как отрезанные. Вытянутые длинные морды напоминают головы редких морских рыб. Тонкий, длинный прут, называемый «чбык», летает над впадинами боками буйволов. Затем появляется платформа на сплошных деревянных кругах, напоминающих колеса римских боевых колесниц, и это сооружение движется нам навстречу, издавая ужасающий скрип целого обоза немезанных телег.

— Это и есть «кани», наш автомобиль, — говорит мотоциклист и, чтобы смягчить впечатление горькой шутки, добавляет, — главный вид нашего транспорта во время войны за независимость. «Кани» возили снаряды, провиант и раненых... И все же мы выиграли войну. В те времена в наших журналах вы могли видеть рисунок — автомобиль, под ним подпись: «это заменил кани». Мы выиграем войну за автомобиль так же, как мы выиграли войну за независимость.

Молодой крестьянин сидит, подогнув под себя ноги, на платформе и смотрит на нас внимательным и доброжелательным взглядом. Он одет в старенький европейский костюм, расстегнутый жилет открывает серую, но чистую рубаху. На голове у парня сбившееся блинком, старенькое кэпи. От национального турецкого платья остался только широкий, стягивающий живот пояс. Это типичный анатолийский крестьянин, работник плуга в буквальном смысле этого слова, плуга, о котором президент Турецкой республики Мустафа Кемаль сказал на Смирнском экономическом конгрессе 1923 года: «Плуг — это перо, которым сейчас пишется история Турции».

Яростный грохот мотоцикла заглушает скрип «кани», буйволы и крестьянин исчезают за поворотом, свист ветра в ушах, снова бурные холмы и впадины, две глубокие, выбитые тяжелыми деревянными колесами колеи и пустынный, суровый пейзаж, анатолийский просе-

лок. Еще один колесный экипаж попадает нам на пути, крытый, напоминающий длинную бочку на высоких колесах, — бочку, у которой вынута дно. Бока экипажа тоже открыты, но верх у него клеенчатый. Ветер надувает выгоревшие и полинявшие от дождей боковые занавески с помпонами. Медные украшения, вытертые подушки сиденья обнаруживают некоторое своеобразное щегольство. Экипаж называется «яйла», в нем полулежат два господина в каракулевых шапках и с зонтиками. Они здороваются с нами, не скрывая любопытства к проезжему человеку, но с достоинством. И опять морозный ветер в лицо, оглушительный треск и толчки, но колеи вдруг исчезают, и дорога превращается в дно пересыхающей горной реки. Мы приближаемся к деревне. Дно пересохшей реки становится влажным, хрустальные струйки воды, переплетаясь, бегут по кремнистому дну, затем горная речонка растекается среди белых камней, напоминающих черепа и кости павших животных. Тут же возникают четыре почти черные тени, напоминающие птиц чудовищной величины и странного оперения. Мы несемся прямо на них, они не трогаются с места; а сдвигаются еще теснее, теперь уже видно — это женщины в темносиних, почти черных покрывалах. Они стирают белье, и мы им помешали, потому что теперь они вынуждены по старому обряду сидеть к нам спиной и не глядеть в нашу сторону.

Да, мы отехали далеко от Анкары. Деревня из глинобитных домиков возникает между двух холмов. Почти правильные кубики домов образуют как бы ступени большой, вырубленной в горе лестницы. Белая свеча минарета поднимается над плоскими кровлями, как флажок. Новый, чистый дом в шесть окон, дом в стороне от деревни, — это школа.

Какая здесь тишина! Даже собаки кидаются на нас бесшумно, без лая они бегут рядом с коляской мотоцикла. Но вот дети собираются вокруг машины, человек в форме, торопливо застегивая пояс, бежит нам навстречу. И все же тишина. Мужчины работают на проти-

воположном, солнечном склоне холма, и единственный крестьянин, древний старик с рысью, седой бородой, глядит на нас, приложив руку к глазам козырьком. На голове у него европейская войлочная, свалывшаяся, как войлочный треух, шляпа, но лицо у старика такое, что дай ему чалму, и перед вами окажется средневековый шейх, глава секты дервишей или средневековый кадий — судья.

Как он слаб, этот иссохший, восьми-десятилетний старец... Он положил руку на край водоема и, покачиваясь, глядит на нас глубоко ушедшими в орбиты, воспаленными от ветра глазами. Эта худоба не от подвижничества, не от фанатической борьбы духа и плоти, а от вынужденного поста, от голода. Но сколько же нужно пищи, чтобы поддерживать огонек жизни в этом старческом теле, и почему он еще тлеет, этот огонек?

Депутат Смирны, Махмуд Эссад, писал в смирнской газете «Анадолу», органе правительственной партии:

«В прошлом году я видел одного больного крестьянина, валявшегося в канаве помещицкой усадьбы, в районе Сельджука. На другой день я узнал от старосты, что этот бедняк там и умер. Таким образом не умирают даже собаки богача».

— Мы могли бы отправиться к Керим-бею, это здешний помещик, — говорит наш мотоциклист, — у него было бы удобнее всего... — но, немного подумав, он ведет меня в новое и чистое здание школы. Здесь еще пахнет сыростью и свежим деревом. Школа еще не открыта, она откроется весной, когда из города пришлют учителя. Мы ходим по светлым и чистым классным комнатам, скамьи школьников еще не окрашены, но все приготовлено к открытию, даже мел лежит наготове у классной доски.

Я все еще думаю о старике у водоема, и мой новый знакомый говорит, как бы в ответ моим мыслям:

— Что мы делаем для крестьян? Мы отменили «ашар», налог, по которому больше одной десятой доли урожая зерновых и огородных продуктов и плодов

крестьянин отдавал султанскому правительству. «Ашар» был введен в древние времена самим пророком Магометом, и то, что мы отменили его, было в известной степени вызовом реакции, духовенству. «Ашар» собирали сборщики — «мюльтезимы». Они получали комиссию с собранных продуктов, причем подсчитывали на-глаз и конечно недобросовестно. До подсчета крестьянин не имел права увезти урожай с поля... Вы понимаете, как велики были злоупотребления. Затем существовал налог на скот, «зекят», дорожный налог. Мы реформировали налоговую систему, мы поддерживаем крестьянские кооперативы, мы строим школы, но положение крестьян все же...

— А кто, собственно, Керим-бей, к которому вы меня звали?

— Мы встретили его в «яйле» на дороге... В сущности, он ростовщик. То есть теперь он оставил эти операции, потому что достаточно богат. И мы не очень благоволим этим господам. Я уже говорил вам о кооперации. Лучше всего это удается нам в Смирнском районе. Там мы кредитруем мелких производителей, берем у них часть урожая, инжир, оливы и продаем на иностранные рынки. Но здесь все еще в большой силе ростовщики. Керим-бей — новоиспеченный богач, «нувориш», как это называется в Европе. В 1922 году я был сотрудником одного сатирического журнала в Трапезунде. И мы писали в этом журнале: «Надо направить жало сатиры на всех новоиспеченных богачей». Одно жало сатиры оказалось мало, и с ростовщиками придется бороться иначе.

Я прервал моего собеседника. Я сказал ему о статье депутата Смирны Махмуд Эссада, напечатанной в «Анадолу». Она поразила меня прямой и откровенной оценкой положения:

«Крестьяне-трудолюбивые обременены долгами и высокими процентами по долгам. Сам крестьянин, его семья, дети, его бык или буйвол, его земля, его «чбык» (прут, употребляемый вместо кнута), — все это вместе работает на ростовщика...»

«Я знаю таких крестьян, — пишет Махмуд Эссад, — таких тружеников,

которые перед самой их смертью были отстранены ростовщиками от земли, садов, от имущества, и они отдавали последний вздох именно по этой причине, по причине долгов ростовщикам».

— Да, это так, — сказал мой собеседник, — мы не закрываем глаза на это зло. Крестьянин за грошевую лопату, которую он берет в лавке ростовщика, платит через год двадцать лир. Он берет у ростовщика сто лир и покупает мула и дает вексель на пятьсот лир. Еще через год он должен уже тысяча триста лир, а через три года две тысячи лир. Конечно, он не может вернуть такую сумму, и тогда получается именно то, о чем писал Махмуд Эссад в статье «О самых маленьких правах» — «они огдают последний вздох по причине долгов ростовщикам...»

Но следует отличать суждение друга от суждений врага. В Смирне издается не только газета правительственной партии. Вы находите там и оппозиционные газеты, и они тоже по-своему заботятся о судьбах крестьян. Это лицемерная забота, уверяю вас. Они первые помещают нам принять радикальные меры в защиту крестьян. Они критикуют правительство не потому, что их трогает судьба тружеников-крестьян, а для того, чтобы в невыгодном свете представить правительство республики. Реакционеры и верные слуги иностранных концессионеров и капиталистов, сторонники полного экономического порабощения иностранцами нашей страны, — они лицемерно вздыхают о несчастьях нашего крестьянина. Мы знаем, чей это голос, — это голос реакционеров и духовенства..

Колокольцы зазвенели под окнами школы. «Яйла» Керим-бея остановилась у водрема. Керим-бей слез и, разминая ноги, подошел к мотоциклу. У него была благообразная подстриженная борода, ясные голубые глаза выделялись в роговой оправе очков. Зонтик висел на его согнутом локте. Я бы даже сказал, что на первый взгляд в лице этого человека не было никаких вызывающих омерзение черт.

— Все же вам бы не доставило удовольствия гостеприимство этого человека?

— Нет, не доставило бы удовольствия, — ответил я, и мы отправились из школы в деревенскую кофейню.

Это была узенькая, неглубокая ниша позади выдвинутого на улицу навеса. Крестьяне потеснились и дали нам место. Тут я еще один раз должен отметить некоторый демократизм этой нации, внешне сглаживающий классовые противоречия. Турок-интеллигент, инженер, сидел рядом с крестьянами-турками, причем никакого унижения или угодливости я не заметил в обращении с гостем. И, разумеется, я не заметил высокомерия или пренебрежения к своим соседям со стороны моего спутника, интеллигента и инженера, о котором я говорил. Крестьяне допили свой кофе, отпили по глотку чистой и холодной воды из стакана и встали. Затем каждый из них сделал две жирных черты углем на потолке.

— Бухгалтерия, простейшая бухгалтерия, — объяснили мне, — потолок — своеобразная бухгалтерская книга. Хозяин кофейни кредитует своих клиентов. После сбора урожая хозяин подсчитывает на потолке количество черточек, относящееся к каждому клиенту, и получает деньги. Доверие прежде всего...

Дети и взрослые окружали наш мотоцикл. Полуголый нищий попросил у нас милостыню, и мне пришла на память самокритическая карикатура в турецкой газете — нищий говорит об огородном чучеле, одетом в рваную куртку: «Оно счастливее меня. У него куртка».

— Бедная деревня не может быть рынком для нашей растущей промышленности. Бедная деревня не может дать средства для постройки заводов и железных дорог и не сможет дать сырья для экспорта и для турецких наших фабрик. Наконец у нее не будет сил оказывать сопротивление реакционерам и капиталистам... Надо...

Эти размышления вслух прерывает треск мотоцикла, и в промежутках между вспышками мотора мне удается слышать конец фразы.

... надо идти дальше...

... дальше, по пути социальных реформ.

Мотоцикл рванулся, выпрыгнул из колеи, и треск мотора на время заглушил все, даже пронзительный скрип «кани», без которого нельзя себе представить дороги Турции. Деревня исчезает в облаке желтой пыли, бурые холмы, сдвоенные горные цепи на горизонте, медленно ползущий перед глазами знакомый горный пейзаж. Дремота уже начинает охватывать меня, но вдруг сильный толчок, колени ударяются о край коляски мотоцикла, внезапный мягкий поворот, скорость увеличивается вдвое, и мы едем по ровному бетонированному шоссе. Мы приближаемся к городу. Телеграфные столбы, оставленный на дороге паровой каток, желтая лента железнодорожного полотна, — город, культура, цивилизация приближаются к нам с каждым новым километром.

Однако мы съезжаем к дачной, зеленой изгороди и с осторожностью лавируем между цветочными клумбами. Перед нами крытый черепицей, скромный, загородный дом. Я вылезая из коляски, разминаю затекшие ноги и вхожу в пахнущие свежей краской и деревом сени. И очень давние, почти юношеские воспоминания охватывают меня.

Вот я сижу в комнате, в дачном домике ученого, старого человека, русского интеллигента, заслуженного читателя «Русского богатства» и «Русских ведомостей». Может быть, это старый земец или либеральный профессор, оставленный от университета министром народного просвещения Кассо. Как мне знакомы эти стеклянные крылышки пенсне, седая бородка, старческая, мягкая походка и тихий, надтреснутый голос. И как мне знакомы эти чисто выбеленные стены рабочей комнаты, книги на полках, грубо сколоченных местным столярю, и некрашеный пол деревенского дачного дома.

— Я очень любил Родичева, покойного Родичева, — говорит старый профессор и грустно глядит сквозь стеклышки пенсне, — нас связывало прошлое, надежды и разочарования, вторая дума... На съезде кадетов, не помню точно, в каком это было году (в девятьсот девятом я навсегда оставил Россию), на съезде партии кадетов я должен был

делать доклад в качестве представителя мусульманской фракции от лица «татарской», как нас тогда называли, интеллигенции. На съезде говорили конечно по-русски. Мне следовало тоже произнести мою речь на русском языке, но я националист, и, вы знаете, чем была для нас старая Россия... Мне не хотелось говорить перед собранием на русском языке. Говорить на моем родном языке — бессмысленно, никто в этом собрании не понимал по-туркски. И вот, в качестве политической демонстрации, я сказал речь на французском языке. Как они удивились! Если бы видели лицо Милюкова...

Мы заговорили о пантюркизме, пантуранизме и Арминусе Вамбери. (Пусть этот внезапный поворот беседы не покажется вам странным).

— Хаджи Решид Эфенди (так называл себя Вамбери) был по происхождению еврей из Венгрии, но выдавал себя за турка из Адрианополя. Этот туркофил и пантюркист, друг султана Абдул-Гамида, был тайным агентом Англии. Абдул-Гамид знал об этом. Однажды он сказал Вамбери: «Хаджи Решид Эфенди, плохо бывает тому, кто пьет молоко двух коров». Он намекал на английскую и турецкую коров, потому что Вамбери оказывал тайные услуги и султанской полиции. Например он вручил Абдул-Гамиду письма турецких студентов. Они наивно открыли Вамбери свои мысли об образе правления и пылкие пожелания конституционных реформ.

— Лоуренс, полковник Лоуренс тоже считает себя арабским патриотом. Оказывается, можно иногда сочетать сочувствие угнетенным народам и службу в Интелиженс-сервис...

Почему мы заговорили о пантюркизме и пантуранизме? В Стамбуле в одно дождливое утро я читал брошюру русского эмигранта, изданную в Германии. Брошюра называлась зловеще и привлекательно: «Пантюркизм и пантуранизм». Терминология и язык книги напомнили мне давно забытые казенные военно-исторические журналы. Вы перелистываете страницы, и вот пред вами план опаснейшего, угрожающего суще-

ствованию всего цивилизованного мира, заговора пантуранистов. Русский «татарин», как выражался автор брошюры, Юсуф-бей Акчура и Ахмет Агаев из Баку поднимают миллионы мусульман Азии и Африки и обрушивают их на Европу. Притом это делается не посредством проповеди «джихада», священной войны во имя корана, а проповедью идеи «Турана», необъятного государства об'единенных народов Азии. Юсуф Акчура и Ахмет Агаев возрождают империю Тимура и Чингисхана от островов Японии до Венгрии и Финляндии, включая конечно и эти страны. На юге государство Турана включает Индию, Индонезию. Африка — конечно тоже территория Турана. Не коран, а Туран об'единяет народы Азии, Африки и Европы, государство, копирующее административную систему империи Тамерлана. У автора брошюры получилось так, что большевики, поддерживая дружественную связь с Турцией, готовят гибель всему цивилизованному миру.

Человек, которого мы посетили в уединенном загородном доме, был Юсуф-бей Акчура, тот самый, о котором с таким трепетом писал автор брошюры о пантуранизме.

Юсуф-бей Акчура проводил нас до калитки, мимо настурций и гвоздики уединенного дачного дома.

— Я немного знаю вас, — сказал он мне на прощанье, — совсем немного, книги из Москвы редко попадают ко мне. Но у меня есть Малая советская энциклопедия. И я знаю кое-что о вас и ваших товарищах.

Я поклонился и пожал руку «страшному» пантуранисту, читателю Малой советской энциклопедии.

Путь от Анкары до Смирны долог, но не скучен Горы цвета верблюжьей шерсти, голые, пустынные долины, горные реки, возникающие под легкими железнодорожными мостами — успокаивающий и наводящий на долгие, утешительные размышления пейзаж. Пожилой, склонный к философскому раздумью путешественник может обратить взгляд на прошлое.

Только-что исчезли из глаз шесть мачт радиотелеграфа, цитадель на хол-

ме, котэджи и здания министерства новой Анкары. Только-что пропал из глаз цементный завод, серо-зеленая пыль и дым труб, и начался спокойный, описанный выше малоазиатский пейзаж — Анатолия. Он будет с вами в течение первых суток путешествия. И вы можете вспоминать ту дальнюю эпоху, когда Тимур шел на Баязета Молниеносного и армии повелителей мира сошлись именно здесь, у древней Анкары. Культура арабская столкнулась с культурой тюркской, туранской. Отравленная эпикурейской философией, утонченностью и изощренностью своих поэтов и строителей, культура эпохи Баязета рассыпалась в прах перед суровой пастушеской культурой народов Турана. Тамерлан разбил на-голову Баязета Молниеносного, но до сих пор молодые турецкие ученые принуждены сражаться и разбивать на-голову реакционеров-историков, утверждающих в своих трудах славу Баязета Молниеносного и унижающих Великого Хромца.

Аисты стоят на одной ноге в болотах, по которым в древности прошли персы и греки. Но прежде чем вы успеете порываться в громоздком багаже давно прочитанных книг и вспомнить, где именно Александр Македонский разбил Дария Персидского, — ваш спутник, благожелательный турецкий интеллигент, адвокат из Смирны, срывается с места и припадает к окну. Незначительная на первый взгляд горная речка течет рядом с полотном дороги.

— Сакария, — произносит молодой человек, и лицо его меняет выражение. Он важен, задумчив и сдержан. «Сакария» — и все пассажиры глядят в окно вагона, окно в недавнее прошлое.

Старый профессор, депутат меджлиса, рассказывал мне о битве при Сакарии. Эпическое спокойствие историка и мудрость пацифиста были в его рассказе. Скептическая улыбка досказывала недосказанное, и в ней можно было прочитать:

«Человечество, люди... Все мы смертны, жизнь так коротка, зачем же укорачивать ее своими руками?» Но этот мудрый старик, пацифист и философ из тихого домика в цветнике, в день бит-

вы при реке Сакария не выпускал из рук винтовки и посылал пули в греков, оккупировавших его страну.

«Человечество, люди...» Прекрасная непоследовательность человеческого характера, которая однажды опрокидывает сентиментальные, вегетарианские рассуждения пацифиста и заставляет страстного, любящего свободу и независимости человека делать именно то, что следует делать в эти решительные минуты.

Бурая земля, как верблюжья кошма, подстилается под колеса паровоза. Через пятьдесят километров возникают станционные здания, черепичатые домики, селения. Пожилые, медлительные в движениях крестьяне стоят на платформе, заложив руки за широкие пояса. Женщины в шальварах и клетчатых платках, покрывающих головы и плечи, стоят боком к поезду, закрывая углом платка часть лица. Жест, которым они прикрывают лицо, обнаруживает вековую привычку матерей и прабабушек Правнучки этих давно умерших женщин все еще стоят боком к вам и показывают одну треть лица. Еще маленькое усилие, и груз столетий упадет с плеч, и черная тень чадры — чарчафа — исчезнет в свете весеннего анатолийского солнца. Генмиш Олсун — «Да будет это в прошлом» — говорят турки. И пассажиры поезда, молодые люди в беретах и широких спортивных штанах, стамбульские студенты, увидят глаза в глаза женщину новой Турции.

Кладбище с покосившимися мотильными плитами примыкает к уличной кофейне. Из кофейни легкой рысцой бежит к поезду кафеджи. Он держит в правой руке нанизанный на деревянную спицу шишкебаб — шашлык. В левой руке он держит на-весу приспособление, напоминающее безмен. Три цепочки поддерживают железный круг, на кругу стоят четыре чашечки турецкого кофе. Кафеджи протягивает чашечки в окно и ловит пустую чашечку и деньги в тот самый момент, когда поезд уже на ходу и машинист прибавляет скорость.

— Увы, — жалуется смиренный адвокат, — это не настоящий мокко, это не

кофе из Аравии, которое мы пили тогда, когда Аравия была частью Оттоманской империи. Это суррогат — кофе из инжира. Очень дорого стоит настоящий кофе. Пошлина. Контингенты...

Неумолимая, неотразимая экономика врезается в нашу беседу о красотах Бруссы, зеленой Бруссы и зеленой брусской мечети Баязид Илдырым. Пошлина, контингенты, лицензии на ввоз, цены на бензин, Стандарт Ойль, Шэлл, Нефтесиндикат, закон о внутрикаботажном плаваньи...

А мимо окон плывет однообразно-величественный пейзаж Малой Азии. Горы, желто-серые вблизи и серо-синие вдали, долины-впадины, редкие кубики глинобитных домов, купол мечети и острое минарета, запряженная буйволом «кани». И опять овцы и овцы, живые клубки шерсти, из которых ткнут прославленные ангорские шали, и отважные псы, кидающиеся под колеса паровозу и погибающие от бессмысленной стваги. Пастухи с рассеянным, неподвижным взглядом и спокойствием, которые дает привычка к одиночеству и близость к животным и природе.

Если бы не было стальных рельсов, исчезающих в пасти туннеля, и не было бы поезда, выгнувшегося дугой на закруглении, перед вами были бы только сумрачное, облачное небо и бугры голых гор, вечный, суровый пейзаж Азии. Горы заглушают грохот поезда и слабый, задыхающийся свист паровоза. Но паровоз бодро тащит на запад двенадцать вагонов, и в вагонах едут анатолийские помещики в барашковых шапках, купцы в дождевиках, офицеры и деловые господа, иностранцы с несессерами и портфелями, чиновники и студенты — Турция наших дней, производящая, строящая, торгующая, отстаивающая свое место в этом мире потрясений и кризисов. Следовательно, неколебимый, неподвижный в веках малоазиатский пейзаж есть мираж.

Поздно вечером возникают станция и город Эскишехир, большая станция, продавцы газет, ларьки, где продают знаменитый янтарь Эскишехира, изделия из янтаря, четки и мундштуки. В Ушаке продавали ковры, перекинутые

запросто через ограду, тоже знаменитые ковры, упоминаемые в «Бедекере» и рекомендуемые туристам в качестве сувенира, воспоминания о путешествии в Малую Азию.

Отсюда мы круто поворачиваем на юг. Следующая станция — Афион. Полностью станция и город называются Афион Кара Хисар, в переводе «Черный замок опиума». Я вижу этот город в полусне, на рассвете. Высокая конусообразная гора и город, рассыпанный у подножья. Это величественно, декоративно и до того неестественно прекрасно, что гора и город кажутся мне сном. Но утром проводник вагона приносит минеральную воду. Вода называется Афион Кара Хисар, и на бутылочной наклейке нарисованы та же самая высокая, конусообразная гора и город у подножья. Тогда я понимаю, что странно-прекрасный сон на рассвете не был сном. И этот город существует в действительности и называется он, как сказано выше, «Черный замок опиума». Опиум дает благосостояние городу. Жители же Афион Кара Хисар дали много бойцов армии, которая двинулась на Смирну, и отстаивали независимость Турции.

После полудня начинается подъем на перевал. Два паровоза медленно волокут поезд. Меняется пейзаж. Голые горные вершины покрываются чернолесьем. Туннели то поглощают, то извергают поезд. Смена мрака и света подготавливает вас к ослепительной перемене. С гребня перевала открывается залегающая между гор плоская зеленая ящерица — Смирнская долина. И поезд скатывается в эту долину.

«Эллада» — говорите вы вслух и чувствуете непреодолимое волнение. Эллада! Остроугольные желтые скалы, сверкающая под солнцем, твердая, как металл, земля. Блестящая зелень инжира.

Суставчатая, еще голая лоза виноградников. Белые города на синих, горных скалах. Обвитые плющом колонны, отвесные скалы, камни, как окаменевшие чудовища.

Черный козел стоит на отвесном обрыве. У него спиральные рога и борода, как кисть, юбмакнутая в смолу. Эллада!

Плодородная долина, ранняя весна, первая зелень воскресающих деревьев и вечная зелень лавров. Солнце, свет и лазурь. И вся эта благодать после хмурого неба и сумрачных горных кражей и бурых солончаков цвета верблюжьей кошмы.

Но мужество, воля и готовность к жертвам родились под скупым солнцем Анатолии, на суровой и скудной анаголийской земле.

Дети этой скудной земли вернули Турции свободу, независимость. Наконец они вернули Турции азиатскую Элладу, Смирнскую долину и город Смирну — «Гюзель Измир».

Когда с горных высот, нависающих над Эгейским морем, открываются голубые дали и белые мраморы Смирны, вы ощущаете волнение, подобие того волнения, которое охватило партизан в день решительный за «Гюзель Измир».

«Из всего этого — пишет Фалих Рифки, турецкий писатель и политический деятель, — из всего этого турецкий народ может извлечь следующий урок: вперед по пути полной экономической независимости Турции! Вперед с той же решительностью и энтузиазмом, с какими мы шли на Смирну! Никто не даст нам этого счастья, как никто не дал нам Смирны. И мы добьемся этого счастья так же, как добились Смирны, своими руками, своим умом, своей готовностью к жертвам».

Вечером будет Смирна — «Гюзель Измир».

Люди и факты

И Ю Н Ь

Н. Изгоев

I

Июнь 1934 г. можно было бы смело назвать месяцем героев СССР, месяцем челюскинцев. Огромный общественный под'ем, характеризующий повседневную жизнь нашей страны, нашел свое праздничное выражение в триумфальной встрече «граждан лагеря Шмидта», советской колонии на дрейфующем льду и их отважных спасителей. Великая родина социализма, поддержанная овациями лучшей части всего человечества, сумела достойно встретить своих сыновей. На пути от Петропавловска-на-Камчатке до Москвы, по выражению одного из советских публицистов, «людской океан качал и баюкал своих сынов, омывая их ласковыми волнами своей любви и своих восторгов».

В любви и внимании к челюскинцам сочно выявился колорит нашей эпохи. Встреча трудящихся героической страны с ее прославленными людьми, показавшими всему миру образец стойкости, мужества, невольно показала миру доминирующие психологические черты большевистского человека, черты наших дней. Страна увидела самое себя, свою сплоченность и общность своих поступков и переживаний, свое единодушие в уважении к мужеству героического человека.

Приезд челюскинцев проходил в обстановке исключительного воодушевления самых широких масс населения. Челюскинцы явились в буквальном смысле слова народными героями, и значение

их героизма было понятно каждому гражданину Советской страны, было близко ему, ибо в этом случае с особенной силой была подчеркнута основная черта героизма, почитаемого большевиками: героизма в интересах человечества, героизма борьбы за дело социализма.

Невиданный в истории полярных бедствий психологический эффект челюскинской эпопеи заключается именно в том: прежде всего, что советские люди противостояли здесь всей истории буржуазных полярных экспедиций как коллектив, объединенный дисциплиной, сознательным отношением к общему делу. Героизм челюскинцев был в их организованности. Там, где погибла бы всякая буржуазная экспедиция, там, где неизбежно со звериной силой разгорелись бы зоологические индивидуалистические страсти, там, где «сильные» постарались бы укрепить шансы своего спасения за счет гибели слабых, там, где пресловутые буржуазные понятия о морали, о праве личности были бы растоптаны борьбой личностей, страхом перед ледовой стихией, были бы раздавлены торосящимися льдами, — там советский коллектив показал все свое превосходство над бунтом индивидуализма и свою победу над традициями сильного одиночки.

Если бы не было этого коллектива, сумевшего меж расчисткой разломанных

шквалами аэродромов изучать художественную литературу и решения XVII съезда партии, челюскинская эпопея закончилась бы несомненно трагически. Если бы не было этого коллектива, профессор Шмидт не мог бы продолжать разрабатывать свою абстрактную «теорию групп» и физик Ибрагим Факидов не мог бы открыть закона дыхания льдов, и плотник-сезонник Дмитрий Березин, потянувшийся в Арктику за «длинным рублем», не мог бы на льдине ликвидировать свою неграмотность.

Перед суровым испытанием ледяного безмолвия, в обстановке, ежечасно угрожавшей смертью, большевизм особенно ярко явил миру свои организующие черты.

И на льдине большевики сумели воспитывать людей, растить в них черты нового человека. На льдине были разные люди, люди разных биографий, разных жизненных путей, разных профессий, разных культурных уровней. Коллектив на льдине ни в чем не нивелировал их индивидуальные особенности, но он сумел загасить людей принести в жертву общим и общественным интересам свои недостатки, унаследованные от старого общества, и взрастил в людях их достоинства, унаследованные и благоприобретенные в социалистическом строе.

Не секрет, что были у отдельных людей тяжелые моменты, когда сковывала госка, когда, забыв о товарищах, иные порывались идти пешком через десятки километров ледяных гор, через полыньи на берег. Были моменты уныния у отдельных людей. Рассказывают, что плотник Березин даже на льдине умудрялся коптить сухари, и целый мешок сухарей он втащил в спасавший его аэрсплан, и привез в Ванкарем, и вез из Ванкарема в Петропавловск-на-Камчатке, и из Петропавловска-на-Камчатке привез во Владивосток, и только уже в пути, где-то в промежутке меж Хабаровском и Читой, потихоньку от товарищей, выбросил этот мешок. Груз старой деревни, смешной и трагический, шел на плечах этого человека со льдины. Но в испытаниях лагеря Шмидта никогда их жизнь, их быт не нарушался шквалами

отчаяния, и крепкий лед их коллектива никогда не ломался. Наши потомки будут уважать даже и те отдельные стоны и слезы, которые прорывались у отдельных челюскинцев. Это были стоны героев, стоны мужественных людей.

Нам вспоминается «Калевала», героический эпос освоения Севера финно-карельскими народами. Векочный песнопевец, воплощение жизнерадостности, заветатель жизни — Ильмаринен — после неудачного сватовства к дочери Севера раненый упал в море, и его отнесло течениями. Лоухи — Севера хозяйка — «услыхала плач на море и у берега стнанья». Злая и хищная, но мудрая и вещая старуха, олицетворяющая суровый Север, прислушалась и сказала сама себе:

Так нигде не плачут дети,
Так и женщины не стонут,
Плачут так одни герои.
Бородатые мужчины.

В эпических легендах, которые когда-нибудь будут сложены о челюскинской эпопее, старуха Севера, может быть, тоже расскажет о столах героев, о слезах бородатых мужчин, но разве эти простые проявления человеческого, обычного не украшают, не придают черты исключительного благородства образу нового человека, какого мы видели в веселых радиogramмах Кренкеля, в стенной газете «Не сдадимся», в иронической «Песне о Гайавате», созданной на дрейфующем льду.

И еще большей гордостью человечества является подвиг советских пилотов, спасших челюскинцев, подвиг советской авиации. Весь мир стал свидетелем неустрашимости советского летчика, его способности преодолевать самые тяжелые, еще неизвестные авиации препятствия. Герои Советского Союза стали знаменем всей страны, идеалом миллионов молодежи. И советские машины, советские моторы, на которых летали пилоты, высоко подняли знамя советской авиопромышленности.

В обстановке высокого общественного подъема встречи челюскинцев возник декрет о каре изменникам родины. В лагере врагов и завистников СССР этот декрет вызвал взрыв яро-

сти. В стране, в которой многие десятилетия для лучших умов понятие родины всегда сочеталось с представлением о защите чудовищного самодержавия царей и помещичье-феодалного государства, в стране, для которой долгое время лозунг «защиты родины» был изменой интересам освобождения человечества, теперь, после разгрома и ликвидации капиталистических классов, после завершения фундамента социализма в стране Советов, лозунг защиты родины, понятие родины стало боевым, революционным. СССР — единственная в мире родина, которую может и должен защищать трудящийся. СССР — родина прекрасного будущего человечества, родина социализма. Эта родина одинаково близка и дорога сердцу трудящихся СССР и Америки, Африки, Европы, Азии, ибо это — отечество мирового пролетариата.

II

Июнь 1934 года был месяцем огромных успехов социалистического сельского хозяйства. На необъятной территории Союза мы сумели в июне закончить сев и начать уборку. Когда на северо-востоке и на востоке страны досевали последние гектары посевного плана, Юг уже пожинал, косил хлеба, скирдовал их и начинал обмолот.

Июнь резко повернул виды на урожай. Весна угрожала засухой, недородом. Целые районы и края месяцами не видели дождей. В разгар весенних полевых работ ворвалось палящее солнце. Ранние суховеи с'едали урожай на корню. 1934 год угрожал нашей стране рецидивом засушливых лет России, но эта угроза, как черная туча, обошла нашу страну Там, где помещичье и единоличное, мелкое и мельчайшее раздробленное хозяйство было бы беспомощно перед стихией засухи, там социалистическое плановое хозяйство, опирающееся на непрерывный рост материального благосостояния и энтузиазм трудящихся, сумело победить угрозу засухи. Эта победа выразилась прежде всего в резко сократившихся против прежних лет сроках весеннего сева. Многие районы, области

и края закончили весенний сев на месяц раньше, чем в прошлом году, и на полтора месяца раньше, чем в 1932 году. Западная Сибирь сумела посеять сверх плана свыше полумиллиона гектаров, Северный Кавказ засеял сверх плана 100 тысяч гектаров.

Больше того, в нынешнем году с особенной силой началась борьба за использование нетронутых земельных массивов, так называемой неудобницы, заболоченных и поросших кустарником участков. На XVII съезде партии товарищ Сталин специально выдвинул задачу создания новых хлебных массивов в центре страны. Но эту задачу на свои плечи приняли не только Московская, Ивановская область, Горьковский край, но и районы, борющиеся за создание собственной продовольственной базы, — Ленинградская область и др. Например Островский, Дновский, Солецкий и другие районы области изменились в течение одной весны. Там, где были пустынные, заболоченные участки, там поднялась пшеница. Пейзаж Ленинградской области можно сейчас с трудом отличить от пейзажа пшеничных полей Центрально-Черноземной области или Украинской лесостепи. Ленинградская область, не знавшая посевов пшеницы, засеяла в этом году 72.000 га пшеницы — в два с половиной раза больше прошлого года. Путем раскорчевки пней, вырубки кустарников и высушки залежей область получила новый земельный фонд в 105 тыс. га. Она сумела значительно поднять и свои овощные запасы. Имевшая в прошлом году картофель своего урожая только на 20 процентов потребности, она в нынешнем году будет иметь 60 процентов. Имевшая своих овощей на 13 процентов потребности, она в текущем году будет иметь 50 процентов.

Мы приводим Ленинградскую область как пример интенсивнейшей работы в сельском хозяйстве. Борьба за урожай стала борьбой всей страны. Можно привести в пример Кабардино-Балкарскую автономную область, всегда подверженную засухе. Здесь колхозники, своевременно мобилизовавшись, сумели не толь-

ко провести сев, соблюдая все строжайшие требования агротехники: глубокую пахоту, сев высококачественным, проверенным и протравленным зерном, превосходную заделку семян, но сумели и обеспечить полив зерновых площадей. Все реки области были запружены. На протяжении десятков километров каждый колхоз проводил каналы вокруг своих полей. Люди с лопатками в руках проводили целые дни на полях, проталкивая воду. Здесь колхозники сумели преодолеть сложнейшие природные условия. Вода у них шла и в гору, вода перебрасывалась через холмы. И теперь Кабарда ожидает от богатого своего урожая, в результате образцового выполнения обязательств перед государством, не меньше полутора пудов зерна на трудодень.

Наша страна преодолела засуху в результате социалистической организации сельского хозяйства, в результате большевистского руководства колхозами и совхозами, упорной работы политотделов и роста сознательности самой массы колхозников. Рост обеспеченности колхозника, борьба за большевистские колхозы и зажиточную жизнь, высокое качество полевых работ, — вот что было решающим в борьбе за преодоление засухи, вот что определило собою борьбу за урожай.

К концу июня в Крыму, Днепропетровской и Одесской областях, в Средней Азии, в Азово-Черноморском и Северокавказском краях был уже скошен первый миллион гектаров колосовых культур. Начало уборки показало ряд блестящих успехов социалистического сельского хозяйства и успехи сельскохозяйственного машиностроения. В нынешнем году наша промышленность своевременно справилась с задачей отгрузки уборочных машин. Машинооруженность сельского хозяйства колоссально выросла даже по сравнению с прошлым годом. Деревня получила десятки тысяч новых тракторов, автомобилей, тысячи комбайнов, сложных молотилок и других машин. Состояние рабочего тягла, его упитанность, уход за ним почти повсеместно оказались к началу уборки бесспорно удовлетвори-

тельными. Возросли организованность и активность колхозных масс.

Все это в значительной мере облегчило задачу уборки урожая без потерь. «Убрать без потерь» — вот главный лозунг, который встал перед сельским хозяйством нашей страны в начале лета.

Июнь в значительной мере изменил картину состояния посевов. В июне прошли дожди. В июне большинство районов Союза успешно развернуло попочные работы, спасшие от сорняков, как последствия засухи, не один десяток миллионов пудов хлеба. Конец июня позволил пленуму Центрального комитета ВКП(б) определить состояние урожая следующим образом: «Несмотря на частичную засуху на Юге, по всем данным, урожай по СССР будет в целом не хуже прошлого года, а в некоторых областях — лучше прошлого года».

III

Июнь завершил полугодие работы промышленности. Уже в мае наши металлурги добились большой победы: домны нашей страны стали выплавлять 30.000 тонн чугуна в сутки. Магнитогорск выполнил майский план выплавки чугуна на 105 процентов. Это было большой победой именно потому, что еще недавно на XVII съезде партии тов. Сталин указывал на недопустимое отставание черной металлургии.

В 1934 г. металлургия значительно подтянулась и выросла. В мае 1928 г. среднесуточная выплавка чугуна достигала 9,6 тыс. тонн. В мае 1933 г. среднесуточная выплавка достигла 18,7 тыс. тонн. Это было ростом, созданным в процессе первой пятилетки. А среднесуточная выплавка за период от мая 1933 г. до мая 1934 г. поднялась с 18,7 до 29,4 тыс. тонн. Таким образом, рост среднесуточной выплавки в течение одного года оказался выше показателей целого пятилетия, — пятилетия героического.

Итоги работы тяжелой промышленности за первое полугодие 1934 г. следу-

ющие: всего выработано валовой продукции на 9.488,4 млн. руб. (в неизменных ценах 1926—27 гг.). В первом полугодии 1933 г. было выработано продукции на 7.348,9 млн. руб.

Годовой план по валовой продукции тяжелой промышленностью выполнен на 47,4 проц.

Количество производственных рабочих на предприятиях тяжелой промышленности увеличилось на 199,2 тыс. человек, что дает рост по сравнению с первым полугодием 1933 г. на 10,3 проц.

Значительно поднялась также производительность труда. Выработка 1 рабочего за первое полугодие составляет 4.296 руб. (неизменные цены 1926—1927 гг.) против 3.678 руб. за то же время прошлого года. Это дает рост на 16,8 проц. Таким образом при увеличении числа рабочих на производственных предприятиях системы НКТП на 10,3 проц. продукция одновременно увеличилась на 29,1 проц., и выработка на 1 рабочего поднялась на 16,8 проц.

Динамика работы тяжелой промышленности в первом полугодии 1934 г. в сочетании с итогами второго полугодия 1933 г. совершенно четко показала, что мы с успехом вступили в период освоения и что освоение в общем идет победным шагом. Значительная масса наших предприятий уже вышла из периода строительства, «длительно отвлекавшего из хозяйственного оборота материальные ценности без возмещения их какой-либо продукцией, к периоду ускоренной (вслед за пусковыми месяцами) активизации созданных огромных резервов производственной мощности. В итоге мы получили за одно полугодие 1934 г. почти столько же чугуна, сколько за весь 1930 г., стали — больше, чем за 1930 г., а проката — в размерах продукции 1928 г.».

Самым существенным в этих успехах является то, что освоением производственных процессов в черной металлургии мы только еще занялись по настоящему и перед нами еще

стоит перспектива использовать колоссальные производственные резервы, особенно в работе мартенов и прокатных цехов. Прокат продолжает отставать, как и цветная металлургия. По целому ряду отраслей тяжелой промышленности мы все еще имеем отставание, которое свидетельствует, что в этих отраслях еще по настоящему не взялись за осуществление лозунга освоения и что при общем под'еме высокой производственной культуры на наших предприятиях, при значительном улучшении организационного руководства промышленностью мы все же не имеем на множестве предприятий достаточного перелома.

Аварийность и штурмовщина продолжают оставаться бичом нашей промышленности. Июнь не составил исключения в обычной практике многих наших предприятий: первая декада июня, как это часто бывает, по темпам своим была ниже, чем последняя декада мая и последняя декада июня.

Итоги июня, являющиеся итогом целого полугодия, показали, какие неисчерпаемые возможности лежат перед нашей тяжелой промышленностью в любой и каждой ее отрасли. Организационная перестройка руководства промышленностью, упрощение общей структуры управления производством, борьба с функционалкой, ликвидация бюрократических средостений, укрепление единоначалия, переброска инженерно-технических кадров в цех, к станку, — все это сопровождало работу тяжелой промышленности в первом полугодии. Но все это было только началом организационного укрепления руководства промышленностью, первым шагом перестройки, и поэтому во втором полугодии перед тяжелой промышленностью стоят еще большие, чем в первом полугодии, возможности нового под'ема и роста.

IV

Пестра, многокрасочна и многообразна наша повседневная жизнь. Куда ни поглядишь, она везде жизнерадостно

бурлит, насыщенная социалистическим соревнованием, и колхозники из Байрам-Али (Туркменская ССР) обучают средневольтцев искусству ирригации, вводят на поля Заволжья кунжут, джугару, виноград и хлопок — невиданные здесь культуры — и сами вывозят с Волги опыт яровизации зерновых культур, опыт сверхранного сева и большой запас организационных навыков социалистического хозяйствования — культуру, успешно произрастающую на любой советской земле. В процессе социалистического соревнования формируется новая психология человека, новые общественные отношения проникают все глубже в толщу населения страны. Тысячи, десятки тысяч новых людей вырастают у нас с каждым годом. За год мы узнаем десятки новых славных имен. Каждая область за год выращивает и выявляет у себя сотни новых административных и организационно-хозяйственных талантов. В каждом районе можно найти сотни и тысячи новых людей, оторвавшихся от пуповины старых привычек, выжигающих в своем сознании корни предвзятых, выросших на почве старого общества.

В Донбассе, родившем Никиту Изотова и ряд замечательных инженеров, в июне прославлены новые люди. Они на производстве рядовые ударники, но в стройке быта они открыли новые залежи руд и пробили новые штреки. В этом их слава. Так например в Луганске прославлены Петро Никитич Задорожный и его жена Федосья Никитична. База, на которой выросла слава Задорожного, чрезвычайно своеобразно оттеняет сложный переплет общественных отношений, господствующих в нашей стране.

Слава Задорожного, попросту говоря, основана на том, что он первым построил себе просторный дом, использовав государственный кредит по постановлению ЦК и Совнаркома о жилищном строительстве в Донбассе. Задорожные одними из первых записались в список застройщиков и приступили к работе. 28 апреля, придя с работы, они вырыли котлован глубиной в 80 сантиметров. 29 апреля забутили его, 5 мая

начали кладку каменных стен, а 3 июня Задорожные с дочерьми Лизой и Валей праздновали веселое новоселье в своем новом доме из 3 просторных комнат с коридором и кладовой. Но это новоселье было праздником всего Донбасса, ибо постройка Задорожных имеет огромное общественное значение.

Общественное значение это заключается в том, что тяжелый жилищный кризис Донбасса, привлечший внимание ЦК и Совнаркома, может быть очень быстро преодолен путем индивидуального жилищного строительства. Размах жилищно-коммунального строительства в Донбассе, на которое ассигновано свыше 272 млн. рублей, блестяще иллюстрирует размах культурно-бытового строительства во всей нашей стране. Донбасс должен в нынешнем году получить свыше 20.000 квартир, 193 км водопровода, 114 км канализации, 79 км трамвая, 207 км электросети, 755 тыс. кв. метров мостовых и тротуаров, 29 больниц, 8 поликлиник, 17 медпунктов, 36 яслей, 78 школ, 20 кинотеатров, 16 бань, 3 стадиона и многое другое.

Естественно при этом, что индивидуальное жилищное строительство, позволяющее каждому рабочему путем использования государственного кредита обеспечить себя хорошим жильем, может в значительной мере помочь Донбассу, обведенному лесами строек. В частности программа нынешнего года предполагает постройку 2.000 индивидуальных домов для шахтеров, металлургов и железнодорожников. Дом Задорожного и явился первенцем этого строительства. Он строился в часы после основной работы Задорожных, которым помогали 4 каменщика и 2 плотника. По смете дом стоил 5 тысяч рублей, из которых правительство отпустило 3.500 руб. кредита. Задорожный строил по-хозяйски, и дом ему обошелся всего в 3.300 рублей. Он сэкономил не только собственные средства, но даже и часть суммы государственного кредита.

И другой человек прославлен в Донбассе — рабочий Сталинского района т. Доморацкий. Он прославился тем, что в Донбассе, крепко взявшемся за созда-

ние собственной продовольственной базы, засеявшем по линии ОРС 74 тыс. га овощей и 54 тыс. га картофеля, возглавил поход и за индивидуальные рабочие огороды, занявшие 80 тыс. га под овощи и 40 тыс. га — под картофель. Доморацкий первым вырыл на огороде колодезь и обеспечил посевы водой, тщательно прополоч всходы и в июне уже созывал гостей попробовать молодой картошки.

Он прославлен как хороший рабочий, по-хозяйски использующий возможности, предоставленные ему властью Советов. И поделом прославлен, как был прославлен всякий другой рабочий, вдумчивый изучивший доклад товарища Сталина на XVII съезде и подумавший над конкретным способом осуществления превосходных советов и указаний вождя.

Так возникают славные люди нашего строя. И дело, которое кое-кому сначала казалось потаканием частнособственническим инстинктам, даже превращением рабочего в «мелкого буржуа» (идеологические мелкие буржуа всегда готовы в ультра-революционном головоплетстве обвести вокруг себя заколдованный круг от искушений зажиточной социалистической жизни), оборачивается совсем иной стороной. Мы хотим быть, мы можем быть и конечно скоро будем страной и зоной. Наша социалистическая родина будет «самой богатой страной в мире» (Сталин).

Страна живет, наливаясь соками. На ее лице играет веселый румянец. Растет жизнерадостность ее городов, и недаром тов. М. И. Калинин на примере Караганды так остро подчеркнул роль создания собственной материальной-хозяйственной базы городских советов

Караганда — третья угольная база СССР. За последний год добыча угля увеличилась по сравнению с 1932 годом в полтора раза. В городе Караганде уже имеется до 150 тысяч жителей. Между тем хозяйство Караганды находится на очень низком уровне. Тов. Калинин выступил по докладу Караганды в Президиуме ВЦИК и резонно заявил:

«Надо, чтобы горсовет понемногу заводил свое хозяйство. А можно ли свое хозяйство завести? Я думаю, что понемножку не только можно, но должно и нужно. Какое это хозяйство? Во-первых, пригородное хозяйство (помимо ОРС конечно); во-вторых, надо, чтобы горсовет строил свои дома; в-третьих, нужно привлечь рабочих и остальных жителей Караганды к постройке домов. Государство все дома построить не может. Без привлечения населения к строительству домов многого не сделаешь... Я считаю например, что и по линии благоустройства можно развернуть работу, в частности по озеленению... Привлечение как самих рабочих, так и их иждивенцев к работам по благоустройству города я считаю важнейшим делом городского совета».

Благоустроенность и внешне-культурный облик наших городов растут все больше. Мы не можем больше жить на грязных улицах, на нечистоплотных дворах, в неряшливых, неопрятных квартирах. И Самара например собирается не уступать Красной Пресне в благоустройстве и чистоте улиц. Она в июне собрала 500 дворников на слет Дворника Чурилову она специально послала в «показательную Москву» посмотреть, как организованы и как работают московские дворники, как «чистой города занимается лично тов. Каганович».

Примеров, подобных Самаре, немало. В июне мы наблюдаем огромный подъем борьбы за чистоплотность наших городов буквально во всех районах страны.

V

А классовый враг, остатки капиталистических элементов в нашей стране, продолжает вершить свое грязное дело. Пеннистая волна, льстивая и податливая, загрязненная и миазмическая, порой набегающая на наши берега, стараясь подмыть их. То здесь, то там вскрываются гнойнички, то здесь, то там просовывается к социалистической собственности грязная рука классового врага.

В июне внимание страны было привлечено к судебному процессу так на-

зываемого «киевского облхозо». Дело облхозо — мошеннической организации при киевском облисполкоме — обнажило изнанку пресловутого «блата», показало душный парник приспособленчества и делячества. Шереметьев, бывший секретарь президиума облисполкома, ответственные работники-коммунисты из облснаба, задобренные спекулянтами, оказались на поводу у классовых врагов и творили контрреволюционное дело, разлагая советскую торговлю, дискредитируя ее, подменяя советские методы торговли методами буржуазного жульничества.

Кумовство и дружба в обход законов, в ущерб плановому хозяйству, приемы буржуазного комиссионерства и неизбежное при этом «нагревание рук», стяжательские успехи, — вот изнанка отвратительного явления — «блата», принявшего довольно распространенную форму в хозяйственной жизни. Как часто иной директор не видит за «блатом» его социального происхождения, так четко выжившегося в киевском судебном процессе! Как часто «блатные» успехи вызывают в ином хозяйственнике самодовольство и влекут за собой поощрения! И как часто за «блатом», за «милрой дружеской помощью» кроется грязь, привнесенная в наш хозяйственный быт дельцами старого и навыками буржуазно-помещичьего хозяйствования.

Гнойное дыхание пережитков капитализма особенно явственно ощущается в области товарооборота. Оно и понятно: сложность системы снабжения и учета в нашей стране и ее особо важная роль в системе социалистического хозяйства неизбежно привлекают к себе внимание классовых врагов, пытающихся здесь найти базу для своего процветания за счет интересов советского хозяйства. Классовый враг пробирается не только в наши колхозы и совхозы, уничтожая скот, разворовывая хлеб. Он настойчиво пробирается в товаропроводящую сеть и создает ряд возмутительных извращений принципов советской торговли. Здесь и взвинчивание цен, и спекуляция товарами, подлежащими распределению, здесь обвешивание, обме-

ривание, подпиливание гирь, хищение продуктов — систематическое обкрадывание государства и трудящихся.

Но не только в области товарооборота еще живо влияние классовых врагов. Пережитки капитализма проявляются в самых различных областях нашей общественной жизни. На наших глазах догнивают остатки господствующих классов и сносятся храмы и свалки старого общества. На наших глазах то там, то здесь прорастают репейником и чертополохом гноища старой жизни. Из расщелин быта порой высовывается голова ядовитой змеи. Мерзкая и лукавая злоба отмирающих паразитических классов нет-нет и мелькнет в закоулках великой страны. И открывает всю меру низости, подлости, тупости классового врага.

В Кзыл-Орде недавно милиции некий Оспанов заявил о пропаже своего сына. Он даже подал письменное заявление, в котором указывал адрес еврея, который-де вероятно убил мальчика, ибо ему — Оспанову — достоверно известно, что евреи не могут есть мацу, ежели она не сдобрена кровью магометанских мальчиков. И нашелся милицейский работник, русский, сын церковника, начавший весьма усердно производить обыски, человек, готовый создать мусульманский вариант «дела Бейлиса». Конечно ГПУ сразу же, через несколько дней, нашло сына Оспанова. Оказалось, что мальчик за день до заявления был самим отцом предусмотрительно спрятан у родственников в ближайшем селении...

Казалось бы, в стране классического интернационализма, где в дружном союзе уживаются и цветут 186 народов, где миллионы людей сознают себя бойцами мировой революции, где австрийских рабочих, избегнувших виселицы, повсеместно встречают, как родных сыновей и братьев, — мыслимо ли возникновение этой жалкой, заранее обреченной на гибель, провокационной ритуальной версии? Однако, как видим, — возможно. Возможно не потому, что классовый враг надеется на какой-либо успех, а потому, что, потерявший всякую почву под собой, он способен сей-

час на любое преступление. И идет воскрешать версию ксендза Пранайтиса, черносотенного адвоката Замысловского и истерической проститутки Веры Чеберяк... И тормозит поезда... И нашептывает колхознику страхи... И ворует в столовых... И «бластует» на складах... Он живет еще, клас-совый враг, и, забравшись в пазы фундамента новой жизни, пробует, как до-мовой грибок, источить половицы, про-бует сдвинуть с места железо-бетон на-шей стройки.

Когда-то он покушался на краеуголь-ные камни социализма — он был еще классом, он имел опору и кое-какие си-лы. Теперь он раздавлен, но еще извивается, как змея. И на раздво-енном языке его виснет капелька яда.

VI

В июне закончился учебный год. Исключительное внимание, проявленное Центральным комитетом нашей партии и правительством к положению школы, выразившееся в ряде замечательных конкретных постановлений, перестраива-ющих систему работы школ, сказалось уже в течение минувшего года общим повышением качества преподавания, успеваемости учащихся и самого состояния школ. Эти факты общеизвестны. Но в связи с окончанием учебного года во многих местах Союза местные организаци-и провели специальный день школы, день учащихся. Это позволило еще раз проверить постановку дела в наших школах и настроение ученичества и учи-телей. Так например можно отметить рост внимания местных организаций к положению учителя. Например в Геор-гиевском районе Сев.-Кавказского края просвещенцы получили в индивидуаль-ное пользование 70 свиней, 160 кур, 10 коз и 15 ульев пчел. Пришкольные хозяйства получили 20 коров. Все это конечно еще очень недостаточно для резкого улучшения материального благо-состояния всей массы учителей, но это показывает сдвиг в отношении к работникам просвещения, положение которых в деревне не всегда можно назвать завидным.

Июнь явился месяцем не только за-вершения учебного года, но и начала подготовки к будущему учебному году. Начало этой подготовки показало ши-рочайший размах переподготовки учи-тельства. Программа переподготовки учителей начальной и средней школы предусматривает краткосрочные заочные курсы для 60.000 преподавателей на-чальной школы. 26.000 учителей прой-дут стационарные курсы, 28.000 пре-подавателей через курсы повышения ква-лификации получают подготовку в объ-еме знаний средней школы. Специально переподготавливаются 33.000 препода-вателей средней школы.

Однако деревенский учитель все еще пользуется недостаточным вниманием. Это особенно сказывается в культурно-бытовом отношении. Вот что например рассказывает учитель Волчанской шко-лы Чапаевского района Средней Волги А. И. Скунченко:

«Живем, точно в норе: ни радио, ни кино, ни музыки, ни книг хороших не видим. При избе-чательно есть библио-тека, но в ней совершенно отсутствует художественная литература. О класси-ках и говорить нечего — мы их и не видим».

В том же районе учитель Колоколь-цевской школы Брагин угрюмо заявил представителям местной газеты, обследо-вавшим положение учителей:

«Кроме газет, которые, кстати сказать, я получаю нерегулярно, никакой куль-туры я не вижу».

Аналогичное заявление можно услы-шать от представителей учительства ря-да МТС Средней Волги и вероятно не только Средней Волги. Их заявления— сигнал чрезвычайной важности. Мы не можем больше терпеть у себя даже в начальной школе полуграмотного, ото-рванного от культурной жизни, лишен-ного культурных интересов учителя. Че-ховские герои неуместны ни в советской школе, ни в советском быту. Они неиз-бежно противостоят нашей изумитель-ной детворе, нашим сильным, крепким, веселым, инициативным ребятам, рву-щимся к культуре, чувствующим себя полнокровными хозяевами советской жизни.

Очень интересна с точки зрения выявления настроений нашей детворы анкета, проведенная на Сев. Кавказе в ряде школ. Перед учениками был поставлен вопрос: чего они ждут от лета?

В очерках немецкой писательницы Рут Вейланд «Дети безработных» на вопрос сердобольной матери, чем он хочет быть, когда вырастет, маленький Ганс Кайзер ответил: «Пойду в академию, где учат регистрироваться на биржах безработных». С этим буквально трагическим ответом немецкого мальчика нужно сопоставить жизнерадостные ответы нашей детворы. Вот говорит Нина Янушкевич, ученица 4-го класса:

— Я хотела бы, чтобы в летние каникулы все дети проводили физкультурную зарядку, чтобы были организованы научные экскурсии. Нужно устроить волейбольные площадки, шахматные и шашечные кружки. Водить ребят на интересные картины. Проводить общие читки газет, книг.

Ученик 8-го класса Чекунов: — Я желал бы, чтобы была организована детская техническая станция, где можно бы работать в кружках по радио, электро-механике и по модельному делу

Ученица 9-го класса Ларисса Доброльская: — Летом можно будет читать, а книг непрочитанных еще так много.

Ученица 9-го класса Зина Свириденко: — Мне бы очень хотелось побывать под Эльбрусом. Сколько там интересного в области биологии, какое разнообразие растительного и животного мира! На уроках об этом говорили, но это все не то, а посмотреть самой — это я понимаю!

Какие замечательные ответы! Сколько жизнерадостности в нашей детворе, в подростках, сколько целеустремленности, здоровья и силы!

Дети — зеркало страны. Если дети здоровы и веселы, значит жизнь в стране весела и здорова. Если дети сыты, значит страна сыта. Жизнь нашей страны преломляется в интересах детей к книге, к точным знаниям, к механике. Здесь отражается общий культурный подъем, сопровождающий рост политической и хозяйственной мощи СССР.

Но рост здоровья страны, рост ее

жизнерадостности еще упирается в «узкое место» — слабость и ненадежность нашей культурной работы. Из провинции несутся сигналы.

«Скучно жить в Сергаче!» — восклицает районная газета «Коллективный труд». Целый ряд провинциальных газет жалуется на хулиганов, на то, что хулиганы распоясались, терроризируют окраины и мешают молодежи веселиться. Но и веселиться молодежь не очень умеет.

«Скучно жить в Сергаче! Скучно сидеть в душном театре и смотреть нудные, томительные кинокартины. Скучно ходить в сад, где вместо культуры процветает хулиганство. Скучно беспрерывно сидеть в душной комнате дома. Скучно молодежи, скучно старикам. Скука! Скука!» — ипохондрически пишет местная газета.

Не только в Сергаче так мрачно и хмуро оценивают городские развлечения. На недостаток развлечений жалуется во множестве городов. Даже из такого быстро поднявшегося, разросшегося, ставшего образцовым города, как Калинин (Московская обл.), несется зычный крик:

— Дайте выход веселью.

Из Калинина обратились к директору московского Центрального парка культуры и отдыха т. Б. Глан с просьбой превратить парк в методический центр летнего обслуживания трудящихся в провинциальных парках и садах. Калининцы например обещают ЦПКиО им. Горького всякую поддержку. О помощи просят и городской совет, и городской комитет партии. И немудрено: растет культурность широчайших масс, растут культурные запросы, провинциальная жизнь наполнилась новым большим содержанием, и проблема развлечений, проблема культурного отдыха выступила на первый план.

Недаром подготовка к съезду писателей приобрела необычайно широкий общественный характер. Подготовка к съезду писателей стала делом всей страны. Литература в нашей стране давно перестала быть делом профессионалов. Именно поэтому решительно во всех краях и областях СССР подготовка к съезду пи-

сателей совпала с массовыми читательскими конференциями, со съездами работников самодеятельного искусства и вызывает повсеместно организованные заявки читательской массы на песню, на интересную, правдивую книгу.

VII

Рост культурных потребностей и культурного уровня широчайших масс населения, пожалуй, ярче всего отразился в ряде олимпиад самодеятельного искусства, охвативших самые различные районы СССР, как например Среднюю Азию, Закавказскую федерацию, Западную область. Когда Западная область созвала олимпиаду рабочего самодеятельного искусства, в итоге трех дней выступлений групп и солистов в помещениях двух театров нехватило времени, чтобы выявить все дарования, накопленные на заводах и фабриках не очень уж индустриальной области. 750 певцов, музыкантов, танцоров и танцовщиц, чтецов, артистов, достойных соревнования, сумели выдвинуть на олимпиаду такие ничем не особенные центры, как Брянск, Ярцево, Бежица, Клинцы или тот же Смоленск. Хор ярцевских ткачих, симфонический оркестр завода «Красный Профинтерн» или ритмопластическая группа Дворца культуры в Бежице, отдельные исполнители, как говорят, «от станка», — значение этого явления велико и радостно.

Масштаб работы кружков разных видов искусства можно показать только хотя бы на одном перечне коллективов и одиночных исполнителей, премированных на закавказской олимпиаде искусств. ЗакЦИК наградила: ахал-сенакский этнографический хор, аджаристанский хор, сванокский хор, озургетский хор, абхазский этнографический хор по танцам и пению, татарский ансамбль Малеке (Кубинский район), аварокский ансамбль танцев (Закатальского района), курдский ансамбль Лачинского района, ансамбль этнографических танцев под управлением Аристакесяна, государственный восточный симфонический оркестр, ансамбль чонгуристов, группу колхозников — исполнителей «хоруми» из Бату-

ма, Кобулет и Хуло, зугдидокский хор, железнодорожный красноармейский ансамбль, бакинский оркестр тюрчанок, группу крестьянских танцоров из Юго-Осетии, хор сестер Тархнишвили, красноармейский музыкально-вокальный ансамбль, этнографический ансамбль армянской дивизии, народных певцов Карягди Джабара, Мкртчяна Шогик, Шараталаяна, Агигет Ризаеву, Джигаури, Мамеда Гасанова, ряд музыкантов, исполняющих народные мелодии на национальных инструментах, хор немцев-колхозников из Люксембурга, хор гурийских колхозников из селения Аскании, мингрельский хор, хор абашских колхозников, сванских танцоров, группу хевсуров по играм и пению, курдский ансамбль из Аджаристана, лазский ансамбль из Аджаристана, карталинский хор, хор рабочих Чиатурских рудников и многое множество других коллективных и одиночных исполнителей национальных танцев и народных песен и артистов-любителей, играющих на национальных инструментах — на тари, на каноне, на дуоли, на свирели и многих других.

Массовая тяга к искусству, массовое выявление дарований в гуще рабочего класса и колхозников тем значительнее, тем ярче, что олимпиады искусств совпали с появлением оперного заводского театра в Ленинграде, с выставками рабочих художников в Москве, с десятками явлений и фактов первостепенного значения, не всегда, к сожалению, широко пропагандирующихся в нашей печати.

Наряду с полнокровием, входящим в рабочую квартиру, в быт рабочей улицы, можно без особых усилий увидеть, как быстро меняется и деревня. Не только тем, что в степях вырастают культурные станы с душем и умывальником, с отдельной чистой постелью, с агротехническими занятиями. Не только ростом числа колхозников, связанных с новой техникой сельского хозяйства. Не только ростом запросов и изменением быта, какое в замечательных цифрах выглянуло из материалов обследования ряда районов Чувашии. Об этом обследовании нельзя не рассказать.

Специальная экспедиция, состоявшая из врачей, писателей, художников, журналистов, учителей, кино- и фотоработников, обследовала социально-культурное состояние 21 чувашской деревни с 4.885 хозяйствами, с общим числом населения в 23.032 человека.

Основные материалы обследования еще не подытожены. Экспедиция сообщила пока только часть своих выводов и в частности интереснейшие сведения о «колхозном туалете».

Например о полотенцах. В чувашской деревне, где население поголовно болело трахомой, полотенце не было. Семья пользовалась одной общей для всех тряпкой, которая никогда не стиралась. По данным экспедиции, из 4.478 семейств, ответивших на вопрос о пользовании полотенцами, 2.947 колхозных семей, в которых 55 проц. колхозников пользуются каждый отдельным личным полотенцем. В селениях Старые и Новые Челны, Тоси Паразусь, Трехболтаево — от 85 до 96 проц. колхозников имеют отдельные полотенца.

Непрерывно растет потребление мыла. Совсем еще недавно мылом пользовались по большим праздникам, а белье стирали почти исключительно щелоком. Ныне 87 проц. колхозных семейств повседневно пользуются мылом. В 1933 году по сравнению с предыдущим годом мыла куплено на 18 проц. больше.

Когда раньше можно было встретить у чуваша зубную щетку? А теперь 28 проц. обследованных колхозников систематически чистят зубы. Входит в домашний быт колхозника и одеколон. Данные обследования показывают, что 5,3 проц. колхозников пользуются одеколоном. В деревне Ишаки одеколон имеется в каждом десятом колхозном дворе, в Трехболтаево — в каждом 8-м доме, в Суринске — в каждом 12-м.

Следует сказать несколько слов и о носовом платке. Носовой платок раньше — это свадебный подарок, предмет праздничного обихода. Теперь, судя по неполным данным экспедиции, четверть колхозников имеет носовые платки. В Сарееве они имеются у 43 проц. колхозников, в Байдерякове — у 38,5 проц.,

в Суринске — у 40 проц., в Трехболтаево и Ново-Исаково — у 36 проц. и т. д.

Ушло в прошлое то время, когда крестьянин-чуваш скоблил свое тело лучиной, строго придерживаясь старого поповского правила: «мункунтан мункуна» — мыться от пасхи до пасхи. Из 4.500 семейств, обследованных экспедицией, только 65 не пользуются баней. В среднем почти на каждые две семьи имеется баня — показатель, совершенно исключительный для чувашской деревни.

Эти данные, почерпнутые из практики еще недавно крайне отсталой Чувашии, не нуждаются ни в каких комментариях.

Но не только массовым и всеобщим ростом культурных привычек характерна сегодняшняя деревня. Июнь — конец пролета, месяц завершения сева, месяц, бывший самым голодным в году, — позволяет рядом фактов охарактеризовать и сегодняшнее состояние, и сегодняшнее настроение, и быт советской деревни.

Нужно ли рассказывать содержание праздников старой деревни? Эти буйные пьяные гульбища с молебном в качестве пролога и поножовщиной-эпилогом достаточно хорошо зарисованы в художественной литературе. Но еще нигде не зафиксирована, к сожалению, программа обыкновенного деревенского праздника, такого например, как праздник окончания сева в Кораблинской МТС (Московская обл.). А в старой деревне праздник в июне никогда не был возможен...

С утра прилет аэроплана и прогулка 60 ударников в воздухе. После — митинг: премирование ударников и старт эстафеты колхозных велосипедистов. Открытие выставки животноводства.

В полдень — гулянье. В тире — сдача норм на значок «ворошиловского стрелка». Скачки колхозных коней. Соревнования по гребле. Сдача норм на значок «ГТО». Игра в волейбол, катанье на качелях и гигантских шагах. Танцы. Детские игры. Выступление оркестра Семеновского колхоза и спортгруппы ШКМ. Конкурс плясунов, частушечников, 50 гармонистов, балалаечников и гитаристов. Спектакль драмкружков сел Незнамово, Князево и других.

В 4 часа дня выступление московского Мюзик-холла. В 6 часов вечера радиопередача: весь СССР слушает выступление незнамовского хора. Вечером демонстрация фильмов на двух кинопередвижках и фейерверк. В это же время весь день в селе ярмарка.

Мыслимо ли было это когда-нибудь раньше в нашей деревне? Была ли когда-нибудь так культурна и содержательна ее жизнь? И могла ли деревня быть когда-нибудь так вооружена разнородным оружием культуры, как теперь!

Нет, никогда!

И никогда раньше конечно не поставили бы вопроса о пьянстве так, как он поставлен сейчас (адыгейский обком ВКП(б), Азово-Черноморье).

Кажется, ни у кого нет оснований полагать, что в Адыгее пьют больше или меньше, чем в какой-либо другой области. Но адыгейский обком 6 июня выступил в печати со специальным обращением, посвященным пьянству сельских работников. Обком не постеснялся открыто рассказать о фактах перехода от-

дельных коммунистов на позиции классового врага в результате пьянок, круговой поруки, возникшей за бутылкой водки. Обком рассказал вслух о фактах распухлости и воровства как прямого пути, на который классовый враг толкает поддавшегося работника. И, отнюдь никого не призывая вступать в общество трезвости, он, как говорится, «заострил внимание» организации на вопросах поведения низового работника.

И правильно сделал. Он сделал это конечно не потому, что здесь пьянство и разложение низовых работников приняло хотя бы мало-мальски чрезмерный характер, а потому, что уровень работы организаций, уровень самой организации, уровень взаимоотношений колхозников и партии в Адыгее позволяет области подняться еще на одну ступень культурности.

Родина социализма, упорно и упрямо идет она своим путем. Растут темпы работы промышленности, наливаются зрелостью урожай, растет культура.

Пришло полнокровное лето.



За рубежом

1. Е. АДАМОВ — Кризис 1914 года. 2. А.А. ХАМАДАН — Пропаганда войны в Японии

1. КРИЗИС 1914 ГОДА

(К 20-летию империалистической войны)

Е. Адамов

I

История кризиса 1914 года, закончившегося мировым военным пожаром, начинается с «Сараева» — с убийства боснийскими сербами наследника австро-венгерского престола, эрцгерцога Франца-Фердинанда, по должности инспектора вооруженных сил габсбургской империи, наблюдавшего в июне 1914 г. в Боснии маневры австро-венгерских войск.

Исследование корней заговора ведет в Белград — в кафе под вывеской «Золотая рыба», постоянное местопребывание эмигрантской австр-югославянской молодежи: студентов, изгнанных из средних учебных заведений гимназистов, низших чиновников, начинающих лигеров и журналистов, ремесленников и рабочих, людей без определенной профессии, но весьма решительного, а иногда и воинственного вида, побывавших четниками в Албании, комитаджиями в Македонии.

Пребывание их здесь восходит — для самых старых — к 1908—1909 гг., к эпохе аннексии их родины, Боснии и Герцеговины, Австро-Венгрией.

С детства они впитывали ненависть к австро-венгерской оккупации, к австро-венгерской военщине, бюрократии и полиции. Старшее поколение пережило время австрийского владычества не только у себя дома, но и над братской по

крови, по религии, по обычаям и нравам Сербией. Но там продавшаяся австрийцам династия Обреновичей была свергнута, и на престол возведен поддержанный французами и русскими Петр Карагеоргиевич. Договор 1881 г., тайно установленный над Сербией австрийский протекторат, был похоронен. Русское правительство, поставившее крест на своих попытках утвердить собственное влияние в Болгарии, приняло с распростертыми объятиями повернувшее вновь в лоно славянства и православия «сербство». Против австрийских репрессий — таможенной войны против Сербии, закрывшей для сербской свинины (важнейшая статья сербского экспорта) ее почти единственный рынок сбыта, явилась помощь со стороны Франции, перенявшей сербский экспорт, открывшей кредиты сербскому правительству, двинувшей свои капиталы в «освобожденную от австрийской кабалы» страну и сосредоточившей у себя сербские заказы и покупки в вооружения. Когда Сербия еще колебалась — в 1906 году, — заказать ли пушки у Круппа, или у Шнейдера, — «чек в 1.700.000 франков завоевал симпатии одного видного сербского деятеля — как утверждали газеты — в пользу французских пушек». Австро-Венгрия требовала размещения сербских заказов в Австрии как условия заключения торгового договора. Франция требовала

эти заказы себе как условия предоставления займа. Победила Франция, и Сербия вошла в фарватер французской политики.

Это не значит, что Франция приобрела второго равноправного с «великой» Россией союзника в этой небольшой стране, подававшей большие надежды. Менее всего Франция собиралась конкурировать здесь с Россией. Наоборот, французская дипломатия, отвоевав Сербию у Австро-Венгрии, тотчас же предоставила в ней первое место русскому царю. Надо было вернуть русскую политику с Дальнего Востока «в Европу». Единственная же соблазнительная для царской России дорога туда проходила через Балканский полуостров, поблизости от вожделенных черноморских проливов, от «Царьграда», от «св. Софии». Еще в царствование Николая I русское влияние в Греции было ликвидировано Англией. Еще в царствование Александра II Сербия была им продана «за Болгарию» Австрии. И еще в царствование Александра III русское влияние в Болгарии было ликвидировано разнузданностью российских помпадуров в купе с «англо-австро-бисмарковской интригой». «Единственным другом» русского царя — как провозгласил на весь мир Александр III — остался профессиональный шантажист и отъявленный мошенник, князь черногорский Николай, продававший Черногорию иногда попеременно, чаще — одновременно Австрии и России, а впоследствии еще и Италии. Царская дипломатия в 90-ых годах пыталась перенести свою ставку на армян, а затем, столкнувшись и здесь с Англией, ринулась по линии (как ей казалось) наименьшего сопротивления — на Д. Восток. Разгромленное там японцами, полузадохнувшееся в позоре и крови, самодержавие устояло против революции только благодаря знаменитому «великому» займу 1906 г., спасшему его от неминуемой, без этой помощи, гибели. Казалось, на продолжительное время Россия выбыла из строя великих держав, на долгое время внешне-политического значение ее пало до небывало-низкого в истории романовской империи уровня.

На деле произошло нечто другое. На другой день после Портсмутского мирного русский министр иностранных дел, обозревая международное положение России, с умилением докладывал Николаю II, что это положение блистательно, что со всех сторон, все правительства добиваются дружбы и благорасположения «России», и «Россия» может выбирать среди этих лестных предложений наиболее для нее приятные и выгодные. «Маститый» посол в Париже Нелидов настаивал, что именно теперь Россия может добиться своих «прав» в проливах.

Что же это значило?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо открябть одну из самых интересных и наименее понятых страниц истории международной политики империалистической эпохи.

II

В 1902 г. Англия заключает союз с Японией, направленный против России, оккупирующей Манчжурию в результате «антибоксерской» европейской интервенции в Китае и отказывающейся под всякими предлогами вывести оттуда свои войска. Германия с давно невиданной любезностью предоставляет России заем. Вильгельм II проектирует восстановить порванную связь с Россией — против Англии. В это самое время идут переговоры об англо-французском соглашении. В Берлине знают, что первым следствием его будет фактический выход Италии из Тройственного Союза. Канцлер Булов предвидит даже и то, что Англия ответит на германские попытки втянуть Россию в антибританскую группировку сближением с Россией через Францию. Но ему не удается остановить азартную игру Вильгельма II, который в приближающейся войне России с Японией, союзницей Англии, при готовящемся соглашении Англии с Францией, видит единственный счастливый случай вернуть Россию к германской ориентации. Пусть опасения Булова основательны. Но ведь надо как-нибудь отвести опасность; недостаточно на нее указывать; нельзя сидеть, сложа руки, когда англо-японский бич

мог либо загнать Николая II в германские объятия, либо превратить его в раба англо-французского блока. Широким открытием своих объятий Вильгельм рассчитывает увлечь Николая на первый из этих двух путей — путь в Бьорге.

«Франция владеет в данный момент русскими долговыми обязательствами на 10 миллиардов франков. Точно известно, что Россия вынуждена в течение ближайших лет заключить новые большие займы. В Париже, с одной стороны, не хотят еще более нагружаться русскими заемными бумагами, с другой, — опасаются, что, если эти новые крупные займы не будут реализованы, дело дойдет в России до острого и опасного кризиса. Французский финансовый капитал (в подлиннике «*haute finance*») озабочен поэтому поисками партнера для финансирования России».

Автор этих строк, писанных 10 мая 1903 г. для Бюлова, известный германский дипломат, барон фон-Эккардштейн, объясняет далее, почему из двух стран, обладающих достаточными для этого капиталами (С. Штаты и Англия), только последняя может быть «партнером» Франции в финансировании римановской империи. Затем он продолжает:

«Вышеизложенные соображения, как мне определенно известно, побудили французскую *haute finance* работать г-на Делькассе (французский министр иностранных дел) в смысле не только англо-французского, но и англо-русского сближения».

Надежд на то, что сближение с Англией ухудшит отношения Франции с Россией, быть не может; напротив, в действительности

«образуется новый тройственный союз, который, хотя и не оформляется договорами и хотя продлится, вероятно, лишь немного лет, причинит однако длительные, по меньшей мере, политические и экономические затруднения. Франция войдет в этот новый тройственный союз для облегчения своего финансового положения, Россия — ради увеличения возможности получить новые займы. Лондонская же *haute finance* пойдет до известных пределов на уча-

стие в русских займах: даже лондонские Ротшильды, прежде резко настроенные против России, теперь круто повернули фронт».

По наблюдению Эккардштейна, русский посол, граф Бенкендорф, и первый секретарь русского посольства, Козелл-Поклевский, «деятельно работали в этом направлении и в правительственных, и в финансовых кругах, и в руководящей прессе...»

Заметим эту роль Козелл-Поклевского, дипломата непомерно богатого, бывшего своим человеком и у Эдуарда VII, и у Ротшильдов, — мы с ним еще раз встретимся.

В виду катастрофического столкновения России с союзницей Англии — Японией, лоянского и мукденского погромов русских армий, Цусимы, Портсмута, признания Россией японского преобладания на Д. Востоке — более чем странно было бы, на первый взгляд, говорить в 1903 году об англо-русском сближении. Но с высот, с которых лондонские финансовые воротилы и состоящие при них правительства наблюдали им подвластный мир, этот страшный удар по империи царей, этот триумфальный выход японского империализма на мировую арену, гибель царских армий, уничтожение русского флота, — все это не более, как одна из частных особенностей обширного плана, рассчитанного на гораздо более широкие и дальние перспективы, чем конъюнктура 1903 года.

В мае того же 1903 года ротшильдовский агент Бетцольд доверительнейшим образом поставил в известность германского посла в Париже, князя Радолина, о том, что переговоры об англо-французском соглашении идут успешно и что, при личном участии короля Эдуарда, обе стороны приступили к обсуждению вопроса о сближении Англии с Россией. «Манчурский вопрос — поучительно заявил Бетцольд, — во все не непреодолимое препятствие». Затем он подтвердил все, что излагал Эккардштейн Бюлову. Повидимому, надо было, чтобы в Берлине убедились в том, что английская дипломатия опередила германскую в вербовке русской дружбы. Во всяком случае Ра-

долин, конечно, отказался поверить в то, что дело идет лишь о финансовой «кооперации», без политических мотивов и последствий. Как весьма серьезный симптом, он принял сообщение, что даже Чемберлен настроен «не неблагоприятно» к сближению с Россией и к займу для России. Но еще более поразило его то, что вражда лондонского лорда Ротшильда к России превратилась в «дружественное расположение», под прямым воздействием на него и на английское правительство барона Альфонса Ротшильда (парижского). «Королю тоже, — заметил как бы мимоходом Бетцольд, — Россия вовсе не антипатична».

Рейхсканцлер и «серый кардинал», Гольштейн, просто-напросто сочли все эти откровения за «блеффо». В своем докладе Вильгельму рейхсканцлер сделал вывод о необходимости устранить все поводы к недовольству Германией у лондонского Ротшильда, сочтя единственно серьезным обстоятельством скрываютую, как ему показалось, во всем этом угрозу со стороны лорда Ротшильда.

Не прошло и года — англо-французское соглашение было подписано. Несмотря на русские поражения, несмотря на громадную трудность ликвидации войны, несмотря на все усилия Вильгельма разжечь вражду Николая II к Англии и внушить ему недоверие к Франции, вероятность англо-русского соглашения значительно возросла даже для посторонних наблюдателей. Неожиданный исход «Гулльского инцидента» (панический обстрел эскадрой Рождественского английских рыболовных судов у Доггер-Банк в Северном море) обратил на себя внимание германской дипломатии. Она отметила данный английской прессе сигнал не раздувать оскорбленные патриотические чувства читателей и легкость, с которой английское правительство приняло примирительную гаагскую процедуру. Но она не знала, что, когда делегация русского правительства прибыла по пути в Гаагу в Париж, знаменитый шеф заграничной царской охраны Рачковский мог с таинственно-пророческим видом предсказать представителям русского правительства

(Мартенс и Таубе), что их ждет сюрприз, о котором они не могут и мечтать и который в ближайшем будущем им откроет французский министр иностранных дел Делькассе. Каково же было удивление Таубе, — как рассказывает он в своих мемуарах, — когда через пару дней, на банкете в честь делегации, Делькассе оказался рядом с Таубе и поведал ему, что англичане хотят не только самым приятным для России образом ликвидировать гаагскую процедуру, но хотят гораздо большего: войти в переговоры с русским правительством о солидном политическом сближении. Таубе поспешил передать эту сенсацию в Петербург, где вызвал этим сильнейшее негодование: там в полном расцвете были настроения, завершившиеся свиданием и знаменитым договором «Вилли—Никки» в Бюрке.

В том же 1903 г. английский морской штаб дал заключение для английского министра иностранных дел, решающее о черноморских проливах — в том смысле, что вопрос о них потерял былое значение для Британской империи с точки зрения безопасности жизненно важных для нее морских путей. В это время Россия в сфере проливов уже имела перед собою внедрившуюся в Турцию германскую дипломатию, Deutsche Bank, германский финансовый капитал. Как некогда Бисмарк строил свои расчеты на том, что можно России разрешить взять «ключи от дома», ибо их ей придется вырывать из английских рук, так теперь в Лондоне собирались дать это же самое разрешение России с тем, что выдирать их ей придется из германского кулака. Английская дипломатия намечала для русской внешней политики тот путь, который и привел русское правительство в 1913—1914 годах к заключению, что проливами и Константинополем завладеть можно только посредством участия в европейской войне.

В момент подписания англо-французского апрельского соглашения 1904 г., послужившего фундаментом будущему сложному зданию Антанты, Эдуард VII находился в Копенгагене у «семейного очага» европейских династий. Посланником русского царя в этом «междуди-

настическом» семейном центре был Александр Петрович Извольский, получивший доступ к этому почетному посту после того, как при Ватикане и в Токио он показал выдающиеся качества, обратившие на него внимание не только Александра III и Николая II, но и внимательной английской дипломатии.

Эдуард почтил Извольского с первой встречи исключительным благоволением. В частых беседах он с полным доверием изъяснил Извольскому, что его заветное желание — увенчать англо-французскую антанту англо-русской антантой, т.-е. таким же точно соглашением, какое подписывалось в Париже: заменить дружбой и сотрудничеством все споры и трения между Англией и Россией, в первую очередь по самому острому, персидскому вопросу, а затем — об Афганистане и Тибете. Этот проект и получил свое осуществление в августовской конвенции 1907 года, оказавшей, как сказано в мемуарах Извольского, «столь великое влияние на последующие европейские события».

Затем, как повествует в этих мемуарах сам Извольский, он съехался с главными русскими послами: лондонским — Бенкендорфом, парижским — Нелидовым и римским — Муравьевым; берлинский и венский послы по своей устаревшей германофильской «консервативной» ориентации для данного дела не годились. Сообща был выработан план нового курса русской внешней политики для представления Николаю II. Что в этом плане фигурировали на первом плане, вместе с финансовыми, «константинопольско-проливные» перспективы, пленившие главным образом, надо думать, маститого мастера «проливных» дел А. И. Нелидова, — в этом сомневаться не приходится. В 1909—1911 годах Извольский, тогда уже министр иностранных дел, будет в Лондоне ссылаться на полученные им положительные обещания по этому делу, а Эдуард VII будет наставлять перед своими министрами на невозможности отпустить его из Лондона с пустыми руками. К тому же «весь Петербург» знал, что Извольский делал свою дальнейшую блестящую карьеру в качестве провиден-

циального счастливица, которому суждено открыть «английским ключом» Босфор и Дарданеллы. А еще немного позже разочарованные его неудачей петербургские салоны оставят за ним ироническую кличку «князь Босфорский». Упомянутый «план» был предъявлен царю при назначении Извольского министром иностранных дел и заключался он, по определению Извольского, «в стремлении к той комбинации, которая стала известной миру под наименованием Тройственного Соглашения».

Ценным дополнением этого рассказа служит повествование С. Ю. Витте:

«После Портсмутского договора, когда на обратном пути я был в Париже, то ко мне приехал (внимание!) Козелл-Поклевский, который в то время был первым секретарем английского (читай: русского, в Англии) посольства, — очень близкий человек к королю Эдуарду VII. Он приехал ко мне от имени короля приглашать приехать к королю, в Англию. Когда я от этого приглашения уклонился, потому что не имел права поехать в Англию к английскому королю без соизволения государя императора, то Поклевский мне, на основании конспекта, который он имел в руках, развил идею о соглашении с Англией, — соглашении, которое в общих чертах тождественно с тем, которое впоследствии было заключено Извольским по всем вопросам, в которых являлись постоянные столкновения с Англией, и главным образом по делам Персии, Афганистана, Тибета и Персидского залива. При этом Козелл-Поклевский мне передал, что он приехал в Париж по поручению короля Эдуарда и с ведома и с разрешения нашего посла гр. Бенкендорфа».

Витте знал, что тогда королеванный погромщик «относился к англичанам весьма недружелюбно»; по его словам, он частенько слышал от царя «выражения, в которых между жидами и англичанами, англичанами и жидами не делалось никакой разницы». Дипломатия Эдуарда VII стояла, казалось, перед глухой стеной: англофобия Николая II, связанная с германофильской в этот момент его ориентацией, германофиль-

ство ближайшего титулованно-латифундистского окружения царя, германофильские традиции министра иностранных дел Ламсдорфа, сотрудника и премьера «бисмарковского приспешника» Гирса. Но спастись от революции можно было только при помощи французского золота, а Париж теперь уже давал его лишь при условии финансового и политического участия Англии во франко-русских делах. И если мало было этого, то в руках Англии все еще был хлесткий японский бич.

Русское правительство спешило демобилизовать революционизированную армию и не могло еще и мечтать о приходе к ее реорганизации и перевооружению, а Япония, продолжая вооружаться теми же темпами, как и накануне войны с Россией, предъявляла Петербургу неприемлемые, каторжные требования (по рыболовству в русских водах, по плаванию по Сунгари и т. д.). И в Петербурге решили, что Япония, неудовлетворенная условиями Портсмутского договора, добивается разрыва с целью возобновить войну.

Давно прошли «счастливые дни», когда, по выражению Гирса, министра Александра III в 1887 г., «французы ползали перед нами на животах». Теперь самодержавие пресмыкалось перед французами, вымаливая у них спасительную помощь. За нею дело не стало. Отлично знавшие, в чем дело, французские министры только посмеивались над своим союзником, пытавшимся играть не на одной только струне, но и на дружбе с Вильгельмом II. В это время японская чрезвычайная миссия прибыла в Париж для заключения займа, необходимого и для ликвидации войны, и для осуществления новых планов (наперекор новому противнику — С. Штатам).

Французы поставили свои условия и русским, и японцам: от русских требовалась полная ликвидация «бьоркской авантюры», сожжение германофильских кораблей и осуществление «плана» Эдуарда VII, лорда Ротшильда, Делькассе, Извольского, т.е. подписание англо-русского соглашения по «конспекту» Поклевского — по проекту Эдуарда VII; от японцев требовалось: 1) отказаться

от чрезмерных претензий к России, 2) заключить с Россией соглашение, гарантирующее Россию от опасности на Дальнем Востоке и позволяющее ей «вернуться в Европу», повести вновь активную политику на Балканах, сосредоточить все свои силы на подготовке своего западного фронта, 3) заключить соглашение и с Францией. Любознательные и недоверчивые японцы, найдя первые два требования слишком жесткими, решили отправиться в Лондон для выяснения вопроса о займе там. Узнав об этом, успокоившиеся было петербургские герои впали в неопишное смещение, и тут-то Поклевский (слишком грязная работа для respectableного Бенкендорфа) нагнал на них настоящую панику заведомо вымышленным сообщением, будто Лондон согласился дать японцам заем. Этого было вполне достаточно, чтобы русское правительство превозмогло все свои сомнения, колебания и тоску по Персии, Афганистану и Тибету и поспешило подписать соглашение с англичанами. Тотчас же опасность миновала. Французы не скрывали своего веселья, когда успокаивали русских друзей, убеждая их, что в Лондоне японцы денег не найдут. Действительно, японская миссия, удовлетворив свою любознательность, вернулась из Лондона в Париж и методически поставила французскому министру иностранных дел вопрос: следует ли Японии заключить с Россией соглашение только по частным спорным вопросам, или же «более общего» характера, а в этом последнем случае — какого именно объема это соглашение должно быть? В итоге в этом, 1907, году почти одновременно были подписаны три, связанные между собой, соглашения: русско-японское, англо-русское и японо-французское. Тройственное Соглашение при рождении своем было, таким образом четверным соглашением, и если оно в дальнейшем оставалось «Тройственным», то это означало лишь, что по европейским делам Япония сохраняет за собою полную свободу действий до того момента, когда дела эти не затронут ее «специальных интересов». Иначе говоря, Антанта «от рода»

была тройственной лишь в европейском масштабе и четверной — за пределами Европы.

Таким образом, было подготовлено и оборудовано возвращение царской дипломатии к исконным историческим традиционным задачам России на Ближнем Востоке. Перед ней были развернуты англо-французской дипломатией обольстительные перспективы. Ей обещали за «активное сотрудничество» с Англией и Францией (!), но в меру активности этого сотрудничества, благожелательное отношение в вопросе о Проливах и Константинополе. В зависимости от усердия в службе Лондону и Парижу русский царь мог рассчитывать либо на открытие проливов для русских военных судов, либо на приобретение их в собственность. За ним отныне признали специальные интересы, права и обязанности на Балканском полуострове. И если проливы оставались отдаленной наградой за участие в будущей европейской войне, то осуществление «исторической миссии» на Балканах не только допускалось, но положительно требовалось самым безотлагательным образом.

III

Это сказалось уже во время «боснийского кризиса», вызванного аннексией Боснии и Герцеговины в 1908 году.

Аннексия эта — каковы бы ни были формальные и дипломатические поводы к ней — имела тот же смысл, который в 1914 году имел австрийский ультиматум Сербии: восстановить нарушенное к выгоде России и Франции «равновесие» сил Тройственного и Двойственного (превратившегося теперь в Тройственное Согласие) союзов.

Образование англо-франко-русской Антанты с «продолжением» ее на Дальнем Востоке само по себе означало бы для Тройственного Союза грозную опасность войны уже не только на два сухопутных фронта, но прибавление третьего — могущественнейшего противника, бывшего до самого конца XIX века негласным доброжелателем Тройственного Союза. Однако этого изме-

нения курса английской политики достаточно было, чтобы австро-германская военщина потребовала от своей дипломатии реальных путей и средств для «восстановления положения».

Но эта перемена курса английской дипломатии должна была повлечь за собой — и действительно повлекла — развал всей системы Тройственного Союза. Италия, со всех сторон открытая для английских морских орудий, питавшаяся со времени Risorgimento лондонским финансовым рынком, нуждавшаяся именно в английском покровительстве для осуществления своих колониально-завоевательных планов в Ливии и на Красном море, должна была автоматически «вытолкнуться» из Тройственного Союза. Дальнейшее пребывание ее в этой комбинации было очевидной бессмыслицей: оно связывало ей руки в отношении итальянских владений Австро-Венгрии и в отношении балканского побережья Адриатического моря, на которое метили и в Риме (для превращения этого моря в итальянское закрытое море), и в Вене (для обеспечения выхода из него в Средиземное море). Выход же из Тройственного Союза с переходом в новую английскую систему открывал перед Италией широкие империалистические перспективы: ирридента — бухта Валоны (адриатический Гибралтар!) — Триполитания и Киренаика на североафриканском берегу — возрождение абиссинско-красноморских планов! И «задачок» дается немедленно: Англия, Франция, Россия изъявляют благожелательность к итальянским предположениям оторвать от Турции Триполитанию и Киренаику.

Таким образом, Тройственный Союз превратился в Двойственный, а Тройственное Согласие разрастается и в Европе в Четверное Согласие великих держав.

И это не все: четвертый и последний член австро-германской системы, Румыния, усердно обрабатывавшаяся французской дипломатией, с фактическим отпадением Италии неизбежно должна была дезертировать с тонущего корабля. Для нее создавалось такое же положение, в каком оказалась Италия: австро-германский блок реально сулил

ей только опасности, переход же в лагерь Антанты открывал перспективы присоединения румынской части Венгрии. И во всяком случае, в момент «пробы сил» невозможно было немцам и австрийцам рассчитывать на большее, чем на румынский нейтралитет, — до момента, пока не определятся шансы на победу противников.

Но даже и это — не все.

Изменившееся столь опасным образом внешне-политическое положение Австро-Венгрии должно было усилить «центробежные» славянские элементы, усилить внутреннюю национальную смуту, усилить тяготение австрийских югославян, и прежде всего босняков и герцеговинцев, к Сербии, ставшей под покровительство России и Франции.

При всех этих условиях пребывать в пассивном выжидательном положении значило идти навстречу верной гибели. Надо было действовать. Как? В каком направлении?

Единственным открытым направлением был Балканский полуостров, откуда в то же время грозила непосредственная ближайшая опасность. Враждебная Сербия, с могущественными покровителями позади нее, протягивала руки к Боснии и Герцеговине, между тем как, с другой стороны, младотурецкая революция ставила под вопрос дальнейшую оккупацию этих провинций: созывался «оттоманский» парламент; номинально-турецкие провинции имели право выбрать и послать в этот парламент депутатов. Предотвратить осложнения на этой почве, — осложнения, которыми несомненно воспользовались бы сербы — и «свои», и зарубежные, — можно было только аннексией обеих провинций. Насколько опасения эти были реальны, видно из того, что аннексия вызвала и восстание боснийских сербов, и мобилизацию в самой Сербии против Австро-Венгрии, и поддержку сербского протеста со стороны России. И наконец потребовалась мобилизация против Сербии австро-венгерской армии.

Все это длилось в течение зимы 1908—1909 года. Мобилизованные армии габсбургской империи и «свинопасов» противостояли друг другу, и

каждый день этого бездейственного поединка разрушительно отзывался на финансах Австро-Венгрии, на внешнем и внутреннем престиже монархии, на моральном состоянии австро-венгерской армии. Австро-венгерский штаб тогда же требовал военной расправы с Сербией. Австро-венгерская дипломатия знала, что у Сербии и тогда были «друзья». Германское правительство считало, что проблема должна быть и может быть решена дипломатическими средствами, без преждевременной военной «пробы сил», но с выгодой для обеих империй. Действительно, достаточно было германскому послу заявить в Петербурге, что его правительство слагает с себя ответственность за дальнейшие последствия непризнания Россией аннексии, чтобы русский «блеф» мгновенно прекратился: Извольский отказался от всех своих проектов европейской конференции (на которой он собирался продать Боснию и Герцеговину за открытие для «андреевского флага» Босфора и Дарданелл), признал аннексию от имени России, а сербам заявил, что пока с немцами поделаться, к несчастью, ничего нельзя, и на время приходится смириться, но это время сербы должны использовать для подготовки к недалекому решительному бою, который им вернет их потерю сторицею.

Извольскому было, действительно, делать нечего: «хозяин», занятый «успокоением» России при помощи виселиц и полевых судов, Столыпин, отрубил категорически и непреложно: ни одного солдата, ни одного рубля! Война в этот момент вызовет новый взрыв революции, который сметет все — и виселицы, и Столыпина, и великодержавного Извольского. Свою великодержавную политику благоволите, Александр Петрович, вести «при помощи рычага дипломатии» — у меня для вас нет ни одного рубля, ни одного солдата! Если же вашими дипломатическими талантами вы ничего поделаться не сумеете, — пеняйте на себя: не надо было заводить в Бухлау шашки с Эренталем, не надо было себя самого дурачить предложением хитрому австрийскому министру русской благожелательности в отношении аннек-

сии Боснии и Герцеговины, взамен австрийской благожелательности к андреевскому флагу в турецких проливах, где австрийской этой благожелательности — ломаный грош цена!

Сербская делегация в Петербурге выслушала Извольского и поверила ему, потому что воочию убедилась (и отписала это в Белград), что в Петербурге «тени немецкой до обморока боятся». Вслед за Россией Сербия смирилась, — демобилизовалась, признала аннексию и обязалась «перед Европой» прекратить происки в аннексированных провинциях. Но в Париже сербам сказали то же самое, что говорил Извольский. И — неслыханное чудо! — лондонский Олимп подтвердил сказанное в Петербурге и в Париже.

— Вы сами понимаете, — говорили Груичу, сербскому посланнику боги Даунинг-Стрита, — что официально мы не можем обещать вам помощи и даже давать советы. Но совершенно частным, ни для кого не обязательным образом, при том условии, что вы нигде и никогда не будете на это ссылаться; запомните: вы должны поработать над созданием балканского блока, подобрать себе союзников у себя же, на Балканах, хорошенько с ними подготовиться, — и тогда — ваше дело в шашпе.

Балканский блок!.. С этих пор начинается история этого якобы русского изобретения — балканской лиги, взорвавшей европейский мир в 1912 году.

Лондонский Олимп занят, правда, другим делом: ему нужно одновременно показать Извольскому, что: 1) непоправимой глупостью с его стороны было пытаться учесть англо-русские векселя и обязательства англо-русской конвенции 1907 года в Бухлау, в порядке дружеской торговли с Эренталем, и что 2) даже эту непоправимую глупость могут исправить англичане! Дело было в том, чтобы удержать Извольского у кормила русской дипломатии, и Николаю II пишется письмо Эдуардом VII о прекрасных результатах пребывания Извольского в Лондоне (когда ему было предложено бухлаусский вексель бросить в сорную корзину!), о полном

согласии между ним и английскими министрами во всех вопросах. «Ты знаешь, — писал Эдуард в заключение, — что я хочу как можно более дружественных отношений между Россией и Англией не только в Азии, но и в Европе, и я верю, что твоим г. Извольским эти надежды будут осуществлены. Как ты помнишь, впервые я встретил г. Извольского в Копенгагене несколько лет назад. Я имел с ним несколько очень интересных бесед по поводу возможного улучшения отношений между нашими странами. Затем я встречался с ним в Ревеле (где английская речь — заметим — шла о том, что через 6—7 лет, т.-е. в 1914—1915 годах, России придется быть «арбитром Европы в вопросе мира и войны», для какой роли ей необходимо вооружаться и вооружаться — на суше и на море!) и Мариенбаде, и наконец здесь. И каждый раз я все более и более поражался его способностями. Я могу сказать, что он мне очень нравится».

Это письмо, опубликованное сэром С. Ли в его известной биографии Эдуарда VII, возымело свое действие: несмотря на свой провал («дипломатическая Цусима!» — писало «Новое время») и великий шум в петербургских салонах, в государственной думе и в прессе, «князь Босфорский» оставался министром иностранных дел вплоть до смерти Эдуарда VII, а затем занял самый боевой пост — посла в Париже, откуда опекал и поучал своего ставленника на посту министра иностранных дел, Сазонова... Да и в самом деле — какая большая близость и дружелюбность между Англией и Россией могла быть, чем в то время, когда (сентябрь 1908 г.) на совещании начальников русского и французского генеральных штабов обсуждался вопрос о введении в общий военный план — русской мобилизации и в случае мобилизации Германии против Англии!.. Правда, тут французское правительство несло в заклад Англии русского солдата, но закладчик знал, чем можно соблазнить Олимп!

Австро-венгерский генеральный штаб остался не при чем. Австрийская армия демобилизовалась и — деморализовалась:

сербы оказались «вне пределов досягаемости». Дипломатическая победа слабо компенсировала расходы по мобилизации, расстроившие австро-венгерские финансы. Дипломатическая победа оказалась гораздо опаснее для победителей, чем дипломатическое поражение для побежденных. В своей ретроспективной оценке финала боснийского кризиса Сазонов сознавался, что ни Сербия, ни Россия не пострадали от аннексии Боснии и Герцеговины. Пострадала Австро-Венгрия! Великосербское движение чрезвычайно усилилось и в ее пределах, и по ту сторону ее границы. Усилились также позиции русских великодержавно-националистических кругов.

Весьма неубедительным образом Е. Тарле в своей книге «Европа в эпоху империализма» написал: «Аннексия Боснии и Герцеговины обрекла Сербию на экономическую зависимость от Австрии и на будущее время, а также на политическое бессилие». Сазонов-мемуарист гораздо ближе к исторической действительности в этом вопросе; «Реальные интересы Сербии на этот раз не пострадали от захватной политики Австро-Венгрии».

С этого времени Босния связывается с Сербией эмиграцией, конспиративными организациями, заговорами, полуправильной и нелегальной великосербской пропагандой и агитацией. Перед Сербией, как нельзя более далекой от «политического бессилия», открываются пути к «осуществлению национального идеала» и на севере, и на юге, и на западе.

Правда, в декабре 1909 г. в Петербурге изготовлен проект русско-болгарской военной конвенции и передан на обсуждение в Софию. Но в результате длительных, раздражавших Петербург своей бесплодностью, переговоров к марту 1911 года с очевидностью выяснилось, как констатировал русский военный министр, «намерение болгар уклониться от русской помощи».

Иное дело — сербо-болгарское соглашение. Здесь — благодарная почва и для воробьиной настойчивости Сазонова, заместившего Извольского, и для «диктаторской» энергии Гартвига, про-

должавшего традиции знаменитого «азиатского департамента», этой «босвой организации» российского министерства иностранных дел, внушавшей долгое время одним своим именем страх балканским министрам и правителям. Но и тут дело тянулось до известного момента черепашиным шагом. Лишь в феврале 1911 г. Урусов радостно сообщал из Софии в Петербург, что «отношения между Болгарией и Сербией... как будто сдвинулись с мертвой точки». Он еще не верил своим глазам, но 28 марта ликовал: «Условия работы ныне крайне легки, и работа может быть до крайности производительна». Не кто другой, как сам Гартвиг, дьявольской энергии которого обычно приписывается осуществление балканской лиги и другие успехи русской балканской политики, объяснил причину счастливого перелома в работе русских дипломатов в Болгарии и в Сербии:

«Сербские политические вожди, — писал он 12/25 ноября 1910 г., — находятся на пути к сближению с Францией и Англией».

С весны 1911 г. английский и французский финансовый рынок широко открылся для балканских государств. Восторг Урусова, оповещавшего Петербург в марте, что «Болгария вошла в орбиту русской политики», сменился прискорбием в мае, когда он дознался, что сербы с болгарами, без его ведома, договариваются об устройстве восстания в Македонии и о совместном выступлении против Турции. Это конечно «нежелательный, даже опасный образ действий». Гартвиг писал, со своей стороны, 10/23 ноября 1911 г. по поводу поездки короля Петра сербского во Францию:

«Повсюду и во всем чувствовалось проявление возрастающих со времени аннексии симпатий Франции к Сербии. Кайо, де-Сельв, Делькассе, Баррер и другие политические деятели, с которыми беседовал Милованович (сербский министр иностранных дел, сопровождавший Петра), считают Сербию важным политическим фактором... Франция, в полном единомыслии с Россией, готова всячески содействовать осуществлению нацио-

нальных задач Сербии. В Париже, по словам министра, относятся весьма скептически к балканской федерации (которая была петербургским планом, включавшим в блок и Турцию), но глубоко сочувствуют сербо-болгарскому ссозу, видя в нем серьезный оплот против германо-австрийского натиска... И именно в Париже, а вовсе не в гартвиговском кабинете, как думали простаки, болгаро-сербское «соглашение совсем наладилось, за исключением статьи о сферах», — т.-е. той статьи, которой пришлось сыграть плачевнейшую роль в русской доле участия во всем этом деле! Это — предоставление русскому царю роли арбитра в случае спора между сербами и болгарами при дележе турецкой Македонии. Только эту долю участия оставила России французская дипломатия в «великом славянском деле», — долю почетную с неизбежным постыдным провалом. Даже Извольский ничего не знал об этих парижских совещаниях: Милованович отделался от него заявлением, что в Петербурге, мол, все известно... Зато текст сербо-болгарского договора и военной конвенции был сообщен русскому царю как арбитру, как высокому покровителю самым конспиративным образом, и когда Пуанкаре в Петербурге увидел у Сазонова этот текст, он мог всплеснуть руками и воскликнуть: «*Mais c'est l'instrument de la guerre!*» — как человек, не имевший обо всем этом деле никакого представления...

Так русская дипломатия была сдвинута с позиции «здорового эгоизма» (открытие входа туркам в балканскую «федерацию» взамен открытия турками проливов для андреевского флага) на позицию «бескорыстной», «славянской» политики!

И когда австрийцы вновь мобилизовались, чтобы прогнать сербов с захваченного ими у турок адриатического побережья, и когда снова «друзья» Сербии стали на ее защиту, положение разъяснилось окончательно:

Австро-венгерский генштаб с Конрадом во главе вновь напирал на свое правительство и на Берлин, добиваясь раз-

решения перервать горло Сербии. Венская дипломатия начинала угрожать в европейских столицах расправой с сербами, если те будут продолжать упорствовать и не уберутся из Албании. Царская дипломатия усердно занималась умиротворяющими переговорами, но и теперь, т.-е. осенью 1912 года, русское правительство не собиралось даже «для вида» мобилизовать свою армию в защиту Сербии. Французское правительство обеспокоилось; английское — проникалось еще большим, чем в 1909 г., презрением к России. Под угрозой оказывались все успехи Сербии. Обозначалась по меньшей мере новая дипломатическая победа, а от военного натиска Австро-Венгрия спасала Сербию не Россия, а Италия, запротестовавшая против дальнейшего вторжения австрийцев на Балканы, и особенно в Албанию. Наконец, французам стало невмочь; военный министр Мильтеран обрушился на русского военного агента, Игнатьева. Последний дословно записал этот, происшедший в декабре 1912 г., разговор:

Мильтеран. Какова же, по вашему мнению, полковник, цель австрийской мобилизации?

Игнатьев. Трудно предрешить этот вопрос, но несомненно, что австрийские приготовления против России носят пока оборонительный характер.

Мильтеран. Хорошо, но оккупацию Сербии вы, следовательно, не считаете прямым для вас вызовом на войну?

Игнатьев. На этот вопрос я не могу ответить, но знаю, что мы не желаем вызывать европейской войны и принимать меры, могущие произвести европейский пожар.

Мильтеран. Следовательно, вам придется предоставить Сербию своей участи. Это конечно ваше дело, но надо только знать, что это не по нашей вине: мы готовы, и необходимо учесть это. А не можете ли вы, по крайней мере, объяснить мне, что вообще думают в России о Балканах?

Игнатьев. Славянский вопрос остается близким нашему сердцу, но

история научила конечно нас прежде всего думать о собственных государственных интересах, не жертвуя ими в пользу отвлеченных идей.

Мильеран. Но вы, полковник, понимаете, что здесь дело не в сербах... Вы все-таки что-нибудь да делаете по военной части?!

«Я с уверенностью могу предполагать, — писал Игнатъев, передавая этот разговор в официальном донесении начальнику ген. штаба, — что Мильеран имел, между прочим, следующую заднюю мысль, а именно — Австрия, расправившись с Сербией, успеет, в случае нашего запоздалого вмешательства, перекинуть все свои силы на нашу границу. Если в эту минуту мы не будем готовы к активным военным действиям, то австрийских армий будет достаточно, чтобы приковать нас к юго-западной границе, что облегчит для Германии решительное сосредоточение всех ее армий против Франции».

5/18 декабря и Извольский писал Сазонову:

«...Здесь с недоумением и с нескрываемым опасением относятся к кажущемуся (!) нашему равнодушию перед фактом австрийской мобилизации. Опасения эти... во французском ген. штабе настолько сильны, что военный министр счел необходимым обратиться на это внимание Пуанкаре, который показал мне письмо Мильерана и созвал экстренный совет министров для его обсуждения. Телеграмма г. Ж.-Луи (французский посол в Петербурге), передавшая ответ, полученный генералом Лагишем (французский военный агент в России) от нашего генерального штаба, несколько не рассеяла недоумения французов... Генералу Лагишу было сказано не только, что австрийским вооружениям у нас придают чисто-оборонительное значение, но что даже в крайне невероятном случае нападения Австрии на Сербию Россия не будет воевать. Подобный ответ поверг Пуанкаре и всех французских министров в крайнее удивление. По всем получаемым здесь сведениям, Австрия заканчивает мобилизацию

10 корпусов; мобилизация эта ложится тяжелым бременем на и без того расстроенные финансы Австрии, и поэтому можно ожидать со дня на день какого-нибудь категорического выступления со стороны австрийского кабинета. Выступление это, как здесь думают, может вызвать отпор со стороны России, а это в свою очередь автоматически и неизбежно возлечет в войну сперва Германию, а затем и Францию. К подобной возможности французское правительство относится вполне спокойно. сознательно и с твердой решимостью исполнить свои союзнические обязательства. Все необходимые с его стороны приняты; мобилизация на восточной границе проведена; материальная часть в полной готовности и т. п. И как-раз в эту минуту Франция как будто сталкивается с совершенно иным отношением к положению со стороны своей союзницы, наиболее, казалось бы, в нем заинтересованной. Из этого выводят заключение, что или у нас не отдают себе отчета в воинственных намерениях Австрии, или что по каким-нибудь особым причинам мы не хотим разговаривать с Францией. (Подчеркнуто в подлиннике.) Оба эти предположения в высшей степени для нас неблагоприятны»...

Что же такое происходило в Петербурге?

Сухомлинов с Янушкевичем (начальник генерального штаба) еще не сказали свое «Россия готова» в ответ на «Франция готова». Они это заявят в весной 1914 г. Но великий князь Николай Николаевич и вся куча великих князей с великими княгинями вроде великодержавных черногорок (Анастасии и Милицы), генералы, проникнутые теми же чувствами, что их австрийские собратья («Ну, теперь-то мы им покажем — с божьей и французской помощью»), — все это волновалось, кипело жаждою реванша за 1909 год, за русско-японскую войну, за Берлинский конгресс! Достаточно было Николаю выехать с этой компанией в Спалу на охоту, где она его воодушевляла и застрашивала, чтобы он готов был под-

писать указ о мобилизации, «принять вызов», призвать всегда верную под ружьем Россию на бранный подвиг, с задней мыслью по адресу славолюбивого дядюшки:

«Ан вот, будет тебе шиш с маслом: буду сам своим верховным главнокомандующим!»

С этой стороны его соблазняли громом побед, а пугали тем, что Россия не простит измены славянству, что династия окончательно потеряет в стране престиж, что армия перейдет на сторону революционеров, что французы, за измену им, покинут Россию и его самого на произвол судьбы, — перестанут деньги давать, — сговорятся с австрийцами и с немцами за счет России.

Но, возвращаясь домой, он попадал в обработку Коковцева: «Воевать еще не на что, еще нечем, — надо подождать». Трубецкие, Фредериксы твердили: «Воевать с французами против немцев — анархия, революция, все погибнет». И наконец сам Распутин — глас божий, глас народа, — вещал:

— Начнешь войну, — начнутся хождения со знаменами, начнут кричать: долой то, долой другое!

А англичане—что? Бьюкенена разгадать было невозможно, но умный, старый Бенкендорф знал и видел их насквозь: англичане желают мира!.. Уже после войны 1914—1918 гг. Вигстон Черчилль в мемуарах своих объяснил: в 1912 г. не был закончен перевод британского флота на нефтяное топливо, а еще в 1881 г. морской волк Фишер, английской Тирпиц, изрек, что следующую войну английский флот проделает обязательно на нефти.

IV

Накануне сараевского убийства произошло два интересных события:

Свидание царя и Сазонова с румынским королем и Братиану в Констанце, где Сазонов в упор поставил остолбеневшему румыну вопрос: если Россия вынуждена будет воевать с Австрией из-за Сербии, — какое положение займет Румыния? Все было сделано для того, чтобы румыны про себя решили,

какое им положение занять, — вплоть до преподнесения Братиану и К^о солидных материальных благ.

Другое событие было отзвуком констанцского свидания: венское правительство, под этим мрачным впечатлением, целиком стало на точку зрения начальника австро-венгерского генерального штаба, Конрада фон-Гецендорфа.

«Поздно!! — думал Конрад. — Но лучше поздно, чем никогда! Попробуем наше средство, хотя золотой сезон его действия прошел!»

В министерстве иностранных дел заехали за изготовление меморандума для Берлина; перечислили все дипломатические поражения и болезни Тройственного Союза, описали тяжкое внешне-политическое и внутреннее положение Австро-Венгрии, подробно охарактеризовали главную, ближайшую, жгучую опасность — сербскую — и вывели логическое заключение: восстановление жизнеспособности Австро-Венгрии и сил австро-германского союза, укрепление связи с Румынией (и, может быть, с Италией), вербовка Болгарии и какое бы то ни было улучшение может наступить только при условии «устранения Сербии как политического фактора, умаления ее», т.-е. военного, и только военного, «обезврежения» ее.

Меморандум еще готовили к отправке в Берлин, когда грянули сараевские выстрелы! В «сопроводительном» письме к Вильгельму Франц-Иосиф мог похвастать: вот, мол, насколько мои венцы — серьезные, обстоятельные, проницательные дипломаты.

Сараевское убийство произошло 28 июня. 5 июля молодой, воинственный венгерский граф, Гойос, был в Берлине и в Потсдаме с посланием Франца-Иосифа и меморандумом министерства иностранных дел. Вильгельм проконсультировал в этот день сухопутных и морских вождей: в Германии-то все было готово: «springberei», «готовы к прыжку», как выразился бравый немецкий контр-адмирал! В Германии, так же, как и во Франции и России, было решеном делом, что «генеральная проба» сил обеих коалиций начнется из-за Австро-Венгрии: нельзя же итти в вой-

ну с тем, что больная союзница начнет воевать не за свое, а за германское дело! Но самым «своим», самым насущным для габсбургской монархии с 1909 г. был сербско-юго-славянский вопрос. Равным образом свободный выбор момента должен был быть предоставлен Австро-Венгрии: она должна была решить, готова ли к «пробе», хватит ли у нее решимости и сил довести дело до конца, — Германия же «всегда готова», и ее «нибелунгова верность» выше всяких сомнений. Опять-таки та же ситуация, что у Франции и России: все дело в том, готова ли, решилась ли на «пробу сил» Россия, пойдет ли она до конца, а что до Франции, то она давно готова, с 1912 г. ждет первого удара в русский барабан, чтобы «исполнить до конца свой союзнический долг».

7 июля Гойос вернулся с ответом в Вену; он привез *carte blanche*, готовый вексель, на котором надо было проставить только сумму и дату платежа. Неодолгие дискуссии Берхтольда и Конрада с венгерским премьером, Тиссой. Компромисс скоро найден: предъявить неприемлемый ультиматум, и тогда — в поход! Раньше Конрад и Берхтольд стояли за немедленное вооруженное выступление, Тисса же — сначала за «дипломатическое унижение» Сербии без войны, потом за дипломатическую подготовку войны, и наконец сам изощрялся в изобретении неприемлемых для сербов требований.

Сараевский выстрел дошел до уха Пуанкаре, когда он еще снисходительно делал вид, сидя в президентской ложе на лоншанских скачках, что его интересует беговая арена и утомительный, давно приехавший «весь Париж». Окружавшие его дипломаты взволновались. Австрийский посол бросился к себе в посольство. Экспансивный румын, Лаговари, не выдержал:

— Это война!

Пуанкаре и остальные дипломаты пропустили это мимо ушей и досидели до положенного времени. Но затем президент принялся за сборы в ранее решенную поездку в Россию и скандинавские столицы. Сараевские выстрелы

определили полностью предмет разговоров с Николаем II и Сазоновым: достаточно было напомнить 1912 год и убедиться в том, что то, что было тогда, теперь не повторится. Впрочем, теперь повторение это было маловероятно: Сухомлинов с Янушкевичем сказали уже Франции, России и всему миру: «Мы готовы!.. Разумейте, языци, и покоряйтесь!!»

...В момент обратного отплытия Пуанкаре из Кронштадта, когда боевой силуэт «Гансе» тонул в вечерней мгле балтийского тумана, — там, куда было обращено уже напряженное внимание всей Европы, взвилась сигнальная ракета: австрийский ультиматум Сербии 23 июля. День и час предъявления ультиматума был строго согласован с днем и часом отъезда президента из Кронштадта: пусть русские решают, что им делать, без банкетов, без шампанского, без застольных тостов, без воодушевляющего присутствия президента, премьера и моряков Франции! Расчет убогий, потому что все было уже уговорено и выяснено, и президент успел даже, во время приема дипломатического корпуса, предостерегающе обрушиться на австро-венгерского посла и заключить свою речь, далеко вышедшую за пределы ритуала таких приемов, словами:

— Помните, что у Сербии есть друзья!

Пламенные черногорки не помнили себя от счастья. Парижский византиец, угодливый и нахальный Палеолог, остался центром, героем, солнцем петербургского «света», и твердил Сазонову, великим князьям, княгиням, генералам и даже в канцелярии Сазонова: — Будьте тверды! Будьте тверды! Франция с вами! Никогда не было столь благоприятного момента!

24-го в Красном Селе под председательством Николая II состоялся совет министров, где было решено и подписано то, что и без того было ясно. Начальник генерального штаба Янушкевич, поспешивший оттуда в комитет генерального штаба, сообщил ожидавшим его членам комитета: царь решил защищать Сербию, ее целостность, независи-

мость, достоинство и неприкосновенность, хотя бы пришлось довести дело до войны.

Все остальное, вся начавшаяся дипломатическая суэта, — как писал впоследствии генерал Данилов, бывший в это время генерал-квартирмейстером, — не более, как декорации, прикрывавшие планомерный, точно рассчитанный и установленный у всех участников конфликта ход военных приготовлений. Единственное значение этой суеты было в том, чтобы создать невыгодное положение для противников, демонстрируя их нежелание компромиссного мирного исхода, и по возможности выиграть время для себя. В этой игре невыгодное положение Германии было предопределено: выигрыш времени нужен был не ей, а ее противникам, в особенности России, с ее неповоротливым, громоздким, черепашьим механизмом мобилизации. С того момента, как определились приготовления России и Франции, она должна была (и этого потребовал германский генеральный штаб от своего правительства) сократить до минимума

дипломатический эндшпиль. С того момента, как определилась позиция Англии, германское командование, имея один план войны — сначала Франция, потом Россия! — должно было сломать все преграды на своем пути, отменить все прочие соображения, кроме одного: пустить в ход свой главный и последний козырь — «молниеносную» быстроту и всеокрушающий натиск...

К этому все и говорились. И потому, что все генеральные штабы заранее установили порядок и последовательность своих действий, и дипломатические предложения, ответы, отказы, контрпредложения должны были маскировать военные мероприятия, — получалось отставание дипломатических «партий» от «военных», разноречивой и путаницей в темпах дипломатических дуэтов, трио и квартетов... И весь «европейский концерт» закончился полной неразберихой для его участников, каждый из которых под-конец слышал и понимал только самого себя, — до тех пор, пока гром пушек не заглушил всей этой какофонии.

2. ПРОПАГАНДА ВОЙНЫ В ЯПОНИИ

Ал. Хамадан

Лихорадочная подготовка японского империализма к «грандиозным войнам», перевод всей промышленности на максимальное обслуживание нужд армии и флота, накопление в стране огромных военных ресурсов, исключительный рост морских и сухопутных вооружений одновременно сопровождаются и «моральной подготовкой» населения к могущей возникнуть «внезапно» (токийскому генштабу хорошо известны эти сроки) войне.

Господствующие в стране классы отдают себе полный отчет в том, что готовности только армии и флота к военным действиям еще далеко не достаточно. Эта готовность не обеспечивает даже некоторых шансов на военный успех. Вот почему вопрос подготовки «общественного мнения», поставленный перед агитационно-пропагандистским аппара-

том господствующих классов, превратился сейчас в основную «военно-идеологическую проблему чрезвычайного времени».

Известный военно-фашистский орган «Нихон» совсем недавно, пускаясь в «глубокие» рассуждения о «чрезвычайном времени», переживаемом страной, о «грандиозных войнах», о качествах «японского духа» и пр., пришел к выводу, что «победу обеспечивают не только армия или флот, но и единство нации, единодушие с армией и флотом»¹⁾.

Пропаганда войны в Японии за последнее время приняла исключительно широкие масштабы. Книжки, газеты, жур-

¹⁾ Если махровая «Нихон» взывает к «единодушию нации», то, несомненно, этого единства рвущиеся к новым грабительским войнам японские господствующие классы не ощущают.

налы, театры, кино, радио, даже обычная коммерческая реклама, — вся эта тяжелая артиллерия японского империалистического агитпропа пущена в ход.

В основном «моральная подготовка» к войне, официально называемая подготовкой к изжитию предстоящих затруднений, состоит из двух основных элементов: милитаризация широких слоев населения (без различия возрастов¹⁾ и подготовка «общественного мнения» непосредственно к войне.

В кино перед или после демонстраций фильма зрителю показывают так называемые «военные кадры». В театрах ставятся пьески, трактующие военные темы, храбрость и доблесть японского народа, героические войны, из которых, как правило, Япония выходит победительницей. В самое последнее время появились пьески, извещающие зрителя о том, что Япония существует «ради милосердия, справедливости и процветания мира». И, наоборот, другие страны существуют лишь для того, чтобы уничтожить свойственные «только» Японии милосердие и справедливость. Десятки тысяч радиорупоров на всех перекрестках улиц, в ресторанах, клубах, школах, университетах, на фабриках и заводах передают агитационные отрывки из множества беллетризованных военных произведений. Вслед за этими отрывками радиослушателям сообщают адреса военно-учебных пунктов, где можно «бесплатно послушать весьма полезные лекции о военном деле». Почти на всех военизированных предприятиях под открытым давлением администрации рабочие вынуждены ежедневно после изнурительной двенадцатичасовой работы отбывать «военные полчаса».

Студенты и школьники обязаны сдавать военное дело как основную учебную дисциплину. Следует отметить, что уже в школе формируются кадры для армии и флота. Например последний год обучения в школе посвящен толь-

ко узкой военной специальности (артиллерия, пехота, авиация, флот, автотанковые части, химия, удушливые газы и пр.). Всю страну оплетает колоссальная сеть «военно-гражданских площадок», где происходит военное обучение городской и деревенской молодежи.

Характерно, что к участию в систематически происходящих армейских и авиационных маневрах привлекается в обязательном порядке почти все население района маневров, без каких-либо исключений. Уклонение от участия в маневрах или вообще в военной подготовке преследуется различными способами, вплоть (что весьма часто имеет место) до физической расправы, осуществляемой обычно фашистскими бандами.

Подготовка «общественного мнения»

В армии, флоте, на допризывных площадках, в учебных заведениях, на всех участках милитаризации специальные агитаторы повествуют о том, что все бедствия, переживаемые деревней и городом, являются результатом «гнусной политики империалистов, направленной против Японии». Эти агитаторы призывают своих слушателей к беспрекословному подчинению воле императора, являющегося, как они указывают, не только олицетворением, но и «огцом нации». Только «поклонением и подчинением императору Япония сумеет выполнить свою историческую миссию»!..

Как известно, эта «историческая миссия» японского империализма заключается в «покорении мира», подчинении японскому штыку всей Восточной Азии, уничтожении «гнилого могущества Соединенных Штатов, а также удалении Советской России из Приморья и Сибири».

В учебных заведениях подобная агитация облечена в более организованную форму. По распоряжению недавно ушедшего в отставку министра просвещения Хатояма во всех школах и вузах «в качестве полезной и воспитательной дисциплины» введено изучение «возможных противников». В «первый список» этих «противников» наряду с Китаем (!), США, Францией и СССР попала (не по недосмотру ли?) и старая

¹⁾ Военизацией охвачены даже дети-школьники 8—10 лет и старики до 60 лет включительно.

испытанная подруга японского империализма — Англия.

В предисловии к одному из военных «романов» сам министр просвещения Хатояма писал:

«Роман написан так легко, что все обстоятельства атаки воздушной войны ощущаешь, как наяву. Очень полезная книга. В воспитательном отношении она весьма полезна. Книга эта значительно способствует тому, чтобы население было готово к преодолению трудностей. Ее надо рекомендовать всем нашим маленьким гражданам и взрослым людям...»

Особенно яркое отражение пропаганда войны нашла в современной японской литературе. Книжный рынок страны буквально захлебывается в потоке военно-пропагандистской литературы. Романы, повести, рассказы, детские сказки, стихи, «дневники», «записки» и «сочинения», выпущенные за последние год-два, посвящены только одной теме — войне.

Эта особого рода литература обсуждает, вернее, смакует, проблему войны, театр военных действий, характер военных операций, предполагаемого противника, соотношение морских, воздушных и сухопутных сил, исход войны и пр. Капитаны всех рангов, находящиеся в запасе и на действительной службе, адмиралы и генералы пишут военные романы, предисловия к романам, всячески проталкивая эту, с позволения сказать, «литературу» в широкие круги населения.

Было бы глубоким заблуждением причислять все эти «романы», «сказки» и «сочинения» к разделу художественной литературы. Ни один из них (а их вышло уже сотни) не блещет даже средним уровнем литературной грамотности. (Мы оставляем в стороне наивные и примитивные рассуждения штабс-капитанов о психологии человека, его поступках и решениях).

Но вместе с тем многие из этих романов выдержали по 100, 150, 200 и даже по 250 изданий, причем каждый тираж насчитывал десятки тысяч экземпляров. Это свидетельствует прежде всего о том, что заказчик, стремясь уложиться в «жесткие» предвоенные сроки, поощрял эту литературную макула-

туру, хорошо оплачивая ее производителей.

Только небольшая часть этих литературных упражнений военных чинов была продана за наличные. Романы с сенсационными заголовками, с наводящими страх иллюстрациями выдавались в качестве премии в бакалейных магазинах, в качестве бесплатных приложений газетным подписчикам. В армии и флоте эти книги раздавались бесплатно, в особенности «нижним чинам». В школах и вузах они являются неотъемлемой частью «учебной литературы».

Несомненно, что правящие группировки господствующих классов, оплачивающие и поощряющие этот своеобразный милитаристско-шовинистический «литературный» жанр, учитывали хорошо усвоенную ими пословицу: «Цель оправдывает средства».

1. „Будущая японо-американская война“

На фоне многих сотен «романов» и «записок» некоторые, благодаря своей глубокой политической и агитационной целеустремленности, заслуживают быть отмеченными. Одновременно следует отметить, что наибольшее количество (вместе с качеством) «романов» посвящено будущей японо-американской войне. Японский империализм в своей борьбе за контроль в Китае и на Тихом океане в первую очередь и главным образом сталкивается с империализмом США. Тихоокеанские противоречия империалистов, превратившиеся в один из главных очагов новой империалистической войны, способствовали развитию тематики военно-пропагандной литературы именно в этом направлении.

Мы приводим ниже несколько «памфлетов» и «романов», посвященных будущей и неизбежной, по мнению японских авторов, японо-американской войне. Эти «романы» одновременно дают представление о всей шовинистически-милитаристской пропаганде в стране. Они (эти романы) ярко вскрывают характер этой пропаганды, ее воинственный тон, а главное — ее специфический военно-шовинистический угарный жаргон.

1) Контр-адмирал Соса Танецугу. «Япония и Америка над пропастью» (Токио, издательство «Сейбункан», 400 стр.).

Танецугу подробнейшим образом излагает содержание японо-американских противоречий, обозревая отношения обеих стран на протяжении последних 30 лет. Многие десятки страниц этой книги посвящены «гнусным и грубым насилиям американских империалистов на Дальнем Востоке». Столько же места уделено в книге «японской справедливости, стоящей на страже народов Азии, защищающей эти народы от агрессивности Америки». Отвечая на свои же вопросы о неизбежности войны между Японией и Америкой, автор пишет:

«Со времени прорытия Панамского канала и захвата Филиппин дьявольская рука опасной, грубой и гнусной Америки взрывает на Дальнем Востоке мир, поддерживаемый только Японией. Америка пропитана своевольным честолюбием, что и вызывает опасность японо-американского столкновения. С Америки надо сорвать маску мира и выставить напоказ ее гнусный облик...»

«Америка, — продолжает Танецугу, — готовится напасть на Японию. Но Япония также готовится к отражению этого удара. Война между Японией и Америкой поэтому неизбежна».

По всем «данным», которыми «располагает автор» этой книги, Япония выйдет из этой войны победительницей. К сожалению, самих «данных», приводящих к японской победе, в книге нет, если не считать множества ссылок на «непобедимый японский дух», «непревзойденную храбрость японцев» и т. д.

2) Икдзаки Тацаката. «Японо-американская война» (Токио, издательство «Сенсинейя», 350 стр.).

По существу книга является сборником очерков, объединенных лишь по теме, посвященной японо-американской войне. Автор, слегка коснувшись истории японо-американских империалистических противоречий в Китае и на Тихом океане, переходит к вопросу о том, неизбежна ли японо-американская война. Война, по мысли автора, неизбежна, хотя бы потому, что «обе страны готовятся к ней уже много лет. Исход ее

(т.-е. войны.—Ал. Х.) зависит от стратегических позиций, занимаемых противниками на суше и на море».

«Но так или иначе, — продолжает автор, — исход войны для посвященных уже решен. Япония не может не выйти победительницей из этой гигантской морской войны... Американцы ведь так медлительны, неподвижны...»

Этот автор, повидимому, является одним из посвященных в исход японо-американской войны. Как видно, работа во II отделе токийского генштаба весьма располагает к производству военно-пророческих очерков!

Крупнейшие японские газеты («Асахи» и «Кокумин»), печатавшие большие отрывки из этой книги в связи с ее повторным изданием, писали:

«Это — литература кипящей крови и любви к отечеству, поднимающая свой голос накануне важнейшего момента грядущей судьбы страны. Раз Япония обнажит свой меч, то живая, высокомерная Америка для нее ничем!»

3) «Что будет в случае войны между Японией и «Х»?» (Токио, издательство «Мейдзи»).

Эта книга неизвестного автора произвела сенсацию на японском книжном рынке. Написанная в форме легкого политического памфлета, она выдержала в течение 3 — 4 месяцев 250 изданий.

Автор самым безапелляционным тоном заявляет, что японо-американская война неизбежна. Больше того, он утверждает, что «в природе отсутствуют пути сближения между США и Японией». Автор предостерегает Японию даже от мысли примирения с США. «Это, — пишет он, — приведет нас только в американскую ловушку». На протяжении всей книги автор самыми мрачными красками описывает «дьявольские махинации США, направленные против Японии». Характерно, что автор не пытается даже как-либо серьезно обосновать причины, могущие привести к японо-американской войне.

«Политикам, дипломатам, даже школьникам, — пишет автор, — всем тем, кто знаком с интригами Америки, понятна неизбежность японо-американского военного стол-

кновения. Дьявольская рука США опасно будоражит весь мир против справедливой политики Японии. Этому надо положить конец».

Последние издания этой книги раздавали почти бесплатно в школах, университетах, в армии и даже в чайных домиках.

4) «Должна ли Япония воевать с Америкой». Сборник статей (Токио, издательство «Синкойся», 250 стр.).

Этот сборник резко выделяется из всей японской военной пропагандной литературы. В сборнике помещены статьи известных военных и морских специалистов. В этом сборнике участвует и неизвестный капитан Гумпэй Секинэ, один из японских знатоков тихоокеанской проблемы. Все материалы и статьи сборника посвящены, естественно, только одному вопросу — японо-американской войне. В сборнике есть статьи, анализирующие отношения между Японией и Америкой со времен «открытия» Японии американским командором Перри. В своей статье капитан Секинэ приходит к следующему выводу:

«Япония не сумеет избежать этой схватки (японо-американской. — Ал. Х.). Япония в целях самообороны и во имя своего собственного существования должна организовать мощный отпор американскому налету. Мы должны настичь американский флот и разбить его».

Упомянувшийся уже нами адмирал Танадзугу посвящает свою статью вопросу о том, кто победит в этой войне. Он подробно останавливается на морских силах США и Японии, их стратегических позициях, одновременно он рассматривает и морскую авиацию. Отдавая дань «разрушительной мощи американского авиационного флота», он все же подчеркивает, что «только непосредственные бои покажут, кто сильнее в авиосилах. В отношении морского флота у меня сомнения нет».

Остальные статьи сборника посвящены общим стратегическим вопросам японо-американской войны. В первую очередь они рассматривают морскую тактику американского командования, очень плохо отзываясь о ее качествах.

Авторы сборника утверждают, что, несмотря на мощь американской промышленности, огромную финансовую базу и пр., война с Японией окажется ей не по силам, прежде всего благодаря удаленности предполагаемого театра военных действий от берегов Америки. Возникающие в связи с этим трудности переброски войск, снаряжения, продовольствия и горючего будут способствовать ослаблению боевой мощи американского флота, отрезанного от своих главных и морских, и береговых баз. Все статьи сборника, как правило, уверяют читателя в непобедимости японского оружия.

5) Икедзаки Цюко. «Нечего бояться Америки» (Токио, издательство «Сенсинся»).

Книга с этим кричащим заголовком была объявлена японской критикой «бессмертным произведением» из числа посвященных японо-американской войне. Десятки страниц книги посвящены разбору вашингтонского договора, заключенного в 1922 г., и лондонского морского соглашения 1930 г. После детального анализа соотношения морских сил Америки и Японии автор пишет: «Даже с пропорцией 5 : 3 (в пользу Америки) американский флот будет разгромлен» «Внезапность выступления, быстрота удара, согласованность всех элементов флота, — вот что будет решать исход войны. Этими качествами плюс редкая храбрость японцев обладает японский флот».

Самой последней книгой автора является «Тихоокеанская тактика», выпущенная тем же издательством. В своей новой работе автор, вновь останавливаясь на тактике японо-американской войны, указывает, что «США в качестве врага несомненно представляют собой чудовищную силу. Но, — продолжает Икедзаки, — японский дух, помноженный на технику и близость театра войны к нашей родине, выйдет победителем из этого генерального мирового сражения».

Автор, между прочим, отдает должное и американской тактике, храбрости и технике, это очень редко делают другие японские авторы. «Однако, — за-

ключает он, — японская нация должна быть уверена в героизме ее бойцов, непогрешимости ее императоров и конечной победе ее оружия».

6) Тофуку Сейдзиро. «Не надо бояться!» (Токио, издательство «Сенсинся»).

Книга приобретает интерес уже только потому, что автор, Тофуку Сейдзиро, является крупным работником отдела «трех иксов» (секретный отдел японского военного министерства). Надо полагать, что он прежде, чем высказать свои мысли на бумаге, достаточно долго изучал «вверенные ему документы, несомненно представляющие не только большой интерес, но явившиеся одновременно и вспомогательным материалом. Автор описывает благоприятную для Японии международную обстановку. Он указывает на то, что «державы сейчас глубоко погрязли в своих делах, и никто не осмелится выступить против планов Японии, которые она должна осуществить на Дальнем Востоке. Больше того, все державы мира будут благодарны Японии, если она в результате военного выступления сумеет ослабить Соединенные Штаты».

«Вот почему, — продолжает Сейдзиро, — надо смело и гордо принять вызов Америки. Надо скорее использовать ситуацию, надо ударить так, чтобы земля задрожала. Представьте себе, весь мир будет свидетелем этой потрясающей и блестящей картины грандиозного морского и воздушного боя двух мировых гигантов. Взрывы мин и снарядов будут разноситься по миру, столбы пламени будут подниматься к небу. Ни Англия, ни Франция, и никакая другая держава не помешают в этой войне Японии. Наоборот, эти страны окажут ей свое содействие в сокрушении ненаსущного американского гордеца».

7) Накадзиме Такеси. «Великая океанская война» (Токио, издание «Военно-образовательной ассоциации»).

Этой книге предпослано четыре предисловия: двух адмиралов и двух генералов. Японская военно-политическая критика считает эту книгу «самой лучшей книгой, трактующей японо-американскую войну в форме, доступной всякому японцу».

На протяжении четырехсот с лишним

страниц автор рассказывает о том, как подготовлялась лондонская морская конференция, как интриговала Америка против Японии на этой конференции, как были якобы подкуплены несколько японцев, участвовавших в этой конференции, 6 миллионами долларов. Особенно живо, с большим знанием дела описывается в книге борьба японских, американских и английских шпионов. Отдельно описывается работа японских шпионов в Америке, детально обследовавших крупнейший американский авианосец «Саратогу».

Вторая часть книги посвящена предвоенной обстановке и наконец самой японо-американской войне. Бесконечные приключения шпионов, проституток и «важных сановников, подкупленных врагом», сменяются пред'явлением американского ультиматума. Конечно «вся японская нация была охвачена негодованием». Внезапно американские бомбовозы низвергли на Токио десятки тонн бомб. Но выступление японских противовоздушных сил (опять это «конечно») «ликвидировало американскую эскадрилью».

На горизонте появляется американская мощная океанская эскадра. Японские эсминцы топят бесконечное множество американских кораблей. Но «вот происходит сближение главных сил неприятельских флотов». Предоставим слово этому «романисту».

«Выступает, — пишет автор, — флот страны богов (т.-е. японский — А. Х.). Видны величественные очертания наших объединенных эскадр... Наступает решительный бой... Великий, решающий бой сотрясает небо и землю (в открыто море-то — А. Х.).

Авиобойцы Японской империи мужественно поднимаются на воздух... Расцвет и гибель зависят от этого боя... Наши подводные лодки производят чудесную по храбрости атаку... Главные неприятельские силы уничтожены до последнего...

Однако, вдруг поступает донесение о том, что новый воздушный отряд вражеских бомбовозов прорвался в Токио... Хорошего от этого ожидать нельзя... Все наши силы двинулись на помощь».

Эта книга, выдержавшая десятки изданий, в настоящее время переработана и в детскую сказку, и в военную

повесть для юношества. Нельзя не признать того, что эта книжка будет вполне занимательным «чтивом» для японских ребятишек!

8) Фукунаги Киосукэ. «Записки о японо-американской войне».

«Роман» Фукунаги является последней новинкой японской военно-пропагандной литературы, посвященной японо-американской войне. Фукунаги сделал попытку набросать художественную картину японо-американской войны. Нельзя сказать, чтобы эта попытка ему удалась, — далеко нет. Но в ряду других книг на эту же тему она читается легче. Ничего нового Фукунаги в свой «роман» не вводит, если не считать взрыва американского линкора японским шпионом в Панамском канале, что вывело этот стратегический военный путь из строя.

И конечно в решительном бою возле острова Огасавара японский флот побеждает американский.

Но «роман» Фукунаги стал предметом дипломатической переписки между правительством США и Японии. Предисловие к «роману» японского адмирала Суэцугу вызвало недовольство в Америке и оказалось предметом этой переписки. В своем предисловии Суэцугу отмечает, что он хотел бы видеть автора книги начальником своего штаба (Суэцугу командует японской объединенной эскадрой).

9) Следует остановиться еще на одной книге: Гото Канебуми. «Война» (Токио, издательство «Сангюдо»).

Эта книга, как и многие другие, в чрезвычайно короткий период выдержала несколько десятков изданий. «Война» не входит в серию литературы о японо-американской войне. Эта книга занимает особое место. 400 страниц книги посвящены героизму японской армии и флоту. В книге восхваляются храбрость, преданность императору, бесстрашие офицеров и даже солдат. В книге описывается очень много подвигов, совершенных якобы японскими военными чинами.

Книга Гото носит явный агитационный характер. Он настойчиво рекомен-

дует каждому японцу быть бесстрашным: «смерть, — утверждает он, — это ничто». «Японцы должны быть патриотами. Японский дух должен быть закален еще больше».

«Токио Асахи» в своем отзыве на эту книгу писала: «Японские военные олицетворяют японский дух и японский патриотизм и тогда, когда их бьют, и когда их режут, и они истекают кровью. Вот идеал воспитания духа».

2. „Будущая японо-советская война“

Не меньшее количество «романов» и «записок» посвящено также «будущей японо-советской войне».

Идея войны с Советским Союзом в последнее время превратилась в «идею фикс» японского империализма. Наибольшие подготовительные работы военно-стратегического порядка ведутся японскими империалистами именно в этом направлении. Характерна в этом отношении ускоренная подготовка манчжурского плацдарма, занимающего центральное место во всей подготовке анти-советской войны.

Господствующие в стране классы в своей агитационной работе пытаются представить Советский Союз перед широкими слоями японского населения в самых мрачных красках. Крупная буржуазия, «кровно» заинтересованная в военных прибылях, не щадит никаких затрат на разжигание антисоветских настроений в стране. Многочисленные фашистские организации являются лучшими проводниками и исполнителями этого «социального заказа» пушечных фабрикантов.

Хорошо известно, что многие японские авторы, пишущие антисоветские военные «романы», получали вознаграждения от отдельных капиталистов.

Вся японская печать регулярно ведет антисоветскую кампанию, поощряемую властями. В газетах и журналах постоянно дискутируется японо-советская война. Читателя обманывают самым наглым образом. Например газетка «Нихон» писала в прошлом году, что «советский красноармеец боится японского бесстрашного солдата» и т. д., и т. п.

Во время «собеседования» в редакции журнала «Хиноде» японские генералы например заявляли: «японская армия блестяще выдержит сибирские морозы», «японская армия выйдет победительницей из японо-советской войны» и т. д., и т. п.

Известный японский военный писатель Синсаку Хирата написал не просто произведение о японо-советской войне. Он подробнейшим образом описывает отдельные бои, стратегические позиции. «Ясно», что и его «роман» кончается победой японской армии на суше и в воздухе.

Японский империализм лихорадочно готовит не только самую войну против СССР, но, как мы уже отмечали (и что имеет особую важность), ведет широкую политико-моральную подготовку тыла к этой войне. Вот в чем заключается основная установка военной пропаганды японского империализма.

1) Накаяма Сиро. «Японо-советская война».

Автор этой книги — офицер действительной службы (майор от кавалерии). Прежде, чем перейти к рассмотрению содержания этой книги, следует указать, что она в течение 3 месяцев выдержала 25 изданий.

Накаяма Сиро после долгих вступлений наконец заявляет, что Япония имеет двух реальных противников — США и СССР. В патетическом тоне на протяжении нескольких сот страниц он описывает возможные театры военных действий — Тихий океан и Северную Манчжурию.

Эта книга, как десятки и сотни других японских книг этого рода, носит явно выраженный пропагандистский характер. Автор «умоляет» японский народ не забывать о его «исторической миссии на Востоке». Автор горько жалуется на то, что «теперь иногда можно заметить в некоторых согражданах слабость железного японского духа. Это противоречит всему нашему мировоззрению и складу нашей жизни. С этими явлениями надо бороться самыми жесточайшими мерами».

И вероятно для укрепления чахнуще-

го «японского духа» автор набрасывает «потрясающую» картину японо-американских и японо-советских сражений. Об исходе этих «гигантских» боев у автора нет никаких сомнений. «Япония, — говорит он, — непобедима».

Книгу эту следует причислить к разряду военно-фашистской пропагандной литературы. Автор все «беды и несчастья» Японии относит за счет СССР и США. Многие десятки страниц посвящены критике «ошибок учения Маркса», «американским интригам и заговорам против Японии», «подозрительным козням СССР» и т. д., и т. п. Не пытайтесь даже не только объяснить, но и привести причины подготавливаемых японскими империалистами войн против СССР и Америки, автор все же заявляет: «Поскольку корни национального бытия заключаются в силе, постольку войны Японии основаны на сгезе священной добродетели империи». На этот счет автор не допускает никаких возражений.

В своем военно-фашистском остервенении автор не забывает лягнуть и Китай, называя его «отупевшим Китаем». Продолжая «укреплять японский дух», этот литературный кавалерист убеждает своих читателей в том, что «мы (т.-е. японцы — Ал. Х.) не можем не знать, что вне победы на войне не существует гарантии счастья, жизни и свободы. Будущее нашего японского народа не знает абсолютного мира. Мы должны воевать, иначе нас завоюют. Мы должны победить в войнах с Россией и Америкой, а дальше и с другими, иначе нас победят. Но мы всегда должны знать, что Япония непобедима, что дух ее народа не может быть сломлен».

Вот она, симфония империалистических вожделий реакционных военно-фашистских группировок Японии.

В отзыве на эту книгу генерал Окукира Госидзо пишет: «Вместо того, чтобы эту книгу именовать романом, ее надо считать национальным учебным руководством, так высока ее ценность».

2) Полковник Сасаки Кадзуо. «Угрожающая Советская Россия» (Токио, издательство «Син Нихон Сиобо», 400 стр.).

Книга полковника Сасаки, претендующая на «талантливое изложение возможной войны с нашим северным соседом», также принадлежит к разряду военно-фашистской литературы.

Автор по-солдатски, не считая очевидно необходимым опутывать читателя сетями вступительных рассуждений, ставит вопрос — «неизбежна ли война» и, отвечая на него, пишет: «Да, война неизбежна. И мы должны не затягивать ее, не терять времени». Автор предлагает руководящим страной кликам «отбросить никчемный стыд» и «открыто готовить население к войне». Автор подробно описывает работу японских шпионов, этих, по его выражению, «лазутчиков победы и смерти». Автор детально рассматривает манчжурский плацдарм, судьбу КВЖД (именно после ее захвата японцами, — говорит автор, — начнется эта «великая битва»). Автор не жалеет красок для того, чтобы представить СССР в самом мрачном виде. Закончив эту часть своей работы, он восклицает: «И вот теперь мы должны разрушить Советскую Россию. Только после этого мы почувствуем себя свободными в Азии. Только тогда перед нами откроются широкие пути для блестящего завершения исторической миссии, возложенной на нас свыше».

И, конечно, полковник Сасаки уверяет читателя, что Япония выйдет победительницей и из этой войны.

В потоке этой империалистически-шовинистической военной пропагандной литературы тонут отдельные трезвые голоса умеренных кругов японской буржуазии. Мы позволим себе привести только две выдержки из двух японских, пользующихся широкой известностью, журналов. Обе выдержки посвящены той оголтелой антисоветской кампании, которая ведется сейчас в Японии.

Журнал «Бунгей Сюдзю» в специальной статье пишет:

«Япония очень ошибается, если она судит так, что раз никто не выступает против нее, то это слабый враг.

Что было бы, если бы Красная армия действительно поднялась и выступила против Японии? Особая Дальневосточная армия

Блюхера насчитывает 100 с лишним тысяч человек, и она имеет бронированные и механизированные части. На аэродроме в Спасске сосредоточены бомбовозы типа АНТ-5 дальневосточных дивизий, превращенных в первоклассные дивизии, и в каждой дивизии имеется много химического оружия. Можно достаточно представить себе, насколько труден был бы бой квантунской армии только с этим авангардом.

Это была бы более трудный бой, какой испытывали наши войска во время сражений с 19-й армией в Шанхае.

Тем более, если бы были приведены в движение все 72 дивизии СССР, нам пришлось бы вести серьезный бой, рискуя судьбой всей страны. Я слышал, что один офицер генштаба хвастал, что «если наши три дивизии будут стоять на линии Хинганских гор, то мы не дадим Красной армии сделать ни одного шага в Манчжоу-Го». Пожалуй, это измышление является вымыслом так же, как вымыслом является и рассказ о том, что некий японский полковник в Женеве сказал: «Настало время для Японии вести бой со всем миром». Один из наших офицеров генштаба сознался, что, когда он увидел в Риме войска фашистской Италии, он подумал: «это ничего», но в Москве он, ничего не думая, ощутил тревогу».

Другой японский журнал — «Экономисто» — пишет:

«Тень военной диктатуры в Японии, которая изо дня в день быстро подползает, черна опасностями многих зол для Японии, ее соседей и всего мира.

Одной из наиболее опасных среди этих наступающих опасностей является возможность вооруженного конфликта между СССР и Японией.

«Он (СССР) не дал в Манчжурии в руки японцев повода, который мог бы послужить в качестве предлога для набега не только на три Восточно-Китайские провинции, но точно так же и на советское Приморье».

Статья кончается словами, что в случае нападения Японии на Советский Союз, помимо решительного и упорного сопротивления японскому налету, «СССР будет иметь на своей стороне симпатии миллионов китайцев и даже японцев, которые будут находиться в зоне войны».

Пропаганда войны в Японии не ограничивается только «литературой для взрослых». Ежедневно на рынок выбрасываются десятки и сотни военных сказок для детей. Детские головки набиваются военно-шовинистической трухой. В этих сказках рассказывается о

«великих подвигах японской армии на полях Манчжурии» (это в борьбе-то с безоружным населением!). Многие сказки посвящены войне Японии в Китае, японо-американским и японо-советским сражениям и т. д.

В детских сказках, например, рассказываются такие «исторические факты»: в древности Китай, Индо-Китай, тихоокеанские острова, Сибирь, Камчатка, Сахалин, Монголия, — все это входило в состав древней Японской империи! Аппетиты японских империалистов, как мы видим, бескрайние.

Этот беглый обзор японской военно-пропагандистской литературы свидетельствует о том, во-первых, как настойчиво в головы самых широких слоев населения вбивается мысль о «необходимости» и «справедливости» войны, которую подготавливает японский империализм, а во-вторых, о неуверенности военно-фашист-

ских клик в крепости «японского духа», т.-е. в том, насколько устойчив тыл. Они не случайно касаются «храбрости» японцев, даже когда их бьют.

«Японский дух», дух самураев — рыцарей с большой дороги, неизлечимо болен. И никакие лекари от воинствующего империализма его уже не спасут. Рост революционного движения в городе и деревне и, что особенно характерно, в армии и флоте, — лучшее свидетельство фактического состояния тыла японского империализма. И не случайно американский журнал «Чайна Уикли Ревью», внимательно изучающий положение Японии, пишет: «Японские империалисты исполняют свой танец войны на вулкане... Внутреннее положение Японии настолько напряжено, что можно ожидать самых серьезных политических событий. В этой стране все может случиться...»

Литература и искусство

1. И. МИКИТЕНКО — О создании союза советских писателей СССР и об украинской литературе. 2. Ив. АНИСИМОВ — Андре Мальро. 3. Письма Беранже

1. О СОЗДАНИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР И ОБ УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ¹⁾

И. Микитенко

1

Первый всеукраинский съезд советских писателей—без всякого сомнения — великая историческая дата в развитии нашей художественной литературы, в организации всех ее творческих сил и в боевой подготовке их к дальнейшей ответственной творческой работе. Наш съезд завершает двухгодичный период, за который мы, под руководством партии, реализовали историческое постановление Центрального комитета ВКП(б) и указания товарища Сталина.

Этот небольшой период был отмечен глубокими и благоприятными изменениями во всей творческой и литературной жизни нашей страны. В результате постановления ЦК ВКП(б), благодаря постоянным заботам партии и личной любовной помощи товарища Сталина Всесоюзный оргкомитет во главе с А. М. Горьким и Оргкомитет союза советских писателей Украины провели значительную работу, направленную на то, чтобы в новых, наиболее благоприятных условиях, созданных партией, имели возможность развернуть большую творческую работу широчайшие кадры писателей, на самом деле идущих с советской властью и своим

художественным творчеством принимающих активное участие в строительстве социализма. Эта большая творческая работа отразилась не только в появлении ряда выдающихся произведений русской, украинской, еврейской, белорусской, грузинской и других литератур народов СССР. Она отразилась также в тех принципиально новых, коллективистических общественных формах творческой писательской активности, которые были вызваны к жизни по инициативе нашей партии, рабочего класса, по инициативе неутомимого и мудрого вождя, нашего гениального учителя — товарища Сталина, по инициативе гиганта художественного слова и трибуна социалистической литературы — А. М. Горького.

Я имею в виду такие принципиально новые, невиданные до этого времени, формы творческой работы, как «История фабрик и заводов», «История гражданской войны», книга о Беломорском канале, люди 1-й и 2-й пятилетки, история женщины и т. д. Эти формы общественной творческой работы писателей Советского Союза, разрушая остатки индивидуализма в писательской психике, сближая и объединяя творцов художественного слова в дружный, проникнутый единым устремлением коллектив, несут в себе новые неисчерпаемые возможности, служат великой школой учебы на живом материале нашей

¹⁾ Из доклада на всеукраинском съезде советских писателей.

социалистической действительности и открывают грандиозные перспективы развития нашей художественной литературы.

За этот же период от нашей литературы отсеялись люди, которые хотели взять литературу нахрапом. Вспомните всяких Заезжих, которые, спекулируя на лозунгах литературного движения, снабжали литературный рынок негодной «продукцией», которые о строительстве Турбозавода в Харькове писали: «Строится большой трубный завод». Вспомните всяких Загирных, которые писали:

Кидайся
в днів вир,
Грюкай
у замкнені брами,
Нашого змісту
порнв
Надінем на дні обручами¹⁾.

Как эти люди ни «стучали», как ни гремели, как ни хотели взять литературу нахрапом, ничего у них не вышло. Где они, эти Заезжие и Загирные? Их нет, они исчезли из поля зрения. Они не выдержали закала классовой борьбы против наших врагов, не выдержали борьбы за высокое идейно-художественное качество нашей литературы.

Вместе с тем за эти два года стало ясно, что не все те, кто проявил администраторские способности в литературе или просто любил пошуметь по поводу литературы, покомандовать в ней и осчастливить потомство изданием своих портретов в многотысячных тиражах, имели для этого какие-либо творческие основания. Действительно, вспомните печальной славы эпопею Романа Кушнарева-Примера, который наивно полагал, что в литературе можно занять место беспардонной нахрапистостью и захватом администраторских портфелей при помощи скрипниковской

националистической клики. Как печально кончилась литературная карьера этого человека! В своей погоне за местом в литературе, овязавшись с Курбасом, Вишней, Досвитным, утратив классовую бдительность и «сублимировав» свою энергию на беспринципную карьеристскую борьбу против тех кадров нашей литературы, которые, как ему казалось, преграждали ему путь к славе, Кушнарев-Пример в конце-концов потерял не только все свои администраторские посты в литературе, о чем не приходится особенно жалеть, а и свой партийный билет, что действительно уже большая трагедия, которая должна предостерегать каждого из тех, кто идет в литературу с не совсем ясными или с совсем неясными намерениями.

Памятна карьера Овчарова, который путем лакейского прислужничества Скрипнику, нестерпимым курением ему подхалимского и ядовитого фимиама и путем борьбы против линии партии хотел с националистических позиций утвердить свой авторитет в нашей критике. Вспомните меньших, не столь заметных «овчарок» в националистической шкуре. Все они похожи друг на друга. Всех их объединяет борьба против пролетарской литературы и то исключительное нахальство, с которым они пытались командовать в литературе. Всех их постигла одинаковая участь, как постигнет каждого, кто попытается поднять против линии партии, против нашей социалистической литературы ядовитое оружие, которым пользовались Овчаров, Сухына-Хоменко и им подобные.

Вполне понятно, что особенно большое значение для подъема украинской советской литературы имел разгром националистического уклона, возглавляемого Скрипником, очищение рядов нашей литературы и наших издательств от контрреволюционеров, националистов — Речицких, Досвитных, Яловых, Пилипенков, Ирчанов, Грицаев, Озерских, которые всяческими способами пытались тормозить развитие украинской советской литературы.

Марксистская наука давно раскрыла нам историю развития человечества как

1) Бросайся
в водоворот дней,
Стучи
в запертые ворота,
Нашего содержания
порыв
Сцепим
на дне обручами.

историю ожесточеннейшей классовой борьбы. Художественная литература всех времен и всех народов на разных исторических этапах по-разному отражала борьбу классов, воплощала ее в образы наиболее ярких представителей этих классов. Но современную литературу фашистской буржуазии правильно было бы назвать шпаргалками для наглого надувательства трудящихся масс, изготовляемыми по непосредственному заказу социал-фашистских демагогов, разжигателей войны и провокаторов новых крестовых походов против СССР. Атмосфера чернейшей реакции, направленная против стремлений трудящегося человечества и его авангарда — рабочего класса, эта атмосфера фашистской буржуазии отталкивает от нее даже отдельных буржуазных писателей. Эти отдельные, более честные представители буржуазной культуры еще пробуют опираться на позиции «общечеловеческого» гуманизма. Они еще не могут решительно и до конца порвать со своим классом и полностью перейти на позиции пролетариата. Но они уже не могут не видеть и не слышать, что последний час буржуазии пробил и что единственной двигательной силой истории становится во всех странах мира могильщик буржуазии — рабочий класс, и что за ним идет его союзник — трудящееся крестьянство. Потому-то неудивительно, что вслед за рабочим классом они обращают свои взоры на СССР, на единственную в мире страну, где развитие культуры, развитие большой художественной литературы, искусства обеспечено победой диктатуры пролетариата; где это развитие не только не встречает на своем пути варварских заграждений, как это мы видим в фашистских странах, а поднимается творцами бесклассового социалистического общества на высший в мире идейно-художественный уровень, на уровень искусства, отражающего идеалы трудящихся всего мира.

И потому-то еще отвратительнее выглядит позорная роль наемников германского и польского фашизма, всех этих Досвитных, Яловых, которые пролезли было в нашу литературу и поль-

зовали свое писательское звание и свои редакторские посты для контрреволюционной интервенционистской цели.

Под руководством партии, в борьбе против классовых врагов, очищая свои ряды, росла и крепла молодая литература социалистической советской Украины, неотъемлемой части СССР. Теперь наша литература подошла к своему новому этапу. Оргкомитет заканчивает свою работу этим съездом и созданием единого союза советских писателей СССР, объединяющего писательские силы, как партийные, так и беспартийные. Для каждого ясно исключительное значение этого исторического факта. Поворот в сторону советской власти беспартийных писателей и огромный рост пролетарской художественной литературы, обусловленные великими победами рабочего класса в борьбе за социализм, — вот что дало возможность объединить на этом этапе писательские силы.

Созданный на этих принципах единый союз советских писателей СССР имеет свой устав, в котором с исчерпывающей политической четкостью определены, во-первых, условия роста нашей литературы, во-вторых, творческие принципы нашей литературы и, в-третьих, цель и задачи нашего союза.

Относительно первого в уставе сказано:

«Решающим условием роста литературы, ее художественного мастерства, ее идейно-политической насыщенности и практической действительности является тесная и непосредственная связь литературного движения с актуальными вопросами политики партии и советской власти, включение писателей в активную работу по социалистическому строительству, внимательное и глубокое изучение писателями конкретной действительности».

Вы видите, что тут сказано все, тут поставлены все точки над «и». Понятно, что эти условия может принять только действительно советский писатель, независимо от того — партийный он, или беспартийный.

Относительно творческих принципов нашей литературы в уставе сказано так:

«Эти творческие принципы, сложившиеся в результате, с одной стороны, критического освоения литературного наследства прошлого и, с другой стороны, на основе изучения опыта победоносного строительства социализма и роста социалистической культуры, нашли главное свое выражение в принципах социалистического реализма».

Эти строки нашего устава имеют исключительное значение для всей нашей литературы. Вы знаете, с какой беспринципностью жонглировали стилями и творческими методами разные мелкобуржуазные и буржуазные националистические литературные организации, выразители сопротивления партийной линии со стороны классово-враждебных социальных прослоек, со стороны наконец кулачества, последнего эксплуататорского класса, ныне ликвидированного на базе сплошной коллективизации. Литературные идеологи этих социальных прослоек и этого эксплуататорского класса, как известно, с большой злобой боролись против усилий пролетарской литературы на пути выработки ее творческих принципов.

Мы помним также, что и бывшие пролетарские литературные организации РАПП и ВУСПП в борьбе за творческие принципы и творческий метод, стоя в основном на партийных позициях, допускали отдельные срывы и ошибки. Такими ошибками были например идеалистическая теория живого человека, схоластическое объяснение наших творческих принципов как принципов так называемого «диалектико-материалистического метода» и т. п.

Помог нашей литературе и на этот раз гений Сталина, который дал нам конкретный творческий лозунг социалистического реализма, действительно синтезирующий все творческие принципы, какие выработала за годы пролетарской диктатуры советская художественная литература и советская литературная критика, идущая с рабочим классом и направляемая коммунистической партией.

В уставе союза вполне правильно отмечено, что социалистический реализм как основной метод советской литературы обеспечивает художественному творчеству исключительную возможность проявления творческой инициативы, выбор разнообразных форм, методов и жанров. Но в уставе сказано прежде всего, что

«социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника изображения действительности в ее революционном развитии. При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся людей в духе социализма».

Вы видите, что и тут сказано все, что и тут снова поставлены все точки над «и». Понятно, стало-быть, что эти творческие принципы может считать своими только действительно советский писатель, независимо от того — партийный он, или беспартийный.

Наконец, цель и задачи союза советских писателей исчерпывающе сформулированы в семи пунктах второго раздела нашего устава. Ставя своей главной целью создать произведения высокого художественного значения, насыщенные героической борьбой международного пролетариата, произведения, отражающие великую мудрость и героизм коммунистической партии, произведения, достойные великой эпохи социализма, союз советских писателей вместе с тем берет на себя обязанность интернационального воспитания писателей, всестороннего развития братских национальных литератур, развертывание творческого соревнования писателей и взаимной помощи друг другу, воспитание новых писателей из рядов рабочих и колхозников, наконец обязанность активного участия советских писателей своим художественным творчеством в социалистическом строительстве, защита интересов рабочего класса и укрепление Советского Союза. Эти задачи членов

союза советских писателей сформулированы в 1-м пункте 2-го раздела. На этом пункте я считаю нужным остановиться, чтобы раскрыть его важный для всех нас смысл. Там сказано:

«Активное участие советских писателей своим художественным творчеством в социалистическом строительстве, защита интересов рабочего класса путем правдивого и образного изображения истории классовой борьбы пролетариата, классовой борьбы и строительства социализма в нашей стране, путем воспитания широких трудящихся масс в социалистическом духе».

Логически продолжая изложенную там мысль, надо сказать и усвоить, что, если правдивым изображением истории классовой борьбы писатель защищает интересы рабочего класса и укрепляет Советский Союз, то неправдивым изображением он, очевидно, ослабляет позиции нашей родины. И если так подойти к этому пункту нашего устава (а именно так и нужно подходить) и если иметь в виду, что наша родина и каждый из ее сынов должны быть каждую минуту готовы дать смертельный отпор нашим врагам (а не иметь этого в виду советский писатель не может), то станет ясным, какое значение может иметь каждый серьезный идейно-политический и художественный срыв писателя, члена нашего союза.

И тут сказано все, и тут поставлены все точки над «и». Понятно, что эти задачи может взять на себя только действительно советский писатель, для которого интересы рабочего класса, интересы своей родины стоят выше всего и который может отдать своей родине все свои силы, весь свой талант, весь огонь своего вдохновения и творческой работы. Вот почему, товарищи, быть членами союза советских писателей СССР — для нас большая и высокая честь. Человек, в сердце которого не горит огонь патриотизма, огонь безграничной любви к своей родине, не может быть советским писателем и никогда не найдет себе друзей среди нас, как

не найдет места в союзе советских писателей!

2

Тов. Косиор со всей большевистской прямоотой поставил перед нами задачу учебы. Об этом же написал нам в своем прекрасном приветствии Павел Петрович Постышев. Третьего дня об этом же говорил в своей речи председатель Совнаркома УССР тов. Любченко. В приветствии от ЦК КП(б)У к учебе призывал нас Н. Н. Попов. Особенно подчеркнул необходимость учебы тов. А. И. Стецкий в приветствии от Центрального комитета ВКП(б). Партия призывает нас к серьезной, глубокой учебе. И, исходя из линии партии, союз советских писателей ставит эту задачу перед каждым членом союза.

Устав союза обязывает каждого члена союза учиться, усваивать мировую культуру, овладевать культурным наследством прошлого. Но Станислав Викентьевич вполне правильно сказал, что у нас привыкли говорить о культуре, о необходимости учиться, умеют чрезвычайно красноречиво доказывать, что нужно, дескать, учиться, но, к сожалению, часто этим и ограничиваются. Позвольте проиллюстрировать вам на примерах из нашей поэзии и показать, что утверждение тов. Косиора действительно отражается в произведениях наших поэтов. Берем стихотворение одного поэта и читаем тоже о культуре, о необходимости учиться, но посмотрите, какое упрощенчество, какое вульгаризаторство, какое скольжение по поверхности.

Я майстер, і всі бригади
в мене — «во»!

Як кажуть, на великий палець.
Комбайнів вчора п'ять,
Сьогодні шість, щоб зріст щодня.
Та от, хоч комсомольці ми,
Одне в нас зле, —
Культури б кожному,
технічного знання¹⁾.

¹⁾ Я мастер, и все бригады у меня — «во»!
Как говорят, на большой палец.
Комбайнов вчера пять,
Сегодня шесть, чтоб рост был ежедневно.

Вы видите, поэт полностью признает, что нужно «культуры бы каждому, технического знанья», но ни культуры, ни технического знания в его стихотворении незаметно. В самом деле, посмотрите на эти стихи:

Безсиліють від наших перемог
шакал за кордоном
Й збираються війською йти на нас —
та ми ростем!
Готується фашизм в похід...
Та в армії Червоній
Мої товариші — бойці,
Іх сотні тисяч²⁾.

Все это очень верно, но поэзия от этого не делается у нашего автора лучше, хоть он и говорит в дальнейшем о том, что надо «быть ударником в учебе:

Вміть добре цілитись,
влучати із рушниці,
В усій учобі будь ударником,
як, друзі, ви!
Не тільки в мене, всіх
товаришів така лиш ціль,
Така мета невпинна
в нашім колективі.
Товариші мої по ліжку,
По думках, учобі,
Бійці найкращі
Нашого Н-бата,
Радію я досягненням
у нашій чоті,
Радію тям,
що край наш так
героями багатий!²⁾.

Но вот, хоть комсомольцы мы,
Одно у нас плохо, —
Культуры бы каждому, технического знанья.

¹⁾ Обессиливают от наших побед.
шакалы за границей
И собираются идти на нас войной,
Но мы растем!
Готовится фашизм в поход...
Но в Красной армии
Мои товарищи — бойцы,
Их сотни тысяч.

²⁾ Уметь хорошо целиться.
попадать из винтовки,
Во всей учебе быть ударником,
как вы, друзья!
Не у меня, у всех
товарищей такая цель,
Такая беспрерывная цель
в нашем коллективе.
Мои товарищи по кровати,
по мыслям, учебе,
Лучшие бойцы
нашего Н-бата,

Наша страна действительно богата героями. Но жаль, что об этих героях мы читаем такие слабые стихи, хоть автор и призывает «во всей учебе быть ударником». У этого поэта, выпустившего уже две книги стихов, упрощенческое, поверхностное представление о культуре. Вот он показывает рабфаковский субботник. Рабфаковцы, студенты — это, как известно, цвет культуры нашей страны, поэт должен показать их овеянными высоким дыханием, высокой атмосферой советской культуры, а не брать их на ура, не отписываться поверхностным «геройством». Послушайте, как это звучит у нашего поэта:

Разгружали із хлібов вагони.
— Як робить, то робить!
Впала пісня на дальні гони,
Де повті в сніяву горби.
Довгий состав товарний,
Вагонів мабуть з сімдесять.
Червопіла шокн
робота ударна,
Мускули пружилися.
— Гей, брата, надолуж!
— Гей, комса,
факультет робітничий!
Перевиковать план,
щоб на глум
Не узав би завод нас підшефний!
Осередку бюро
і профком тут.
На суботник прийшов
і декан робітфаку.
Стількі сміху
(робота ж кипить),
брюки хтось помарав
у мазут

Майового покату.
— Не журись,
ось до дому прийдем,—
потішають його,—
Там дівчата тебе і підчистять¹⁾.

Я радуюсь достижениям
в нашей роте,
Радуюсь тому,
что наша страна так
богата героями!

¹⁾ Разгружали с хлебом вагоны.
— Коли працює, так працює!
Упала песня далеко,
Где увиты синевою холмы.
Длинный товарный состав,
Вагонов, должно быть, семьдесят.
Покрывала румянцем щеки
ударная работа,
Мускулы напрягались.
— Эй, брата, наддай!

Если это еще кое-как можно простить молодому поэту, начинающему, которому нужно еще много учиться, то этого нельзя простить поэтам с 12 — 15-летним стажем, которые считались мэтрами поэзии, а делают то же самое или еще хуже, чем кое-кто из нашей начинающей молодежи. Вот один из таких солидных поэтов пишет стихотворение «Привет» и посвящает его «студентам Мерезинских курсов подготовки батраков в вузы»:

Хто сказав, чи під силу нам
 Хто спитав,
 Глянь
 Ось вони —

наука?

чи здолаємо ВИШ?

на наші мозолисті
 руки...

підвись! ¹⁾

Как видите, поэт околдовывает, а не раскрывает сущности, глубины науки. Дело в том, товарищи, что мозолистые руки — не талисман, перед которым наука падает ниц. Не нужно сладенького и фальшивого «рабочелюбства». Человеку физического труда, с мозолистыми руками, часто трудней завоевать науку, чем тому, кто от предыдущих поколений перенял культурные традиции, кто сызмала находился в культурном окружении. Рабочий действительно совершает героический подвиг, усваивая вершины науки. Но не мозолистыми ру-

-- Эй, комса,
 рабочий факультет!
 Перевыполнить план,
 чтоб на издевку
 Не взяла завод нас подшефный!
 Бюро ячейки
 и профком здесь.
 На субботник пришел
 и декан рабфака.
 Сколько смеха
 (ведь работа кипит),
 брюки кто-то замарал
 в мазут
 Майского поката.
 — Не горюй,
 вот домой придем,—
 утешают его,—

Там девчата тебя и почистят.

¹⁾ Кто сказал, под силу ли нам наука?
 Кто спросил, одолеем ли вуз?
 Глянь на наши мозолистые руки...
 Вот они — посмотри!

ками он это делает, а своим умом, и мозолистые руки тут как раз не при чем. Вот еще одно стихотворение этого поэта, посвященное на этот раз Купянскому РПК КП(б)У.

У цифрах неблаганних Осиківський,
 Невтомий і разумний секретар,
 У ясності одвертій, більшовицькій
 Картину урожаю разгорта.
 Він ніби бачить кожну бур'янину
 Й не вивезений гній, і хиби МТС —
 Один за одним факт упертий лине
 І сором, і ганьба у декого росте... ¹⁾

Это верно, с этим придется согласиться, потому что так писать стихи тому, у кого большой стаж, кто долгие годы работает в этой области, никак нельзя.

Приходится еще раз сказать, что без серьезной, глубокой учебы мы не сможем стать творческой организацией, а союз советских писателей СССР — это прежде всего творческая организация.

В уставе союза сказано, что при правлении союза создается самостоятельная в отношении хозяйственных функций организация «Литфонд», объединяющая всю административно-хозяйственную работу по линии бытового обслуживания писателей. Это очень важное мероприятие. Оно даст возможность усовершенствовать и административно-хозяйственную работу, а главное — творческую организацию, союз советских писателей, благодаря этому мероприятию освобождает свои силы для творческой работы.

Я должен сказать несколько слов о наших творческих задачах.

Прежде всего о задачах, стоящих в области драматургии. Тут уже было сказано, что нам сейчас особенно нужна комедия. Надо только подчеркнуть, что нам нужна комедия, в которой был бы звонкий и радостный смех победителей. Я считаю, что смех зрительного зала во время спектакля «Чужого ребенка» — это еще не смех победителей. Очень часто в этой пьесе смех физиоло-

¹⁾ В неумолимых цифрах Осикивский,
 Неутомимый и умный секретарь,
 С откровенной, большевистской ясностью
 Разворачивает картину урожая.
 Он словно видит каждую бурьянку
 И невывезенный навоз, и недостатки МТС —
 Один за другим летят упорные факты,
 И стыд, и позор растет кое у кого...

гический, смех обывательский, а не смех победителей, сознающих все величие своей победы.

Нам нужна также трагедия, в которой бы раскрывалось величие мировой революционной мысли, величие мозга нашей жизни — ВКП(б) — и героизм строителей бесклассового социалистического общества в борьбе против старого, рабского мира. Нам нужна также бытовая драма, в которой отразилась бы перековка человеческой души. Нужно сказать, что бытовая драма до этого времени, по непонятным причинам, в заоне, ее почти нет. А между тем разве победа диктатуры пролетариата, победа строителей социализма проявляется только в том, что рабочий хорошо работает у станка, колхозник — в поле, служащий — в учреждении, большевик — в партийной организации? Победа диктатуры пролетариата, победа науки Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, победа рабочего класса и колхозного крестьянства отражается также и в быту, и показ этой победы в быту особенно важен. В быту, когда люди освобождаются от работы, когда они остаются сами с собой, со своими друзьями, товарищами, когда они в интимной обстановке реализуют новый моральный, новый психологический багаж, приобретенный за годы революции, — вот это надо показать в бытовой пьесе. Поэтому еще раз нужно подчеркнуть, что бытовая драма нам крайне нужна. Бытовая драма безусловно дополнит достижения нашей социалистической драматургии.

Нам нужна также сатирическая пьеса, в которой были бы показаны хвосты старого, подлого мира. Тов. Постышев в своем прекрасном, художественном приветствии призывает нас

«показать всю несостоятельность, подлость, низость, преступность и гниль старого рабского на фоне этой великой жизни труда, победившей, восторжествовавшей»...

Тов. Любченко в своем развернутом выступлении на с'езде тоже подчеркнул необходимость комедии с сатирическим оттенком, — чтобы пришел какой-нибудь

«активист» в театр и узнал свои хвосты в том или в другом образе такой пьесы. Победители могут позволить себе такой резкий смех над остатками старого.

Конечно достижения советской драматургии СССР огромны. Это безусловно самая передовая драматургия в мире. В частности украинская советская драматургия после исторического постановления ЦК ВКП(б) достигла новых значительных успехов. Нельзя еще раз не отметить того радостного факта, что на всесоюзном драматургическом конкурсе отмечены премиями две пьесы украинских советских драматургов — тт. Корнейчука и Кочерги. На с'езде у нас присутствует т. Ромашев, автор целого ряда широко известных советских пьес, как «Воздушный пирог», «Конец Криворыльска», «Огненный мост», наконец «Бойцы», пьесы, тоже получившей премию на всесоюзном конкурсе. Мы имеем драматургию тов. Киришона, тоже премированного на всесоюзном конкурсе, драматургию Афиногенова, Вишневецкого, Первомайского и целый ряд пьес других авторов. Но достижения наши в драматургии, как правильно отметил тов. Косиор, еще далеки от тех задач, что стоят перед нами.

И надо подчеркнуть, что именно перед тематикой морально-этического порядка во второй пятилетке, в пятилетке построения бесклассового общества, открываются огромные, неограниченные перспективы. На этой тематике мы должны наконец овладеть искусством показа психологии человека.

Наконец, как в прозе наряду с большими, развернутыми произведениями нужна новелла, так в театре нужен высококультурный, художественно-законченный советский водевиль. Французские водевили, как известно, занимают не последнее место в истории французской театральной культуры. Наш советский водевиль конечно должен превзойти все, что было в этой области до этого времени. Наш советский водевиль должен быть остер, как удар шпаги, весел, как брызги солнца, и радостен, как улыбка молодой физкультурницы.

Развитие нашей драматургии и театра безусловно страдало от того, что у

нас до этого времени не было журнала по вопросам театра и драматургии. Отсутствие такого журнала, который синтезировал бы опыт нашей драматургии, опыт работы наших театров, нашей режиссуры, ставил бы новые творческие проблемы, — отсутствие такого журнала являлось определенным задерживающим тормозом в развитии нашей драматургии. Но осенью этот журнал будет, он уже обещан нам.

Были жалобы на наши театры. Жаловаться на театры есть за что. Нужно только сказать, что не во всех театрах дело обстоит одинаково, что не все наши советские режиссеры болеют формализмом. Нужно также сказать, что театрами, по существу их художественной работы, никто, кроме драматургов, не занимается. Нужно взять наши государственные периферийные, как и центральные, театры в сферу влияния Наркомпроса, нужно присматриваться к тому, что делают эти театры, нужно, чтоб о подготовке каждой новой постановки знали руководящие организации. Когда у нас будет большой театральный журнал, тогда мы сможем помочь нашим театрам, следить за работой режиссеров и договориться с ними по ряду важнейших принципиальных вопросов.

Несколько слов о нашей поэзии. Никто не отрицает, что в нашей поэзии есть ряд произведений, заслуживающих большого внимания. Произведения гг. Кулика, Тычины. Первомайского, Усенко, Бажана, Рыльского, Микола Терещенко, Головановского и других, — значительную часть их нельзя не рассматривать как достижения нашей советской поэзии. Есть также ряд талантливых произведений молодых поэтов — Муратова, Собко и других. Из русской поэзии на Украине нельзя не вспомнить талантливые стихи Черкасского, книгу Городского «Отступление смерти», где он дал ряд интересных стихотворений, стихи Хазина, Каца и других молодых поэтов. В еврейской поэзии всем известны произведения тов. Фефера — самого выдающегося поэта, какого знает еврейская революционная литература всего мира, стихи Гофштейна, Кзитко, Гильдина и других.

Но нет, к сожалению, в украинской советской поэзии таких произведений, которые бы люди заучивали наизусть и читали в минуты соответствующих душевных переживаний. В минуты радости, в минуты горя, в минуты раздумья, в минуты негодования, в минуты любви и лирического настроения. Где мы возьмем такие стихи? Где стихи, какие можно было бы на такой случай человеческой жизни читать, цитировать, зная эти произведения наизусть?

Их очень и очень мало. И потому какой-нибудь представитель технической интеллигенции, несмотря на то, что политически он целиком с нами, что он принимает участие в строительстве наших фабрик, заводов, — в интимной обстановке, где-нибудь на вечеринке, в обществе своих друзей и знакомых читает:

Растворил я окно, стало душно невмочь,
Опустился пред ним на колени.
И в окно мне повеяла майская ночь
Благовонным дыханьем сирени...

Стихи, как известно, чужие. Но простоты и настроения от них не отнимешь.

Нам нужна своя художественная простота и наши настроения. Беда нашей поэзии не только в том, что она отстает от социалистического строительства, а и в том, что она значительно меньше вошла в советский быт, чем проза, чем драматургия. И это, вы думаете, потому, что нашей поэзии не хватает мысли, содержания, революционной устремленности? Нет, это потому, что она была далека от социалистического реализма, от художественной простоты и ясности.

По моему мнению, Максим Рыльский — поэт, наиболее склонный к этой художественной простоте и ясности. Но у него есть вещи, требующие ясности политической. В книге «Знак весов» есть например стихотворение «Борьба не кончилась», которому именно нужна была бы такая политическая ясность, чтобы она не портила поэтического богатства, собранного в этой книге. Вот это стихотворение.

М'які верховини вкраїнських дерев
І дуб серед них, добродушний, як лев,
І синість, і свіжість, і круглість, і луг,
І сонце, як брат, і людина, як друг.

Ця лагідність ліній, цей лі теплий тон
На тебе навіюють соняшний сон,
І справді ти віриш: кінчилась борня, —
У піхви меча, розсідлати коня!

Собаки, і ті відрекаєся злоби,
Хвостами виляють, як добрі раби,
Обняв найлихішого лапами кіт —
І граються мирно... Воскрес Теокрит!

Спочин, зачерпни для труда свого сил,
Та глянь: посинів, потемнів небосхил,
І гнуться верхів'я українських дерев,
І дуб серед них, як стривожений лев¹⁾.

Вот тут нужна политическая ясность. Художественная простота есть, и ясность есть, а политической ясности... ну, никак нельзя сказать, чтобы она тут была. Наоборот, после этого стихотворения остается большой знак вопроса. Мы не знаем, как объясняет это стихотворение сам автор, но должны сказать, что его легко объяснить не в пользу автора.

Проза. В нашей прозе безусловно есть произведения, заслуживающие внимания и читающиеся десятками и сотнями тысяч читателей. Безусловно, к с'езду мы пришли со значительными достижениями. Достаточно назвать повесть г. Кириленко «Аванпосты», произведения Панча, Копыленко, Коцюбы, Смолича, Лурье и других. Нельзя сказать, что у нас одинаково читают все книги, которые выпускают наши писатели. Данные библиотек говорят, что некоторые романы и повести наших романистов и новеллистов лежат неразрезанными на полках наших библиотек, а

¹⁾ Мягкие вершины украинских деревьев,
И дуб среди них, добродушный, как лев,
И синева, и свежесть, и округлость, и дуг,
И солнце, как брат, и человек, как друг.

Ета мягкість ліній, этот теплий тон
Навезають на тебе сонячний сон,
І дійсно ти віриш: кінчилась
борьба, —
В ножи меч, расседлат коня!

Собаки, и те отреклись от злобы,
Хвостами виляют, как хорошие рабы,
Обнял самую злую лапами кот —
И играют мирно... Воскрес Феокрит!

Отдохни, зачерпни для труда своего силы
И взгляни: посинел, потемнел небосклон,
И гнутся верхушки украинских деревьев,
И дуб среди них, как встревоженный лев.

другие зачитываются до дыр. Итак, нагдо сказать, что наряду с достижениями есть еще в нашей прозе много бескрылого, много скучного, серого, некультурного и просто неграмотного.

Нельзя действительно читать без вутреннего содрогания романы, написанные например такими «образами»:

«Як служані з виноградного куца горобці, порснула туманом з тієї струни пилюга»¹⁾.

«Оті манери рекомендуватися, позичені в старім вымерлім арсеналі покоління, на «Тюленовому» напелне ще й зараз являють собою надто захопливого жарта» (с м е х)²⁾.

«Молокан кілька разів поривався витягти зза пояса під брудною сорочкою новеньку газету»³⁾.

«Морозяна хвиля ковзнула по тілові»⁴⁾.

Читая такие «художества», чувствуешь, как у тебя самого «морозная волна скользит по телу».

Это взято из романа одного из известных наших писателей. Приведенные примеры доказывают, насколько еще писателю недостает художественного вкуса и поэтического чутья. К сожалению, таких примеров можно привести много. Все они доказывают острую и неотложную необходимость борьбы за культуру нашей художественной прозы.

Возьмем теперь критику. Не верно, что критика ничего не одела. Она отстает, но в нашей критике есть ряд товарищей, немало дающих нашей литературе. Но недочетов у нашей критики действительно очень и очень много.

Говорят, критика не должна дергать и дубасить советского писателя. Верно! Она его иногда дергает, дубасит, кусает, колет, клюет, как цыпленка, — так говорилося на с'езде в Белоруссии. Но не

¹⁾ Как вспугнутые с виноградной лозы воробьи, порхнула туманом с той струны пыль.

²⁾ Вот эти манеры рекомендовать, одолженные в старом, вымершем арсенале поколений, на «Тюленьем», вероятно, еще и сейчас являются слишком увлекательной шуткой.

³⁾ Молоканин несколько раз порывался вытянуть из-за пояса под грязной рубашкой новенькую газету.

⁴⁾ Морозная волна скользнула по телу.

в этом главная беда. Эти недочеты, в конце-концов, не так трудно преодолеть.

Говорят, критика должна вместо этого по-товарищески помогать писателю. Верно! Она ему иногда мало помогает, а порой и не может помочь. Почему? Потому, что сам критик не беллетрист, и не поэт, и не драматург, а только исследователь, аналитик, это в лучшем случае, а в худшем — только констататор ошибок писателя. Но, может быть, и должен быть критик вдохновенный, критик — в душе поэт или драматург, в душе богатый фантазер и изобретатель блестящих образов, бунтующих в его воображении. Такой критик может помочь писателю, и именно тем, что зажжет его, поднимет его творческое воображение, расшевелит его талант, его вдохновение, его стремление работать. Нам нужен именно такой критик.

Пусть он иногда и сам ошибается, как ошибается и писатель, пусть он иногда не будет таким непогрешимым и безапелляционным приемщиком литературной продукции, либо принимающим, либо бракующим, но пусть он вместе с писателем горит творческим пламенем, волнуется творческими мыслями. Конечно без исчерпывающего марксо-ленинского анализа, который дает нашим произведениям наша марксистская критика, мы не можем пойти вперед. Но пусть критик вместе с тем не отрекается от поэтического дерзания, я бы сказал даже — от «литературных мечтаний», без которых не может быть настоящей творческой критики.

В «Критическом дневнике» тов. Щупака, печатаемом на страницах «Литературной газеты», есть свои недочеты. Но положительно в этих его статьях то, что в них чувствуется подьем и взволнованность, что автор в них безусловно переживал те поэтические образы, о которых писал, и это прекрасно. Есть и у тов. Хвыли такие статьи на литературные темы, в которых чувствуется большое внутреннее волнение критика-публициста. Есть такие статьи кой у кого из молодых наших критиков. Но их очень мало. А наше требование к критику прежде всего, — чтобы критик глупо почувствовал и пережил то, о чем

он пишет, чтобы он поднялся на ступень творческой работы, чтобы его статьи были плодом и холодного рассудка, и пылких страстей, и настоящих, искренних переживаний, и творческого вдохновения, потому что только так можно творить искусство и нашу литературную критику. Прекрасно сказал о своем творчестве А. С. Пушкин в посвящении к «Евгению Онегину»:

Прими собранье пестрых глав,
Полумешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Да, произведение нужно пережить и писателю, и критику.

Итак, творческие задачи—общие для всех областей и жанров нашей литературы: беллетристики, поэзии, драматургии, критики. Это — окрыленность всех жанров, вдохновенность, честная, упорная работа над плодами творческого воображения, пока они не охладятся настолько, что от них не будет у читателя оскомины.

Все это упирается в организацию времени на творческую и учебную работу. Именно с организацией времени у нас обстоит дело неблагоприятно. И именно на это нужно будет обратить большое внимание в союзе советских писателей.

3

Вполне понятно, стало-быть, какое исключительное значение имеет прием в союз советских писателей.

Открывая двери тем, кто действительно может выполнить опромные задачи писателей Советского Союза, творцам самой передовой в мире литературы, Оргкомитет с самого начала поставил перед комиссией по приему суровое, но справедливое условие — закрыть дорогу тем, кто этих задач не выполнял и не может выполнять.

В уставе относительно этого сказано, что членами союза могут быть только те советские писатели (беллетристы, поэты, драматурги, критики), произве-

дения которых имеют самостоятельное художественное или научное (критические работы) значение. Этим самым устав прежде всего предъявляет требование качества к творчеству членов союза. Этим самым подчеркивается, что другого, кроме творческого, пути в союз советских писателей нет и не может быть. Наконец этим сказано, что членом союза может быть только тот советский писатель, который постоянно работает над собой, критически осваивает большое культурное наследство прошлого, изучает нашу действительность и не застывает, не превращается в автопамятник на какой-то достигнутой ступени развития, а дает новые и новые произведения, которые свидетельствуют, что этот писатель пребывает в процессе творческого роста.

Таким образом, создание союза советских писателей СССР в результате исторического постановления ЦК ВКП(б) становится могучим рычагом нашей великой, самой передовой в мире, художественной литературы, очищает ее от людей, попавших в нее случайно, и обеспечивает всем талантливым и работоспособным творческим силам рабочего класса и колхозного крестьянства широчайшие возможности и все права для создания больших художественных ценностей, достойных нашей эпохи.

Исходя из этих принципов, Всеукраинская комиссия по приему в союз советских писателей проделала уже значительную часть своей работы. В комиссию было подано около пятисот заявлений. Кто авторы этих заявлений? Прежде всего конечно литераторы. Но, кроме них, в комиссию обращается много людей, которые с литературой не связаны, но активно интересуются художественным словом, стремятся принять участие в создании его, очевидно не совсем точно представляя себе, какая это сложная вещь и сколько требует к себе специального внимания и труда. Подают заявления отдельные рабочие, учителя, техники, ученики, — вообще наши советские люди, кадры социалистического строительства, интерес к литературе которых свидетельствует о большом культурном

росте страны. Один молодой товарищ пишет так:

«Прочитав объявление в газете «Коммунист» о приеме в союз советских писателей, очень меня это поразило... Я не знаю, почему меня заинтересовала работа из литературы, читать биографию писателей, изучать жизнь Т. Шевченко и т. д. Вертится мечта в голове ближе познакомиться с литературой, с писателями... Потому и решил написать вам, как вы на это будете реагировать, или, может, почитаете это за ненормальное, может, скажете, что это все лишнее я пишу»...

Или вот еще интересный и немного смешной в своей наивности пример. Товарищу очень хочется попасть в писательскую организацию, и он думает, что ему поможет, если он похвалит произведение одного из членов комиссии, тем более — председателя комиссии. Вот что пишет этот товарищ:

«Мечта поступить в литературное учебное заведение — это мне не удалось, и поступил я в пожарный техникум в Харькове, где сейчас продолжаю учиться.

При техникуме организовался литературный кружок, хотя еще и мало он работал, но работа меня чересчур заинтересовала, особенно, когда мы проводили на творчество Т. Г. Шевченко. Читал книгу Микитенко, роман «Утро», которую нам рекомендовал руководитель литкружка т. Рослик, конечно она очень меня заинтересовала, я приветствую Микитенко, как члена, что входит в состав комиссии по приему в союз, и желаю большого успеха второй книге этой темы.

И вот у меня возникла просьба к вам»... и т. д.

Затем уже идет автобиография.

Но эти товарищи, по крайней мере, скромно спрашивают и не стараются подпереть свой интерес к литературе революционными заслугами. А есть авторы заявлений иного характера. Эти в начале своей автобиографии пишут что-нибудь такое, что доказывало бы, что

корни их «революционности» надо искать еще в дореволюционном прошлом, когда они специально страдали от царизма. Так, один пишет:

«Мать моя из семьи служащих, из мещан, кончила пять классов гимназии и занималась домашним хозяйством, потому что далеко не всегда у нашей семьи была домашняя работница, благодаря чему при царизме меня однажды чуть не исключили из гимназии».

Приняты писатели, творчество и общественное лицо которых в основном отвечают требованиям устава союза советских писателей СССР. Наряду с видными, популярными советскими писателями, уже занимающими определенное место в нашей литературе, комиссия приняла также ряд молодых способных писателей, дальнейший рост которых не вызывает сомнения.

Кроме того, комиссия внесла в список кандидатов 73 человека молодых, а иногда и более старших писателей, которые еще не дали достаточного количества творческой продукции, или таких, чья продукция еще не имеет самостоятельной художественной ценности, но обнаруживает определенные творческие тенденции и способности авторов. Из этой группы союз в дальнейшем будет пополнять свои кадры по мере того, как эти писатели полнее выявят себя в художественном творчестве. Среди этой группы, как я сказал, есть писатели уже с достаточным литературным стажем. Возьмем например тов. Жигалко. Он написал несколько книг, но самая большая его работа, роман «Липовый цвет», кроме недочетов идейного порядка, не может считаться и с художественной стороны такой вещью, которая отвечает требованиям союза. В этом романе Жигалко полностью подражает Кнуту Гамсуну. Самостоятельного художественного лица у писателя еще нет. Мы будем ждать его нового произведения.

Возьмем также для примера поэта Леонида Зимнего. Он дал уже несколько книг стихов, но все они настолько отмечены влияниями мелкобуржуазной

«Новой генерации»¹⁾, что творческая индивидуальность самого поэта нам еще не ясна. Мы подождем его новой книги. В кандидаты зачислила комиссия также черниговскую литературную группу, среди которой есть способная молодежь — Хазин, Десняк, Рудь, Кривченко и другие; немало товарищей из Донбасса, как например Усеник, Матусовский, Рудь, Западинский (критик) и другие. Все это молодые литературные кадры, из которых выйдут писатели, если они упорно будут работать над собой. Сегодня их еще нельзя принять в союз, хотя у большинства из них есть бесспорные литературные способности. Некоторые из этих молодых кадров допускают в своем творчестве такие срывы, которые нужно резко осуждать. Вот, допустим, книга т. Виталия Чигирина — «Повесть о хорошей девушке». Я приведу из нее несколько примеров.

«Их места были в первом от арены ряду, как-раз около двери, откуда должны выбегать артисты, клоуны, лошади и другой живой и мертвый инвентарь.

Наездница была уже немолодая женщина, с грузным телом, которое так и выпирало из-под телесного цвета трико. Но и это трико было только на толстых коротких ногах и на верхушках больших грудей...

Но на Виктора их работа не производила впечатления. Не производило на него впечатления и то, что Галя все время гладила его руку и прижимала бок высокой упругой грудью, горячей даже сквозь клетчатый зеленый джемпер...

Оркестр заиграл вальс Штрауса, нежный и тоскливый, как настроение человека, у которого болит живот. На него как будто не действовал удушливый воздух, насыщенный аммиаком, запахом лошадиного пота, навоза и косметики...

Виктор и Галя в фойе не пошли. Виктор не курил, а другой надобности ни у него, ни у Гали не было».

¹⁾ Ликвидировавшаяся литературная группировка.

Какая «художественность»! Какие тонкие, «мастерские» приемы! Так и хочется сказать, что не только другой, а никакой надобности не было печатать эту антихудожественную писанину. Вот еще пример из этой же главы этой же книги. Глава имеет такое же антихудожественное и претенциозное название, как и цитированные раньше примеры. Она называется так: «Вперив глаза в самого маленького акробата, Виктор о чем-то глубоко задумался». Но вот пример еще неприятнее:

«Откуда он берет эти анекдоты, разные поговорки? Кажется, такой же рабочий, как и все, а начнет трепаться — инженера за пояс заткнет».

Затем идет, так сказать, «любовная лирика»:

«Давай, Витюнчик, посидим здесь. Ночь такая красивая. Почитаешь мне стихи... Этого, как его... что лизут кобели суку»...

«Лирика» продолжается,

«— Милый мой, дорогой!.. Я так тебя люблю, так люблю! — страстно зашептала Галя.

Виктор тихонько начал декламировать:

Излюбили тебя, измызгали..

Не буду тут приводить всей этой неприятной цитаты, перейду к дальнейшему авторскому тексту.

«Галя засмеялась. Прижалась к парню крепко-крепко. Тот начинал дрожать. В голос его включились новые, какие-то надрывные нотки:

Я средь женщин тебя не первую,
Не мало вас!»

Две последние грязные строки тоже не буду приводить. На эту есенинскую «поэзию» Галя реагирует так:

«— Да? — слабым голосом спросила Галя. Виктор сразу оборвал декламацию. Иступленно прижал к себе девушку. Укусил слегка за горячее ухо под жесткими волосами и страстно прошептал:

— Галочка... Пойдем сегодня... ко мне?

У Гали знакомо-приятно ослабели ноги.

— А если... если ребенок будет, Витюнтя?

— Ребенок? — протрезвел Виктор. — Ребенок, Галя, не надо... к чему?

— Видишь, уже и испугался... Ничего! — засмеялась девушка.

Виктор опять прижал ее к себе:

— Ну? Пошли?»

На этом и кончается эта «иступленная» глава.

Эту книгу выпустило издательство «Лим»¹). Имя редактора обозначено в книге. И все-таки мы приняли Чигирину в кандидаты. Почему? Потому, что у Чигирина есть способности. Он комсомолец и может, по нашему мнению, исправиться. То, что я цитировал, — результат нехороших влияний, за которые отвечает прежде всего Валерьян Полищук, бывший «воспитатель» Чигирина.

В Одессе мы приняли в кандидаты т. Кучму, а такого, как Лесь Гомин, не приняли совсем, хотя написал он больше Кучмы. Почему же комиссия не приняла его даже в кандидаты? Потому, что этот литератор после известных процессов классовой борьбы, прошедших в нашем обществе, агитировал советских писателей против линии партии, отстаивал в своих письмах к товарищам позиции Скрыпника, жалел его и пытался разложить одесскую литературную организацию. Мы удивляемся, почему одесская организация до этого времени не показала настоящего лица Лесья Гомина. Мы ждем, что одесская организация сделает это в ближайшее время.

Наконец большая группа непринятых в союз и невключенных в список кандидатов состоит из нескольких категорий.

Первая категория — случайные литераторы, литработники, случайно пишущие и пописывающие, которые подали заявления, не имея для этого достаточных оснований, хотя некоторые из них уже несколько лет «ходят в писателях». Вообще надо сказать о двух причинах и

¹) «Література і мистецтво» («Литература и искусство»).

двух путях, приводящих людей в литературу.

Одни становятся писателями потому, что должны сказать советскому обществу нечто в а ж н о е. У них возникает потребность сказать это или в художественной форме, или в литературно-критической. И они становятся писателями или критиками, проходя путь упорной борьбы, путь работы над собой, путь всестороннего изучения нашей социалистической жизни, непосредственно в ее революционной практике, — чтобы служить ей художественным или литературно-критическим словом как можно органичнее и как можно эффективнее. Для них литература — та область деятельности, в которой они полностью исчерпывают свои творческие способности. Именно такие представители литературного труда должны быть членами союза советских писателей.

Других вынуждает идти в литературу иная причина, и идут они в нее иным путем. Сначала они не думают о литературе, пытаются устроиться в жизни иным способом и пробуют разные профессии. А когда нигде ничего не выходит, у них вдруг просыпается литературный зуд и, взяв билет на курьерский поезд, они прямым сообщением мчатся за «живой копеечкой» в литературу. Для них художественное или литературно-критическое слово становится одним из видов «отхожего промысла». Вот такие представители литературного труда и не должны и не могут быть членами союза советских писателей СССР.

Рассмотрим одну из таких литературных фигур. Назовем ее Иксом.

Человек много учился. Сначала гимназия, потом полтора года юридического факультета, потом полный курс торгового факультета. Человек кончил Институт народного хозяйства в 1927 году. Параллельно изучал рефлексологию, психиатрию. В результате получает образование «педолога высшей квалификации». Казалось бы, жизненный путь человека определен. Но ничего подобного. Все это для того, чтобы никогда не работать по линии своей профессии. Какая боится фантастическая биография! Во время белых — курьер банка и делопро-

изводитель Красного креста. В 1921 году — старший делопроизводитель «Упродарма». Затем секретарь трансконторы «Вукоспилки», потом чернорабочий на торфоразработках. «Затем то актером, то ночным сторожем, то режиссером, то агентом по распространению литературы, то экономистом в типографии им. Фрунзе, то завед. редакцией журнала «Новая генерация», то техредактором журнала «Лицом к производству», то секретарем «Радиогазеты», то наконец спецкором газеты «Пищевая промышленность».

Такое непостоянство характерно для человека в буржуазном обществе, но оно почти совсем непонятно в наших, советских, условиях. Но что поделалешь, если человека от педологии тянет на пищевую промышленность, и у него происходит трагический стык с литературой? Он начинает писать. В своей автобиографии автор заявления рассказывает об этом так:

«С конца 1928 года начал печатать критические и теоретические работы. Выступил в «Критике» с цельной механистической художественной концепцией, на основах рефлексологии».

И чтобы свалить эту «цельную» механистическую художественную концепцию на кого-то и самому за нее не отвечать, автор заявления добавляет:

«Эту работу поддерживал Десняк Василенко, заботясь лишь о «безукоризненной» марксистской фразеологии».

Затем обращаем внимание еще на такое «признание»:

«Под влиянием «новогенерационно-го» окружения пошел к панфутуристам, хотя принципиально на другой день после образования блока «Новой генерации» с ВУСПП не признавал в «Новой генерации» максималистской программы отрицания искусства».

Обратим внимание на эту внезапную «принципиальность», которая возникла у нашего литератора на другой день «после образования блока». Дальше он пишет:

«С осени 1932 года оказался в очень тяжелом материальном положении, в каком по существу нахожусь и до сих пор (кроме обычного пайка I категории, ничего не получаю). За этот период дал несколько критических и теоретических работ и прозу, но бесконечно меньше, чем мог дать. Причина этого в необходимости гнаться за «живой копеечкой».

... На сегодняшний день печатной литературной продукции у меня двадцать печатных листов».

Рассмотрим теперь, что же это за «литературная продукция», которой у автора заявления «на сегодняшний день двадцать печатных листов»?

Первый раздел этой литпродукции автор заявления скромно называет «Теория и критика». В этой «теории и критике» перечислено 46 работ нашего уважаемого теоретика. Вот названия некоторых из этих работ:

Рецензия на рассказ П. Воронина «На жатве» («Висти»).

Заметка о стихах И. Собко («Нов. ген.», № 4, 1929).

Заметка о Н. Забиле («Н. Г.», № 4, 1929).

Заметка о критике Ф. Якубовского («Н. Г.», № 7, 1929).

Заметка о критике Л. Черемошного («Н. Г.», № 8, 1929).

Заметка о выступлении А. Любченко в журнале «Уж» («Н. Г.», № 7, 1929).

Заметка о выступлении И. Днепровского в журнале «Уж» («Н. Г.», № 8, 1929).

Заметка «Искусство как пропаганда».

Заметка о статье И. Цветковского («Н. Г.», № 3, 1930).

«Против кустарничества, изолированности, случайности».

Заметка о художественном радиовещании.

Заметка о «Литературной ярмарке»¹⁾ («Н. Г.», № 2, 1929, за подписью С. В.).

Заметка о «Литературной ярмарке» («Н. Г.», № 3, 1929, за подписью Г. В.) и т. д., и т. п.

Вот таких теоретических работ у нашего уважаемого литератора 46. Однако, может быть, они, несмотря на такие скромные заглавия, имеют серьезное самостоятельное научное значение? Посмотрим. Нас интересует прежде всего принципиальность автора, — как он боролся против «Литературной ярмарки» в своих заметках. Раскрываем журнал «Новая генерация», № 2, за 1929 год, где, как говорит автор заявления, есть его заметка о «Литературной ярмарке», подписанная инициалами С. В. Находим эту заметку, но, к большому удивлению, она подписана инициалами не С. В., а Д. Г. (стр. 64).

Итак — отпадает.

Ищем вторую — в «Новой генерации», № 3, 1929 г., за подписью Г. В. Находим. Вот эта заметка, я прочитаю ее всю. Эта критическая работа умещается на одной восьмушке бумаги, переписанная мною через два интервала. В ней пятнадцать авторских строк, и выглядит она так:

«Украинские писатели двинулись на ярмарку.

Поторговали. Все было бы «пристойно», если бы не маленькое происшествие, а именно — в конце ярмарки кто-то, вероятно злоупотребив галстучными делами (позеленело все перед глазами), завизжал:

— Кобыла, товарищи, зеленая.

— Чего кричишь? — другой спросил.

— Да так, кричитя — и все.

С этого все и началось. Убитки же значительные — типографская работа — 16 страниц петита, бумага, гонорар. А самое главное — человеческие жертвы — читатели, похолодевшие от скуки.

Все-таки, товарищи, «книга не лошадь», а потому не нагружайте ее собственными бебехами, если едете по пути литературы, хотя бы и ярмарочной.

А вообще:

— Не в том дело, что кобыла зеленая, а в том, что не везет».

Такова, как видите, ценность этой «теоретической» работы. Посмотрим те-

¹⁾ Альманах, руководимый б. вапплитовцами.

перь другую заметку, например заметку о критике Л. Черемошного. В ней девять авторских строк и четыре строки цитаты из Черемошного, всего тринадцать строк. Выглядит она приблизительно так, как и предыдущая, потому разрешите ее не читать. Взглянем наконец еще на одну заметку, чтобы автор не был на нас в претензии, что мы уделили мало внимания изучению его произведений. Возьмем на этот раз заметку о Н. Забиле. Тут девять строк цитат и столько же строк авторского «научно-критического» текста. Этот текст начинается так:

«Это чорт знает что! Разве ж можно так осуждать лирическую женщину...»

Думаю, на этом «чорт знает что» можно кончить знакомство с заметками нашего бойкого литератора. Но будем до конца объективны и взглянем еще на его солидную, самую большую теоретическую работу, которая называется «Теория экстрекции». Это уже не заметка, не рецензия, а большая статья. Редакция журнала «Новая генерация» (№ 7, 1929, стр. 1) дает такую высокую оценку этой теоретической работе:

«Теория экстрекции, часть 1-я. Критика художественного воздействия». Введение к циклу статей нашего нового сотрудника — теоретика искусства. Вопрос экстрекции, т. е. практической художественной работы, становится для нас боевым участком и потому нуждается в серьезной теоретической разработке.

В этой статье автор расширяет социологический метод посредством включения проблемы механики процесса восприятия произведений искусства, пользуясь марксистской активной психологией».

Вы видите, как подана эта «теория экстрекции» читателю, как беспардонно она разрекламирована. Эта теория, дескать, расширит социологический метод... Посмотрим же, что пишет об искусстве этот разрекламированный теоретик.

Теория экстрекции

«Рассматривая с этой точки зрения художественный процесс, который является частью культурного процесса, мы видим, что воздействие на него может идти двумя путями: художественным и нехудожественным.

Конструкция — это нехудожественное воздействие на художественный процесс.

Деструкция — это художественное воздействие на художественный процесс.

Воздействие искусства может быть в свою очередь художественное и нехудожественное.

Экстрекция — художественное воздействие на нехудожественное.

Воздействие на искусство — снова деструкция».

Так выглядит автор заявления как теоретик, написавший 46 «работ» в области «теории и критики».

Но он не только «критик и теоретик». Он дал еще и «прозу». Посмотрим, что это за проза. Вот его очерки.

«Древонасаждение на Киевщине».

Фельетон «Вершки и корешки».

«За хлеб, уголь и военное обучение».

Рассказ «Девальвация помбуха Выковыркина» («Красный перец»).

Водевиль «Ну, и дожили» и т. д., — всего 20 произведений. А вместе с «теоретическими» — 66 названий, или 20 печатных листов. Но мы, независимо от «девальвации помбуха Выковыркина», или, верней, в зависимости от этой девальвации, вышеназванного литератора в союз советских писателей не приняли, и думаю, что комиссия поступила правильно.

Кроме авторов таких заявлений, есть еще, так сказать, заявители-юмористы, которые, подавая заявление, должны быть, и сами не верят, что их могут принять в члены союза советских писателей. Однако они приводят целый список своих произведений и утверждают, что долгий ряд лет они не врут связи с литературной жизнью, всегда интересуются ею, стремятся узнать, как там обстоит дело с их произведениями, при-

сланными в издательства, на конкурсы, в Наркомпрс и т. п. Вот один из представителей этой категории. В своем заявлении он искренно признается:

... «Что сказать о себе? Прожил много, а написал мало, — это первое... Начал писать до революции корреспонденции в журнале «Известия херсонского уездного земства». Если не ошибаюсь, в этом журнале в 1912 году был помещен первый мой рассказ. Такой-сякой, название забыл. Долго сохранял вырезку, а сейчас, должно-быть, ее нет. В 1930 г. издана моя пьеса «Первый сдвиг». Сейчас она запрещена, и хорошо сделала... Между прочим, о моей пьесе «Разлад», которую я посылал на конкурс, было отмечено: «Разлад» — без девиза — передается рабсельтеатрам только как материал». Я забрал эту пьесу, и она у меня лежит по сие время... Надо бы издать, да, пожалуй, устарела... На всесоюзный конкурс пьес я посылал (как-раз были написаны) две своих пьесы — «Победа» и «Причина». Вам известно, какие пьесы премированы. На всеукраинский конкурс на пьесы для ТЮЗ я послал две одноактных пьески — «Перетасовка» и «Кто в чем виноват». На этих днях школьный сектор НКП уведомил, что «Кто в чем виноват» не принят, а о «Перетасовке» молчат... Послал свою антирелигиозную повесть «Почетное слово». О качестве этой повести вам лучше знать».

Очевидно, этот товарищ может работать как малоформист, может давать и кое-что полезное для клоунов, для эстрады, для сельских драмкружков, но самостоятельной художественной ценности его литературная работа не имеет, и потому мы его не могли принять в союз.

Я думаю, можно не приводить других подобных примеров. Но вот пример иного порядка, который я должен привести. Заявление прислал бывший член партии, выбывший из рядов партии как троцкист. С характерной для троцкистов «умелостью» крутить, мошенничать, надувать он пишет в своем заявлении:

«Получив в 1928 г. строгий выговор от партийной и комсомольской организаций, я оставил ряды троцкистов (не как-нибудь, — «ряды»! — И. М.). После чистки партии, оставаясь членом партии, я не избавился от своих политических ошибок, еще колебался и, не желая далее проводить враждебную партии линию, поняв неминуемый крах троцкизма, я почувствовал...»

Думаете — потребность исправить свои ошибки? Загладить свою вину перед партией? Нет.

«... я почувствовал, что быть дальше честным коммунистом и честно бороться в рядах партии я неспособен, я постепенно отходил от партийной и комсомольской организаций и механически выбыл».

Вы видите, какое смирение ягненка. Однако этот троцкистский двурушник переносит свои настроения в литературу и об этом признается в своем заявлении:

«В 1927 году Госуд. издательство Украины издало первую мою пьесу «Победили» — о классовой борьбе на селе. 1928 и 1929 годы в моих первых творческих шагах были прорывными. Троцкистские ошибки не могли не отразиться на творчестве. За это время я не написал ни одной вещи, если не считать десятка упадочнических стихотворений, которыми я читил свои студенческие ботинки».

Но посмотрите, какие выводы делает этот троцкист из того факта, что его драматургическую «продукцию» не пускают на театр:

«В 1930 г. я написал пьесу «Революция в степи» — о классовой борьбе на селе и о бытовой революции в колхозе. Эту мою пьесу взял для постановки госуд. театр им. Франко в лице руководителя его Гната Юры. Но она сцены большого театра не увидела, несмотря на в основном положительную оценку ее. Причины «маринования» пьесы тогда не были мне известны, в последнее время понял, —

очевидно, рапповская группа и на дала себя знать.

Но, может быть, он хоть впоследствии исправился? Может быть, хоть позднейшая его работа дает основания думать о нем лучше? Об этом он тоже пишет в своем заявлении:

«В начале 1932 г., по предложению театра НКЗ, я написал пьесу «Солнечный город» — о проблеме культуры и быта в будущем социалистическом городе. После в основном положительной рецензии я принялся ее исправлять, но тут появился доклад тов. Кагановича о социалистической реконструкции города, который вдребезги разбил мои «левацкие» взгляды на культуру и взгляды нового человека...»

Вот и принимай такого в союз. Ясно, что мы этого троцкистского приспособленца, который хочет на рапповские ошибки взвалить ответственность за свое халтурное, троцкистское творчество, и на порог союза не пустим.

Есть также среди непринятых такие товарищи, которые за 15 лет своей работы в литературе написали десятка три стихотворений, т. е. капают приблизительно по два стихотворения в год, но стоят в стороне от литературной жизни. Мы не можем принимать их, пока они не станут активнее. Были заявления от некоторых солидных журналистов. Один например был видным журналистом в прошлом, теперь он автор нескольких инсценировок по Шиллеру, по Горькому, автор театральных воспоминаний, очерков и т. п. Фигура солидная, но все же самостоятельного художественного значения теперешняя его продукция не имеет. Немало не принято и молодежи, которая еще только начинает писать. С нею союзу нужно будет вести воспитательную работу.

Наконец есть небольшая группа писателей, не принятых в союз из-за идейного несоответствия их творчества задачам союза советских писателей. Тут можно было бы назвать несколько фамилий писателей, которые и за эти два года работы Оргкомитета не обнаружили

никаких признаков перестройки. От них самих зависит — оставаться и дальше вне союза, или работать вместе с нами в рядах советских писателей. Не можем мы принять в союз также старых дилетантов буржуазной украинской литературы, любителей ее, подающих нам толстенные списки своих критических и беллетристических работ, но не имеющих ничего общего с советской литературой.

В работе комиссии конечно могли быть и отдельные ошибки. Но думаю, что этих ошибок не очень много, так как свою работу комиссия подавала на утверждение президиума Оргкомитета.

Наконец устав нашего союза предусматривает, что и принятые в союз могут быть из него исключены, если благодаря небрежному отношению к своей работе потеряют квалификацию или если их творчество идейно не будет соответствовать требованиям союза. Тем больше внимания мы должны уделять молодым товарищам, принятым в союз, как вот т. Герасименко. В союз мы его приняли, но предостерегаем от нездоровых тенденций в его стихах. В журнале «Литературный Донбасс», вышедшем к съезду, напечатано например стихотворение т. Герасименко без названия, в котором обрисовано настроение женщины, любившей когда-то кого-то. Тогда —

Ой били, били коні
Ой стукали по землі.

Ой били, ой дуже били,
Проносились буруном,
І вкрили пахучим пилом¹⁾
Твій образ давним-давно.

Неизвестно, кто был тот, чей образ покрыт пахучей пылью давним-давно. Хотя и вспоминается его папаха, к которой девушка пришла звезду.

Щоб кращою, ніж у Ворошилова,
Папаха твоя була,

но все-таки образ этот неясен. Женщина давно вышла замуж за рабочего-ударника, который

... Знає все й молчить
Він хоче на інженершу
У школах мене учить,

а она все ходит, поджидает и видит только туман и пьяные клены.

¹⁾ Пылью.

Я вийду туди і стану,
Я стану. Тебе нема.
Качаються клени п'яні
Та ходять такий туман.

Эта странная романтическая женщина рисует себе такие перспективы:

Я сяду колись в світлиці,
Де плани та сизий дим,
Де голубі петлиці
І молоді саді.

В этой удивительной светлице вдруг появляется товарищ Сталин.

До мене сам Сталін зайде
Й спитає про те та се,
Він пахощів¹⁾ вітру й райдуг
І днів наших принесе.

Казалось бы, все сказано. Все ясно героине этого стихотворения. Казалось бы, что она может жить полноценной жизнью в советской стране. Но у поэта это выглядит иначе.

Ось щастя. Уже у долонях²⁾
Ось твій неспокійний слід,
І знов затанцюють коні
На нашій густій землі.

Что это? Романтика того отпора, который мы каждую минуту готовы дать поджигателям новой войны, провокаторам интервенции против нашей родины? Что-то никак этого нельзя почувствовать из приведенных строк. И еще больше удивляют дальнейшие строфы:

Я вийду одна і стану —
Тумани, тумани йдуть,

Качаються клени п'яні
І де я тебе знайду?
.....

І щастя мое в долонях,
І слід твій, далекий слід...
Ой били, ой били коні,
Ой стукали по землі.

На этом и кончается стихотворение. А после него остается совсем неясное настроение. Тов. Герасименко нужно над этим задуматься, а донбасским товарищам надо помочь тов. Герасименко преодолеть эти тенденции политической неясности в его творчестве.

Я хочу закончить пламенными строками из приветствия Павла Петровича Постышева украинскому съезду писателей: «И лирик, и драматург, и прозаик, который верит безгранично и непоколебимо в пышный расцвет этой жизни, в его торжество во всем мире, может быть увлеченным, вдохновенным. Литература всегда имела колоссальное воспитательное и агитационное значение.

Это значение нашей литературы неизмеримо увеличивается.

Наша литература — не песня мечты, не абстрактный порыв, а меч борьбы за дело социализма!»

Так будем же создавать большую социалистическую литературу, будем гореть в работе, чтобы дать произведения, достойные нашей прекрасной, небывалой в мире эпохи, эпохи великого и могучего гения человечества — Сталина!

2. АНДРЕ МАЛЬРО

Ив. Анисимов

I

Читая Мальро, вы постоянно ощущаете горечь. Этот писатель любит показывать людей, стоящих у последней черты. Он любит трагизм, доведенный до предела. С замечательным мастерством раскрывает Мальро человеческие существования в моменты самых страшных катастроф.

Изощреннейший психологизм Мальро, в котором так много чисто стендалевской прозорливости, опирается и на ультра-современные «достижения»: Фрейд и вся утонченнейшая психологическая культура современного декаданса не прошли мимо Мальро.

На Мальро влияло литературное «ногаторство» последних десятилетий. Сразу бросается в глаза например оголеная, несколько пугающая «простота» изображений Мальро, — простота, в которой бездна изощренности, простота

¹⁾ Запахов.

²⁾ В руках.

утонченнейшая, стремление так строить образы, чтоб они содержали лишь самый тонкий и прозрачный экстракт действительности.

У Мальро нет многого, что обычно для романа. Он не любит например описывать не только среду, в которой течет действие, но и людей, которые действуют. От всего «внешнего» освобождены его вещи. Он стремится все свести к глубочайшему, с поразительной остротой данному, раскрытию психологических «состояний». Но этот ошеломляющий психологизм и это «чистое действие», с которого совлечена всякая материальность, становятся очень изысканной простотой,—это простота, равная рафинированности. Мальро кажется опаленным — он не любит ярких красок, вообще не любит красок, предпочитает им линии. Он ищет предельной утонченности.

II

Очень часто в современной литературе Запада встречаются трагические фигуры: большие таланты, которых уложили в Прокрустово ложе, большие таланты, которых пригибает к земле то, что называется культурой современного капитализма. Разве Андре Жид со всей горечью его поразительного искусства, со всем отвращением к «фальшивости» окружающего мира, с глубочайшим недоверием к возможности большого, гармоничного искусства не является примером художника, которому современный капитализм мешал жить и раскрыться во всей полноте его гигантских возможностей?

Можно сказать, что это столкновение большого таланта с уровнем культуры загнивающего капитализма типично. И Мальро можно понять лишь в этом свете.

Мальро, как и многие его современники, любит играть в «бездонность». Но разве его ошеломляющие психологические «откровения» уже не исчерпаны до дна тем, что успел сделать в самом начале своего творчества молодой писатель? Разве он не стоит уже перед опасностью застыть, повторяться, перепевать уже раз сказанное. Конечно. И

разве гигантское содержание современной жизни, когда решаются судьбы будущего человечества, может быть измерено, постигнуто, раскрыто в этих тонко-вычерченных, но в конце-концов тесных схемах «психологической алгебры», в которую влюблен Мальро?

Средний литератор мог бы сделать из этого ренту на всю жизнь. Но Мальро слишком мощный и яркий художник, чтобы стать рантье. Он ищет. Каждая вещь его переполнена большой страстностью мятущегося.

Читая Мальро, вы всегда видите неудовлетворенность художника, достигающую мучительного напряжения. Мальро воспитался в душных теплицах культуры умирающего капитализма. Но он не похож на множество современных литераторов, смакующих разложение, приспособляющих к разложению свои таланты, литераторов, становящихся жалкими разносчиками современного варварства. В этом большое и патетическое своеобразие Мальро. В этом — залог его будущего.

Замечательный талант хочет раскраситься, хочет найти выход, дышать, — это кладет начало противоречиям, которые обнажаются в написанных Мальро произведениях.

III

Мальро любит больших, мужественных, несгибающихся людей. Это — прекрасная черта его творчества. Но именно для Мальро трудно достижимы цельные люди. Все изысканное мастерство художника рассчитано на то, чтобы раз'ять человеческое переживание, человеческую мысль на отдельные атомы, с чудовишной полнотой рассказать об этих крупницах сознания людей, пораженных противоречиями, людей, утративших цельность. Типичных героев буржуазного упадка он мог бы показать гораздо естественнее, но он этого не хочет. Он конечно мог бы «следовать» Прусту и Джойсу, усвоив антиреалистическую манеру упадочного искусства. Но он не хочет этого изысканного и нездорового «спокойствия».

Когда в «Королевской дороге» авантюрист Перкен выступает, как образ

мощного, цельного, яркого, большого человека, то сразу видна неосуществимость замысла художника. Перкен, заброшенный судьбой в джунгли Сиам, не случайно проявляет свою жажду действия в самой экзотической обстановке. В сущности, это — «лишний»: бешеная активность его бессмысленна, паразитальная гибкость жизненного стиля Перкена не означает еще того, что этот человек чего-то достигнет. Он не случайно гибнет в сиамских джунглях. Над ним навис рок, он обречен, и страшная внутренняя пустота этого человека с блистательной героической внешностью раскрывается перед нами. Сколько написал — и как поразительно — таких «лишних» в своих романах Джеозеф Конрад!

«Королевская дорога» — не случайно роман безнадежного и глубокого пессимизма, роман крушения, катастрофы. Мальро хотел написать большого «человечнейшего» человека, а написал «лишнего», раздавленного роком, нашедшего самый высокий подъем свой в гордой смерти.

Эта книга крайне характерна для Мальро. Она показывает борьбу художника с химерами современного искусства, не принесшую удачи. Мальро не написал здесь того, к чему так страстно и неудержимо стремился.

IV

«Королевская дорога» написана в промежутке между двумя замечательными романами Мальро, посвященными китайской революции, — между «Победителями» и «Условиями человеческого существования».

Эта книга, со всей ее экзотичностью, представляет уплотненное выражение противоречий творчества Мальро. Не осуществилась попытка дать «нового человека». Мрачная рефлексия, неожиданно заполнившая книгу о большом и цельном человеке, раскрывает болезненные колебания художника.

Обращаясь к китайской революции, Мальро сделал очень смелый шаг в сторону от обычных тем и концепций буржуазного искусства. Уже в одном

факте глубокого интереса к событиям великой революции многое содержалось. Мальро поехал в Китай, может быть, с такими же настроениями безнадежности, которые завлекли Перкена в сиамские джунгли. Может быть, этот разорванный противоречиями большой писатель, искавший возможности говорить во весь голос, видел в далеком зареве китайской революции возможность найти себя. Романы, написанные Мальро, в особенности последний, показывают, с каким огромным вниманием, с какой чуткостью, глубоким сочувствием изучал Мальро события, протекавшие на его глазах. И замечательно: выходец из недр буржуазного искусства, пессимист, во всем разочарованный интеллигент почерпнул в китайской революции пафос, столь новый для него, столь неожиданно ворвавшийся в его творчество.

Мальро стал другом китайской революции. Мальро воспел ее величие, ее героизм, ее суровую трагическую красоту. Мальро попытался выделить в человеческом море китайской революции отдельные фигуры, которые казались ему типичными. С чисто стэндалевской прозорливостью он написал целую галерею типов. Книги Мальро, в которых рукою замечательного мастера изображены события 1925 года в Кантоне и 1927 года в Шанхае, не могут не волновать.

Мальро нашел в событиях китайской революции возможность переоценить понимание мира, он увидел будущее человечества. В кипящих событиях Мальро различил людей, великолепных в своем мужестве, в своей цельности, которых он все время жаждал. Раскрытием подлинной человечности, подлинного величия людей стала для Мальро китайская революция. Сразу глубокий рубеж лег между ним и современным искусством, в недрах которого формировался его талант.

Что значила опустошенная изысканность искусства, возвращающего своих гениально-уродливых Прустов и Джойсов, по сравнению с жестокой, грозной и радостной перспективой рождения нового общества в грозе и буре революции.

V.

«Условия человеческого существования» — самая высокая зрелая и значительная книга Мальро, — попытка найти новое содержание, освободившись от мучительной неудовлетворенности, найти перспективу большого и патетического искусства.

Мальро, вступивший на берег китайской революции прямо из сумерек современного пессимизма, еще платит тяжелую дань своему прошлому. Трудно представить книгу более противоречивую, чем «Условия».

«Условия» — это героический эпос революции. Но поразительная книга пронизана настроениями безысходности, отчаяния, мрака. Мертвый хватает живого. Художник, очень смело рванувшийся вверх, часто проваливается в самые топкие низины. Он ищет ответа на вопрос о новых условиях человеческого существования, он пишет о новых людях, которых не сыскать в джунглях современного капитализма. И все же, имея перед собой столь яркую, возвышающую цель, он еще оглядывается назад. Мальро пишет книгу о неисчерпаемом человеческом мужестве и тяготеет к болезненной раздвоенности, к истерическим метаниям, к психологическим «пейзажам» в типичной манере современного распада. Это создает лихорадочную неровность незабываемо яркой книги Мальро.

Не надо думать, что Мальро пишет историю китайской революции, — у него нет ни необходимого для этого метода, ни объективности, ни спокойствия, достаточного для того, чтобы дать глубокую, полную, обширно обоснованную картину событий. У Мальро — необычайное зрение, множество живых, западающих в память черточек истории сохранено в книге. Но все это лишь второй план рассказа, основа его — в другом. И кажется, автор сам хочет подчеркнуть своеобразную отвлеченность основного плана тем, как он подбирает своих героев, как он развертывает движущую мысль всего произведения.

Мальро не дает масс. Он не очень любопытен к исследованию движущих

пружин китайской революции. Все сказанное им о мартовском шанхайском восстании 1927 года он подчиняет одной мысли: революция означает величественное, потрясающее раскрытие «человеческого достоинства». Не правда ли, это абстрактно? Но это — огромный, решающий сдвиг в сознании разочарованного, утерявшего веру во все интеллигента, каким Мальро приехал в Китай.

Эта мысль о «человеческом достоинстве», которое раскрылось перед Мальро в зареве шанхайского восстания, означает начало нового отношения к действительности. Революция через эту абстрактную формулу стала для Мальро основой глубокой переоценки ценностей. Большой пафос «Условий» кончится в этом открытии.

Множество предрассудков должен был отбросить разочарованный интеллигент, прежде чем притти к этому признанию, как бы ограниченно, узко оно ни было. Мальро рассматривает Жизора, Кио, Чена, Катова — героев своего романа — под углом зрения «человеческого достоинства», столь ослепительно раскрывающегося в революции. Он пишет этих людей, как бы намеренно изолируя их от многих конкретных связей с потоком действительности. Он хочет подчеркнуть в них, как ему кажется, самое главное, самое животрепещущее. Эти люди показаны Мальро прозорливо и ясно, но в них также много схематичности, как и в формуле революции, сведенной к борьбе за «человеческое достоинство».

Если бы мы подошли к ним со стороны типичности, спросили бы, насколько они реальны, насколько полно в них выражена действительность китайской революции, то мы должны были бы предъявить писателю множество упреков: он поместил все эти образы в одной плоскости, он наделил их в сущности одним абстрактнейшим стремлением. Не будем осуждать его за это, будем считаться с тем, что дал автор «Условий человеческого существования». Кио, Чен, Катов — это высокая героика китайской революции. Это люди, мужество, смелость, воля которых таковы,

что ясно: художник вложил в эти создания свои самые страстные, высокие, самые сокровенные стремления. Вот почему эти образы незабываемы, вот в чем их притягательная сила, их властность.

VI

Перед нами — революционеры во имя «человеческого достоинства». Кио, Катов, Чен отдают революции самое большое, что в них есть. И Мальро с величайшей нежностью показывает это решающее свойство своих героев. Вот она, желанная цельность, вот оно, подлинное мужество, вот она, человечность, освобожденная от всякой слащавой, гуманистической шелухи! Вот они, новые люди!

Мальро покидает присущая ему холодная строгость, — вы чувствуете, что этот современный стэндалианец способен на бесконечную нежность, — интимность его рисунка неисчерпаема. Здесь коренится одна из главных причин обаяния книги — ее скупой и вместе с тем глубочайший лиризм. Это углубляет и делает естественным, простым, необходимым пафос книги Мальро.

VII

Мальро показывает «деятелей», но это уже не Перкены, сжигающие свою безумную энергию попусту, — это люди, охваченные страстным желанием перестроить мир. Это — созидатели. И Мальро замечательно показывает неукротимую действенность людей революции, поглощенных полностью своим революционным творчеством, черпающих здесь все, что составляет их жизнь. Но с какой последовательностью, как упрямо, как настойчиво подчеркивает Мальро в этих людях их изолированность. Это безнадежно одинокие существа, всю силу своего революционного мужества они черпают в самих себе.

Отсутствие масс не случайно в романе Мальро. Кажется, что для него не существенно глубокое и конкретное исследование процесса революции. Вся привлекательность, все обаяние Чена, Катова, Кио заключаются в том, что

они «революционеры во имя человеческого достоинства».

«Я необычайно одинок» — говорит Чен.

«Одиночество бездвижное, как великая первобытная ночь», охватывает Кио. Так возникает настойчиво звучащий лейтмотив всего произведения¹⁾. Это показывает, насколько своеобразно поняти автором люди китайской революции. Здесь выступает на поверхность не действительность китайской революции, а те химеры безнадежности, разочарования, которые столь свойственны литератору современного декаданса. О великом мужестве людей революции хочет сказать Мальро — и наделяет их «чувством одиночества — чувством героическим», совершая грубое насилие над правдой. От прошлого своего художник еще не отрешился, хотя с такой смелостью он пошел на выучку к революции.

VIII

Дело не в одном только одиночестве. За одиночеством тянется целая цепь искаженных представлений. Казалось бы, Мальро, увидевший в революции торжество человеческого достоинства, должен был притти к жизнерадостному и мужественному миропониманию. Но в «Условиях» этого еще нет. Героикку шанхайского восстания Мальро воспринимает в свете того пессимизма, которым проникнута трагическая история жизни Перкена. Охваченные чувством одиночества, Кио, Чен неожиданно приближаются к самым мрачным безднам разочарования. О «первобытной тоске» говорят они часто и о своей «полной обреченности». Это «больные души».

Поразительно, но революционеры, изображенные Мальро, сочетают беззаветную активность борцов с этой упадочнической философией. Это делает их не только неправдоподобными, но и под-

¹⁾ В «Победителях» яркая сцена народного торжества в Кантоне по случаю военного успеха революции завершается признанием автора: «Никогда я не чувствовал с такой силой — своей отрешенности, одиночества, в котором мы замкнуты, преграды, отделяющей нас от переживаний и энтузиазма этой толпы...»

тачивает их цельность. Можно подумывать, что эти люди утоляют революционным действием свое безнадежное разочарование.

Мальро пытается понять, оценить, почувствовать величие революции глазами человека, которого капитализм приучил ни во что не верить. Так возникает характерная двойственность деятелей революции, выступающих в романе. Мальро привнес в эти образы черты того самого прошлого, раскрепощать от которого он начал.

Эти фигуры исключительно интересны. Они показывают всю напряженность противоречий писателя, обращаясь к революции, всю сложность освобождения от предрассудков, воспитанных в нем современной цивилизацией.

IX

Особую остроту пессимистическая предубежденность Мальро получает в образе Жизора — профессора, «старого преподавателя социологии в Пекинском университете, изгнанного оттуда Чжан Цзо-лином, воспитателя революционных кадров Северного Китая». Жизор погружен в созерцание, он отстраняется от действительности. «Ничего не существует — все мечта». И он ищет успокоения в опиуме. С «закрытыми глазами, несомый на недвижных крыльях, Жизор созерцал свое одиночество, глупое, как смерть». Жизор «воспитывает революционные кадры», но разве этот старый скептик, спасающийся в голубых грезах опиума от действительности, способен на революционную деятельность? Разве китайская революция оплодотворилась подобными мечтаниями? Перед нами — типичный философ гибели, порождение распадающейся буржуазной мысли. Образ неотвратимого отчаяния.

Если спросить у Жизора, что значит «условия человеческого существования», он ответит: «Сущность человека есть отчаяние, сознание собственной обреченности, где рождаются все страхи вплоть до страха смерти». Мальро воспроизводит эту упадочную философию, столь модную в современной Европе, доводя

ее до логического завершения. Так амплитуда колебаний романа простирается от великого мужества революционеров, живущих только для борьбы, до жизоровского пессимизма, жизоровского отчаяния, жизоровской созерцательности. Старое и новое ожесточенно спорят в романе Мальро.

X

Пессимистичен роман Мальро еще и потому, что все в нем поставлено под знак смерти. Мальро описывает эпизод китайской революции, окончившийся трагически. Страница временного поражения революции. Но Мальро последовательно изолирует эту трагическую страницу от всего хода революционной борьбы. Он далек от того, чтобы увидеть в героизме шанхайского восстания предпосылку для будущих побед, как оно в действительности и было. Он пишет потрясающий реквием павшим. Кю, Чен, Катов гибнут в застенках Чан Кай-ши. И самые поразительные страницы «Условий» посвящены их смерти. Самой большой высоты эти революционеры во имя человеческого достоинства достигают в момент своей гибели. Всего более ярки они здесь.

Но этого мало.

Мальро показывает, как революционная деятельность этих людей, даже в моменты самого бурного и страстного подвига, неотделима от сознания близящейся гибели. «Тоска и покорность смерти» свойственны этим людям. «Очарование смерти» их привлекает. О «братстве смерти» они говорят.

Мальро охотно раздвигает это предчувствие гибели до размеров всеобъемлющего символа. Над Ченом, Кю, Катовым навис рок, как и над трагическим скитальцем по сиамским джунглям — Перкеном.

«Мотыльки кружатся вокруг маленькой кампы. Может быть, и Чен мотылек, который, светясь сам, стремится к источнику света, который несет ему гибель? Может быть, каждый человек?..»

Революционеры Мальро велики решимостью борцов, никакая сила не может их сломить, но с самого начала эти лю-

ди ни на что не надеются, они «дружат со смертью», они обречены.

«Все эти существа шли навстречу смерти под ослепляющим солнцем»...

Конечно Мальро хотел подчеркнуть величие своих героев. Но он не нашел необходимой пропорции, он просто стал мерить новое содержание старой и ложной мерой.

XI

Для многих писателей современного Запада смерть сделалась пленительной темой. В произведениях Монтерлана, Хемингвея, Олдингтона, в поразительной эпопее Томаса Манна «Очарованная гора» смерть возникает, как всепоглощающая, над всем возвышающаяся сила. В сочинении гимнов смерти эти художники проявляют поразительную талантливость — им удается написать произведения ошеломляющей яркости. В разнообразных и разносторонних интерпретациях смерти литераторы изошряются, ибо они охвачены предчувствием близящейся катастрофы капитализма. Вот что придает их мрачным видениям огромную убедительность. Эти люди, производящие заклинания смертью, выражают существеннейшую особенность «современного духа».

Нельзя обособить от этой перспективы роман Мальро, «излучающий фатальность», насквозь проникнутый «очарованием смерти». Нельзя не видеть, что Мальро идет проторенной дорогой: от этого цепкого и изысканно напряженного декадентства он отрешается, как художник, который мужественно ищет новых «условий человеческого существования». Здесь скрещиваются и восстают друг против друга упадочная «традиция» современного искусства и страстное искание выхода к новому.

Можно без колебаний предвидеть, что, сделавшись революционером, Мальро отбросит кладбищенскую бутафорию пессимизма, столь глубоко внедрившуюся в его замечательные романы. Тогда у него будет больше возможностей написать подлинных деятелей революции, новых людей во всем их величии. Чена «только разрушение могло примирить с самим собой», он «сделал из терроризма род

религии, Кио «охвачен очарованием смерти», — разве это типично для деятелей китайской революции? Тень смерти, покрывшая героев «Условий», сделала их подобием разочарованных интеллигентов Запада, — действительность оказалась искаженной.

XII

Пытаясь привести в систему взгляды на искусство, Мальро сказал об «Условиях»:

«Я пытался изобразить величие человека. Эти образы я искал у китайских коммунистов, разгромленных китайскими властями, брошенных в бочку с кипящим маслом. Для этих мертвецов я писал. Пусть все те, кто ставит политические страсти выше любви к истине, отойдут прочь от моей книги, которая написана не для них!»...

По этому признанию, вырвавшемуся, как крик, можно судить, сквозь призму каких настроений воспринял Мальро китайскую революцию. Сделать своих героев воплощением глубочайшего пессимизма, не свойственного подлинным деятелям революции, означало для Мальро раскрыть самые высокие, ясные, сверкающие черты человеческого «духа».

Он искренне ошибался здесь: на кипь умирающей цивилизации он принял за самое светлое. Вот почему так далеки от действительности образы китайских коммунистов в «Условиях».

Мальро говорит, что роман его должен подняться над политическими страстями. Он написал книгу о китайской революции, он ищет с великой страстностью «новых условий человеческого существования», он смело вошел со своим творчеством в самую гущу социальных противоречий современного мира — и надеется удержаться в стороне от политики, сохранить свое искусство «чистым»!

Так, становится ясным, что Мальро еще недостаточно понимает значение своего романа «Условия». Он суживает смысл своего замечательного произведения, как бы страшась тех масштабов, до которых оно разрослось. Разве не ясно, что «Условия» ставят во весь рост

вопрос о том, что для честного буржуазного литератора, для большого таланта нет другого пути и другого «спасения», как революция! Это с поразительной силой доказано произведениями Мальро. Сложнейшие, обостренные противоречия, с которыми мы встречаемся в романе, делают еще более ощутимым этот вывод огромного значения. Сам автор знает это. И все же страшится, хотя и видит, что поднял огромные пласты, поставил исторические вопросы, от которых уже нельзя уклониться, нельзя спрятаться за вопль — «не связывайте моего романа с политикой!»

XIII

Мальро делает попытку разобраться в марксизме. Но он еще далек от истины.

Мальро видит в марксизме «две стороны — чувство фатальности и экзальтацию воли». Он склонен «соглашаться» со второй особенностью марксизма и «восставать» против первой. Он написал роман, насквозь пропитанный «фатальностью смерти», и возмущается выдуманной «фатальностью» марксизма! Хорошо, что Мальро обнаруживает живой интерес к «алгебре революции», но, как видим, он еще воспринимает ее сквозь тот же туман предрассудков, которые обусловили столь значительное отклонение от правды китайской революции. На каждом шагу цепкие предрассудки, воспитанные в интеллигенте буржуазным обществом, встают на дыбы, мешая ему раскрепоститься.

«Условиями» Мальро начал свой путь к революции. Исход полностью зависит от того, насколько решительно будет он сжигать за собой мосты.

XIV

В трагической развязке «Условий», густо окрашенной пессимизмом, среди мрака и отчаяния возникает полоса ослепительного света. Жена Кио, уцелевшая после разгрома восстания, едет в Москву. Мальро превращает это событие в символ несокрушимости революции, намечая возможность нового, гораз-

до более глубокого и мужественного понимания истории. Последующие факты биографии Мальро показывают, что наша страна становится для него, как и для многих интеллигентов современного Запада, источником надежды.

Капиталистический мир воспитал в Мальро только отчаяние. Замечательный талант Мальро был искажен мрачным и безнадежным разочарованием. Даже подойдя вплотную в поисках «человеческого достоинства» к великой действительности китайской революции, Мальро не смог отрешиться от безнадежного пессимизма.

Становясь революционером, выпрямившись во весь рост,—не с мужеством отчаяния, а с мужеством борьбы будет двигаться дальше этот замечательный «мастер культуры», отрешившийся от своего прошлого.

XV

Между «Условиями» и «Нефтью» — книгой, над которой работает сейчас Мальро, протечет, может быть, немного времени, но необычайно уплотненного, насыщенного времени. Мальро шел с колоннами парижского пролетариата на исторической демонстрации 12 февраля. Мальро приехал в нашу страну как друг. Мальро выходит из орбиты тех настроений, которые тяготели над «Условиями». Вплотную соприкоснувшись с действительностью революции, художник развернется шире, свободнее, ярче. Он хочет «показать в действии великие силы современного государства — прессу, банки». И он сможет сделать это со всей мощью, со всей страстностью художника, становящегося революционером.

И сама логика развития будет все дальше отводить Мальро от замысла сосредоточить большое социальное полотно «Нефти» — вокруг «одной центральной метафизической темы»:

«В Сиаме меня очень поразило, что великие религиозные умы, те, кого у нас называют мистиками, ощущают мощь божества только, если они находятся под влиянием одуряющих снадобий. Я относился с недоверием к этому богу,

вызванному гашишом. Когда я рассказал главе сиамских бонз свои сомнения, он объяснил мне, что роль одуряющих средств — просто упразднить реальность».

После того, как мы знакомы с «Условиями», эта изысканная игра в «упразднение реальности» не покажется неожиданной. Она принадлежит пессимистическому, разочарованному прошлому Мальро, а не его будущему. Если эта «мистическая тема» будет доминировать или даже просто иметь влияние на но-

вую вещь Мальро, это помешает ей развиваться правильно и ясно. Она вклиняется, как сила, враждебная огромному замыслу, — показать движущие пружины современного общества.

Трудно сомневаться в том, что Мальро—революционный реалист, Мальро — беспощадно-правдивый писатель победит в поединке с последними химерами современной мистики, которые еще затемняют его горизонт, которые еще совсем близки, еще угрожают, но судьба которых уже решена.

3. ПИСЬМА БЕРАНЖЕ

(С предисловием и примечаниями Н. Славягинского)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Два года назад в Советском Союзе была отмечена семидесятипятилетняя годовщина со дня смерти Пьера-Жана Беранже—замечательного поэта-песенника, который был трибуном революционной мелкой буржуазии в эпоху буржуазной революции. Почти полтора века отделяют нас от дня рождения поэта, жизнь которого (1780—1857) охватывает четыре великих даты 1789, 1793, 1830 и 1848. Мальчиком он видел разрушение Бастилии. В его первых литературных опытах он довольно язвительно отзывался о Директории. При Наполеоне, в знаменитой песне-памфлете «Король Ивет», положившей начало литературной славе Беранже, он противопоставлял здравый смысл и неприятельность сказочного патриархального короля завоевательской политике Наполеона, взвалившего на народные массы бремя громадных налогов, из которых самым изнурительным был налог кровью — поставка рекрутов в армии. А когда к власти, вместе с Бурбонами, вернулось реакционное дворянство, «ничего не забывшее и ничему не научившееся» в эмиграции, Беранже неустанно боролся с реакцией оружием смеха.

Опираясь на народную песенную традицию, шедшую из глубины средних веков и никогда не умиравшую в недрах французских трудящихся масс, Беранже поднял на необыкновенную высоту жанр социально-политической песни. Лучшие песни Беранже остры, ядовиты, стремительны. Они злободневны, но это не песни-однодневки; их злободневность — мгновенная злободневность, за которой следует забвение. Умелое сочетание единичного и общего сообщает им удивительную живучесть, и недаром в одном документе, подписанном Марксом, поэт назван «бессмертным Беранже».

Всю жизнь Беранже не переставал ощущать свою глубочайшую связь с Великой французской революцией.

При Бурбонах поэт сумел поднять на необыкновенную высоту жанр социально-полити-

ческой песни, работая над ней с упорством каменщика и страстью политического бойца. Два процесса, затеянных против него, двукратное тюремное заключение и штрафы «позолотили обрез» выпущенных им сборников песен. В начале Июльской революции Беранже решил было, что роль боевой песни, песни-памфлета кончилась. Но очень скоро поэт спохватился, что такое заявление преждевременно. «Несколько дней спустя после великой недели, — писал Беранже Лафайету в письме, датированном 16 июля 1831 г., — я осмелился сказать, что, свергая с трона Карла X, свергли с трона и песню. Кто-то поспешил поймать меня на слове, и этой фразе сделали честь, повторив ее с трибуны. Однако, я почувствовал вскоре необходимость протестовать против этого низложения (я хочу сказать: низложения песни). Бесплезно говорить — почему, вы догадываетесь сами. Я начал думать, что мы, сочинители сатирических и политических куплетов, еще далеки от конца нашего царствования». Да, песни-памфлеты, песни-стрелы должны быть попржеме наготове, старые, исконные враги благополучно здравствуют и при новом режиме. И Беранже пишет песенку «Реставрация песни». Но странно: поэт в том же письме к Лафайету заявляет, что он «убежден в необходимости сохранять и укреплять основы существующего порядка вещей». Почему? На этот вопрос он дает ответ в письме к Латушу: «Представители крайней оппозиции сердятся на меня за то, что в моем письме к Лафайету я высказался за сохранение существующего порядка вещей. Я слушался лишь моей совести. Я боюсь Генриха V, который восторжествует, если наши несогласия увеличатся. Вена не дала бы нам, а продала бы Наполеона II. Что же касается республики, о которой я мечтаю всю жизнь, то я не хочу, чтобы этот плод во второй раз достался нам в незрелом виде. Его снова отбросили бы прочь. Будем трудиться над просвещением нации, и моя меч-

та осуществится без потрясений, постепенно. Я не увижу этого времени, но оно, я уверен, наступит, если, повторю, мы будем трудиться над нашим воспитанием. Но как медленно идет это воспитание народа. Вот уже сорок лет, как мы ходим в школу, и как незначительны наши успехи. Итак, из страха перед Генрихом V Бурбоном Беранже, не будучи вовсе орлеанистом, высказывается за Луи-Филиппа Орлеанского, как за меньшее зло. Республиканец по убеждению, он считает, что для республики еще не наступило время.

Принцип меньшего зла является роковым принципом в политике промежуточных, мелкобуржуазных партий. Беранже, без сомнения, был лучшим, передовым представителем ее беднейшей, трудовой части. Но мелкая буржуазия лишь в очень редкие моменты истории возвышается до самостоятельной политики, как это было в 1793 году. Обычно же она в силу своей социальной природы проявляет неспособность к независимой классовой политике. В тридцатые и сороковые годы процесс деградации мелкой буржуазии резко бросался в глаза. И Беранже мучительно переживал эту неспособность лучшей части трудовой мелкой буржуазии к независимой классовой политике. Это было настоящей трагедией его жизни. Путь Беранже, человека огромной, покоряющей искренности, политика и по своим склонностям, и по своей натуре, был очень извилист. В 1813 году Беранже фрондирует против Наполеона, истощившего Францию; в 1814 году следует рывок в сторону Бурбонов, а через несколько месяцев — злая, язвительная, находчивая оппозиция Бурбонам, не прекращающаяся до Июльских дней. Потом «большие ожидания», вызванные приближением июльской грозы, а за этими «ожиданиями» — совет Лафайету: посадить на вакантный трон Луи-Филиппа. Сам же он отклоняет от себя все авансы «короля-

республиканца», тщательно оберегает свою прозрачную независимость и все больше отходит от политики, руководимой его друзьями-либералами, которым, как он видит, нет никакого дела до трудового люда, столь дорогого сердцу поэта. Беранже не видит, что способ к освобождению трудовых слоев мелкой буржуазии — это их союз с революционным пролетариатом, которого Беранже, при всей его социальной зоркости, не замечает, но который тем не менее играл решающую роль в июльских, а затем и в февральских боях.

В том положении, в каком был тогда Беранже, бесчисленные Жюльены Сорели обращались к неистовому калыгу Наполеона, и одно время Беранже, казальсь, поддался этому увлечению, хотя и продолжал сторониться бонапартистов и отрицательно относился к их домоганиям. Он сам опровергал легенду о своем бонапартизме в письме к Марии де-Сольмс, внучке Люсьена Бонапарта, брата Наполеона: «Что вы смеетесь надо мной, называя меня бонапартистом? Полноте. Ведь, несмотря на мои песни, я не был даже партизаном того, который обладал известным величием, импонировавшим поэзии. Я вовсе не прославлял его в 1810 г., но это правда, что я воспевал его, когда он умер. Одну минуту мне казалось, что я снова возвращаюсь к этой роли. Быть может, я ошибся. Но, во всяком случае, я поступил не как придворный. Впрочем, я никогда не скрывал своих взглядов, и я очень хорошо знаю, что только благодаря Гражданскому Кодексу враги вступили во Францию с обнаженными головами».

Все эти выдержки из переписки Беранже намекают политический маршрут поэта. Его переписка является прекрасным комментарием к песням. Это — очень ценный документ эпохи, обладающий в целом высокими художественными достоинствами.

Н. С.

1. Господину Кенкуру

Конец мая 1809

Вы, должно быть, удивлены, мой друг, что я долго не даю о себе знать. Мне следовало бы еще немного подождать; но я боюсь, что вы припишете мое молчание высокому положению, которого, как вы думаете, я достиг: «Конечно, говорите вы себе, он сейчас на вершине карьеры; он забывает друзей». Успокойтесь, — карьера, которую я сделал, не вскружит мне голову. Но будь у меня меньше склонности к философии, ей было бы от чего вскружиться. Судите сами: я, кажется, уже говорил вам о ректоре университета, который лично просил Арно написать мне, что

он ждет меня с нетерпением; я тотчас же был представлен ему, он выслушал меня, и мне было предложено место в три тысячи франков; я все это говорил вам, мой друг, и это была сущая правда. Но поверите ли? Когда Арно были присланы штаты, то моего имени там не оказалось. Представьте себе его удивление. Он бежит к ректору. А тот делает изумленное лицо, не может простить себе своей забывчивости, покидает совещание, чтобы исправить ошибку, и больше от него ни слова! Если кого и огорчил этот случай, так это Арно. Фонтан (таково, по крайней мере, мое мнение) явно испугался перспективы иметь возле себя человека, всецело преданного Люсьену, хотя сначала он победил в себе этот страх. Что касается

меня, то я не смею сказать, будто я не испытал сначала никакого огорчения; но, не докажи мне родственники и друзья необходимости повеситься из-за этой неожиданной беды, я был бы только слегка опечален. Наконец Арно, который так беспокоился за меня, повидался с моим благодетелем и, кажется, так пристал к нему, что тот не смог отказать мне совсем; он предложил мне весьма великодушно место в 1.500 франков, обещая быстрое повышение. Вам легко себе представить, что я был возмущен, и что, повстречайся я тогда с этим господином, я не проявил бы достаточного уважения к университету. Больше всего то, что мне пришлось согласиться. Меня охватило негодование, и мои нервы еще не успокоились. Утешительно лишь то, что целый месяц я буду числиться сверхштатным и что на все это время мне предоставлена полная свобода. Я попаду в этот острог лишь 1 июля. Вот видите, мой друг, каким превратностям подвергается наша судьба: я хочу не бог весть чего, но и в этом не могу быть уверен. Ах, мой друг, не будь мы немного философами, сколько поводов было бы для жалоб! К счастью, повторяю, я не очень огорчен. Я немножко работаю, чтобы рассеяться, и строю, ради забавы, обширные планы. У меня не выходит из головы Италия: думаю, что съезжу туда.

Скажите, какой случай свел вас с Бувэга? как здоровье моей тетушки? Меня огорчило то, о чем писала мне Мадлон. Госпожа Форже, как видно, не может простить меня, и это меньше всего меня беспокоит; но мне было бы досадно, если б у моего дяди осталось против меня какое-либо предубеждение. Что нового у наших друзей? Поцелуйте мадемуазель Жюли. В ближайшую пятницу я отошлю вам ларец и мешок.

Передайте Ленэ, что я не исполнил еще его поручения, так как он забыл указать, куда должны обратиться лица, которые могли бы дать сведения Дени Вивьену.

Р. S. Когда вы приедете с Бонифасом? Пусть Ленэ поцелует за меня родителей.

Передайте мой дружеский привет Франсуа де-Полю.

II. Господину Кенкуру

10 января 1812 г

Я обещал вам, мой друг, написать, как идут мои дела; но желание сообщить вам, какой оборот они приняли, вынуждало меня откладывать до сегодняшнего дня, и это напрасно, потому что за эти двенадцать дней я нисколько не подвинулся вперед. Однако сегодня я еще получил декабрьское содержание в Академии благодаря покровительству Реньо де Сен-Жан Анжели. И я знаю даже, что он намерен употребить все усилия, чтобы мне продолжали выплачивать, но, к несчастью, он уже не состоит в административной комиссии, и у меня нет больше никакой надежды; но я предпринимаю все, что от меня зависит и, кроме этого, делаю все для того, чтобы изменить мое положение в бюро; мне предложили покинуть тот отдел, которым ведает Арно. Вы понимаете, как это затруднительно ввиду наших отношений с ним, и я прибегну к этому лишь тогда, когда исчезнут все другие надежды.

Я стараюсь выкарабкаться всеми силами; но обратимся к событиям, которые предшествовали этому. Вот причина отмены всех окладов Люсьена Бонапарта. Г-н Блешан, отец его жены, позволил себе обратиться к императору с просьбой дать ему средства к существованию. Император усмотрел в этой просьбе желание раздосадовать его, вспылил перед Реньо и приказал отменить все оклады, которые выплачивались до этих пор. Вы понимаете, какая это была глупость со стороны несчастного тестя, который хотел воспользоваться званием зятя-изгнанника в целях рекомендации. И это произошло тем более некстати, что один достоверный анекдот, недавно занесенный из Лондона, расположил императора в пользу его брата.

Достоверность анекдота подтвердилась, и вот в чем он состоит.

Не так давно Люсьен обратился непосредственно к принцу-регенту за разрешением продолжать путешествие в Америку. Лорд Веллингтон ответил ему указанием на странность поведения человека, которому известны общепринятые правила и который погрешил против форм, обратившись прямо к принцу; ему, мол, следовало бы знать, что между государями и частными лицами существуют посредники. А наш герой, который всегда верен самому себе, ответил такими словами: «Я брат первого государя в Европе; я думал почтить принца, обратившись прямо к нему, и я уронил бы свое достоинство, поступив иначе».

Подумайте, какое восхищение вызвал этот ответ в Лондоне и в Париже: особенно замечательным делает его положение данного лица. Император был от него в восторге и, как уверяют, даже сказал: «Это примиряет меня с ним»; но эта благосклонность оказалась непродолжительной; что было после того, вам известно. Бедный паучок, я натянул свою паутину во дворце, и мои маленькие дела должны страдать от столкновения таких крупных интересов! И все-таки, если бы дружба Арно не была в высшей степени бессильной, я мог бы, пожалуй, вывернуться. Наконец-то моя философия подвергается испытанию; но, кланюсь вам, я вовсе не жалею о ней. Узнаю себя и в этих обстоятельствах: наполовину безумие, наполовину разум, я — нечто вроде амфибии, и вы пришли бы в восхищение от моих реформаторских планов, когда я больше уже не мог рассчитывать на те 1.500 франков. От этой реформы пострадал уже мой завтрак. А так как вы мое постоянное прибежище, то я, не спросившись у вас, принял решение отослать к вам Люсьена, думая, что он не будет для вас чересчур большим бременем.

Я хотел оставить его у вас, пока я не смогу устроиться по-другому; он от этого не потерял бы.

Я видел себя уже в одиночестве, — вволю философствующим и медленно

творящим; так как, должен вам признаться, я продолжаю писать и неустанно работать над моей поэмой, и у меня есть причины быть довольным: еще десяток месяцев, мой друг, и я поплыву на корабле среди рифов — предписаний литературного вкуса, сатиры, зависти и успеха.

Р. С. Желая вам всем счастливого года. Обнимаю всех. Поцелуйте Жюли и Жюльетту; что нового у них?

Ваш Беранже.

Жюдит обнимает вас, Жюли и свою крестницу.

III. Господину Кенекуру

1812.

Я получил вашу посылку, мой друг, и очень за нее благодарен. Боюсь, не затруднило ли вас это и не пришлось ли вам занять: я не просил вас вернуть Ленэ 40 франков, потому что он, как мне показалось, сердился, когда я говорил ему, чтобы он взял их у вас; но я рад, что вы вручили ему эту сумму.

Вы ничего не говорите о нем и обещаете только написать: сообщите же нам, нашел ли он свой сюртук и что он думает о тех любезностях, которые он услышал от меня по этому поводу. Жюдит здорова: она говорит, что у нее появляется иногда желание поехать в Перонну, которое ей с трудом удается подавить. Вот что значит быть хорошо принятой!

Недавно я обедал (помнится, я говорил вам об этом) с Арно, Роже и Оже у Герена. Этот обед, на который я пригласил Арно, так как я немножко побаивался Оже, известного строгостью своего вкуса и колкостью ума, был для моих песен маленьким триумфом.

Я пел только игривые песенки, и все им необычайно аплодировали; с особой настойчивостью меня упрашивал Оже; и как ни преувеличены были похвалы, но, по-моему, в них вкладывалось искреннее чувство. Передо мной никогда не было такой страшной аудитории: и потому я пел довольно плохо. Но, впрочем, пели все, и не лучше меня. Меня хотели удержать на следующее воскре-

сенье в Вилль д'Аврей, чтобы обедать со мной у Этьенна, где я бывал уже несколько раз с Дезожье, но я на это не пошел. Дезожье поет как нельзя лучше, прекрасно разыгрывает свои песенки, и все они кажутся хорошими в его исполнении: у меня нет этих преимуществ, и в чужом доме, где я не уверен в крепкой поддержке, мне следует опасаться подобной встречи. У Арно я опасался бы меньше, хотя мне и кажется, что он слишком уж восхищается песнями Дезожье, которых я, судя по своему личному вкусу, не стал бы писать. Впрочем, я занят сейчас целиком моей поэмой, и меня вовсе не соблазняет перспектива моего выступления как песенника.

Что касается планов моего обогащения, то они все в том же состоянии, о них уже больше не говорят, и я стал спокойнее.

До свидания, мой друг; поцелуйте Жюли и Жюльетту от Жюдит, Люсьена и меня, горячий привет всем нашим.

IV. Господину Люсьену Арно

аудитору Государственного совета, прикомандированному к сенатору-комиссару, имперскому генералу, в Меце

Париж, 16 апреля 1814 г.

Тороплюсь, мой дорогой друг, удолетворить ваше справедливое нетерпение. Вы, разумеется, не думали, что Париж превращен в пепел, но вы все же тревожились за нас. Мы живы и здоровы. Но национальная гордость жестоко пострадала. Ваш отец, тоже получивший от вас письмо, расскажет вам о подробностях. Великие общие интересы поглощали до настоящего времени наше внимание; но надо же, наконец, подумать о себе; без сомнения, многие пострадают от этой перемены управления: придется немного пошевелиться, чтобы выпутаться из положения, и я предвижу для вас новые возможности. Мы, университетские служащие, ждем, немного волнуемые страхом, что свора священников вырвет у нас власть из рук. Отсюда вы можете

заключить, что то, что может стать общим благом (как нас обнадеживают), влечет за собой много частных неудобств и что далеко не все теперь веселы. Однако, все единодушны в оценке этого общего мира, которого все так хотели и на который давно уже так мало надеялись. Я полагаю, что скоро мы получим новости от вашего брата. Акт отречения облегчает улаживание дела с крепостями, и уже, без сомнения, начаты переговоры с Антверпеном.

Но для чего я вам говорю это? Вы лучше меня разбираетесь в этом, да и вы знакомы теперь с военным делом.

Что касается меня, то из своего замка я смотрел, как брали Менильмонтан и Монмартр, и видел, что гранаты угрожали моей норе. После этого я не позволял себе больше шуток и не храбрился. Мое письмо становится длинным; вы, должно быть, замечаете, что я вознаграждаю себя за невозможность в течение долгого времени сноситься с вами. До свидания, мой друг, возвращайтесь скорее и будьте уверены в моей непоколебимой преданности. Г-н Бро здесь, и, кажется, тут известны все новости, какие вас интересуют.

V. Господину Кювье

11 ноября 1820.

Простите ли вы мне, что я решаюсь сказать вам об огорчении, которое я испытал, узнав косвенным путем, что у вас будто бы есть основания жаловаться на меня? Мне кажется, что из разговора, который я имел честь недавно вести с вами, вы вывели заключение, что я беру на себя обязательство не писать больше политических песен. Я сожалею, что вам недостаточно хорошо известен мой характер: мои слова не показались бы вам тогда двусмысленными. Насколько я помню, они выражали только желание пойти навстречу тому интересу, который вам угодно было ко мне проявить. У меня никогда не было достаточной гибкости, чтобы скрывать свой настоящий образ мыслей, и я слишком совестлив, чтобы брать на себя заведомо невыполнимые обязательства. Но, тронутый вашей бла-

госклонностью, я почувствовал необходимость сказать вам, что я был бы опечален, если бы мои ничтожные произведения доставили вам малейшее огорчение. Я беру на себя смелость повторить вам это сегодня и я прибавлю, что если вы испытаете малейшее затруднение в том, чтобы сохранить за мной мою незначительную должность, то вы можете предоставить меня преследованию министерства. В другое время я точно так же вел себя по отношению к г. Ройе-Колару. Печать порабощена; нам нужны песни, и не моя вина, что этот жанр стал таким французским в эпоху, в которую мы живем. Я ничего не стану делать для того, чтобы сохранить за собой место, но уверяю вас, что если меня лишат его, то куплеты, которые могут у меня вырваться тогда, не будут конечно внушены желанием отомстить тем, кто заставил вас отнять у меня этот кусок хлеба, который я зарабатываю ежедневным трудом. Это опять-таки было бы несогласно с моим характером. Мои убеждения и мое поведение вовсе не подчинены моей личной выгоде. Вас особенно я прошу поверить, что, потеряв должность экспедитора, я не забуду, что вы одно из тех лиц, кому я обязан сохранением ее по сей день. Смею надеяться, что из-за разницы в нашем положении вы не сочтете неуместным это объяснение, которого требовала от меня деликатность.

Ваш покорный слуга

Беранже.

VI. Господину Тиссо

1823

Дорогой Тиссо.

Я прочел статью в «Меркурии», и она вылечила бы меня от всех моих болезней, если бы похвала имела то могущество, какое ей приписывают. Как! Вы не постеснялись сказать столько хорошего о бедном песеннике и, что еще хуже, о современнике! Вы напрасно прикрываетесь званием друга; есть люди, которые вам этого не простят. Известно ли вам, что во Франции, пожалуй, впервые (я говорю: во Франции, так

как в Англии уже бывали подобные случаи) меня оценивают как замечательного малого, по крайней мере в газетах. Впрочем, меня не удивило это проявление вашей дружбы. Я не выражаю вам за это благодарности, но я поздравляю себя, в особенности за ваш интерес к жанру; одобрение его вами заслужит ему уважение других. Подобное поощрение может побудить молодых людей к тому, чтобы еще больше обогатить его и писать лучше, чем я.

Хотелось бы знать, как ваше здоровье. Вы очень страдали в тот день, когда мы обедали с вами. В тот же день и я, вернувшись к себе, почувствовал такую острую боль, что слег в больницу, где наконец я надеюсь отделаться от моей болезни. Не поступить ли и вам так же? Я пробуду здесь до 15 мая.

До свидания, мой дорогой Тиссо. Как мне хотелось бы, чтобы успех ваших замечательных трудов вознаграждал вас за то хорошее, что вам угодно было высказать по поводу моих стишков.

Берегите ваше здоровье. Всем сердцем ваш.

VII. Господину Руже де-Лиллю

21 июня 1826.

Только что возвратился от вас, и, несмотря на упорное молчание ваших хозяев, я убежден, что слух, дошедший до меня два дня назад в деревню, к несчастью оправдался. Поэтому-то я пишу вам в Сент-Пелажи. Не стану говорить о своей преданности вам. Перехожу сразу к делу.

Какой долг явился причиной вашего ареста? Велик ли он? Отвечайте мне точно. Но не выводите из этого заключения, что я уже знаю, каким образом извлечь вас оттуда. К сожалению, как вам известно, у меня всегда было много добрых намерений и мало возможностей. Но скажите мне, могут ли привести к чему-либо путному попытки воздействия на кредитора? Я займусь этим, если надо. Я буду искать других путей, но для этого, повторяю, мне нужно знать, из-за какой суммы вас посадили.

Я знаком с правилами политической тюрьмы, но не долговой. Я припоминаю, однако, что только с согласия заключенных можно получить разрешение ст полиции на свидание. Пришлите мне ваше согласие; посланный мною человек будет ждать от вас ответа.

Я хочу обратиться к вам с наставлением: не краснейте, что вас арестовали из-за долгов. Скорее вся нация должна краснеть за те злоключения, которым все время подвергается автор «Марсельезы». Я не раз кричал об этом в салонах эгоистов. Быть может, немного стыда заставит наконец понять это самых глухих из них.

От всего сердца ваш друг
Беранже.

Никакого ребячества! Отвечайте немедленно.

VIII. Господину Феликсу Каде де-Гассикуру

5 ноября 1827.

Мой дорогой друг, я получил письмо от Дюпона. Он далеко не уверен в своем избрании ни в Л'Эре, ни в Верне, ни в Пон-Одемере. Силы обеих партий по меньшей мере равны. Он не рекламирует себя и ждет, что скажут избиратели в Париже или в Нормандии, так как заранее готов утешиться и находится в печальной уверенности, что даже в случае нового избрания он не может больше принести пользу родине. Ты увидишь его письмо, которое он разрешает тебе показать, но под секретом.

Все это тебя не устраивает, я это знаю. Но, как ты понимаешь, положение Дюпона таково, что он не может высказывать уверенности, которой у него самого нет, то-есть утверждать, что он будет избран в своем департаменте. Только об этом я его и спрашивал, и в этом смысле он мне ответил, так что мне больше нечего сказать по этому поводу.

Уже несколько дней, как я проповедую в пользу Лафайета, кандидатуру которого я считал бы подходящей в ответ на роспуск национальной гвардии. Но ваши вожаки, мне кажется, далеки

от этого. Один Лафит не боится подобного шага. Впрочем, я — не избиратель и не мечу в вожаки, как некоторые лица, которые являются участниками ваших собраний и которых, говоря между нами, вы должны остерегаться. Но я без-устали буду повторять, что среди вас мало лавочников. Не будьте так аристократичны, если можно. Этот совет дается в ваших же интересах и в интересах нации.

IX. Господину Лемеру

2 января 1829.

Я хотел пойти проститься с вами накануне или в день моего переезда; но множество непредвиденных препятствий лишили меня этого удовольствия; и если только вы не сбежите из Картье, мы не увидимся раньше мая, потому что у меня плохие виды на то, чтобы сбежать отсюда; вы знаете этот дом; до сих пор его стерегли недурно. В тюрьме я чувствую себя как нельзя лучше; моя комната очень хороша, а мебель, едва ли не роскошная, вызывает во мне чувство гордости. Мои соседи очень ко мне внимательны; их услуги обойдутся конечно недешево, но по крайней мере мои друзья будут спокойны, а это очень важно, потому что беспокойство других о нас становится в конце-концов для нас самих мучением. По отношению ко мне здесь очень предупредительны; но я пока ни с кем не общаюсь: правда, я еще не выходил из моей комнаты; я никак не могу решиться пойти погулять по двору. С довольно давних пор я не перешошу дворов и парков; однако надо победить это отвращение, так как я не думаю, чтобы мое здоровье могло примириться с полным заточением. Сейчас-то оно мирится, потому что мои легкие еще в плохом состоянии и меня беспокоят зубные боли; я придерживаюсь строгого режима и забочусь о своем здоровье больше, чем у себя дома.

Я не объявляю никому, что меня можно навещать (это, впрочем, делается обычно без просьб), но у меня было уже много посетителей, и я думаю, что они беспрепятственно будут являться и

впредь; они остаются у меня сколько хотят; но в четыре часа я всех отпускаю. Я думаю, что для более позднего часа пришлось бы испрашивать позволение, а я не могу решиться на какие бы то ни было просьбы: скика, быть может, придаст мне решимости.

Один государственный советник, который вчера пришел повидаться со мной, сообщил мне, что подписка вызывает сильный гнев у министра. Я так и думал. Мартиньяк особенно осуждает ее; он ожидал, что я подам апелляционную жалобу и что королевский суд изменит приговор, который, кажется, вызвал недовольство среди многих, даже тех, кто не разделяет наших убеждений. Человек, передававший мне это, заслуживает тем большего доверия, что он не нашего лагеря, хотя и очень меня любит. Ваша супруга расскажет вам об обществе, которое она застала у д'Этанжа; Кузен держался со мной восхитительно в этот день; он высказывался, как крайний левый. Его атакуют со всех сторон. Батимениль вызвал его к себе и упрекнул за некоторые части его курса, приведя мнение Сент-Олера, который счел своим долгом сказать о них, как о вещах, опасных для юношества. Вот так задача для нашего философа! Вильмен был очень добр ко мне и заявил, что не понимает, как это меня сажают в тюрьму в такое время, как наше. Словом, я не нахвалюсь поведением этих господ в тот день. Вильмен спрашивал у меня, что нового слышно о вас, и, если я не ошибаюсь, он обратился с этим же вопросом к вашей жене. Очень смешно было на этом обеде видеть, что Дюбуа и Жуи сидят рядом.

Вам предстоит увидеть освобождение Гастеля. В одиночных камерах, по нашей лестнице, содержатся заключенные фальшивомонетчики; среди них есть очень красивый молодой человек, которому разрешают гулять один час в день: он больше меня пользуется свежим воздухом; бедняга больше в нем нуждается. До свидания. Дружеский привет вашей жене; передайте ей, что я ее жду. От всего сердца ваш

Беранже.

Констан поступил в «Курьер». Вы видели его первые статьи; вам надо писать в эту газету, он ежедневно кое-что зарабатывает.

Х. Господину Берару

16 января 1829

Мой дорогой Берар, в моей келье произвели сейчас обыск: дело шло о приложении к моим песням. Я читал в «Конституционалисте», что некий Тери арестован за публикацию этого сборника. На довольно продолжительном допросе я отвечал, что знаю о существовании этого сборника со слов некоторых моих друзей. Я заявил, что уже писал по этому поводу в «Конституционалисте», и прибавил, что знаю о песнях, которые содержатся в названном сборнике, лишь понаслышке, исключая песен «Прощание с деревней» и «Бегство музы»; я признал себя их автором, но сказал, что был так далек от желания их опубликовать, что когда один не в меру пылкий человек захотел напечатать вторую из этих песен, то я воспротивился этому. Меня спросили, как зовут этого человека, но вы понимаете, что я не назвал его, хотя в этом не было для него ни малейшей опасности. В этом сборнике были еще четыре песни, которые мне дали прочесть. После того был произведен всесторонний осмотр моего обиталища: они рылись всюду, даже в моих карманах. Другой на моем месте вышел бы из себя. Но я все открывал, все показывал и увидел, что полицейский чиновник, старавшийся быть со мной отменно вежливым, пришел в некоторое замешательство. Я показал ему свою новую песню, где есть куплет о Маршанжи, сказав, что это просто мысль, которая его не касается.

Меня допрашивали о «Разговоре Пия VI и Людовика XVIII». Это покажется вам смешным. По их словам, это переиздание было захвачено вместе с песнями. Я им сказал, что тут есть превосходные стихи, но что касается нового опубликования этой сатиры, то я тут совершенно не при чем. Словом, я рассказал вам о всех дета-

лях этого дела, порядком надоевшего мне; оно, повидимому, явится причиной нового появления моего перед судьями. Служители правосудия готовят мне довольно-таки глупое развлечение.

У меня нет больше времени, чтобы поговорить о других вещах; моего письма дожидаются! Целую госпожу Берар. Привет Дюпону, Манюэлю и другим.

XI. Господину Берару,

председателю Общества железнодорожных и литейных заводов в Але.

Октябрь 1829

Мой дорогой Берар, я не хотел отвечать вам из Ля-Форс; я ждал своего освобождения. Меня выпроводили вчера утром без четверти семь: именно выпроводили. Я предупредил всех моих друзей, что совсем не хочу, чтобы за мной приходили, что я против банка: Валет был поставлен об этом в известность, и я просил его сказать в канцелярии, что выйду из тюрьмы лишь 23-го. Однако, 21-го вечером ему, кажется, передали из префектуры, что у ворот могут оказаться ротозей; и в половине седьмого он уже был в моей комнате и просил уходить как можно скорее. К счастью, я отклонил предложение вашей жены (только что вернувшейся из деревни) и предложение Лафита, собиравшихся явиться за мной.

Я обежал улицы Парижа без всякого волнения, словно я прогуливался по ним накануне, и отсюда заключил, что я начал ужасно стареть, если счастье оказаться на свободе после девяти месяцев заключения не вызвало во мне никакого особенного волнения. Я обедал в вашем доме, несмотря на приглашение с улицы д'Артуа. В числе приглашенных были Люс, Лятур, Шевалье, Бежо; нам недоставало вас, но все говорили, что вы конечно с нами в эту минуту и что вы сожалеете, что у вас нет крыльев. Мне тоже не мешало бы их иметь, чтобы повидать всех тех, кому я должен отдать визит. У

меня составилась список в триста пятьдесят человек, и он не полон. Что станет со мной, питающим такое отвращение к визитам? «Глоб» поместил сегодня мою визитную карточку Тюильри: «если вы там читаете его, то вы увидите очень милую статью о моем заключении и песню «На взятие Бастилии».

Надо вам сказать, что Лафит так долго не мог отозваться на подписку, что он запоздает; он узнает, что молодые люди из общества «Помогай себе сам...», которые занялись этой подпиской, не закрывали ее из-за него целых восемь дней; но что наконец пришлось дать возможность друзьям, более торопившимся, чем он, право пополнить сумму этой злосчастной подписки. Я догадываюсь, кто эти друзья, и я знаю, что Давилье не из их числа, потому что он чертовски рекламирует себя и хочет свалить вину на вас в случае, если его доля не будет получена.

Передайте Мадье, что он чересчур скуп на письма. Я написал ему их с десятком. Фонфред готов оказать ему услугу в Бордо, он дал мне слово две недели назад; ему надо столкнуться с Барбару, который находится там же. В Дижоне, я полагаю, дело с Эрну уладилось бы, если б я получил письма из Нима раньше. Словом, мы делаем все, что от нас зависит; но скажите этому ленивцу, чтобы он написал, куда требует необходимость и приличие.

Ваша супруга чувствует себя довольно хорошо, вчера она была так весела, что забыла и думать о болях; да и дочке ее стало лучше, а в этом все ее здоровье. Бежо сильно пробрал ее за то, что она вам не написала; она сейчас возьмется за перо.

Ничего не говорю вам на политические темы, потому что газеты знают столько же, сколько и я. Как будто ожидается падение министерства. Мне что-то не верится, может быть, потому, что я опасюсь этого.

До свидания, мой дорогой и добрый друг. Будьте здоровы и старайтесь заработать денег для всех нас. Преданный вам

Беранже.

XII. Господину Руже де-Лиллю

16 ноября 1829

Мой дорогой друг, я исполнил ваше поручение, как можно лучше. Посылая «Французские песни», я позволил себе присоединить небольшое письмо к Мейербееру, с которым я виделся два-три у Жуи, о чем он конечно позабыл. В этом письме я говорю о вас все, что я считал уместным сказать. Все это было, быть может, не совсем кстати, и мое красноречие было, пожалуй, несколько косноязычным, потому что пришлось обратиться к этому артисту с похвалами, а вы знаете, как мало я в смысле в музыке и как мало я в курсе необычайных чудес этого искусства. Впрочем, все это было сделано с наилучшими намерениями, и я надеюсь, что буду хоть чем-нибудь полезен вам при этом обращении к знаменитому композитору. Что касается вашего «Отелло», то не рассчитывайте на него: он никогда не посмеет начать борьбу с Россини, я вам предсказываю это. Я знаю чувство его глубочайшего восхищения перед этим гением.

Очень вас поздравляю с приобретением хорошего зимнего пальто. Вот это радость! И раз вы теперь немного защищены от холода, то не могли ли бы вы, предаваясь вашим грезам, набрести на другой сюжет, кроме Мавра? Шекспир начинает нас утомлять. Поищите чего-либо другого, и ваш немец, быть может, окажется для вас полезен.

Я говорил о вас с одним издателем. Он хотел бы знать, из чего состоит ваш сборник. Постарайтесь дать мне возможность ответить определенно; но не рассчитывайте на большой гонорар; чтобы заставить этого человека решиться, придется дешево уступить рукопись. До свидания. Будьте здоровы, всегда к вашим услугам.

Беранже.

У меня новый портфель. В ближайший раз, когда вы зайдете повидаться со мной, захватите с собой небольшой лист бумаги, сложенный в виде письма на мое имя, и попросите швейцара или его жену передать его мне, дожидаясь от-

вета. Иначе вас могут безжалостно выпроводить. Берар вернулся.

*XIII. Господину Х****

31 июля 1830

Я не орлеанист, а ваши друзья, кажется, хотят навязать мне это имя. У меня нет мужества навязывать кому-либо свои расчеты. Если бы мне нужно было руководить одним-единственным человеком, в особенности молодым, я не решился бы на это в подобный момент. Я ничего не в состоянии сделать и ничего не сделал. Опасность прошла, я уезжаю в деревню. Я не хочу быть в несогласии с теми, кого люблю и уважаю, у меня нет честолюбивого желания ими руководить. Говорить это заставляет меня не эгоизм, а просто чувство собственной ненужности.

Сердечный привет вам и всем друзьям.

XIV. Господину Руже де-Лиллю

8 декабря 1830.

Слава вам, господин кавалер ордена Почетного Легиона! Помстине, вы заслужили его. Но, должен вам признаться, я не подумал о том, чтобы доставить вам его, когда я пользовался некоторым влиянием. Это такого рода милости, о которых я никогда не думаю. И отчего вы тяготитесь, что опередили других? Кто имеет право оспаривать у вас место? Поверьте, с меня достаточно, когда обо мне говорят, что я пошел по вашим следам! К тому же, мой друг, когда «Марсельеза» еще раз становится для нас необходимой на границе, естественно, что автору ее, bravому солдату, дают награду, которую он должен был получить при учреждении ордена. Что касается меня, то мои мысли насчет общественных наград хорошо известны, и я не сомневаюсь, что это обстоятельство и было отчасти причиной, почему подобная же честь не выпала и на мою долю. Между нами говоря, у меня уже был разговор по этому поводу. Как видите, вам не следует огорчаться, что в вашем производстве вы не будете иметь меня колле-

гой. И вам незачем беспокоиться о том, как благодарить за поднесенный вам подарок. Примите крест, как должное, и если нужно благодарить, сделайте это попроще.

Меня очень тронуло чувство, побудившее вас дружески написать мне. И если в пятницу вы приезжаете только ради такого важного дела, как это, то не стоит беспокоиться; впрочем, раз вы приедете, то вы найдете меня дома, где я замыкаюсь и заточаюсь теперь больше, чем когда-либо.

Вам стоит лишь назвать себя, и вам откроют, но, повторяю, не по той причине, которая побудила вас написать мне. Поблагодарите генерала Блейна за превосходную брошюру, которую вы передали мне от его имени.

До свидания, всем сердцем ваш.

XV. Господину де-Лагушу

22 июля 1831 г

Если бы мне не сказали, что вас нет в Париже, я мог бы поговорить с вами о г. Шатобриане; вы знаете, как он был добр ко мне. И я хотел бы выразить ему за это свою признательность. Я располагаю для этого лишь одним средством. Мне известно, что ему хочется, чтобы я сочинил для него песню. И я пишу стихи, в которых выражаю желание, чтобы он вернулся во Францию. Я скоро закончу их, но мне хотелось бы посоветоваться с вами и узнать ваше мнение о его теперешней роли. Вы ведь не верите газетам, не так ли? Вы не думаете, что он замешан в интриги карлистов? Вы лучше меня знаете этих людей. Меня огорчило бы, если бы он испортил то, что есть благородного, на мой взгляд, в его теперешнем положении. У меня в таком случае нехватало бы духу восхвалять его. Но нет, он останется верен словам, которые я услышал от него на прощанье. Я могу закончить мою песню. Над нею очень трудно работать. Уважение к тому, что есть достойного в его убеждениях, не должно заставлять меня лгать о своих.

Я очень боюсь, не вышло бы из этого чего-либо дурного. Но у него, по край-

ней мере, будет доказательство, что я не из числа неблагородных. Если я вас разыщу, а я непременно это сделаю, я покажу вам мою песню перед тем, как ее отослать. Это будет уже после моего возвращения из Пикардии, куда я отправляюсь на один месяц, чтобы уйти от политической болтовни. Кстати, известно ли вам, что по поводу моего сборничка в пользу поляков (вы догадываетесь, почему я не послал вам эту брошюру) говорят, будто представители крайней оппозиции сердятся на меня за то, что в моем письме к Лафайету я высказался за сохранение существующего порядка вещей. Я слушался лишь моей совести. Я боюсь Генриха V, который восторжествует, если наши несогласия увеличатся. Вена не дала бы нам, но продала бы Наполеона II. Что же касается республики, о которой я мечтаю всю жизнь, то я не хочу, чтобы этот плод во второй раз достался нам в незрелом виде. Его снова отбросили бы прочь. Будем трудиться над просвещением нации, и моя мечта осуществится без потрясений, постепенно. Я не увижу этого времени, но оно, я уверен, наступит, если, повторяю, мы будем трудиться над нашим воспитанием. Но как оно медленно идет, это воспитание народа! Вот уже сорок лет, как мы ходим в школу, и как незначительны наши успехи! До свидания, мой дорогой друг. Если вам вздумается ответить мне относительно г. Шатобриана, пишите мне, пожалуйста, в Перонну — на адрес г. Форже-отца. От всего сердца ваш.

XVI. Господину Сент-Беву

20 августа 1832 г

Ах, господин Жозеф Делорм! Против меня затевается дело, и вы выступаете свидетелем: меня уверяют даже, что вы сильно склоняетесь в пользу моего противника. Но, по доброте сердечной, вы приготовили корпии для моих ран и даже благодетельный бальзам. Спасибо за ваше внимание, мой друг; но, по правде говоря, я знаю только понаслышке, что мне нанесено немало ударов суровым противником. Если верно то, что мне пс-

редавали, то г. Жанен, быть может, не так уж неправ, как это представляется некоторым моим друзьям. Что до моего таланта и моей известности, то вы сами знаете, что я об этом думаю. Что же касается пользы, приносимой этим талантом, то не мне давать в ней отчет человеку противоположных убеждений; и вы также, мой дорогой Сент-Бев, не можете видеть тут большой заслуги, будучи одним из вождей школы, которую я всегда упрекал в том, что она делает искусство эгоистическим, отказывая ему во всеобщей полезности, как цели. Как видите, я вовсе не расположен сердиться на моего критика, статьи которого я, впрочем, не знаю. Мне посылают «Обозрение» довольно капризно, и это даже мешало мне до сих пор пойти поблагодарить за него редактора. На этот раз, без сомнения, для того, чтобы не задевать моего авторского самолюбия, он счел неудобным послать мне номер; чего лучше: не надо огорчать честных людей, даже, когда они сочиняют плохонькие стихи. Обратимся теперь к вашему любезному предложению. Как! Вы задумали поместить меня в той галлерее портретов, которую я рассматривал с таким удовольствием. Как! Вы хотите, чтобы я дал вам сеанс, как говорят художники. Меня не удивляет подобное проявление дружбы с вашей стороны. Но неужели вы думали, что я пойду на это? Я с крайней неохотой согласился на то, чтобы Шефер писал и гравировал мой портрет. Меня до сих пор это мучает. Но я больше боюсь вашего пера, чем его кисти. Мое дорогое дитя, вы плохо меня знаете, вы не представляете себе, сколько во мне смешной восприимчивости, как я боюсь всего, в чем проявляется желание привлечь к себе внимание общества; как мне тяжело выставляться напоказ перед публикой, и как мне хочется скрыться сейчас с ее глаз. Если бы необходимость не вынуждала меня печататься еще раз, когда я уже ни для чего хорошего не годен, то с какой охотой я оставался бы в своей норе, в кругу нескольких добрых друзей, и смотрел на то, как угасает моя слава, не без некоторого сожаления, конечно, но и без малейших попыток вновь ожи-

вить ее! И вы хотите, чтобы при подобных склонностях я согласился на сделку, которая может лишить меня доверия к вашему суждению обо мне, если вам угодно будет его вынести. Быть может, вы думали, мой дорогой Сент-Бев, что мое чувство дружбы и уважение к вам ожидали подобной награды. Повторяю, вы меня не знаете. Говоря начистоту, я всегда думал, что по роду моего таланта (потому, что я все же не обладаю им, что бы ни говорил г. Жанен) вы не должны бы чувствовать к нему никакой симпатии. Но вам, думаю, больше, чем кому бы то ни было другому, я должен быть признателен за ваши похвалы, с которыми вы обращались ко мне в ту пору, когда я подвергался преследованиям. И, боже мой, именно потому, что на меня теперь нападают, ваше доброе сердце внушило вам мысль присоединить мой портрет к портретам любимых вами писателей. Но я не злоупотреблю этим проявлением доброты. Поверьте, что я смотрел на вас всегда вполне бескорыстно, что ваш талант мне дорог, хотя он и значительно превосходит мой, чего публика еще не знает, как следует, и наконец будьте уверены, что если вы даже станете критиковать мою бедную музу, то от этого моя любовь и мое уважение к вам не уменьшатся. Сожалею только, что мне пришлось таким способом короче знакомить вас с собой. Я полагал, что у вас больше проницательности. Всем сердцем и навсегда ваш

Б е р а н ж е.

В вашей записке есть слова, которых я не смог разобрать.

XVII. Господину Сент-Беву

7 октября 1832 г

Мой дорогой друг, вы не представляете себе, сколько раз я раскаивался в моей слабости к вам, слабости старого поэта, проявленной во время нашей последней встречи. Как, я, не желавший ни в чем уступать, сразу же опередил все ваши коварные ожидания! Для чего же мы стареем, если наше самолюбие

и льстивые речи других так легко оставляют нас в дураках? «Вороне где-то бог» и т. д., и т. д.; но сыр, который вы унесли, довольно прогорклый сыр. И по зрелом размышлении я прошу не давать от него ни крошки публике. Пишите статью, как вам угодно, ваша проза всегда будет выше этих немощных опытов. С тех пор, как они в ваших руках, они беспрестанно приходят мне на память, но приходят как угрызения совести. Нет, мой дорогой Сент-Бев, я не хочу, чтобы какой-либо из этих набросков, доверенных вам, был опубликован. Если вы в самом деле придаете какое-либо значение вопросу о том, как развивался мой талант, то эти стихи помогут вам в этом разобраться; вам достаточно будет сказать ваше мнение читателям, которые, разумеется, поверят вам на слово. Мне и без того трудно отстаивать свою скромную роль песенника. Публика знает меня больше, чем это нужно. И я хотел бы, чтобы она знала лишь мои песни. Кроме того, прошу вас не забывать, что большую часть подробностей моей жизни я сообщил только для вас лично. Я не краснею, и мне не от чего краснеть. Я мало в чем могу себя уличить, что для нашего времени — редкость: но, повторяю вам, мне хочется иметь темный уголок, куда я мог бы укрыться, оставаясь там в одиночестве или почти в одиночестве.

Еще одна просьба — напечатать вашу статью как можно позднее. Вы меня обяжете, если она появится не раньше конца декабря. Извините все эти маленькие прихоти. Свалите часть моей вины за них на самого себя, ваше восхитительное поведение заставило меня отказаться от того, что сначала было решено расстать. В моем непринужденном отношении к вам столько уважения и дружеского чувства, что вы не станете на меня сердиться. Только после вашего ухода ко мне возвратился мой здравый смысл; и, как видите, я долго не решался обратиться к вам с этими возражениями.

Если у вас хватит духу приехать ко мне в Пасси, я покажу вам стихи (не свои), о которых мне хотелось бы узнать ваше мнение.

XVIII. Господину Сент-Беву

21 ноября 1832 г.

Вы не поверите, но ваша статья, такая милая, полная таких тонких и верных замечаний, преследует меня, как дурной сон. Я принадлежу к числу тех людей, которые по своей близорукости узнают людей лишь долгое время спустя после того, как эти люди прошли мимо: они бегут им вслед, когда уже невозможно их нагнать. Я погнался за вашей статьей, мой дорогой друг, чтобы попросить вычеркнуть из нее все, что касается моего отца. Я вам сказал уже: все, что напоминает мне ту пору, производит на меня тягостное впечатление. Будучи свободен от всяких личных упреков, хотя в таком возрасте разум редко может противостоять дурному примеру, я до того огорчился дурными делами моего бедняги-отца, человека, в сущности, доброго и честного, что совесть моя не могла уберечь меня от чувства глубокого унижения. А ведь все дело заключается лишь в банкротстве. Все те банкротства, которые мне приходилось видеть позднее, не могли смягчить этого мучительного воспоминания. Будьте же добры вычеркнуть, как можно больше, из тех мест, которые я отметил, хотя они первоначально явились передо мной, окруженные столькими любезными и блестящими замечаниями, что, только задумавшись над ними, я подпал под действие кошмара.

Не можете ли вы употребить такие формы, как: надо полагать, видимо, и т. д., и т. д.

Вычеркните также имя Парсевалея Гранмезона, роль которого незначительна и которого я знал впоследствии лишь благодаря сношениям, о которых не следует вспоминать. Должен вам сказать, что лет до восемнадцати-девятнадцати я занимался обыкновенным стихоплетством, и только тогда, когда я впал в нужду, т. е. около двадцати лет, я стал серьезно интересоваться поэзией.

Если бы я оставил по себе долгую память, то, так как вы меня переживете, я назначил бы вас своим историографом и обещал бы вам оставить довольно любопытные документы о жизни бедного

поэта. Они ободрили бы молодежь и были бы контрастом с книгами о р а з о ч а р о в а н н ы х, которыми так изобилует наша эпоха. Но такая слава мне на роду не написана. Я счастлив, что вы взяли на себя труд поддержать мою скоропреходящую известность. Я вам дружески за это признателен. Мне хотелось бы получить выразить это. Но чтобы чувство могло подсказать мне нужные слова, ему надо созреть во мне. Значит, об этом позднее. А до тех пор любите меня, как я вас люблю.

От всего сердца и навсегда ваш

Беранже.

Я пробуду в Париже все воскресенье и понедельник утром. Собираюсь написать, чтобы получить окончательный ответ от человека, которому я предложил П.

ХІХ. Господину Треля,

главному редактору «Патриота» в Люиде-Дом

11 февраля 1833 г.

Уже давно я собирался поблагодарить вас за высылку мне «Патриота», которого я прочитываю с добросовестнейшим вниманием и очень часто с пользой. Но, увидя себя вновь обязанным вам, я не в состоянии больше откладывать моего письма с выражением моей признательности. Статья, которую я прочел недавно в вашей газете от 6-го числа, свидетельствует о большой благосклонности ко мне с вашей стороны, и, читая ее, я испытал чувство самой живой радости. Если похвалы преувеличены, то я понимаю, что обязан этим симпатии, вызываемой общностью наших чувств, и еще более горжусь ими. Да, я проследил на различных обстоятельствах развитие ваших политических принцепов и понимаю, что основой их является любовь к человечеству. В этом состоит и вся моя политика. Уверяю вас, что если завтра мне докажут (я считаю это невероятным) существование формы правления, более выгодной для низших классов, чем республика, то я выскажусь за эту форму. Мне кажется, мы придерживаемся на этот счет одинаковых взглядов. К

несчастью, я вижу людей, которые называют себя республиканцами и которые стали бы монархистами, если бы республика существовала, и других, кажущихся мне своего рода доктринерами, — такое ничтожное место занимают в их теориях страдания масс! Вы не принадлежите к их числу, все ваши слова проникнуты любовью к вашим ближним, и вы озабочены бедственным положением низших классов. Судите же по тому мнению, которое у меня составилось о вашей мудрости и вашей гуманности, об удовольствии, доставленном мне статьей, написанной, как я полагаю, либо вами, либо по вашему указанию. Я часто слышал, как люди, придерживающиеся в политике совсем другого образа мыслей, чем мы с вами, воздают должное великодушию вашего характера, благородству вашего поведения. Не удивляйтесь же, что я придаю такое значение вашему одобрению и спешу выразить вам свою благодарность за ваши похвалы. Это благодарит не писатель, а мое сердце, человека и гражданина. Примите уверения в моей преданности и глубочайшем уважении.

Беранже.

Я видел г. Тестара, который передал мне ваше письмо. Я не пользуюсь больше благосклонностью министров; но будьте уверены, что, если я смогу чем-либо услужить ему, я это сделаю. Я ничего не хочу обещать ему, чтобы не вызвать напрасных надежд. Жаль, что он не знает типографского дела. Я часто встречался с вашим соперником Вэсьером. Хотелось бы знать, как он отзывается о моих песнях. Если вы сможете послать мне его статью, то очень меня обяжете.

ХХ. Господину Сент-Беву

Париж, 7 марта 1833 г.

Мне принесли из Пасси вчерашний номер «Н а с њ о н а л ь», и я прочел вашу статью. Мой дорогой Сент-Бев, в первый раз похвалы мне вызвали у меня слезы. О, если все это так же верно, как хорошо написано, и верно для всех, потому что верно для вас, раз вы это говорите, мой дорогой друг, то на мое

имя падет луч славы. Я верю этому сейчас, благодаря вам. А если завтра я усумнюсь, то снова перечитаю вас; потому что я, разумеется, сохраню, как драгоценность, эти прекрасные страницы.

Ваш глубоко признательный друг.

XXI. Господину Люсьену Бонапарту

Пасси, 25 мая 1833 г

Сир.

Серьезное недомогание, приступам которого я часто подвержен, ужасные головные боли лишили меня удовольствия тотчас же ответить, как мне этого хотелось, на письмо, которое мне передал не г. Прель, а г. Равиоли. Я начинаю поправляться и спешу поблагодарить вас за новый знак внимания, которым вам угодно было меня почтить.

Знаете ли вы, что в человеке, легче меня поддающемся иллюзиям, ваше письмо могло бы вызвать опасный прилив гордости? К счастью, я искал в ваших выражениях лишь того смысла, который вы стремились вложить в них. Ценность, которую вы как будто придаете моим литературным советам, это — только искусный прием для того, чтобы засвидетельствовать некоторое уважение к моим способностям; а что касается верности моих политических взглядов, то позвольте мне существенно ограничить и эту похвалу.

Если бы не некоторые непреодолимые препятствия, я попытался бы поехать в Лондон, чтобы засвидетельствовать вам устно свою признательность. Жалею, что для меня это абсолютно невозможно. Быть может, беседуя со мной, вы могли бы извлечь некоторую пользу из наблюдений, которые у меня накопились, когда водился с политиками. Впрочем, г. Лакост, друг графа Сюрвилье, сможет передать вам, если сочтет необходимым, то, что я говорил ему о теперешнем положении и о моих расчетах на будущее. Не скрою, что с некоторого времени мои идеи находят мало сторонников. Однако некоторые республиканские газеты приближаются к ним, я думаю, за неимением лучшего. Судите поэтому, какое значение следует им при-

давать. Было время, когда молодежь и старики прибегали к моим советам. Я гордился этим, но, в конце-концов, меня стали третировать, как бестолкового болтуна, и я закрыл свой кабинет для консультаций. И если мне уж больше не случается давать советов, то случается еще болтать, и к вам дошло, как видно, кое-что из этой болтовни. Я, в самом деле, повторял не раз, что теперешнее положение продлится лет десять, а может быть, и больше.

Перед Июльской революцией я видел невозможность ввести в стране равенства систему английской представительной монархии, которая не может не опираться на привилегированную касту. После же этой революции я, старый республиканец, убедился, что Франция еще не созрела для республиканской формы правления, и, стремясь использовать до конца старую монархическую машину, я хотел, чтобы она послужила нам доской, переброшенной через ручей; и эти мои слова я подтвердил всем моим друзьям как своим поведением, так и своими речами. Я считал возможным предназначить для этого переходного состояния период, равный эпохе Реставрации. Ошибки новой власти мало повлияли на мои расчеты, лишь укрепив мои надежды. Отсюда и предсказание о десяти годах существования для трона, у которого такой непрочный вид. Если бы республиканская партия не наделала ошибок, которые конечно были неизбежны в ее положении, то мы, быть может, были уже близки к развязке. Эта партия еще не знает, как следует, новую Францию: отсюда ее мечты о невозможном. Теперь надо опираться на интересы, порожденные революцией, а она чересчур часто угрожала этим интересам. К счастью, мы, французы, учимся дисциплине под ударами наших врагов, а они всегда сыплются на нас в достаточном количестве. Республиканские элементы гораздо многочисленнее, чем представляют себе те, кто боится и кто желает водворения республики, но, по-моему, понадобится еще много времени, пока они смогут согласовать свои усилия. Все же во Франции мы думаем быстро и быстро

же действуюм. Но мы действуем лишь тогда, когда заговор идей встречается на публичной площади с заговором народных чувств. А такие дни редко выдаются в столетие. Вот почему я прозреваю в будущем, еще отдаленном, падение существующего порядка, хотя я привык оценивать положение с наименее выгодной для моих выводов стороны.

Я счел необходимым представить на ваш суд некоторые мои соображения. Это было бы далеко не все, если бы я не прибавил, что, отойдя от дел, я не занимаю теперь того выгодного положения, которое позволяло бы мне влиять, как прежде, на мнение других. Вы знаете, что надо всегда остерегаться мечтателей. Прибавьте к сказанному, что в интересах республики, о которой я мечтаю, я не хочу, чтобы цвет ее завязался чересчур рано. Самый серьезный упрек, с которым я обращаюсь к теперешнему правительству, заключается в том, что оно выращивает ее в парниках. Меня могут упрекнуть в том, что я пренебрегаю случайностями; но в теоретической политике — единственной, которую я считаю правильной, — они не могут играть большой роли. Им можно приписывать некоторую силу лишь в действии.

Я думаю, что вы теперь в состоянии отнести к моему предсказанию, как оно того заслуживает, я хотел показать вам, что оно — результат моих бескорыстных рассуждений и убеждений, основанных на совести. В ваших руках теперь все основания для того, чтобы тоже награждать меня прозвищами сумасшедшего и старого болтуна. Не стесняйтесь, я к этому готов. При Реставрации мудрецы тоже называли меня безумцем; а наши молодые люди, несмотря на события, которые два года назад подтвердили мой прогноз, не расположены больше верить моим пророчествам. От этого мое уважение к ним не уменьшилось: они выполняют свою миссию; моя же миссия — миссия человека, вопиющего в пустыне, — ставит меня в довольно глупое положение. Вы обратились к моей искренности; как видите, я ни в чем не погрешил против нее. Рискуя утомить вас или повредить себе в ва-

ших глазах, я дал свободу перу и предоставил на ваше усмотрение материалы, которые вам были необходимы. Повторяю: выводы из моих слов сделайте сами.

Я хотел бы, чтобы вы по крайней мере могли отнести к этому письму, как к новому доказательству моей вечной преданности вам, и видеть в нем еще одно подтверждение того, что я всегда пребываю вашим признательным слугой.

Беранже.

XXII. Господину Сент-Беву

3 апреля 1834 г

До чего я вам благодарен, мой дорогой друг, что вы подумали о том, как тяжело мне было без ваших добрых и милых посещений! Я не верю тому, что говорят злые языки. Но я расположен верить, что вечное пережевывание таким стариком, как я, одного и того же малопривлекательно. Ваша записочка успокаивает меня на некоторое время, и я выражаю горячее желание, чтобы свобода была вам возвращена. Я получил бы при этом двойную пользу, так как я предполагаю, что столь желанный роман и вы выйдете вместе из вашего уединения, чтобы, явившись в Пасси, быть украшением моего одиночества. Последнее время, не в пример вам, я часто бывал в гостях. Но я в этом раскаиваюсь, потому что я начинаю тотчас же говорить о своих мечтах и, вероятно, слышу простаком или сумасшедшим у наших молодых людей, как они ни добры ко мне.

Знаете ли вы о том, что ваш друг Ламартин сильно задел меня в своей статье «Будущее поэзии»? Я хотел бы ответить ему, но удержался, боясь, чтобы это не было принято за выходку оскорбленного самолюбия, хотя уверяю вас, что во мне заговорила лишь любовь к истине и справедливости. Меня задевает обвинение в том, что я распространял чувства ненависти и зависти. Как! Люди, которые оскорбляли под крылышком властей все, что наша революция произвела хорошего, великого, прекрасного, упрекают нас в воинственных кликах под жерлами их

пушек! Это уж слишком! Неследует ли, наоборот, констатировать, что при нашем положении мы пробуждали чувства любви в пылу битвы и что в победе народа, в ее великодушии сказалась и наша проповедь? Повторяю, если бы я не боялся зайти дальше, чем мне хотелось бы, нападая на человека, которого я уважаю и которым восхищаюсь, то я, быть может, затеял бы эту полемику. Меня остановила еще одна мысль: ваш друг-аристократ, кажется, собирается опроститься, и мне было бы жаль задержать эту перемену в нем, которая, если только она когда-либо совершится, будет искренней. До свидания, заканчивайте работу, а затем приезжайте в Пасси подышать свежим воздухом.

XXIII. Господину Шамиссо

1 августа 1834 г.

Если бы я знал другие языки, кроме родного, которому меня тоже никогда не обучали, то мне стоило бы большого труда признаться, что я совсем не знаю богатого и разнообразного языка Шиллеров и Гете. Однако многие из наших молодых писателей, которые счастливее меня, уже давно говорили мне о вашей славе и о том, как высоко ценят они ваши произведения. Прибавьте к этому, что одной молодой и красивой немке, умной и образованной, было угодно больше для своего удовольствия, чем для моего, которое от этого было не менее живым, разобрать и перевести мне большую часть вашего сборника. Отсюда вы можете заключить, что я в состоянии хотя бы отчасти представить себе, как я должен быть обязан за честь, которую вы мне оказали переводом нескольких моих песен для ваших соотечественников. Чтобы быть принятыми ими, мои бедняжки нуждались в высоком покровительстве, что бы ни говорила супруга Бенжамена Констана, тоже ваша соотечественница, которая уверяет меня, что мои произведения проникли и в Германию. Если бы эта дама, во всех отношениях выдающаяся, была в Париже, то она сама в качестве поэтессы занялась бы переводом для меня ваших произведений. Когда она

возвратится, я надеюсь, что она поможет мне закончить знакомство со всеми их красотами. Ваше имя как будто указывает на французское происхождение. Остаток старой крови, быть может, является причиной вашей благосклонности. А может быть, вы благодарны мне за то, что я, первый во Франции, стал проповедывать союз народов. Это, повидимому, и ваша мечта. Наши солдаты чересчур долго досаждали Германии. Не один из наших философов-метафизиков наполнял в ней свою нищенскую суму, некоторые даже не признавались в этом. Могло стать, что у немцев осталось недоброе чувство к французским солдатам и философам. И, следовательно, на поэтах, пророках будущего, лежит миссия искоренить эту застарелую ненависть. Это, милостивый государь, достойное и святое назначение для вашего прекрасного таланта. А я уж больше ничего не могу. В нашей изнурительной борьбе иссяк мой голос, и он окончательно замирает теперь в уединении, где нет отзвука. Лестное свидетельство уважения, полученное от вас, заставило меня очнуться, и моя бедная муза обращается к вашей с глубокой признательностью.

XXIV. Господину Давиду Д'Анжер

20 июля 1837.

Вся печать, мой дорогой Давид, полна похвал вашему новому шедевру. Этот успех нисколько не удивляет меня, можете быть уверены в этом. Именно вам следовало декорировать наш Пантеон. Но верно ли то, что говорят о вашей композиции? Слыхано ли, чтобы семь лет спустя после Июльской революции ваш патриотизм украсил подобной кардой святую Женевьеву и это сошло с рук? Я хорошо знаю, что в Версале пели «Марсельезу», но тут мог быть дипломатический расчет. Не то же ли произошло и с фронтоном Пантеона? Но приходится верить, что вы закончили это великолепное произведение, и каждый француз будет вам признателен. Для меня, однако, это не единственный повод обратиться к вам с выражением моей признательности. Я даже уверч,

что, распечатывая мое письмо, вы догадались, что оно — выражение благодарности со стороны старого друга за то место, которое вы предоставили в изваянном вами апофеозе одному из наилучших и величайших граждан, потерю которого мы оплакиваем. Да, мой дорогой Давид, на моих глазах появились слезы, когда я прочитал имя Манюэля среди имен тех французов, память коих вы обессмертили. Если чистота патриотизма Манюэля заслуживала подобной награды, то только энергия вашего патриотизма могла присудить ее ему, в эту эпоху эгоизма и забвения. Как будут признательны вам родственники Манюэля! Я же не в состоянии выразить всю глубину моей благодарности. Чувство, побудившее вас выбрать Манюэля из многих других, коих предпочли бы изобразить придворные художники, подскажет вам лучше меня то, что испытывает мое сердце, и как оно вам обязано.

В свое время я безуспешно или почти безуспешно выпрашивал пожертвования, чтобы воздвигнуть моему другу памятник, достойный его патриотизма; но то, что вы сделали, превзошло все мои ожидания. Пусть же слава, такая же прочная, как та, которую вы утвердили за его именем, будет вам наградой за ваши великие и благородные труды. До свиданья, мой дорогой Давид; благоволите напомнить обо мне вашей супруге и принять уверения в моей глубочайшей преданности и признательности.

XXV. Господину Треля

Тур, 12 сентября 1837.

Что вы мне предлагаете, друг мой! Мне сделаться политическим писателем? — Теперь, когда я порвал с обществом и удалился на покой и когда, слава богу, меня начинают, наконец, забывать? Я искренне отошел от всяких дел. Я не вергилиева нимфа; многие люди в моем возрасте и даже значительно старше не могут жить без шума и бросаются в схватку под пустым предлогом быть полезными, а на самом деле для того, чтобы их имя было услышано. А я, наоборот, с известным чувством удовлетворения вижу, как мое имя за-

бывается. Вы знаете, однако, что это безразличие ограничивается лишь тем, что касается лично меня. Но я так убежден в собственной бесполезности дорогому для меня делу, что я всегда буду остерегаться выступать на сцене, где я могу сыграть лишь очень коротенькую роль при помощи таланта весьма ограниченного. Я, следовательно, буду избегать участия в каком бы то ни было органе печати. «Но вы не будете ставить своей подписи» — скажете вы мне. На что вам тогда, мой дорогой друг, несколько скверных статей, когда вы все там работаете для того, чтобы писать хорошие? Нельзя итти против собственной природы; я рожден артистом, меня всегда занимает форма. И оттого журналистика меня не устраивает. Вот почему я никогда не мог заняться этим ремеслом. Неужели же в пятьдесят семь лет мне придет в голову такая фантазия? В настоящее время я стараюсь привести в порядок обрывки своих идей и при всей свободе, какой я пользуюсь, я очень медленно подвигаюсь вперед и не уверен, не брошу ли я в один прекрасный день все, что написал, в огонь. До такой степени, кажется мне, я далек от того, к чему стремлюсь. Мне всегда нехватало доверия к своим силам. При таком положении, если обстоятельства не выработали в вас способности к газетной импровизации, никогда не следует итти в ежедневную прессу. Вы жили в других условиях, и, заботясь меньше, чем я, о художественной форме, вы смогли отдалиться газетной полемике. Следовательно, ваше место в «Насъональ», и я не сомневаюсь в том, что вы окажете там крупные услуги. Но только приучайте ваш стиль к сжатости; слишком длинные статьи убийственны для газет, и вы должны это знать лучше, чем я. Извините меня за это замечание, оно отдает немного моим старым ремеслом. Несколько дней назад я ответил Тома, и так как я это сделал наспех, то боюсь, не написал ли я ему каких-либо глупостей. Судите сами о моих способностях к газетному делу: я высказался, между прочим, за необходимость цензуры газет с моральной точки зрения. В самом деле, мой друг, я никак не

могу прийти в себя от изумления, когда вижу, сколько развращающего народ материала печатают газеты, даже оппозиционные. А затем, хотите знать? Во всех этих газетах, не исключая «Насъ ональ», сквозит скрытый аристократизм, и это меня удручает. Это происходит оттого, что они обычно задаются целями доктринерского республиканизма, а не человеколюбивой политики; они скорее хотят пользоваться народом, чем приносить ему пользу. При вашем добром и благородном сердце это должно вызвать в вас отвращение. Когда, наконец, будет основана газета для этого бедного народа, столь нуждающегося в руководстве? Все твердят ему о его правах, и никто не дает себе труда сначала научить его достойно применять их. Когда наконец в лицемерно-начальнических речах, с которыми к нему обращаются, засквозит немного сыновней нежности? Вот в чем должно состоять призвание журналиста, и оно как раз по вас. Но, к несчастью, для этого вам следовало бы разбить тот узкий круг, в который Каррель замкнул политику «Насъ ональ», круг вполне достаточный для его таланта, но далеко не достаточный для дела. Тем не менее мне кажется, что можно было бы отказаться от смешной непреклонности, усвоенной при нем этой газетой, и заговорить с народом на языке, который мог бы понравиться даже наиболее образованным классам. Это возможно и в литературе, и в искусстве, и в науке; это возможно и в сфере финансов. Приведу лишь один пример: с самого начала дискуссии о сберегательных кассах все оппозиционные листки старались изо всех сил напугать низшие классы, чтобы те взяли обратно свои убогие сбережения. Это как раз обратное тому, что надо было делать, порицая предложенный закон; фонды были в безопасности, во-первых, потому, что это была правда, а затем потому, что сберегательные кассы имеют скорее моральное, чем финансовое значение. Далее, если затронуть вопрос об убийствах, то чего только я не мог бы тут высказать! Как! Если народ в три дня становится судьей королей, то от имени этого народа смеют совершать

убийства! Ах, если бы о народе думали то, что я о нем думаю, если бы к нему относились с любовью, которую он мне внушает, тогда от его имени спешили бы протестовать против таких безобразных попыток покушений, предпринимаемых из подражания аристократии и соответствующих лишь ее организации и тем временам, когда она главенствовала над миром. Но в наши дни в стране равенства политическое убийство — это оскорбление, наносимое цивилизации и правам народа. «Насъ ональ», возглавляемый охвостом мятежей, не посмел возгласить анафему против подобных актов, столь противоречащих духу нашей нации. А какое положение он мог бы приобрести! Ведь, выступив против, он мог бы провозгласить свой республиканизм вопреки сентябрьским законам.

Но я вижу, что обратился к прошлому без большой пользы для будущего. Впрочем, я позволяю себе все эти рассуждения потому, что вы новичок в этом деле. Они не лишат вас бодрости, если предположить, что вы усвоите их, так как вы почувствуете, сколько еще можно сделать хорошего. Мне хотелось бы, чтобы они помогли вам найти новый путь, чтобы исполнить призвание, которому вы преданы. Рекомендуя вам избегать чересчур длинных статей, я подаю вам плохой пример.

Поговоримте о вашем здоровье, мой дорогой Треля; не пренебрегайте простудой; приближается зима; надо привести вашу грудь в хорошее состояние, чтобы она могла выдерживать ее удары.

Мне надо устранить одну ошибку вашего предпоследнего письма. Вы мне говорили, будто узнали в Париже, что обязаны мне вашим освобождением из Клерво. Конечно я имею к этому некоторое отношение; но, когда я прибыл в Париж, чтобы выхлопотать его, в Труа уже пришла эстафета, и как будто вам уже говорил, что в письме в Тьеру я вдвойне благодарил его: за то, что он поспешил вас освободить, и за то, что сделал это, не ожидая моего ходатайства. Воздадим каждому по заслугам. Надо быть справедливыми, — даже к министрам. По отношению к нему я всегда делал это охотно, и это содей-

ствовало восстановлению добрых отношений между нами; хотя мы не виделись с ним с тех пор, как я из-за вас отправился к нему в Нейи, но мы изредка переписываемся, и он был очень любезен, когда у меня появилась в нем надобность из-за дяди Жюли Бернара.

Если отвлечься от политики, то Тьер — добрый малый; из-за непостоянства его убеждений на него клеветали больше, чем он того заслуживал. В некоторых из тех, кто его поносит, я узнаю завистников, и у него было бы их втрое больше, будь он в самом деле так богат, как это ему приписывают.

Это опять возвращает меня к газетам, не из-за Тьера, который сожалеет лишь об одном, когда на него нападают, как на министра, а именно: что он не может ответить, как журналист; но я возвращаюсь к ним, чтобы упрекнуть их во лжи и в полном отсутствии справедливости. Если бы мне пришлось участвовать в полемике, то я настолько доверял бы силе принципов, которые защищаю, что, касаясь людей и вещей, я не отступил бы от долга справедливости.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПИСЬМО I. Кенекур Франсуа-Габриель (1784—1831) — сверстник и близкий друг Беранже, не раз оказывавший поэту материальную поддержку. В Перонне, маленьком провинциальном городке, где жил Кенекур, им был основан «Монастырь беззаботных» — маленькая академия поэтов-песенников; там, на веселых заседаниях-пирушках, подвизался молодой Беранже. Упоминаемая в пост-скриптумах писем к Кенекуру Жюли — жена Кенекура, Жюльетта — его дочь, а Жюдит — подруга Беранже, с которой он прожил до ее смерти (она умерла тремя месяцами раньше Беранже, в том же, что и он, 1857 г.).

Арно-Антуан (1766—1834) — французский писатель-трагик и баснописец, генеральный секретарь парижского университета, в котором Беранже занимал незначительную должность.

Фонтан Луи (1757—1821) — видный литератор и политический деятель Империи, ректор парижского университета с 1808 г.

Люсьен Бонапарт (1775—1840) — брат Наполеона, оказавший ему большие услуги при перевороте 18-го брюмера. Впоследствии он протестовал против провозглашения Империи, фрондировал против Наполеона, играя роль «независимого». Поводом к окончательному разрыву между братьями послужил «мезальянс» Люсьена — женитьба его на дочери биржевого маклера. Люсьену пришлось покинуть

Сам Луи-Филипп имел бы свою долю похвал и оправданий. Дух справедливости, мой друг, вот что больше всего содействует авторитету. Я знаю, что применение его требует отказа от духа кружкового интриганства; но если тут есть кажущееся неудобство, то оно очень скоро компенсируется всеобщим доверием, а потому, бога ради, откроем морали доступ в политику. Мы упрекаем наших противников в том, что они куврыкаются вправо, когда, идя влево, мы сами попадаем в яму. Все это я говорю для вас, обладающего сердечной прямо-той и твердым характером. Вы в состоянии подняться выше старых тактических приемов.

Давно я уже не беседовал с вами. Я побывал бы у вас в Париже, если бы я не думал, что задержу вас еще дольше; мне становится неловко при мысли о том, что вы так заняты и я отнимаю у вас время.

До свидания, мой милый друг; спасибо вашей супруге и детям за память обо мне. Передайте привет друзьям, весь к вашим услугам.

Францию. Люсьен Бонапарт, который сам был писателем, сыграл немалую роль в жизни Беранже. Молодой поэт обратился к нему за покровительством, и тот надавал ему советов в духе господствующего тогда позднего, эпигонского, классицизма и, кроме того, предоставил право сильно нуждающемуся поэту получать за себя жалованье академика, — обстоятельство, которым впоследствии Беранже кололи глаза, как «бонапартисту».

ПИСЬМО II. Реньо де Сен-Жан д'Анжели (1761—1819) — французский государственный деятель, сподвижник Наполеона, давшего ему титул графа, член Французской академии с 1803 г.

Люсьен — побочный сын Беранже.

ПИСЬМО III. Люсьен Арно (1787—1863) — сын Антуана Арно (см. примеч. к письму I). Он написал несколько трагедий, не переживших автора.

Это письмо интересно как первый отклик Беранже на возвращение Бурбонов.

Антверпен — бельгийский порт, один из лучших в Европе. Наполеон, овладев Антверпеном, так характеризовал его значение: «Это заряженный пистолет, который я направляю в грудь Англии». Накануне первой Реставрации крепость не сдавалась до отречения Наполеона. Его командовал знаменитый Карно (1753—1823) — публицист, выдающийся геометр, один

из крупнейших деятелей Французской революции, подавший голос за казнь Людовика XVI, организатор побед республики. При Наполеоне Карно вышел в отставку, но, когда союзники двинулись на Францию, Карно предложил ему свои услуги и поддерживал его вплоть до финала Ста дней.

ПИСЬМО IV. Дезожье (1772—1827) — поэт-песенник, один из самых выдающихся членов парижской песенной «академии» — «Погребка», куда Дезожье ввел Беранже, — обстоятельство, явившееся началом нового этапа в творческом развитии Беранже.

ПИСЬМО V. Кювье Жорж (1769—1832) — знаменитый французский натуралист. При Наполеоне он был, последовательно, главным инспектором парижского университета, членом университетского совета, государственным советником и пр. С 1819 года он состоял председателем комиссии по народному образованию при министерстве внутренних дел.

ПИСЬМО VI. Тиссо Пьер-Франсуа (1768—1854) — писатель, член Французской академии с 1813 г., смещенный в эпоху Реставрации и вновь обеленный званием академика после Июльской революции. Он принимал близкое участие во многих либеральных изданиях, в том числе в упомянутой в этом письме газете «Меркурий» (точнее: «Французский Меркурий»), старинном органе печати, возобновленном в 1814 г. и прекратившем свое существование в 1823 г.

ПИСЬМО VII. Руже де-Лиль Клод-Жозеф (1760—1836), автор «Марсельезы». 66 лет от роду он был посажен в долговую тюрьму неким Б., впоследствии — королевским прокурором, «дружески» одолевшим нуждающемуся композитору 500 франков. Беранже освободил своего друга.

ПИСЬМО VIII. Кадэ де-Гассикур (1789—1861) — младший представитель целой «династии» парижских врачей и химиков Кадэ-Гассикуров. Он был либералом, активно содействовавшим Июльской революции, после которой стал мэром одного из парижских районов, но вышел в отставку в 1833 г., когда для него вполне выяснились ретроградные тенденции Июльской монархии.

Дюпон де л'Эр, Шарль-Жан (1767—1855) — член парламентской оппозиции в период Реставрации и Июльской монархии, друг Лафайета и Беранже, написавшего в 1820 г. песню «Я с вами больше не знаком», в которой поэт прославлял мужество депутата и поносил министра Паскье, сместившего Дюпона де л'Эр с поста председателя суда в Руане. Значительно позднее даты настоящего письма, в 1848 г., Дюпон де л'Эр был председателем Временного правительства.

Лавит Жан (1767—1844) — французский банкир-либерал один из виднейших деятелей первых лет Июльской монархии.

ПИСЬМО IX. Лемер, или Кошуа-Лемер, род. в 1789 г. Беранже познакомился с ним на собраниях либерального общества «Друзей прес-

сы» незадолго до революции 1830 г. В начале Реставрации, в 1815 г., Кошуа-Лемер эмигрировал. Он привлек симпатии Беранже энергично развиваемыми демократическими идеями. Письмо адресовано в тюремный госпиталь Картье, где в то время находился отбывавший наказание Лемер.

Тюрьма ля-Форс — в ней Беранже отбывал в то время девятимесячное заключение по процессу 1828 г., на котором ему было предъявлено обвинение в оскорблении религии, оскорблении короля и возбуждении презрения и ненависти к правительству. В 1821 г. Беранже отсидел три месяца в тюрьме Сент-Пелажи. Обвинение против Беранже поддерживал тогда Маршанжи, имя которого упомянуто в тексте X письма, к Берару.

Подписка.—Десять тысяч франков штрафа, которые Беранже должен был уплатить по второму процессу (1828 г.), были собраны по коллективной подписке.

Мартиньяк (1776—1832) — французский политик — был министром внутренних дел на исходе Реставрации (1828—29 гг.).

Ватимиль (1789—1860) — в то время министр народного просвещения.

Кузен, Виктор (1792—1867) — глава эклектической философской школы во Франции.

Вильмен, Франсуа (1790—1870) — французский историк и литературный критик.

ПИСЬМО X. Берар (1783—1859) — либеральный промышленник и финансист. Он редактировал конституционную хартию Луи-Филиппа.

Манюэль (1775—1827) — один из лидеров либеральной оппозиции в парламенте в эпоху Реставрации. Беранже был связан с ним тесной дружбой.

ПИСЬМО XI. «Глоб» — журнал эпохи Реставрации и Июльской монархии, основанный в 1824 г., — орган романтического движения в литературе; в тридцатые годы был в руках сен-симонистов.

ПИСЬМО XII. Мейербеер — оперный композитор, пользовавшийся огромной популярностью в 30-х годах. Ему принадлежат оперы: «Роберт-Дьявол», «Гугеноты» и др.

ПИСЬМО XV. Латуш (1785 — 1851) — французский писатель. Ему принадлежит заслуга «открытия» никому не известного до издания Латушем (1819 г.) поэта Андре Шенье, гильотинированного накануне 9-го термидора. Латуш написал забытый теперь роман «Оливье», некоторые мотивы которого Стендаль использовал в своем романе «Арманс». Он ввел в литературу Жорж Санд, открыв ей страницы купленного им в 1828 г. «Фигаро» и найдя ей издателя. О нем было сказано, что он открывал и другим обетованную землю литературы, но сам не обрел ее.

Карлисты — сторонники низложенного Карла X (1757—1836), обосновавшегося в Праге.

Генрих V, или граф де Шамбор, он же герцог Бордосский (1820—1883), — внук Карла, изгнанный из Франции в 1830 г. Претендент на французский престол.

Наполеон II (1811—1832) — сын Наполеона I и Марии-Луизы, получивший при рождении титул римского короля. Он жил пленником Австрии, у своего деда, императора Франца II, и носил титул герцога Рейхштадтского.

ПИСЬМО XVI. Сент-Бев, Шарль-Огюстен, (1804—1869) — поэт и критик, один из вождей французского романтизма. Он оставил после себя 46 томов литературных «Портретов» и «Бесед», не считая многотомной «Переписки», двух сборников стихов («Стихи Жозефа Делорма», 1829, «Утешения», 1830 г.) и романа «Сладострастие», 1832 г. Сент-Бев написал «Портрет» Беранже и несколько статей о нем.

Жанен Жюль (1804—1874) — плодовитый французский романист и довольно беспринципный критик-эклектик. Сначала он сильно задел Беранже в одном из своих фельетонов, но затем занял в отношении поэта вполне благожелательную позицию.

ПИСЬМО XIX. Треля (1795—1879) — врач, один из крупнейших представителей либеральной оппозиции при Луи-Филиппе. Был сначала редактором газеты «Патриот» в департаменте Пюи де-Дом. По процессу либералов в 1834 г. (на котором выступал защитником) был приговорен к трем годам тюрьмы и 11 тыс. франков штрафа. По выходе из тюрьмы стал одним из главных редакторов либеральной газеты «Насьональ».

ПИСЬМО XXI. Люсьен Бонапарт, см. примеч. к письму I.

ПИСЬМО XXII. Ламартин (1790—1869) — французский поэт-романтик, политический деятель и историк.

ПИСЬМО XXIII. Шамиссо (1781—1838) — немецкий писатель, автор фантастической повести о «Петере Шлемиле», человеке, продавшем свою тень.

Бенжамен Констан (1767—1830) — французский писатель, автор романа «Адольф». Он играл видную роль в партии либералов в эпоху Реставрации.

ПИСЬМО XXIV. Давид д'Анжер (1783 — 1856) — французский скульптор, родом из Анжера. Лучшие работы его — фронтон Пантеона и медальоны «великих людей».

Манюэль — см. примеч. к письму X.

ПИСЬМО XXV. Треля — см. примеч. к п. XIX.

«Насьональ» — газета, основанная в январе 1830 г. Тьером, Минье, Каррелем и др. политическими деятелями для борьбы с реакционным министерством Полиньяка, подготовившим роковые для Бурбонов «ордонансы», по существу упразднившие конституцию. До 1832 г. «Насьональ» поддерживала Луи-Филиппа Орлеанского, а затем, под руководством Карреля, стала органом республиканской буржуазии.

Тьер, Адольф (1797—1877) — французский историк и политик. Он был деятельным сторонником Июльской монархии, при которой был министром (1832 г.) и председателем государственного совета (1836, 1840). Он стал впоследствии первым президентом «Третьей республики». Тьер известен жесточайшим террором против парижских коммунаров.

Н. С.

(Окончание следует)

Книжное обозрение

1. А. ГАРРИ „Паника на Олимпе“. — Н. Замошкин. 2. ЕФИМ ВИХРЕВ „Палешав“. — С. Иванов. 3. ОРСНИН, ФЕЛИЧЕ Воспоминания. — Н. Замков. 4. ГЪЕРАЦЦИ, Ф. Д. — „Осада Флоренции“. — Н. Львов.

А. Гарри. — «Паника на Олимпе». Изд-во писателей в Ленинграде. Стр. 195. Ц. 2 р. 50 к., пер. 75 коп.

О панике и разных неприятностях на капиталистическом Олимпе книга говорит только напоследок, под самый «занавес». Самоубийство спичечного короля Крейгера и другие факты не составляют главного содержания жизнерадостной, бодрой и талантливой книги Гарри.

Иным вопросам посвящены его фельетоны, печатавшиеся в центральных изданиях и собранные в этой книге. Факты советской трудовой действительности, вопросы овладения «заморской» техникой, культура деталей и детали культуры, рождение из колхозника и чернорабочего квалифицированного мастера, герои социалистической науки, чугуны, сталь, подшипники, легковой автомобиль и самолет решительно заслоняют собой скучное зарплатное бытие Крейгеров и Ко.

За необыкновенностью и мелочами Гарри, художник газетного цеха, не гонится. Большая серьезность его корреспонденций ничуть не мешает им быть подвижными, легкими, острыми и темпераментными. Все жанровые особенности фельетонного стиля остаются в неприкосновенности.

Талантливые газетные корреспонденции и очерки, посвященные текущим и в то же время коренным явлениям социалистического строительства, вообще говоря, переживают ту «злую дню» и тот день, когда они впервые появились в печати. Например, очерк Гарри о пуске первой магнитогорской доменной «смежных» вопросов: тут и задачи эксплуатации, и культурного обслуживания домены, и борьба с урагнпловкой, и недостатки аппарата управления и пр. Отдельный предмет, объект, существует в его очерках не изолированно, а включается в целую шеренгу таких же больших предметов и проблем. Не толпане на месте, а перспектива, глядение в завтрашний день строительства характерны для фельетонов Гарри. Если искать оценочную формулу, которой постоянно пользуется

автор, то вся она исчерпывается знаменитыми шестью условиями тов. Сталина. Гарри как бы иллюстрирует их огромное, решающее значение в строительстве социалистической культуры.

На страницах этой насыщенной политической книги нигде не заметишь «политического» пустословия, «общих» мест, ни к чему не обязывающих заклинаний. Факты искусно выдвинуты в «план» и сопровождаются совершенно реальными, практическими предложениями, включительно до смазки, о которой тоскует усовершенствованная американская машина на новостройке, о пропаганде легкового советского автомобиля среди деревенской молодежи, не всегда радушно встречающей его на проселках, и т. п. Ни о каких «аллеях орхидей» Гарри не погестует.

Замечательное всего то, что всю эту немислимую для буржуазного журналиста «будничность» и «прозу» автор умеет так оживить, что понимание лозунга овладения техникой, бережного отношения к агрегату и пр. под его пером становится доступным и интересным самому широкому читателю. Достигает он этого сплошь и рядом умелым и тонким сопоставлением разных случаев, воспоминаний, заграничных впечатлений. Мастерством контраста, неожиданных обобщений владеет Гарри виртуозно. Читат тут не требуется: фельетоны его известны широкому кругу читателей. Сама техника заголовков многое говорит о его стиле: «Автомобиль на волах», «Железный порог», «Маршрут в средневековье» и т. п. Дело не обходится конечно и без некоторых излишеств, например в очерке об арктическом ученом Вязе, озаглавленном «Красота науки», о красоте, собственно, ничего не говорится, или иногда Гарри не прочь слишком звонко обыграть какое-нибудь «сермяжное» выражение, вроде «щи с лаптем» (хотя в фельетоне речь идет не о щах с лаптем, а о том, что «довольно лаптем щи хлебать»...). Наряду с этим часто встречаются замечательно удачные, убедительные страницы о культуре точности в социалистическом производстве, и тогда «скучное» понятие «микрон» начинает овер-

кати многими красками смысла (очерки о «Дюпюшпиннике № 1»).

Любимые у Гарри темы — автомобиль и самолет — как бы обусловили «быстроходный» стиль его фельетонов. И это хорошо. Нет длинных периодов, ненужных остановок, беспредметных рассуждений. Фельетон — это вещь. Без дальних пояснений мы убеждаемся, что импорт американской техники не обязывает нас к рабской подражательности ей, что и разгильдяйство, и энтузиазм никак не случайны в нашем быту, что эволюция типа мобилизованного красноармейца от первых годов начала до начала второй пятилетки совершенно закономерна. Примеров, доказывающих это, в сборнике множество. Наиболее зрелым с художественной стороны надо признать очерк-новеллу «Годы ушли» — образец возможностей, которые стоят на писательском пути Гарри. Ему пора взяться за фельетоны-новеллы. Удача обеспечена.

Герой гражданской войны, страстный путешественник, Гарри, когда материал описаний позволяет ему это сделать, возвращается к излюбленным им батальным, штурмовым интонациям и соответствующему слогу. Весь первый раздел книги, «Металл пламенеет», посвященный Магнитоостроу и Златоусту, написан — как бы это сказать? — в духе наступления, канонады, шумовых втравлений. Но, следуя материалу, тон книги потом постепенно понижается, и например о «любви» к... авиации, об авиоконструкторах Каланине и Яковлеве, о бездорожье, он пишет иначе. Стилистическая гибкость так же, если не более, необходима в фельетоне, как и во всяком другом жанре литературы.

Кое-что вообще следовало бы выправить в книге. Естественное в периодике выражение «в текущем году» при перенесении его в книгу теряет свою точность. Заботу о «микроне», таким образом, следовало бы распространить и в литературу фактов.

Это не придирка, а замечание мимоходом, что книга ранее печатавшихся фельетонов должна отделяться тщательнее, нежели отдельный фельетон в день его рождения, — срочность выполнения тут отпадает.

Среди нескольких бесспорно талантливых газетно-журнальных художников Гарри занимает почетное место. В нем много молодости, впечатлительности и вдохновения. Он сам принадлежит к той армии людей, о которой так сказано в его книге: «В нашу эпоху журналисту незачем создавать героев, эти герои создаются сами». А если Гарри и «создает», то по законам жизни, не терпящей бесстрастного наблюдательства и успокоения.

Н. Замошкин.

Ефим Вихрев.—«Палешане». Записки палехских художников об их жизни и творчестве, написанные летом 1933 года и иллюстрированные ими самими. «М. Т. П.» 1934 г. 388 стр., цена 22 р., пер. 3 р.

Работа Е. Вихрева «Палешане», собранного и обработанного в этой книге подлинными

«записки палехских художников об их жизни и творчестве», является чрезвычайно ценным вкладом в нашу художественную литературу.

Об искусстве Палеха написано очень мало. Из «большой» литературы можно отметить лишь книгу «Палех» того же Е. Вихрева и «Искусство Палеха» А. В. Бакушинского. Но первая из них, живо и ярко написанная, по признанию самого автора, «не претендует ни на полноту, ни на научность, — она заключается в себе столько же вымысла, сколько и фактической правды». Вторая — сугубо научная и крайне односторонняя, затрагивающая лишь искусствоведческие вопросы и притом по языку доступная лишь крайне ограниченному кругу художников и ученых.

Десяток журнальных и газетных статей отнюдь не восполняет в сколько-нибудь серьезной степени этот недостаток.

«Палешане» Е. Вихрева в значительной степени восполняют литературу о художниках Палеха. Ценность книги в том, что о жизни палешан рассказывают сами палешане, об искусстве Палеха пишут сами художники.

Путь палехских художников — от иконописца к советскому художнику — большой и трудный путь. Этот путь художники-палешане показывают в своих записках ярко, красочно и полно, — так, как делают они свои миниатюры. Яркие краски палехского искусства, золото и серебро их работ, необычайное умение композиции, искусство компоновать и писать на нескольких квадратных сантиметрах сложные, большие полотна воплотились и в литературу, которую они дали. Прав Е. Вихрев, взявший эпиграфом к книге слова Александра Бюка:

«Живовись охотно подает руку литературе, и художники пишут книги».

Наиболее ценные части книги — рассказы художников о коренной перестройке их творчества и мысли художников о дальнейшем направлении их искусства.

Ценна и другая часть книги — воспоминания палешан об их дореволюционной жизни и творчестве, о периоде иконописного их мастерства. Эта часть книги важна и для историков искусства. До революции искусство Палеха не раз упоминалось в различных исторических искусствах (разумеется, в буржуазно-классовом толковании). О живых людях, о творцах этого искусства там не найти ни слова. Не могла обойти палешан и художественная литература. Лесков в «Запечатленном ангеле» и Горький в повести «В людях» коснулись их жизни и быта.¹⁾

Жизнь иконописцев с ее многолетним ученичеством в частных мастерских, с подзатыльниками и плеткой, с беганьем за водой для мастеров, с постепенным трудным выходом в «люди», в «мастера», условия и техника работы иконописцев, своеобразное разделение труда («личник»²⁾ и «платяе-

¹⁾ Отрывок из повести М. Горького «В людях» помещен в книге «Палешане».

²⁾ Мастер, пишущий лицо, руки.

ник»¹⁾ — все это великолепно показано в записках палехских художников. Книга является в этом отношении чрезвычайно интересным документом эпохи.

Начало революции связано у палешан с ликвидацией всего прошлого, с коренной ломкой всех их «устоев». Церковь, иконы остались в прошлом, Классу, строящему новую жизнь, иконы святых не нужны. Ненужным стало и иконописное мастерство. Художники, выживавшие старцев и богородиц, художественно расписывавшие внутренние стены и потолки храмов, оказались безработными.

Переход от иконописи к «светским» темам — к хороводам, к тройкам, к фольклору, — к темам из Пушкина, Лермонтова и Горького и наконец к советским темам — колхозы, пионеры, Красная армия, индустрия, — большой и трудный переход, связанный с коренной ломкой всего миросозерцания художника. Но этот переход был облегчен для палешан тем, что в большинстве своем они являются плоть от плоти и кровь от крови пролетариата, того пролетариата, который делал революцию. Этот резкий переход был славно пределан мастерами Палеха.

Были трудности и технического порядка. От больших икон, от больших полотен, от монументальной церковной росписи нужно было перейти на буквально сантиметровые миниатюры. То, что и эти трудности были успешно преодолены палешанами, доказывает большую художественность их мастерства.

Записки старых художников, бывших иконописцев — Ив. Бакалова, Дм. Буторина, И. Вакурова, А. Вагагина, И. Голикова, А. Дыдыкина, Н. Зиновьева, И. Зубкова, А. Зубкова, А. Котухина, И. Марьичева, П. Париллова — образно, документально, просто и в то же время ярко рисуют эту творческую перестройку.

Большой интерес представляют и заметки отдельных палешан о творчестве их товарищей. Характеристика творчества отдельных художников самими палешанами является почти образцом умения пользоваться скупым и сжатым языком.

Лаконично и четко, буквально в нескольких строках, дана полная и своеобразная яркая характеристика каждого художника.

И наконец последнее, на чем хочется остановить внимание, — это мысли палехских художников о дальнейшем направлении их творчества. Палешане не останавливаются в своем творческом развитии, не застывают. Они растут. Работы на папье-маше — это лишь отдельный этап творчества палешан. Шкатулки, табакерки — это рассчитанное на индивидуальное, так сказать, потребление искусство не есть конец пути в искусстве палехских мастеров. Творчество палешан не может и не должно замкнуться в художественных изделиях индивидуально-

го пользования. Палешанам должен быть открыт выход к коллективу, к широкому массам пролетариата. Творчество народных художников, которыми по праву являются мастера Палеха, должно стать действительно народным. И палешане в своих заметках нашли правильный путь к приближению их творчества к массам. Фресковая живопись, монументальные фресковые орнаменты, оформление наших общественных зданий — дворцов, клубов, стадионов, школ, музеев — вот дальнейший этап творчества палешан. Движению палешан к этому этапу их творчества необходимо всемерно помочь. В этом направлении пока ничего еще не сделано.

Второе направление творческой мысли и работы палешан, также направленное к внедрению их искусства в широкие массы, — оформление палешанам нашей книжной продукции, — также требует всемерной поддержки. В этом отношении нед уже пропущены. «Слово о полку Игореве» в издании «Академия» выходит в оформлении палешан И. И. Голикова. Для той же «Академии» палешане иллюстрируют издание «Сказок» Пушкина. В издании «Академия», кстати, готовится к печати монография «Искусство Палеха», иллюстрируемая палехскими мастерами. И наконец «Палешане» Е. Вихрева — книга, от начала до конца оформленная палехскими художниками. Эта книга показывает, как много могут и, следовательно, должны дать палешане в области оформления книжной продукции.

Все заставки и концовки в книге написаны самими палешанами. И надо видеть, с какой тщательностью, с каким действительным талантом сделаны эти миниатюрные рисунки! Если добавить сюда четкий шрифт, прекрасную бумагу, художественно исполненные 9 цветных и 6 однотонных репродукций о лучших работ палешан (последних работ, писанных в 1933 г. и неизвестных еще широкой публике), в числе которых имеются такие шедевры, как «Песня о соколе» Н. Зиновьева, «Буревестник» Бакурова, «Людмила в замке Черномора» Баканова, «У лукоморья дуб зеленый» Буторина и «Старуха Изергиль» Котухина, — то книгу, по справедливости, можно считать образцовым изданием.

Цена книги (25 р.) непомерно высока.

С. Иванов.

Орсини, Феличе. — Воспоминания. Перевод Д. П. Кончаловского. — Комментарий и статья «Покушение 14 января и смерть Орсини» — Г. Б. Сандомирского, с приложением впервые публикуемых архивных документов. М. — Л. «Академия». 1934. 552 стр. Ц. 7 р. Пер. 2 р. 5300 экз.

Феличе Орсини — один из виднейших итальянских буржуазных революционеров середины XIX века, казненный в Париже 13 марта 1858 года за организацию знаменитого покушения на жизнь Наполеона III.

В международной революционной среде того времени (на страницах воспоминаний мель-

¹⁾ Мастер, пишущий одеяние святых.

кают имена Гарibaldi, Маццини, Герцена, Кошута, (Ледрю-Роллена) Орсини занимал место не на самом левом фланге. Революционность его носит отчетливо выраженный политический, а не социальный характер. Орсини стремился к созданию единой республиканской Италии.

«Мои неизменные принципы,—говорит он,— республиканские, но первая моя мысль принадлежит независимости, ибо без независимости свобода есть химера» (297, курсив в тексте.—Н. 3.). Орсини нельзя называть шепримиримым республиканцем. Его симпатии к государственному строю Англии позволяют думать, что он удовлетворился бы установлением и в Италии парламентской монархии английского типа. Демократические настроения Орсини характеризуются, между прочим, тем, что, не являясь социалистом, он очень дорожит сочувствием рабочих. «Когда я окончил лекцию (в Англии.—Н. 3.), рабочие брали мою руку в свои мозолистые ладони и говорили: «Мы надеемся, что вы достигнете успеха в вашем правом деле». (291). Интересно, что Орсини нигде не упоминает о своем графском происхождении. У Орсини иногда звучат и интернационалистские нотки; он бросает мысль о том, что революция в Италии должна явиться началом демократической революции во всей Европе. Особенно характерно для Орсини сращивание умеренных, в основе буржуазно-либеральных, взглядов с крайне-радикальной тактикой. Орсини во многом продолжает традиции карбонариев, их методы, типичные для буржуазных радикалов той эпохи. Организация заговоров, применение индивидуального террора,—все эти способы борьбы глубоко чужды социалистической тактике массового движения. Маркс и Энгельс, подчеркивая исторически-обусловленную буржуазную ограниченность итальянской революции, вместе с тем отнесли к событиям в Италии, как к революционному фактору большого значения. Они внимательно следили за всеми перипетиями происходившей борьбы. После казни Орсини Энгельс писал Марку: «Переживаешь удивительное ощущение, читая рассказ бонапартиста и чиновника о том, как 100.000 рабочих Сент-Антуанского предместья ответили на казнь Орсини криком: «Vive la république»!.. Отрадно слышать, что накануне великих событий 100.000 рабочих на призывный клич отвечают: «Здесь!» (курсив в тексте.—Н. 3.). Жаль мне только, что Орсини не успел услышать этого крика¹⁾. Маркс назвал Орсини «бессмертным мучеником»²⁾.

Воспоминания Орсини вышли в свет в 1857 году (на английском языке—в мае, и на итальянском—в октябре). «Политические воспоминания, посвященные итальянской молодежи» (так названа книга в оригинале)—не плод досуга отставного политика, а документ борьбы. Орсини ставил своей целью сделать

книгу орудием воспитания молодежи в национально-освободительном духе. Эту роль «Воспоминания» выполняли с успехом.

От этих воспоминаний веет горячим дыханием революции. В них ярко отразилась и политическая жизнь Италии в последние десятилетия ее раздробленности, и личность Орсини,—его исключительно сильная, цельная натура. Он отдал свою жизнь «всю, без остатка, вдохновлявшей его идее освобождения Италии от чужеземного гнета» (319, ст. Г. Сандомирского).

Оправдывая слова Герцена, что «людей этой энергии останавливать можно только гильотиной» (319), переходя от одного заговора к другому, от борьбы с папой к восстанию против австрийцев, неустанно принимается Орсини за новые и новые революционные предприятия. Осужденный папским судом к пожизненной каторге за участие в заговоре «Молодой Италии», Орсини выходит на свободу по амнистии, объявленной при вступлении на папский престол Пия IX. Он не обманывает себя мнимым либерализмом нового папы: «Я благодарен Пию IX за дарованную мне свободу, но моя свобода — это не свобода Италии» (103). В 1848 г. Орсини отличился в военных действиях против австрийцев, а затем выдвинулся в качестве одного из руководящих деятелей недолговечной Римской республики. Орсини подробно останавливается на данном ему, как чрезвычайному комиссару в Анконе, поручении—«прекратить состояние анархии в этом городе» (446), защищает правильность применявшихся им репрессивных мер. «Республика означает человечность, а не варварство, свободу, а не тиранию, порядок, а не анархию»—говорит он в своем воззвании к гражданам Анконы (135). Вынужденный эмигрировать (после подавления революции «республиканским» правительством Луи-Наполеона), Орсини неоднократно переходит границу и возвращается нелегально в Италию. Не раз приходится ему бежать от полиции в самых драматических условиях,—то через Аппенины в снежную бурю, то через альпийские ледники. Заключенный в австрийскую Бастилию — крепость Мантую, находящийся под угрозой неминуемого смертного приговора, Орсини с исключительной выдержкой и настойчивостью подготавливает побег. Он бежит 30 марта 1856 года («с неслышанной отвагой», по признанию даже начальника мялланской полиции. Стр. 482). «Прошлые опасности были ничто. Я был готов идти навстречу новым», — говорит Орсини, как всегда, искренно. Орсини конечно был бы и в рядах «тысячи» Гарibaldi, но ему не пришлось принять участия в этом походе, ставшем легендарным. Феличе Орсини не увидел осуществления своих идеалов.

О фактических обстоятельствах покушения 14 января, его значении в реакционной обстановке 50-х годов, суде над Орсини и его смерти рассказывает в своей статье Г. Сандомирский.

¹⁾ Собр. соч. Маркса и Энгельса, т. XXII, стр. 320.

²⁾ Соч. М. и Э., XXIII, стр. 332 (письмо Маркса к Энгельсу).

На казнь «бессмертного мученика» парижские рабочие ответили уже упомянутой демонстрацией, произведшей на Энгельса столь большое впечатление. Между Англией, на территории которой было подготовлено покушение, и Францией возник конфликт, приведший к падению кабинета Пальмерстона. В Италии имя Орсини приобрело еще большую популярность. Прошедший вскоре временный поворот политики Франции в дружественную Италии сторону (война с Австрией 1859 г.) нередко также считали следствием этого события, будто бы проникши сочувствием к угнетенному итальянскому народу. Это «объяснение» исторически неверно. **Праващие классы Франции эпохи Второй империи**, подерживавшие силою штыка папскую власть, были злейшими врагами объединения Италии. Наполеон III применял по отношению к итальянской революции то политику открытого подавления (1849 г.), то политику демагогии по принципу «возглавить, чтобы обезглавить» (1859 г.). Покушение Орсини, вновь показавшее решительность и стойкость итальянских революционеров, явилось одним из доводов в пользу выбора на этот раз (не надолго) второго метода. При всей важности покушения 14 января все же нельзя согласиться с Г. Сандомирским, склонным переоценивать историческую роль этого события. Он пишет: «Значительные политические последствия, к которым его (Орсини) акт привел в самом непродолжительном времени... вылились в целую серию кровопролитных войн, в результате которых произошел ряд перекроек политической карты Европы» (313). Ошибочность этого утверждения очевидна.

Орсини—убежденный противник светской власти папы. Разоблачению методов управления папского правительства он посвящает пятую главу книги, прилагая ряд интересных документов, захваченных революционерами в архивах полиции и жандармерии. Орсини показывает, «до какого совершенства доведена система шпионажа» (93) в Церковной области, рисует господствующий там безудержный административный произвол, роль иезуитов и других орудий папского правительства, «ради сохранения которого сажают в тюрьмы, мучают и расстреливают цвет нашей молодежи» (419). «Пашство было всегда главной причиной порабощения Италии»,—констатирует он (100).

Ожесточенная борьба Орсини и его соратников против полицейского государства и клерикализма решительно проверяет притязания итальянских фашистов, считающих деятелей Risorgimento (эпоха объединения Италии) своими идейными предшественниками.

Неопубликованные материалы из парижского и венского архивов являются ценным дополнением к книге. Они проливают яркий свет на впечатление, произведенное событием 14 января среди высшей парижской бюро-

кратии и в народных массах. Комментарий составлен достаточно обстоятельно. Библиография не полна; не упомянуты книги об Орсини—Е. Montazio (Турин, 1862) и А. Arboti (Кальяри, 1893). Цитированные в статье Г. Сандомирского высказывания Маркса и Энгельса не включены в библиографию: читателю представляется самому разыскивать соответствующие места по собранию сочинений. Недостаточно тщательная корректура книги приводит иной раз к досадным ошибкам. На 352 стр. Феличе Орсини приписывается выступление против папской власти в 1831 году (в возрасте 12 лет!); речь идет, видимо, об его отце. Странно звучит выражение—Мантуанская крепость; обычно по-русски—Мантуанская. Победа византийского полководца Нареса над готами в комментарий отнесена к 1554 г. вместо 554—ошибка «только» на единицу (стр. 500). Иллюстрации подобраны удачно.

Существующая на русском языке литература об итальянском национально-освободительном движении небогата. Выпуск воспоминаний Орсини, представляющих столь большой исторический и общий интерес, нельзя не приветствовать.

Н. Замков.

Гверацци, Ф. Д. — «Осада Флоренции» Исторический роман. Том I. Перевод С. В. Герье. Редакция и статья А. К. Джигвелогова. Примечания Д. Е. Михальчи. М. «Академия». 1934 г. 628 стр. Ц. 7+2 руб. 5.300 экз.

«Осада Флоренции» принадлежит к числу выдающихся произведений итальянской литературы XIX века. Роман представляет особый интерес для нашего читателя не только своими художественными достоинствами, но и тем мощным политическим резонансом, который был вызван его появлением. «Осада Флоренции» вышла в свет в 1836 г.—в годы подъема итальянского национально-освободительного движения. Гверацци принадлежал к числу его видных, хотя и умеренных представителей. Впоследствии—во время революции 1848 года—он член правительства (а затем диктатор) Тосканы.

Своей книгой Гверацци стремился укрепить в итальянцах волю к борьбе за независимость. И до Гверацци были попытки использования итальянскими революционерами исторического романа как орудия агитации (Манцони и др.). Тема, выбранная Гверацци, была особенно благодарна. Уничтожение в 1530 г. во Флоренции, крупнейшем экономическом и культурном центре эпохи Возрождения, буржуазно-республиканского строя, героическая защита городом своей независимости в борьбе против папы и могущественнейшего в мире монарха—Карла V,—эти большие исторические события в художественной интерпретации талантливого писателя производили сильное впечатление (Книга выдержала в Италии больше 50 изданий). «Осада Флоренции» стала знаменем, как только знамя потребовалось—говорит

А. К. Дживелегов (стр. 29). Для читателей романа Гвераци «действительность была эхом истории» (41, ст. Дживелегова). Постыженную перед Италией XVI века задачу создания единого национально-буржуазного государства предстояло разрешить только Италии XIX века.

Гвераци дает яркие образы людей Возрождения. Смерть Макиавелли, которой начинается роман, как бы символизирует предстоящую гибель флорентинской республики. В противовес окруженным ореолом защитникам республики (Франческо Феруччи, Микель-Анджело Буонаротти и др.), Гвераци выводит Карла V и папу Климента VII, для изображения которых не жалеет мрачных красок. Книга Гвераци — интересное дополнение к выпущенным недавно издательством «Академия» сочинениями Макиавелли и Гвиччардини. Осада Флоренции — заключитель-

ный аккорд тесно связанной с этими именами напряженной социальной борьбы, которой ознаменовалась история Италии на заре средних веков.

Весьма содержательная статья А. К. Дживелегова дает представление о политической обстановке замечательного поединка между городом-республикой и объединенными силами феодальной реакции. Исключительный интерес представляет характеристика экономической политики революционного правительства (А. К. Дживелегов находит в ней сходство с мероприятиями Конвента и даже Парижской Коммуны).

Книга отличается большой увлекательностью содержания и читается с неослабевающим интересом. Умело составленные примечания ориентируют в событиях и лицах, упомянутых в романе.

Издана книга хорошо.

Н. Львов.

Книги, поступившие на отзыв:

«СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Толстой, Алексей. — Петр Первый 1934. Стр. 288 Ц 5 р 50 к

Толстой, Алексей. — Хождение по мукам Том I. Сестры. 1934. Стр. 295. Ц. 5 р.

Толстой, Алексей. — Хождение по мукам Том II. Восемнадцатый год 1934 Стр. 345 Ц 5 р 50 к

Леонов, Леонид. — Скутаревский. 1934 Стр. 407 Ц. 3 р 60 к

Леонов, Леонид. — Сеть 1934. Стр. 317 Ц 3 р 75 к

Свирский, А. И. — Евреи. 1934 Стр. 244. Ц 3 р.

Мышковская, Л. — Литературные проблемы пушкинской поры 1934 Стр. 187. Ц 3 р

Маркиш, Перец. — Возвращение Нейтана Бекера 1934. Стр. 235. Ц 1 р. 75 к

Амагпобени, С. — Драматургия великих боев. 1934. Стр. 104 Ц 1 р

Гарри, А. и Кассиль, Л. — Потолок мира. 1934. Стр. 123 Ц. 75 к

Громов, Б. — Поход «Сибиряка» 1934. Стр. 253. Ц 3 р.

Штурм, Г. — Повесть о Болотникове. 1934 Стр. 181 Ц 3 р

Альманах с Маяковским. 1934. Стр. 302 Ц. 7 р

ГОИЗ—ГИХЛ

Перимова, Т. — Творчество Флобера. 1934 Стр. 143 Ц. 2 р 50 к

Украинская проза. 1934. Стр. 204. Ц. 2 р 75 к

Дементьев, Н. — Рассказы в стихах 1934. Стр. 114 Ц. 2 р 50 к.

Черноморцев, Л. — Тайга. 1934 Стр. 73 Ц. 1 р 25 к

Селин, Луи. — Путешествие на край ночи. 1934 Стр. 280. Ц. 4 р 75 к.

Отвальт, Эрнст. — Знают, что творят 1934 Стр. 280 Ц. 4 р. 50 к

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ»

Тихонов, Ник. — Вечный *транзит. 1934. Стр. 273 Ц 5 р. 50 к

Дмитриев, А. — «Адмирал Макаров». 1934 Стр. 309. Ц. 5 р.

Садофьев, Илья. — Стихотворения. 1934. Стр. 254 Ц 5 р 10 к

Лаврухин, Дм. — Невская повесть 1934. Стр. 459 Ц 3 р

Альманах молодой прозы. — 1934 Стр. 297. Ц. 6 р 50 к.

Абрамович-Блен, С. — Записки гидрографа 1934 Стр. 258. Ц 3 р. 80 к.

Зоценко, Мих. — История одной жизни 1934. Стр. 84 Ц. 1 р. 60 к.

Редакция

А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
В. В. Григоренко.
И. М. Гронский.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Отв редактор **И. М. Гронский.**

Издатель «Известия ЦИК ССР и ВЦИК».